ГОЛОСА СИБИРИ

Выпуск восьмой

Кемерово
Кузбассвузиздат
2008

ББК 84-44
Г61

Составители:

Мэри *Кушникова* (Кемерово), Вячеслав *Тогулев* (Кемерово)

Адрес альманаха в Интернете:

http://www.golosasibiri/narod.ru

Редакционная коллегия номера:

Элеонора *Абрамова* (Ясная Поляна), Светлана *Ананьева* (Казахстан), Виктор *Вайнерман* (Омск), Светлана *Василенко* (Москва), Сеит *Каскабасов* (Казахстан), Виктория *Кинг* (США), Александр *Лейфер* (Омск), Елена *Логиновская* (Румыния), Мирослава *Метляева* (Молдова), Сергей *Папков* (Новосибирск)

Г61 **Голоса Сибири**: литературный альманах. – Выпуск восьмой / Сост. М. Кушникова, В. Тогулев. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2008. – 1068 с.

Выход в свет восьмого номера альманаха «Голоса Сибири» приурочен к очередному международному литературному фестивалю в Коктебеле, состоявшемуся в октябре 2008 г.

ISBN

© Коллектив авторов. 2008
© Брагин А.В. - компьютерная верстка. 2008
© Издательство «Кузбассвузиздат». 2008

Слово к читателю

Одно и то же слово и совет
На пользу мудрецу, глупцу во вред.
Аль-Хусри

После выхода седьмого выпуска «Голосов Сибири» редакционная коллегия сразу же принялась за дело. По рекомендации *Светланы Василенко* «ГС» выступили информационным спонсором литературного фестиваля в Коктебеле, в рамках которого наш альманах был представлен на небольшой презентации (подробнее см. очерк *Мирославы Метляевой* в рубрике, посвящённой этому событию).

«Голоса» рады возможности познакомить читателя с произведениями победителей и дипломантов Коктебельского фестиваля, а равно и с мнениями присутствующих на нём писателей *С. Василенко, Ю. Кублановского, К. Ковальджи* и нашего самого большого омского друга *А. Лейфера*. Так, *Светлана Василенко* особо подчеркнула значение подобных акций и роль СРП и других творческих Союзов в их проведении:

> «Права писателей совершенно не защищены. Мы сами себе и творцы и защитники. По сути, мы брошены на произвол судьбы и при всей востребованности писательского дара и в кино, и на ТВ, мы не имеем статуса даже простой уборщицы. Мы в социальном плане рассматриваемся как любители. Если бы Бродский жил ныне здесь, то он получал бы минимальную пенсию, как безработный, т.е. считался бы всё тем же бродягой и бомжем. Получается, что мы ещё находимся в том времени, когда поэтический, писательский труд назывался тунеядством. Мы из тех времен ещё не вышли. Поэтому у Союзов писателей существуют чёткие задачи. Во-первых, координировать творческую деятельность, работать над повышением писательского статуса в обществе, особенно в провинции, стимулировать развитие экономического потенциала литфондов, содействовать укреплению связей между писателем и читателем и т.п. Литературные фестивали могут аккумулировать в себе творческую энергию, особенно у молодых…».

Не осталась вне поля зрения и акция СРП, связанная с открытием памятника *Осипу Мандельштаму* в Воронеже, приуроченного к 70-летию гибели поэта (см. рубрику «Цветы усопшим»). Присутствующие на торжественном открытии памятника

члены Правления СРП *С. Василенко*, *Ю. Кублановский*, *М. Кураев и Г. Умывакина* сумели придать событию должную масштабность. В своём выступлении Юрий Кублановский подчеркнул, что «*Мандельштам* в Воронеже – это не кутила и не щеголь, а трагическая фигура. Воронеж не был для него раем, сколько бы мы ни напирали на то, что тут написаны просветленнейшие стихи. Да, они написаны, но – не благодаря, а вопреки… Мы живём в эпоху с колоссальным профицитом бескультурья. Интеллигенция как сословие само по себе больше не воспроизводится. И медленно вымирает, уходит на дно, как Атлантида. Памятник *Мандельштаму* – один из островков того будущего архипелага, на которых она уцелеет. Сюда, к памятнику, будут приходить самые разные люди: воронежцы и приезжие, мамы с колясками и алкаши, студенты-слависты и, может, невежды-вандалы. Так давайте беречь его с самого начала – не дадим его проворонить…».

Пока верстался восьмой номер, члены редколлегии «ГС» *Светлана Василенко* и *Мирослава Метляева* (председатель департамента переводов Союза писателей Молдовы) посетили Армению: на международном симпозиуме в Ереване был учреждён Союз переводчиков стран СНГ и Балтии, и оба наших представителя вошли в состав его Правления. Что вовсе не случайно. Так, читателям «Голосов» хорошо известны художественные переводы *Мирославы Метляевой*, и в этом номере в рубрике «Возвышенное и земное» мы публикуем опять же в её переводе один из рассказов видного румыноязычного писателя, директора литературного фонда республики Молдова *Николае Русу*. А переводы романа *Светланы Василенко* «Дурочка» уже изданы в нескольких европейских странах; последний раз, год назад – в Польше (см. отзывы польских литераторов в седьмом номере «ГС»).

Вот почему мы с таким удовлетворением восприняли новость о включении польского перевода *Светланы Василенко* в шортлист (состоящий из семи книг) престижной литературной премии Центральной Европы «Ангелус» (между прочим, в её номинациях значится и такой известный писатель, как *Гюнтер Грасс*).

Что привлекает зарубежных и отечественных, в том числе сибирских, читателей в прозе *Светланы Василенко*? Отчасти

на этот вопрос помогает ответить кемеровский автор *Ирина Маркова* в отклике на «Дурочку», опубликованном в рубрике «Рецензии».

> «Задумываюсь, – пишет И. Маркова, – когда и “кому на Руси жилось хорошо”. В любой стране, при любом режиме и власти есть дурные стороны, вызывающие отрицание. Думается, в России процесс недовольства всегда справедлив и притом бесконечен. И суть романа в том, что только чистый и светлый человек способен изменить окружающий мир, лечить его, как Ганна лечит всех страждущих и порочных, с которыми сталкивает её жизнь. И всё же “блаженная” Ганна уйдёт, а мир останется больным, каким был и будет… Творчество С. Василенко ещё раз подсказывает, как страшно знать, что Россия продолжает жить, лелея свои наивные мечтания».

Жанровому своеобразию романа *С. Василенко* посвящена статья другого нашего автора, *Дмитрия Бычкова* (см. рубрику «В мире сказок»). Он ищет и находит истоки творчества *С. Василенко* в русском народном, а также библейском эпосах: «Известный сюжет библейской притчи о блудном сыне проецирует универсальную архетипическую формулу, формирует символическую парадигму “блужданий”: инвариант жития и сказки в форме романа, явленный в книге С. Василенко, – это история возвращения героя после долгих скитаний и испытаний, возвращения уже в новой роли, роли праведника. В этом смысле Ганну можно рассматривать не только как художественный образ, замкнутый в рамках контекста авторского произведения, но и как героиню национального культурно-исторического мифа, актуального в эпохи ожидания Конца Света».

Как и прежде, «Голоса Сибири» уделяют значительное внимание наведению литературных мостов между регионами и странами. В рубрике «Транскультурный собор» мы публикуем материалы наших постоянных авторов *Альберта Ковача*, *Ливии Которча* и *Александра Варона* (Румыния), *Ильи Левяша* (Белоруссия), *Лео Бутнару* и *Анастасии Романовой* (Молдова). Названные литературоведы, философы, писатели, а равно и многие другие представители культур и литератур самых разных

стран, составляют ядро неформального объединения профессиональных литераторов, складывающееся в последнее десятилетие благодаря подвижническим усилиям организаторов бухарестских симпозиумов «Европейская цивилизация: единство – своеобразие – открытость».

Наша особая благодарность – Союзу писателей Молдовы: под руководством его председателя, академика *Михая Чимпоя* литература Молдовы всё чаще напоминает о себе на форумах Западной Европы, Румынии, Украины, Армении, России, яркое свидетельство тому – неутомимая деятельность члена нашей редколлегии *Мирославы Метляевой*. Национальное возрождение Молдовы вряд ли станет возможным без союза литераторов с такими блистательными умами современности, как *Николай Дабижа* и академик *Ион Дедю*, а равно и без подвижнической работы переводчиков (в рубрике «Свет рампы» мы представляем сегодня перевод пьесы *Константина Кеяну* «Влюблённый фюрер»).

Диалогу культур и месту «Голосов» в таком диалоге было посвящено и недавнее интервью *Натальи Розамириной* с *М. Метляевой* «Параллельные культуры – не навсегда!» в газете «Аргументы и факты в Молдове» (№39, 2008). «По совету поэта *Валерия Матея*, – рассказывает *М. Метляева*, – открыла для себя огромный пласт автохтонной современной литературы, которая – вот она, рядом, мне доступна, но большинству русскоязычных читателей – нет. Весьма странная картина: две культуры в стране существуют как знакомые незнакомцы. Я сочла своим долгом донести до русского читателя знаковые труды моих молдавских коллег».

Продолжают радовать читателей «Голосов» и наши казахстанские авторы, сотрудники Института литературы и искусства имени *М.О. Ауэзова* и авторы старейшего литературного журнала Казахстана «Простор». Низкий поклон директору института *Сеиту Аскаровичу Каскабасову*. В последнем, двенадцатом, номере журнала «Керуен» (орган упомянутого Института литературы и искусства, редактируемый *Сеитом Аскаровичем*) опубликованы статьи наших авторов *Ливии Которча* «От футуризма к постмодернизму», *Анастасии Романовой*

«Дневник *Мирчи Элиаде*: к вопросу о хронотопе в мемуарной прозе», отчёт *Мирославы Метляевой* о польских презентациях «Голосов Сибири» и книг *Шимона Токаржевского*, печатавшихся в «ГС», равно в материале *Светланы Ананьевой* «Международные контакты института литературы и искусства им. *М.О. Ауэзова*» также многажды упоминаются наши «Голоса». К тому же журнал «Простор» в №6 за 2008г. опубликовал статью *Светланы Ананьевой* «Звучат “Голоса Сибири”» и очерк *М. Метляевой* «Русский аспект польской “Сибириады”». И, наконец, ещё один приятный сюрприз – *Светлана Викторова* в центральной газете «Казахстанская Правда» (номер за 5 сентября с.г.) в статье «“Керуен” расширяет границы» упоминает целую обойму имён наших авторов: *Сеита Каскабасова, Ливию Которча, Елену Дульгеру, Альберта Ковача, Елену Логиновскую, Шериаздана Елеукенова, Айнур Машакову, Светлану Ананьеву, Мирославу Метляеву*. «Международные научные и творческие контакты Института литературы и искусства, – пишет *Светлана Викторова*, – отличаются разнообразием форм и широкой географией: Франция, Россия, США, Италия, Турция, Испания, Германия, Венгрия, Корея, Индия, Китай, Египет, Узбекистан, Украина, Литва, Киргизстан. А опыт последних лет достаточно подробно и обстоятельно обобщен в монографии члена редколлегии “Керуена” *Светланы Ананьевой* “Международное сотрудничество Института литературы и искусства имени *М.О. Ауэзова*”».

Под руководством *Сеита Аскаровича Каскабасова* Институт литературы и искусства не только регулярно обобщает опыт международного литературного сотрудничества, но и занимается иными масштабными проектами. Так, недавно в Кызылорде прошли фестиваль и конференция, посвященная 500-летию эпоса «Кыз Жибек», и *Сеит Аскарович* в связи с этой юбилейной датой сообщил о выпуске Институтом 100-томного сборника казахского фольклора: в 35 томов «войдут ранее нигде не опубликованные произведения, 25 томов будут посвящены распространённым в Казахстане эпосам и легендам, и в 10 томах собраны эпосы и легенды казахов, проживающих в Китае».

Собственно в Сибири за последние полгода прошло несколько знаковых для нашего альманаха мероприятий. В Омске

отметили 15-летие отделения Союза российских писателей. Лучшим подарком городу к юбилею стал приём в члены СРП постоянного автора «Голосов» *Евгения Асташкина*. А самым ярким событием литературной жизни Кузбасса 2008 года стала встреча авторов «Голосов Сибири» в новокузнецком Доме-музее *Ф.М. Достоевского* 13 сентября, повергшая в неожиданное возбуждение местные СМИ. На встрече присутствовал член редколлегии «ГС» из Омска, экс-директор омского музея *Ф.М. Достоевского Виктор Вайнерман*, несколько докторов наук, включая сексолога, знатока местной истории *Олега Яценко*, который первый брак *Ф.М. Достоевского*, соперничество великого писателя с учителем *Н.Б. Вергуновым* рассматривает с позиций современной сексуальной психологии. В фотографических приложениях к наст. изд. читатель найдет также снимок *Олега Константиновича*, сделанный около так называемой «бани *Достоевского*» в Новокузнецке; возможно, на повестку дня будет, наконец, поставлено и обустройство экспозиции этой бани. Как правильно отметила доктор биологических наук *Любовь Васильевна Начева*, также запечатлённая на этом снимке, биологические инстинкты человека в контексте истории литературы ещё потребуют ряда кропотливых исследований (подробнее о встрече см. материал присутствовавшей на ней *Веры Блынской*, внучки основателя новокузнецкого краеведческого музея).

Встреча эта показалась интересной тем, что прошла в милой «домашности» музея, что наводит на мысль: мы живём в так называемой провинции, которой именно подобная «домашность» мероприятий (конечно же, без возлияний!) позволяет сохранить особое очарование, что всегда было присуще малым российским городам.

Из этого «очарования провинции» произрастали многообразные российские дарования – поэты, писатели, художники, актёры – что устремлялись в просвещённые столицы и во все века нередко обретали там, бывало, не только всероссийскую, но и мировую известность.

Кемерово,
ноябрь 2008г.

Из первых уст

Журналист – это чистильщик улиц, работающий пером.

Наполеон I

Борис Дубин: «БОЛЬШИНСТВО ГОЛОСУЕТ ЗА ТУ ЖИЗНЬ, КОТОРАЯ ЕСТЬ»

О том, почему мы такие, и о проблемах российской культуры мы беседуем с Борисом Дубиным, начальником отдела социально-политических исследований ЛЕВАДА-центра.

– Когда мы говорим о культуре страны, то следует понимать, что дело не в балете, не в Большом театре, а в том, как люди смотрят на себя и на других. Что их связывает или не связывает, как они, исходя из этого, живут, и как намерены дальше жить. В какой степени довольны тем, что сегодня вокруг них творится.

Вообще, слово «культура» крайне затасканное, ставшее вполне дежурным. Оно может обозначать три совершенно разных вещи. И каждый из этих смыслов приходится иметь в виду, когда разговариваешь о сегодняшней России.

Слово «культура» вошло в обиход и стало европейским значимым словом, видимо, в эпоху Просвещения, в конце XVIII – начале XIX века, когда отдельные слои населения стран Европы стали переходить из состояния традиционного иерархического общества, где человек кем рождался, тем и помирал, в другое социальное, смысловое, культурное состояние. Появилась необходимость жить своим умом, своими руками. И жить не просто одному, а жить среди себе подобных, каким-то образом устраиваясь в новой жизни.

Это новое состояние стало называться словом «общество». В том смысле, что люди сами устанавливают некоторый порядок взаимной жизни, поддерживают его с тем, чтобы добиваться целей, которые перед собой ставят, не сокрушая, однако, всех окружающих, не превращая это в войну всех против всех. Иначе говоря, установился новый социальный порядок, который стоит не на авторитете, не на традиции, а на том, что люди между собой постоянно договариваются о том, как им жить вместе наилучшим образом. Одновременно этот социальный порядок получил название «культура».

Ведь в область культуры попадали совершенно определённые значения, определённые образцы смысла, определённые формы.

Во-первых, они были ориентированы на то, чтобы связывать людей между собой. Причём связывать не потому, что они родились в этом месте, не потому, что они принадлежат к этому этносу, не потому, что они принадлежат к этому церковному приходу, а на более общем основании: на основании того, что разумные люди сами, по своему разуму устраивают совместную жизнь. Это были обобщённые нормы, обобщённые ценности, а слово «культура» стало обозначать способности человека облагораживать собственное существование по некоему идеальному образцу.

– Но ведь существовало еще понятие «советская культура»…

– Это понятие было искажено в советские времена. По советским понятиям, учреждением культуры было государственное учреждение, которое доводит человека до некоторых необходимых государству кондиций. Например, умение подписаться, читать, чтобы мог прочитать газету, умение понимать речь с трибуны, чтобы мог хлопать и поднимать руку. Набор таких кондиций был не так велик, и к более-менее сознательному возрасту советский человек понимал примерно, чего от него хотят. Он понимал, что и когда надо говорить, где нужно расписываться, поднимать руку, голосуя, и так далее. Но, помимо этого, есть твоя собственная жизнь, где ты устраиваешься, как можешь.

Какое-то время казалось, что эта ситуация кончилась, что мы наигрались в этот дурацкий театр, пошла другая, более серьёзная, более интересная, более трудная, но и более занятная жизнь. А потом ситуация опять начала меняться. И сегодня, мне кажется, мы находимся опять в ситуации, довольно похожей на ситуацию 1970-х годов.

– Что это за странный эффект повторения? Это оптическая иллюзия или действительно какой-то синдром, который через некоторое время постоянно настигает наш общественный организм?

– Думаю, ответ лежит в сфере культуры как нормы, ценности, образца. Давайте посмотрим, как устроен образ социального мира, который мы ежедневно видим с экрана телевизора, наблюдаем на улицах наших городов. Если просто поехать по кольцевой линии метро и послушать, что говорят в вагоне, посмотреть, как люди себя ведут относительно друг друга, то можно получить достаточно точную информацию о том, как мы относимся друг к другу.

Есть понятие, скорее, психологическое, хотя социологи им пользуются: периметр безопасности. Каждый из нас несёт вокруг себя некоторое небольшое расстояние, в котором мы – это мы, это наше расстояние. Если мы чувствуем угрозу этому нашему периметру безопасности, нам становится некомфортно. Но так это происходит в Париже, а в Москве происходит по-другому. У тебя перед глазами проходит человек, задевая тебя плечом. При этом он поворачивается в твою сторону, что-то говорит? Или улыбается, например, говорит: «Извините, тороплюсь»? – Нет. Для него вы не существуете. Через некоторое время вы чувствуете, что и для вас тоже перестаёт существовать этот периметр безопасности, то есть некая оболочка, которая вокруг каждого из нас. Оказывается, что мы все находимся в ситуации абсолютной интимности, при этом не становясь друг для друга значимыми персонажами. И никак не реагируем на эту ситуацию.

Нормальная культурная форма реакции на такую ситуацию – извинение, пожимание плечами, улыбка, ссылка на внешние обстоятельства. Да мало ли разных культурных форм для выражения того факта, что вам пришлось прижаться друг к другу. Но оказывается, что все расстояния упразднены, а близости от этого не прибавилось. Но ты не можешь этого избежать. Что тебе скажут в транспорте, если ты, например, пожалуешься на такую ситуацию? На слова: «Перестаньте давиться», тебе ответят: «Поезжайте на такси». И это состояние давки без близости становится чрезвычайно важным социальным опытом. Это один из самых важных, ключевых опытов, который наш человек получает в течение первых лет своей жизни: он закладывается в самую основу представлений о том, кто такой другой человек.

– Не это ли становится причиной ксенофобии и любой другой нетерпимости?

– Отчасти. В мозгу создается образ «другого». Другой – это тот, кто покушается на твой ресурс. Если он находится в социальной позиции, когда у него как бы есть право на эту претензию, обобщённые «мы», каждый из нас согласен это принять и смириться. Если он, например, полезный человек и может сделать для нас какое-то исключение, оказать нам некую услугу. Или если он опасный человек – с ним опасно спорить за этот ресурс. Но если это не так, то «другой» – это чужой, который претендует на твой ресурс. В этом смысле исходное ксенофобическое отношение, отношение недоверия к другому человеку – это фундаментальная черта вполне обыденного сознания нашего вполне обыденного человека.

Например, на вопрос нашего Центра о том, можно ли доверять людям или лучше держать их на расстоянии, 80-85% устойчиво, год от года, говорят, что людям доверять нельзя, их надо держать на расстоянии. Это уже не его психологическая характеристика, это характеристика социума в целом. Люди раздроблены, и единственный круг, на который они могут рассчитывать, это их непосредственные самые близкие люди. Получается, что 80-85% могут рассчитывать только на себя и самых ближайших родных. Иначе говоря, это не просто настороженность и ксенофобия, это ситуация фундаментального недоверия любым общественным формам, которые есть, любым институтам, за исключением фигуры президента, армии и Русской Православной Церкви. То есть, кроме самых старых социальных, традиционных и жёстких по иерархии, институтов наш человек больше никому не верит.

Представьте себе, что, например, 70% населения не могут доверять милиции. А в Федеративной Республике Германии, в Соединённых Штатах Америки, в Голландии, например, доверяют. Две трети населения развитых стран доверяют своему суду, поэтому обращаются в него, добиваются определённых решений, могут влиять на свою жизнь.

В наших условиях тотальное институциональное недоверие этим институтам. Оборотная сторона этого в том, что восемьдесят и более процентов населения говорят, что их жизнь им не принадлежит, они не могут повлиять на неё. Они не видят никаких социальных институтов, никаких культурных установлений, с помощью которых можно было бы так или иначе повлиять на свою жизнь, сделать её лучше.

– Есть ли некая общность, которая делает наше население его неким «мы»?

– Есть. Она называется телевизор. Уже не раз писалось о том, что российское общество может быть вполне названо обществом телезрителей. Дело не просто в том, что огромная часть нашего населения, 90%, смотрит телевизор регулярно по 3-4 часа каждый день, то есть фактически всё свободное время.

Но дело в том, что большинство этих людей чувствуют себя обществом, чувствуют себя «мы» именно в состоянии телезрителей. Не участников, не деятелей, а зрителей.

Телевизор играет не просто роль носителя какой-то информации. Телевизор – это определённая ширма, которая не просто показывает, а, наоборот, от чего-то нас закрывает. Ведь существует масса тем, проблем, конфликтов, типов героев, которых можно было бы, казалось, ожидать, но которых мы никогда не увидим по нынешнему российскому телевидению. Значит, телевизор работает как экран, который не только показывает, но и от чего-то нас загораживает.

Когда мы переводим глаза от экрана на окружающую нас жизнь, картинка телевизионная, которую нам показывали 3-4 часа в день, выступает как своего рода оптический прибор, с помощью которого мы смотрим на окружающую жизнь.

Первые четыре канала работают в двух режимах. Один режим – это режим рассеяния или режим поглаживания, когда человека повергают в состояние созерцания. Он даже не очень внимательно смотрит, что там происходит по телевизору. Он может выйти на кухню, может приглушить звук, поговорить по телефону тем временем, но он всё время

находится в поле этого поглаживающего действия. Он не до конца сосредоточен, но и не полностью отключён от телевизора. Он «рассеянный» зритель. Телевизор позволяет не собираться зрителю до конца, а быть в полуприсутствующем состоянии.

Второй режим – режим укалывания или режим вздёргивания. Это – сенсационная новость, ключевой эпизод в детективном фильме или что-то в этом роде, когда зрители вдруг в этот момент собираются, вздёргиваются.

И такой «массаж» то пожёстче, то помягче, то поглаживание, то укалывание, он, собственно, и составляет работу нынешних телевизионных каналов. А содержательным материалом может быть детектив или очередной фильм про бандитов. В последнее время всё больше и больше фильмов про работу фирмы. Это может быть любая фирма. Важно, что это обживание некоторого коллективного существования людей, как будто бы объединённых неким профессиональным интересом. Здесь важно, как строятся отношения. Отношения между мужчинами и женщинами, между начальниками-начальницами и подчинёнными – это оказывается самым существенным. Это очень простой социальный опыт, исходящий из того, что люди делятся на очень простые половины – на мужчин и женщин, молодых и старых, начальников и подчинённых.

Такая простота зрения на социальную жизнь в развитых обществах характеризует обычно какие-то исключительные состояния, катастрофы, когда общество разделено на «мы» и «они». Но в развитом обществе она длится очень недолго: через несколько минут начинают работать нормальные социальные институты. Иначе говоря, социальное упрощение – это режим, в который впадают и развитые общества, но это исключительный случай, короткое время. И через самый кратчайший срок восстанавливается работа основных социальных институтов.

Простой пример. Возьмём 11 сентября. Катастрофа, которую, казалось бы, никак невозможно было предусмотреть и на которую непонятно как реагировать. Президент страны

появляется на экранах всеамериканского телевидения на шестую минуту после происшедшего. Власть на месте. Ситуация исключительная, но никакой катастрофы нет – мир на месте и мы справимся. Вот действие институтов.

– Каковы основные особенности российского телевидения и как оно влияет на общество?

– Мир основных часов телесмотрения можно описать через самые простые конфликты. Их будет всего несколько. Это конфликт «мы» и «они», к примеру. Но лучше всего, конечно, когда эти «они» – враги, которые нам желают всяческого недобра, хотят нас поставить на колени, лишить нас всего самого важного, самого нужного, нашего прошлого, нашей нефти, нашего газа, нашей национальной идентичности и ещё много чего. Это самый простой случай «мы» и «они».

Может быть другой вариант – «верхи» и «низы»: мир состоит из людей, которые находятся выше по статусной, служебной, доходной или ещё какой-то лестнице, и ниже. Он разделён на тех, кто над нами, и на нас, у которых нет даже того, что мы должны были бы по праву иметь.

Телевизор в этом смысле не просто замещает отсутствующую жизнь. Он создаёт чрезвычайно важный социальный эффект включенности без участия, зрительство без вмешательства. Это определённый тип или режим социального существования.

В обществах, которые устроены таким образом, не просто будут много смотреть довольно однообразный телевизор. Там, скорее всего, будут тяготеть к тому, чтобы представлять себе лицо номер один в стране как фигуру, которая находится над любой властью, воплощая собой некоторую сверхвласть: всюду бардак, но появится Он и наведёт порядок. При этом полнота власти, которая вручена лицу номер один, совершенно не связана с какой бы то ни было ответственностью. Так же, как наше смотрение не предполагает вмешательства, полнота власти у человека номер один не предполагает ответственности. Никто никогда лицо номер один никакими способами не может, даже в мыслях нет, принудить отвечать за то, что он делал или делает.

Последние примеры российской политики отчетливо это демонстрируют: вынимается фигура из рукава, люди ничего о нём не знают, но 58% говорят, что одобряют. Кто такой, что будет делать, умеет ли что, как с него потом спросить? – не знают, но одобряют и всё.

Всё время работает механизм, который разрывает связи между тем, что человек думает, и тем, что человек делает. Тем, что человек делает, и за что он отвечает. Место, на котором он сидит, и что он реально делает на этом месте. Вот систематическое разрушение этих связей – это работа очень сильных социальных механизмов на протяжении нескольких поколений. Привычка не заглядывать в слишком далёкое будущее, не слишком большая требовательность, привычка к дефицитности основных благ.

При этом надо сказать, что власть, что население ведут себя одинаково. Ведь каждый из последующих рано или поздно начинает очернять предшественника и всё, что с ним связано. Это обязательный механизм политической смены в России. Если хотите, одна из российских политических традиций. А ведь это совершенно не обязательно. Но если таким образом устроена политическая культура, то, скорее всего, не удаётся создавать некоторые устойчивые институты, которые работают вне зависимости от конкретных людей. Каждый раз приходится решать ситуацию передачи власти заново, как будто механизмов нет. Иначе говоря, конструкция создана такая, что при всей полноте властных возможностей, которые есть у лица номер один, у него нет никакой ответственности за то, что реально происходит в стране. Это власть исключительно символическая.

Но если мы отдали какую бы то ни было возможность влиять на собственную жизнь этой воображаемой фигуре номер один, то можно предполагать, что люди, скорее всего, не будут доверять большинству институтов, которые есть в обществе. В некотором смысле сверхдоверие фигуре номер один – это выражение того, что они не доверяют больше никаким конструкциям и институциям и никому из окружающих людей. Это и есть некоторый порядок нашего существования.

То, что мы считаем более или менее естественным, более или менее нормальным, более или менее привычным для нас.

Если переводить разговор на текущие актуалии, то большинство голосует не за лучшее, не за другое будущее, не за другую жизнь, а за ту, которая есть. Почему? Чтобы не стало хуже. Это другая система отсчёта: не от начала, а от конца. От того, что могут отнять даже последнее. Лишь бы хуже не было. Это другой тип отношения к себе, окружающим людям, перспективам собственной жизни, возможности влиять на неё. Это другая культура, где значимыми, важными называются и всерьёз принимаются не идеалистические цели, повышение требований к себе ради того, чтобы выстроить себя по образу и подобию божьему, а совсем другие вещи.

– Что характерно для сегодняшней российской культуры?

– Если описать самый общий пласт российской культуры, то всё, что мы видим, читаем, слышим, в окружающей жизни, на экранах – это слой, где мы все, как один, все друг на друга похожи. Один телезритель не отличается от другого телезрителя, и к ним обращаются так, как будто они все одинаковые.

Другой слой – глянцевая культура. В глянцевой культуре человек «не ест», он «пробует». Это его занятие, его отношение к жизни. Он пробует духи, пробует интерьер, пробует любовные отношения, пробует литературу. Это его установка, его отношение к миру, к себе и другим. Этот тип существования охватывает уже не так мало людей и имеет некоторую тенденцию к распространению. Люди, лица которых публикуют на обложках журналов, рассказывают о том, как у них устроен загородный дом или как устроился их пятый брак в сравнении с четвёртым. Создаётся иллюзия, что глянец и есть культура. Я думаю, что это не так. В России – это определённый уровень цивилизованного обихода более или менее обеспеченного меньшинства, причём рассчитанный даже не на самих себя, а на постоянную демонстрацию этого вовне. Глянцевая культура очень демонстративна: ей мало самой себя,

она должна постоянно себя демонстрировать. Глянец – это не блеск – блеск ослепляет. Глянец – это не зеркало, в него нельзя поглядеться. Но он создаёт некоторое впечатление благополучия, какой-то ровности. Глянцевые поверхности хорошие, гладенькие, не шершавые. И жизнь такая получается – хорошая, ненадеванная. И память ненадёванная, и политика – лайт. В общем, никому не вредит, всё очень симпатичное.

Но есть и оборотная сторона этой красоты: резкое падение профессионализма во всех областях. Это касается социальных наук, журналистики, науки: профессионал не нужен. Профессионал может быть только независимым, иначе он не профессионал, а работник на барина. А нужен работник на барина, который, в общем, умеет примерно что-то делать, но немножко подешевле. Глянец, как язык государства, как язык власти, как язык культуры, как будто бы единственный, – вот это очень важные стороны нынешней жизни. Согласитесь, что 10-20 лет назад такой мысли не было. В начале 1980-х мы с коллегами всеми силами реабилитировали массовую культуру, поскольку считали вслед за Честертоном, что массовая культура – это демократическая культура, в отличие от иерархической, тоталитарной культуры. Но кто ж думал, что вот такое будет удивительное соединение? Соединение иерархической власти с потребительским глянцем. Двадцать лет назад такая мысль не приходила в голову. А сегодня это нас окружает со всех сторон.

Есть третий тип существования в культуре сегодня. Это ниши, отсеки, какие-то дырочки, щёлочки, куда «завалилась» культура, где она пока ещё существует. Вот там, в этих дырочках, щёлочках, пазухах существует какая-то культура, которая пытается себя культивировать довольно уродливым образом, возводя границы между собой и всем окружающим миром, строя собственную культуру на очерчивании границы – вот здесь мы, а здесь вы все, остальные. Это определённый, если хотите, аварийный тип существования.

Что ещё есть? Есть остатки интеллигентской культуры 1960-1970-х годов. Толстые журналы никуда не девались.

Правда, у них тиражи сегодня, как у экспериментальных – 3 тысячи, 5 тысяч. Но по способу обращения к читателю, по проблемам, которые они выносят, по тому, как они сами себя ощущают, они кусочек, островок интеллигенции 1960-1970-х годов в новых условиях.

И вот все эти островки находятся в странном архипелаге, который расплывается. Мы всё время видим, как они всё дальше и дальше отплывают друг от друга. А проблемы соединения их, некоторого синтеза, взаимодействия между ними как будто не существует.

Я не вижу в нынешней России инстанции, человека, организации, коммуникативного канала, который ставил бы эту проблему – проблему культуры. Потому что проблема культуры – это проблема связи, связности. Культура в этом смысле как бы принимает эстафету религии. Её задача связывать разбегающиеся части мира, общества. Я не вижу, чтобы эта проблема была осознана, поставлена и последовательно кем-то проводилась. Похоже, что состояние нынешнего общества российского, состояние российской культуры другое. Оно в состоянии некоторого расплывающегося архипелага, части которого удаляются друг от друга. С не очень понятными перспективами.

– Принято считать, что в современной России нет свободы слова. Так ли это, по вашему мнению?

– Меня постоянно спрашивают иностранцы: «Но в России же нет свободы слова». Я говорю: «Враки. В России есть свобода слова. Только она никому не нужна». А власти очень умные, очень хорошо реагируют. Они говорят: «Есть свобода слова. Пользуйтесь. Если вам мало, требуйте расширения». Никто не требует.

Был старый советский анекдот насчёт того: «Вы слышали, чтобы в магазине кто-нибудь чёрную икру требовал? Не требуют, значит, им не надо».

Важно понимать принципиальность этих вещей. В одном обществе всегда будет чего-то мало. Как правило, чего-то очень значимого для этого общества. Его будет мало принципиально. Причём оно будет постоянно обесцениваться в

глазах всех других с тем, чтобы не захотелось побольше. Это общество так устроено, и так человек в нём устроен.

Есть ли выход? Умножить многообразие. Всеми доступными силами умножать многообразие. Любое. Социальное, культурное, политическое. И пытаться придавать этому какую-то устойчивую форму, которая способна пережить сегодняшний импульс. Способна пережить нас, которые этот импульс задают. Только так создаются институты. Только так создаются новые больницы, дороги нового времени, города нового времени, школы нового времени. Они все были созданы из такого рода усилий. Если их не будет, будет то, что есть: плохие дороги, башмаки, школы, телевидение.

– Может быть, это происходит потому, что менталитет российского человека ещё не изжил в себе комплекс раба? Телевизионная модель поведения вполне устраивает, потому что народ ничего не знает? Есть ли методы борьбы с монополией телевидения как воспитательницы? И нужны ли они?

– Когда мы переносимся на уровень менталитета, характера, кажется, что действительно с этим никогда ничего нельзя поделать. Как социолог я занимался и историей культуры, сравнениями различных культур – и более архаичных, и более современных. Для меня совершенно ясно, что никакое занятие своей индивидуальностью невозможно без самой презумпции индивидуальности. То есть должна быть идея индивидуальности, независимого индивида, в котором что-то такое есть, что делает его индивидуальное существование всеобще значимым. Тогда от него ждут, что он будет себя культивировать наилучшим образом. Вот нужна идея индивидуальности. А именно того, что в индивидуальности есть что-то, что заслуживает всяческого уважения и культивации просто в силу того, что оно в индивидуальности есть и больше ни в ком нет. Это может быть только у каждого. Если такого рода идеи родятся, тогда возникает какая-то работа, которая потом называется «культура», «цивилизация», «общество» и так далее. А если этого нет, если все – лагерная пыль или их можно превратить в лагерную пыль?

Или, как сейчас на телевидении говорят: «Всех только поскреби – одинаковое дерьмо». И из этого исходя делают свои передачи телевизионные в расчёте на такого зрителя.

Индивидуальностью приходится заниматься в условиях отдельного одноместного погреба, хорошо защитившись от окружающего мира. Вероятность, что из этого вырастет что-то общезначимое, ужасно невелика.

Я вижу свою задачу и исследовательскую, и в некотором смысле просвещенческую в том, чтобы показать, как это делается. Так называемый «наш человек», с нашим менталитетом, попадающий в другие условия, очень прилично трудится, адекватно реагирует на всё новое, неплохо уживается с самыми разными «другими». Иначе говоря, это всё искусственно сделано и доступно изменениям. Разумеется, как всякий пластический материал он доступен изменению и в ту, и в другую сторону. Пока что побеждают тенденции, которые мы видим. В том числе на телевидении.

Сказать, что это всем нравится? У меня нет такого ощущения. У меня ощущение, чем дальше, тем больше, что как раз недовольства очень много. Но нет протеста. Это разные вещи. Протест возникает у людей, которые знают, что делать со своим недовольством. Они знают, чем недовольны, и хотя бы представляют себе возможность чего-то другого. В нашем случае недовольны практически все. Кто доволен нашим ЖКХ? Кто доволен нашей властью? Кто доволен нашими дорогами? Кто доволен даже телевизором?

Более подробные опросы показывают, что телезрителям не нравится то, что они смотрят. Но они смотрят, потому что ничего другого нет. Мы знаем ситуацию 1987, 1988, 1989 годов. Оказывается, бывает и по-другому. Разумеется, не у всех, но, по крайней мере, у десятков и сотен тысяч бывает по-другому. И оказывается, что тираж у «Нового мира» может быть 2 миллиона. Помножьте на количество людей в семье, и получится приличная цифра.

А потом, оказывается, эти состояния проходят. Далеко не всем нравится то, что им показывают. Но действует сила

инерции, привычки. Это очень важная социальная сила в России. Сила привычки, адаптации, привыкания. Не постановки дальних задач и вытаскивания себя за волосы из болота, а привыкание: «Ну, ничего, привыкнем. Ничего страшного. И отцы наши так жили, и мы так проживём». Я думаю, что менталитет менталитетом, а пытаться жить по-другому есть прямой смысл, чтобы самому не совестно было.

– Но почему мы такие? Что нам мешает стать иными?

– Видимо, есть какие-то решающие возможности проявления для тех людей и групп, которые вообще хотят както проявиться. Это очень важно, когда это есть. Это очень печально, когда этого нет.

Выйти из ряда, попытаться быть собой или то, что вы называете «быть другим». Это первый шаг.

Второй шаг состоит в том, чтобы удержать этот импульс и передать его. В основном усилия власти по понятным причинам были направлены на две вещи. На то, чтобы отучить человека делать шаг в сторону. Второе – с тем, чтобы продолжать это движение. Были разорваны эти два механизма. Механизм шагания вперёд первым, когда ты не знаешь, у тебя нет гарантий, что там будет, но ты чувствуешь, что не можешь не идти. И твой шаг соединяется с ещё чьимто шагом с тем, чтобы некоторая форма образовалась и дальше воспроизводилась.

Мне кажется, что второй шаг может быть ещё важнее, чем первый. Надо образовывать эти устойчивые формы, которые работают и помимо нас. Очень важно, когда работают готовые формы, но не рутинные, не соскальзывающие в привычку, а находящие в себе силы изменяться и делать лучше, чем вчера. Хотелось бы движения в эту сторону и от самого себя, и от людей вокруг. Это, по-моему, и есть нормальная жизнь.

Лена Сурикова
При содействии Клуба региональной журналистики «Из первых уст»

Изящная словесность

Слова изнашиваются ещё до того, как произносятся.
Би Дорси Орли

Виктория Кинг
КАРОЛИН
(из нового романа «Мачехи»)

Каролин устроилась домработницей к владельцу крупной компании. Она дорожила своим местом, хозяева платили приличные деньги за собственную лень, называемую комфортом, и возможность иметь свободное от домашних хлопот время.

Каролин приходила три раза в неделю, с остервенением драила ванные комнаты, убирала в апартаментах, закупала продукты и готовила обеды.

Вот и сегодня с грудой грязного белья она носилась из спален в прачечную, смахивала пыль с мебели и искоса поглядывала на хозяйку. Та звонила по телефону, слышался смех и быстрый стрекот обычных светских сплетен.

Каролин налила кружку свежего кофе и незаметно поставила перед ней, в ответ увидела благодарную улыбку и предупреждающий жест – больше не мешать. В принципе, могла бы не показывать, за четыре года работы Каролин хорошо изучила привычки домочадцев. Теперь часа полтора её не будут отвлекать по пустячным делам и она быстро справится с уборкой.

Движение рук в жёлтых перчатках доведено до автоматизма, равномерный шорох щётки, отмывающей фаянс огромной ванны суперхимикатами, завораживал и, не заметив, Каролин глубоко погрузилась в мысли.

Когда-то *в той*, прошлой, её жизни она любила понежиться в горячей воде с ароматной пеной, и её джакузи была поболе, чем эта. Наблюдая за струей воды, окатывающей стенки, вспомнила, как она купала сынишку, баловалась с ним мыльными пузырями...

* * *

После рождения ребёнка Каролин всю себя посвятила его воспитанию. Ночами не спала, безудержно рыдала, когда у малыша от простуды поднималась высокая температура. Закрывалась с ним в своей комнате и не подпускала никого. Роберт не особенно

интересовался, что с ними происходило, теперь он оставил её в покое. Последний раз обнял, когда увозил из роддома...

Падчериц юная мать побаивалась. Ей почему-то представлялось, что они стремятся чем-то навредить её Питеру, способны напоить или накормить чем-нибудь нехорошим. Постоянно прислушивалась: не стоят ли под дверью. Только пожилая няня, которой она доверяла, имела доступ в детскую.

Однажды ночью, когда Каролин с сыном на руках направлялась на кухню, чтобы подогреть молочную смесь, она столкнулась в коридоре с мужем. В полумраке, заметив знакомый странный блеск в его глазах, женщина съёжилась и сильнее прижала мальчика к груди. Но... не помогли ни уговоры, ни захлебывающийся плач малыша. Роберт насиловал её тут же, на полу коридора, молча, грубо и долго, а Каролин смотрела сквозь слёзы на лежащего в стороне ребёнка и слышала, как его плач переходил в хрип... Видела, как тот выпростался из одеяльца и неуклюже пополз, только белые пяточки мелькали...

Безмолвный стон опалял горло, пальцы тянулись к ребёнку. Опустошённая и уничтоженная, она лежала и наблюдала, как Роберт встал, отряхнулся, перешагнул через сына и размеренным шагом направился в свою комнату. Не было сил подняться... На мгновение она прикрыла глаза и почувствовала чьи-то руки, мягкие и тёплые. Нянька... Слёзы потекли по щекам.

– Тера, он монстр, варвар, мне стыдно... извини, пожалуйста, ты видела? – прошептала Каролин.

– Мисс, я помогу вам встать.

– Где сын, где Питер?

– Он здесь, – ответил ей ещё один голос.

Каролин напряглась.

– Кто здесь?

– Это я, Клера.

Старшая падчерица держала Питера на руках и, присев на колени, протягивала его Каролин.

– Когда отец ушёл, я его взяла... и бутылочку подобрала.

Мальчик, не мигая, смотрел на мать и причмокивал губами.

Каролин потянулась к сыну и, неожиданно для себя, будто в первый раз, увидела глаза девушки, полные сострадания, и её тонкие руки, выпроставшиеся из-под шёлковой пижамы.

– Клер... а Джуди... тоже...

– Джуди спит.

– Ничего я не сплю, – донёсся голос из полумрака коридора.

– О-о.., – простонала Каролин, – какой позор!

– Да отец же чокнутый! У него с головой не всё в порядке, – возмутилась Джуди.

– Мисс, позвольте Клере донести малыша до комнаты, а мы с Джуди поможем вам встать.

– Да... да, – и Каролин залилась слезами.

Она не помнила, как добралась до спальни. Тера уложила её в постель и дала таблетку сильного снотворного. Сквозь всполохи покатившегося в небытие сознания женщина видела Клеру, качавшую сына, и сидящую у её изголовья Джуди. Младшая дочь Роберта гладила её волосы и что-то шептала.

Утро поразило её тишиной. Каролин неподвижно лежала в кровати и не открывала глаз. Верхняя губа подёргивалась. «Нервный тик...», – вяло подумала она и свернулась клубком, забравшись поглубже под одеяло. Указательным пальцем с усилием прижала нёбо, помассировала, затем прикусила зубами. От внезапно возникшей боли всплыли картинки из детства.

* * *

Дом. Большая комната. Диван буквой «г», на котором она спала вместе с неродным братом Роем, в углу телевизор, перед ним два кресла – одно красное, другое чёрное из кожи – оно ей больше всего нравилось в жаркие летние вечера, в нём было прохладно. Арнольд Кремер, отец семейства, усаживался именно сюда и, потягивая пиво, смачно ругался, – смотрел футбол. Мать подносила чипсы и бутерброды, открывала крышки бутылок и молча ставила на столик перед ним. Никто из детей не смел ни слова сказать, ни играть.

Обычно маленькая Каролин устраивалась на короткой части дивана, прижимала единственную куклу к груди и, почти не дыша, смотрела на отца. Ждала... Очень быстро она поняла, как важно, чтобы команда, за которую «болел» отец, выиграла, иначе... Однажды, когда матч был проигран, старший Кремер, разъярённый неудачей фаворитов, ушёл и вернулся за полночь, пьяный как

никогда. Сквозь сон она услышала перебранку между родителями, а потом страшный шум.

Вынырнув из-под одеяла, девочка увидела стул, врезающийся железными ножками в телевизор, и разлетающиеся осколки голубого экрана. Мелкие стёклышки зависли в воздухе... Всё остановилось... А потом они сыпались, сыпались, переливаясь всеми цветами радуги и падали на неё, на пол, на Роя... Вдогонку им нёсся грохот и мать, раскинув руки, чёрной птицей летела на неё – узкие, бледные ступни вспархивали над полом, оставляя кровавые бусинки на ковре. Змеей зашевелился шнур от напольной лампы, женщина споткнулась и на коленях проехалась по стеклу, завопив, что есть мочи:

– Глаза, закрой глаза!

Каролин зажмурилась и почувствовала дрожь во всём теле и подергивание губы. Её белые зубы приоткрывались и закрывались от непроизвольного сокращения мышц, а отец, заметив это, кричал:

– А... маленькая сучка ещё и скалится на меня! Да я вас всех поубиваю к чёртовой матери!

Мама обхватила ноги отца и, сопротивляясь, пыталась его остановить.

Пощёчины догоняли друг друга и опаляли щёки девочки: раз, другой... Головёнка моталась из стороны в сторону... Волосатые пальцы и мясистая ладонь Арнольда Кремера молотили без устали... Попало с лихвой и матери... Мир тонул во всхлипах и стонах...

Лишь слёзы облегчали напряжение... Позже Кремер плакал и проклинал судьбу, потом затих, уснув тяжёлым похмельным сном в любимом кресле.

Маленькая Каролин не спала. Уткнув нос в диванную обшивку, она старалась сдержать тик пальчиками, порой отвлекалась и внимательно рассматривала цветочный рисунок. Завитки узора не имели ни начала, ни конца...

Отцовская любовь – непостижима, да и была ли она?

Этот вопрос постоянно мучал, вплоть до отъезда из дома. Иногда на него накатывала волна трепетной ласковости, отчего становилось страшно и зябко. Никогда не могла постичь: чем

она вызвана и зачем он нежничает. Такие вспышки возникали спонтанно, как вихрь, из ниоткуда, и тогда отец водил девочку в кино и парк, катал на велосипеде, играл с ней в волейбол. Покупал сладости, целовал и подбрасывал в воздух. И каждый раз, оказываясь в броске, она пугалась и думала: «Не поймает! Уронит и я разобьюсь!»

За всё время семья один-единственный раз ездила в отпуск. На машине отмахали сотни миль, чтобы доехать до дешевого отеля в Майами. Три дня купались до синюшной кожи, а потом... Ночью ребят подняли с постели, наспех одевшись, все втиснулись в старенький «Форд». Пьяный отец гнал как сумасшедший, ругаясь, на чём свет стоит. На заднем сиденье дрожавшие от холода дети зевали и толкали друг друга локтями... И вдруг...

Полёт с моста в бездну сухого речного русла казался бесконечным. Каролин от страха вцепилась в голову мамы, та орала не своим голосом, сердце девочки скакало галопом, кишки выворачивало. Свет фар высвечивал силуэты берега. Авто перевернулось... затылок стукнулся о потолок кабины, ноги засучили сами собой, вырывающиеся из-под пальцев материны волосы резали ладони в кровь. Мгновение, – машина сделала второй оборот во мраке встревоженной ночи. Отец не снял ногу с педали газа и рёв мотора вибрировал в каждой клетке тела.

Крыша «Форда» с грохотом и скрежетом приземлилась, лопались стекла, от удара мать вылетела через переднее окно, чья-то нога врезалась в лицо ребёнка... Автомобиль съёживался на глазах, вжимая пострадавших сиденьями в мягкую обшивку; дышать стало тяжело... В светящемся потоке девочка плавала, словно дельфин, которого она видела когда-то в океане: вынырнет и опять уйдёт во тьму, вновь на поверхность, и дальше по кругу...

Какая-то небесная лёгкость, лёгкость во всём теле...

Каролин очнулась от громких возгласов, яркого света и гула вертолета. Вкус крови солонил рот, прикушенный язык не ворочался, губы дергались, «прыгали» на лице.

Пострадавших вытаскивали из машины, клали на носилки, заносили в вертолёт... За несколько метров от места катастрофы нашли мать.

Девочку тошнило. Хотелось спать. Но голос молодой женщины-парамедика ввинчивался в мозг, она без конца повторяла, глядя на Каролин: «Смотри на меня, не спи, смотри мне прямо в глаза; всё будет хорошо...»

Нет, никто из них не погиб, только матери пришлось лежать больше месяца в госпитале с многочисленными переломами и челюстно-лицевой травмой. Отец отделался синяками... Больше они никогда не выезжали в отпуск: родителям пришлось три года выплачивать по счетам госпиталя.

* * *

Из недр воспоминаний всколыхнулась тревога: «Где Питер?», – но тут же улеглась, не оставив и следа. Ей ни о чём не хотелось думать, и Каролин опять задремала. В полусне она слышала, как нянька тихо подходила, поправляла одеяло, ставила еду на прикроватную тумбочку, потом уносила. Только к вечеру женщина очнулась. Тера нашла её в спальне в лёгком пеньюаре со сложенными на груди руками.

– Мисс, вам лучше? – с тревогой спросила нянька.

– Да, Тера, я чувствую себя хорошо, – бесцветно прозвучал ответ.

– Завтра воскресенье... хотите пойти в церковь? Это недалеко, я вас заберу и обратно домой привезу.

– В церковь?

– Знаете, в... такие минуты надо к Богу обратиться. С пастором поговорите, и на душе станет намного легче.

Вот так она и попала в секту пятидесятников или Пентакостал-церковь. После первой же исповеди Каролин посоветовали исправно выполнять супружеские обязанности, носить длинную юбку и кофты, закрывающие руки и шею, не смотреть телевизор и не одевать золотых украшений.

В её жизни появилось чёткое расписание: по понедельникам и четвергам она сама приходила к Роберту в комнату и, если он не был в поездке или её не выгонял, оставалась у него на несколько часов. Часто посещала церковь, соблюдала посты, помогала со сбором пожертвований, вставала и уходила на покой с молитвой...

Через девять месяцев Каролин родила дочку. При родах присутствовала Тера, она же и отрезала пуповину. Роберт в тот день

не появился, лишь прислал открытку и цветы. Комнату для новорождённой рядом со спальней Каролин приготовили его дочери. Кроватка была закрыта покрывалом с рюшками, стены отделаны бледно-розовыми обоями с ангелочками.

* * *

Спроси её, что происходило в следующие пять лет, – и она не сразу бы ответила. Роберт вёл себя вполне сносно. Отношения с падчерицами не изменились, отчуждённость не растаяла, а, скорее, уплотнилась... Сын и дочка росли, Каролин учила их читать и писать, они безропотно ходили с ней в церковь. Пожалуй, более всего запомнился скандал с мужем по поводу Рождества – Каролин наотрез отказалась его отмечать: запрещала её религия. Не покупала детям подарки и не подпускала их к залу, где ставили ёлку. В споре проявила столько упорства, что Роберт махнул рукой и впоследствии сам с дочерьми устраивал себе торжество, уезжал с ними на каникулы подальше от «смурной» жены.

Мало-помалу Каролин перебралась с малышами в дальнее крыло дома и всё реже встречалась с прочими домочадцами. Из её комнаты можно было выйти на террасу, спуститься в сад по дорожке, через небольшую калитку добраться до гаража и незаметно уехать в любом направлении. Её внешний вид изменился до неузнаваемости: волосы отросли ниже пояса и она укладывала их на затылке в тугой узел, лицо обрело ту белизну и прозрачность, что приходит от усердных молитв и постоянных постов, кроткая улыбка подчёркивала покорность судьбе. Даже походка, когда-то женственная и вызывающая, стала более плавной и степенной. Теперь в огромных гардеробных висели только тёмные платья до пят, длинные юбки, на полках для обуви – туфли на «монашеских» каблуках. Гламурные наряды, манто и меховые накидки Каролин отдала няньке, а часть увезла в Армию Спасения для бедных и бездомных.

«Но, однако же, однажды всё круто изменилось», – пробормотала Каролин, уже перебравшаяся в кухню после уборки. Меню на ужин лежало перед ней – требовалась большая сноровка сготовить три смены блюд и десерт. Её руки автоматически мыли овощи, нарезали мясо; что-то сбивали, размалывали, укладывали...

«Как? Как и почему моя судьба совершила такой причудливый зигзаг?...»

* * *

Джуди, младшая дочь Роберта, сидела с бокалом виски в руках на краю бассейна. Отмечали её день рождения. В ночи разливался свет от фонарей. Подсвеченная вода казалась голубой. Кусты укрылись в чёрном палантине зыбкого мрака. Сегодня был особый для неё день. И... она расплакалась.

На шумной вечеринке, устроенной старшей сестрой, было много гостей. Известная рок-группа играла так оглушительно, что стены сотрясались. Толпа молодёжи вопила от возбуждения, извиваясь и дергаясь в бешеных ритмах. Джуди танцевала без устали, изредка выбегая в сад, под прохладный бриз, передохнуть.

Под деревьями стоял длинный стол, на котором лежали бесчисленные закуски и вызывающе толпились бутылки со спиртным. Официанты с привычной улыбкой безотказно взбивали коктейли, разливали вино, перебрасывались шуточками с подвыпившими гостями, или не спеша подносили молодым людям очередное блюдо с лягушачьими лапками, брюшетами и чёрной икрой.

Сестра Клера любила удивлять друзей кулинарными изысками, её не огорчали, а веселили их брезгливые ужимки и даже паника, вызванная очередным экзотическим кушаньем, специально приготовленным для этого вечера.

Но обычно к полуночи всем уже всё равно, что пить и что есть: лягушки, так лягушки, хоть скорпиона подавай, лишь бы было чем запить, да покрепче.

Он подошёл сзади, когда Джуди возле бассейна пила содовую со льдом из высокого бокала. Поцеловал в шею, обнял и начал нашёптывать на ухо скабрезности. Спустя минуту прижал к себе, впился губами в её губы и, не отрывая их, полутанцуя, затащил в кусты. Как ни барахталась, ни боролась с ним Джуди, *он* её не выпустил... закрыл рукой рот, – звука не вымолвить... На прощанье чмокнул в щёку:

– Молодец, девочка! – и исчез.

Она долго сидела на земле под кустами жимолости, по кусочкам собирая самоё себя и оправляя платье. Руки мелко дрожали.

Заметив под длинными ногтями с красным лаком застрявшую грязь, девочка, вдруг ставшая женщиной, принялась старательно её выковыривать...

Джуди скрипела зубами от бессилия и злости: *он* был первый в её жизни мужчина, а она даже не знала его имени. Попытка отыскать насильника среди гостей растянулась на несколько часов, но она его не нашла. Девушка врывалась в многочисленные спальни, где парочки занимались сексом в промежутке между танцами и аперитивом, – на неё кричали, ругались матом...

Да и как *его* узнать? Лица не помнит, лишь запах тонкого и терпкого парфюма и гладкую кожу на спине... Пробираясь между танцующими, она принюхивалась, заглядывала в глаза в надежде: *он* узнает её, прижмёт к себе и... и... В конце концов, она вбежала в свою комнату, не помня себя от обиды. С грохотом захлопнув дверь, в полумраке увидела колыхающиеся, обнажённые фигуры на кровати... В неё летела снарядом подушка, вдогонку нёсся хриплый крик:

– Пошла во-о-о-н!

Голый отец с подружкой Клеры трахался у неё на тахте! Рык разъярённого похотливого зверя застрял в ушах, расколол вселенную на мелкие части. Она бежала, содрогаясь от ненависти и отвращения...

Сейчас Джуди тихо плакала у бассейна, с подвывом, как одинокий волчонок, запивая слёзы горечью виски. Неожиданно она умолкла и прислушалась: послышались лёгкие шаги. Она повернула голову – Каролин в длинной ночной рубашке направлялась к ней.

– Джуди, это ты?

– Я.

– Почему не спишь? Уже поздно!

– А тебе-то какое дело?!

Мачеха остановилась у самого края бассейна и наклонилась к девушке. Внимательно приглядевшись, воскликнула:

– Да ты вся в засосах! Что случилось?

– Да пошла ты куда подальше! Идиотка верующая! За своим бы мужем смотрела: где и с кем путается! – и Джуди с силой пихнула её ногой.

Каролин сорвалась в воду, в мгновение показавшейся ей ледяной. Дыхание перехватило, а в голове внезапно будто взорвался стеклянный шар. Рубашка пузырилась на поверхности, прохлада сковывала нагое тело. Внезапно накатил страх: «Не выплыву, утону!!», – пронеслась мысль, и она захлебнулась.

Джуди опомнилась, только когда увидела, что Каролин медленно уходит на дно. Хмель мгновенно выветрился и она прыгнула с бортика вслед за мачехой, нырнула, схватила её за волосы и потащила наверх. Потребовалось немало усилий и напряжения, чтобы добраться с такой ношей до ступенек на другом краю бассейна. Обхватив Каролин, она волокла её ближе к шезлонгам, рядками расставленных вокруг. Лихорадочно соображая и вспоминая школьные уроки по спасению утопающих, Джуди в отчаяньи колотила обмякшее тело, массировала спину, переворачивала, ритмично давила на грудь и делала искусственное дыхание. Ничего не помогало. И уже потеряв всякую надежду, вдруг услышала бульканье, а затем и кашель. Каролин отплёвывалась, дышала с перебоями. Джуди приподняла её голову и держала на коленях до тех пор, пока та не открыла глаза.

– Силы небесные, ты жива... ох и напугала! – вскрикнула Джуди.

– Как всё печально..., – прошептала Каролин, – лучше бы умереть...

– Каролин, не говори так.., прости, прости меня... я такая дура, – уже рыдая, отвечала девушка.

– Холодно... холодно...

– Ты что, бредишь?! Я сейчас, полежи здесь, – и Джуди бросилась сгребать махровые полотенца с шезлонгов и укутывать Каролин, – может, позвать сестру, а потом – в больницу?

– Нет... не зови никого. Это тебе надо в клинику, а не мне...

– Зачем? – удивилась Джуди.

– Глупенькая, чтоб не забеременеть! Уколы сделать... пока не поздно.

– О-о-о, ужас, – простонала падчерица.

– Помоги мне встать... Мы обе мокрые; переоденемся и поедем, – стаскивая с себя полотенца и поправляя мокрые волосы, твердо сказала Каролин.

– Я... я не могу идти в свою комнату, там... отец и…

– Джуди, я знаю... найдём что-нибудь в моем гардеробе.

* * *

Непонятно, откуда в ту ночь нашлись силы вести машину. В предрассветной дымке Каролин гнала на большой скорости, резко тормозила на перекрёстках. Ехали молча.

В клинике было пусто, только старая медсестра сидела за конторкой. Каролин сама заполнила многочисленные формуляры и на вопрос, кем она приходится девушке, коротко ответила:

– Матерью!

На обратном пути притихшая Джуди то и дело хлюпала носом. Неожиданно Каролин спросила:

– Своей маме расскажешь?

– Никогда! Ни за что на свете! – вскричала Джуди.

– Почему?

– Я ей не верю. Однажды я сказала ей о своей первой любви, а она потом разнесла по подружкам. Представляешь, – спустя полгода её приятельницы спрашивали меня об этом парне, ...хихикали. Нет... она только сплетни распустит. Мне некому говорить. Я – одна.

– Ничего ты не одна. Я с тобой, – попыталась поддержать её Каролин.

– Всё равно одна... Знаешь, как нас привезли к отцу? Он позвонил матери и объявил, что женится. И она, хотя мы сидели в той же комнате, потребовала, чтобы он нас забрал:

– Твои дети, вот и воспитывай! – и отправила нас собирать свои вещи... И в тот же день мы уехали... В первые минуты знакомства ты мне понравилась. Но я быстро поняла, что от мачехи любви не дождёшься!

Каролин так резко затормозила, что завизжали тормоза. Она съехала на обочину дороги, повернулась к падчерице:

– Джуди... я ждала ребёнка, а ваш отец попросил, чтобы я о нём слова не говорила... У меня не было повода к ненависти.

– А я столько раз мечтала потрогать твой живот и почувствовать, как ребёнок шевелится. Мечтала прижаться покрепче... Но ты нас не видела... Только один раз зашла в мою комнату, когда я

сильно болела. Так хотелось, чтобы ты меня пожалела... я тобой всегда восхищалась... такая красивая, женственная... Но всё, что вокруг – тебя не волнует. Закрылась в своей раковине и всех отвергла!

И тут Каролин будто прорвало.

– Послушай, я была молода, и даже не представляла, что такое быть мачехой! Каждый раз, когда пыталась проявить к вам толику участия, вы меня отталкивали, избегали, на любой мой вопрос только фыркали в ответ, и я чувствовала себя дурочкой. Думаешь, это просто – потребовать что-то сделать, когда не знаешь, имеешь ли право распоряжаться.

В таком бедламе, как наш дом, единственное, что я могла – сосредоточиться на собственных детях и попытаться воспитывать их по-христиански. Люблю их, они для меня – самое важное в жизни! Однако, как всякая мать, я должна их наказывать за провинности, иногда и поругать. С вами – совсем другое дело: повысить голос – значит, дать повод для пересудов: мол, издеваюсь над падчерицами, агрессивно давлю на их эмоции, а ведь любой суд встанет на сторону притесняемых подростков.

Страх... постоянный страх – вот что меня сковывало... Приходилось следить за каждым словом, за каждым жестом, чтобы ненароком не обидеть вас... Я не умела быть мачехой, а только пыталась научиться.

– Почему ты говоришь о суде? Неужели ты считала нас такими подлыми?

– Но вы могли наябедничать отцу, а он…

– Неправда, мы всегда были на твоей стороне. Мы же не слепые – знаем ему цену.

– Ну, я же говорила, что не умею быть мачехой…

– Ты не мачеха! – бросилась Джуди к Каролин. – Теперь у меня никого нет, кроме тебя…

В то утро они ещё долго разговаривали обо всём на свете, плакали вместе, выплёскивали друг другу, что накопилось за долгое время. Возвратились домой уставшие. Каролин уложила падчерицу в своей спальне, чмокнув в лоб со словами утешения и любви...

В ближайшее воскресенье Каролин не пошла в церковь, а вместе с детьми и Джуди уехала в парк. Они катались на американских горках, ели мороженое и, пожалуй, впервые за многие годы Каролин смеялась от души.

«Да, именно тогда я освободилась от окутывавшей меня пелены недомолвок и лживости. Казалось, увидела всё в других красках. Мир, от которого я пряталась, небезупречен, что и говорить, но это – моя жизнь! – подумала Каролин. – Вернусь домой, напишу длинную электронку в Россию, Мариям... Интересно, доведётся ли нам когда-нибудь встретиться?»

Продолжение следует…

Александр Аханов
КРАЙ ЗЕМЛИ. АВГУСТ
Из цикла «Легенды Карской экспедиции»

Вот и наступил незаметно август.

Шумит море, гонит волну, мутную от песка, холодную от близких льдов. На далёком-далёком горизонте угадываются сами льды едва видимой, синей от большого расстояния полоской. По берегу кулички бегают, отпечатывая на влажном песке крестики следов, что-то клюют, попискивают, халеи-поморники сидят на разломанной и вросшей в песок барже – тяжёлые, важные. А если шагают – валко, тяжело – жир к зиме копят. Солнце висит над самым краем моря, словно кусок расплавленного металла, и оно уже не такое весёлое, как в мае.

Но по северным меркам очень тепло, жарко даже, вполне можно обходиться без шапки и уж тем более без ватника. Нет почему-то комаров, и это здорово. А какой простор! Хоть смотри налево, хоть направо, – пушистая тундра, разноцветная тундра, бескрайняя тундра. Чуть шевелится на песке под лёгким ветерком обрывок залетевшей, наверное, из посёлка газеты «Тюменская правда».

Глеб наклонился, поднял четвертушку листа.

– Вот! Воронам где-то на краю земли ненецкий бог послал кусочек правды! Так-так, и что там пишут о нас, скромных тружениках

семьдесят первой параллели? Ага! Срочно меняю двухкомнатную квартиру в городе Чимкенте... таак… как специально – вот и мы! «У студёного моря» – бывают же такие совпадения! Кто-то с «Большой Земли», видимо, привёз, не могла же она прилететь из Тюмени! Как раз о Карской говорится, о Кожевникове и прочих... – Он, прочитав заметку передал её Доценту. – На, Толя, газетку. Как только «Тёща» появится (Глеб имел в виду бурового мастера Кожевникова, которого за определённые черты характера прозвали именно так), ты ему по старой дружбе заметочку – р-рраз, а он тебе зарплату повысит!

– Повысит, как же! Да он и за нормальную душу вынет, прополощет и суровыми нитками пришьёт! – Доцент, тем не менее, спрятал лоскут бумаги в карман, столь же бездонный и внушительный, как и недра его широко известной кровати. – А вот о нас никто не напишет, всё о начальстве!

– Мы ещё посмотрим! – Глеб хитро покачал головой. – Я возьму, да опишу наши с вами похождения. Но тогда пощады не ждите! Как?

– А давай! Получится, значит, не зря книжки читаешь, да газеты выписываешь!

Игорь, Глеб и Доцент сидели на самом краю «края земли», как ненцы называют полуостров, и просто смотрели в море: далеко к неведомой им цели стремился неизвестный же корабль. Может быть, пограничники ловили каких-то нарушителей, хотя, какие на Харасавэе могут быть шпионы? Одни локаторы, в маленькой части ПВО, ну, там ещё пару секретов средней руки… На острове Белый, что в относительной близи, тоже часть ПВО, и всё! А, может, это соседние (через полюс, разумеется, канадцы) заблудились и теперь несутся на всех парусах сдаваться местным властям, пока не повязали? Известно ведь – явка с повинной смягчает вину, вот моряки и торопятся...

– Искупаться, что ли, – Доцент, проводив взглядом стремительный корабль, сбежал с берега и, сняв неизносимые рыбацкие сапоги, осторожно вошёл в воду. – Ого! Да ну её к ненецкому богу! Туберкулёз враз заработаешь!

Он был недалёк от истины – вода в Чёрном море – так, ему объяснили в экспедиции, переводится с ненецкого или с татарского слово «кара» – чёрный, чёрное, – была действительно холодной, градусов около пяти или семи. Но ошибались и Доцент и геологи. Скорее всего, слово «кара» означает залив, заводь, глубокое место на реке и имеет финно-угорское происхождение. Река Кара, по имени которой названо Карское море, таковой и является – все прелести сразу. Впрочем, сейчас это к делу не относится.

– Вот, вот. Разочек нырнёшь и можно сразу называть это место твоим именем, – Глеб тоже попробовал походить по мелководью, да ноги не выдерживали, сводило через минуту. – Это тебе не Геленджик, или не Кабардинка, даром, что Чёрное море! Вроде и солнышко сияет, и песочек тёплый, и птички летают, а неуютно. Север, как-никак. Но красиво! Одно утешение!

– Эй, парни! – Доцент, прыгая в одном сапоге и пытаясь натянуть второй, остановился, приглядываясь к чему-то на песке. – Идите сюда! Я партизан нашёл!

– Видите, «мелкушечные» гильзы? Охотнички из запрещённых стволов палят! Интересно, в кого? А ведь Нос наверняка знает, что стрельба идёт, а? Значит, кому-то можно, хоть и нельзя!

«Нос» – это кличка участкового, по национальности не то азербайджанца, не то армянина, что-то забывшего на крайне Крайнем Севере и обладавшего здоровенным, баклажанообразным, красным, как в анекдотах носом. Бывает и такое в природе. Поговаривали, что Нос «закрывает глаза» на «баловство с ружьём» своего племянника, работавшего водителем в экспедиции, и на некоторые другие факты присутствия запрещённого здесь оружия. Однажды его племянник, балуясь в прямом смысле с ружьём, умудрился прострелить себе ладонь. Племянника вылечили, ружья «не видели», а чрезмерно любознательным намекнули, что грехов у каждого столько, сколько букв в русском алфавите. «Работат хотытэ и дэнги зарабатыват? Вот и работайтэ!»

Как-то Нос пристал и к Глебу – тот вёз домой небольшой рог оленя, детям показать. Одно дело в кино или даже в зоопарке – другое дело руками потрогать, к Северу прикоснуться! Так Нос, случайно увидев этот кусочек в ладонь величиной, едва не снял Глеба с рейса – так разорялся по поводу «браконэров, так и шныряющих по

полуострову!» Знал бы о «ТТ» – лежащем в портфеле Глеба – звёздочки на погоны прилетели бы незамедлительно! Но такого счастья Глеб, естественно, не мог доставить участковому и едва не выбросил рог в тундру, не вмешайся в конфликт какая-то дама из бухгалтерии. Она сказала Носу, что это не рог, а насмешка, а вот на берегу лежат настоящие рога, а кто их туда притащил, пусть инспектор и выяснит. Нос отцепился и ушёл «инспэктироват» берег. Рога он действительно нашёл, но куда они затем исчезли – неведомо…

Позднее, сидя за традиционным «вечерним» чаем, который вечерним можно было назвать с большой натяжкой – солнце по-прежнему висело над тундрой, щедро обливая её и море радостным светом, и это в двенадцатом часу ночи, если смотреть на часы! – Глеб сказал вдруг: – Ну, и где оно, счастье?

Товарищи посмотрели на него недоумённо.

– Я спрашиваю – где это самое бескрайнее, безоблачное, невыразимое счастье, чёрт его возьми?! – Глеб допил чай. – Какого дьявола мы, кретины, притащились сюда, на всамделишный край земли? Что за беда притащила тебя, Доцент, или тебя, Игорь? То же спрашиваю у себя – что, дома хуже? Ну, посмотрел я на тундру, на море-океан, ну, отремонтировал пару кранов. И что? Бурили ведь и без нас, и далее будут. И в газеты писать не о нас... как правильно заметил Доцент.

Доцент пожал плечами:

– Аа... ты вот о чём... Счастье, говоришь... Да какое там счастье. Меня деньги пригнали. Дом совсем маленький, пара комнат, маленький ведь? расширять надо – дети растут. Да и вообще не хватает того, этого... Жена говорит: «У соседей, вот, машина, а мы чем хуже?...» и так далее... Ну и я ведь тоже хочу, чтобы дети учились в институте, а это опять деньги, будь они неладны. Вот и торчу здесь по восемь месяцев в году... Одно хорошо – отпуск большой. Ну, ещё мужики нормальные попадаются, не то, что на Большой Земле!

Игорь закурил сигарету, долго и сосредоточенно следил за образовывающимся пеплом и когда тот упал-таки на пол, подал голос:

– Чего это тебя укусило? Да все мы тут слегка... счастливые... Я ведь тоже первое время в восторгах весь: «Ах! Тундра!

Ах, птички летят тучей!» Деньги, деньги! Куда без них! Ведь жениться хотел – и подругу, казалось, нашёл. Именно казалось. А она возьми, и к другому – прыг... в машину. У меня ведь «Жигуля» не было и не светило. Где на неё в нашем малогабаритном Заводоуковске заработаешь? Все рыбные места забиты. И вот – моя дама раскатывает уже в авто и носит не фамилию Петрова, а вовсе даже иную.

Конечно, мне досадно стало, стерва такая, а потом успокоился. Оно и к лучшему – что бы она потом выкидывала, а? Подёргался, подёргался и на Север подался. В поисках лучшей части жизни. Так и привык, уже третий год кантуюсь. Счастье... Вот, заработал уже на машину, на хрен бы она была нужна! Даже на квартиру есть. Жениться хотел. А не получается – тех, кого не нужно, встречаю, а такой, как та... мамзель – не видел. Вот тебе и счастье. Иногда думаю – всё! Бросаю к такой маме экспедицию и на Большую Землю, навсегда. А не получается. Тут вроде бы надоело, а приезжаю в город – вроде бы и блага цивилизации налицо – не то! Не то! Говорят, Север притягивает. Может, это и случилось, может, такое это моё счастье? Да и вообще, как и любовь – оно есть?

Глеб тоже, как и Доцент, пожал плечами:

– Ты думаешь, я так просто спросил? Нет. Я, когда сюда устаивался, комиссию медицинскую проходил, думал: ну, вот устроюсь, денег заработаю, на мир посмотрю – это ведь счастье, что именно мне удалось сюда устроиться, не у каждого ведь здоровье есть для Севера. Оказалось, здоровье у меня есть, давление как у молодого, кровь первый сорт! Ну, устроился, побродил по тундре и так далее... а домой-то тянет. Детей не вижу по два месяца – какое тут счастье? О жене и не говорю.

Посидели, помолчали.

– А знаете, мужики! – Доцент отставил чёрную, закопчённую кружку, насквозь пропитанную кофеином. – Я ведь помню счастливый день! Точно помню! Это когда мне впервые после войны сапоги купили. Личные. Собственные. Мои! Я ведь с братом в школу по очереди сапоги носил. Он в первую смену ходил, я во вторую, а тут – своя обувка. Вот это была радость! И счастье, наверное, а?

Виктор Богданов
ЛЕЧЕНИЕ СНОМ

Я долго страдал бессонницей, и ничто мне не помогало.

Однажды я наткнулся в газете на объявление: «Гарантирую сон. Быстро. Без побочных эффектов. Недорого».

В отчаянии я позвонил, услышал ласковый женский голос и сделал заказ на дом.

Вечером ко мне пришёл врач – женщина. Описать я её затрудняюсь.

«Импотент?» – спросила она, едва я открыл ей дверь.

«Н-нет...» – ошеломлённо пробормотал я.

«Не импотент. Однако шизофреник, – заявила женщина, пристально посмотрев на меня. – Вижу с первого взгляда – привычка... Настоящие импотенты, как правило, без проблем, – пояснила она ещё. – Гений, тебя ждут великие сны! Ты ведь сильный мужчина, правда?..»

Я только растерянно и со страхом закивал головой.

Я прошёл за женщиной в свою комнату. Она обернулась:

«Ты будешь со мной спать!»

Это прозвучало как приказ, и я промямлил в ответ:

«Да-да... Понял...»

Она сладострастно рассмеялась, скинула с себя всю одежду и легла на диван. «Нимфоманка! – подумал я. – И хочет, чтоб ей же ещё и платили...»

«Ну, как дела?» – спросила женщина погодя.

Я смотрел на неё, чувствовал, что возбуждаюсь, и поэтому злобно ответил:

«Лёд тронулся!»

«Ха-ха-ха! Ледоход будет мощным! – изрекла она, облизнувшись. – Раздевайся, малыш, и ложись на меня! Первый сеанс провожу с тобой даром!..»

Я сделал так, как она велела, и занимался с ней любовью, пока совершенно бесчувственно не уснул...

Проснувшись утром, я увидел пустую комнату и решил, что всё это мне приснилось. Но сон казался таким сладким, и я понял, что теперь буду очень ждать его повторения, и в результате снова заболею бессонницей...

К счастью, вечером в дверь позвонили, и я увидел моего врача, нежно улыбавшегося мне. Всё было, как и вчера.

«Ложись!» – сказала женщина.

Я лёг на неё и мгновенно уснул.

Во сне я внезапно услышал её голос:

«Спишь?»

«Похоже, сплю», – ответил я удивлённо.

«Снится что-нибудь?»

«Н-не знаю», – засомневался я.

«Смотри лучше».

Я напрягся и понял, что начинаю жить в долгом прекрасном сне.

«Мне снится моя мать, – сообщил я врачу-невидимке. – Да, мать...»

«Хорошо тебе?»

«Хорошо».

«Спи».

«Спасибо».

И я погрузился в светлый счастливый сон о матери...

Мне казалось, что он никогда не кончится, мне не хотелось, чтобы он кончался, но потом кто-то буквально вытряхнул меня из него.

Я ещё не успел ничего понять, как женщина-врач протянула ко мне руки и вырвала мои глаза. Мне стало больно, и я закричал...

«Это плата?» – прошептал я, ослепший, когда немного пришёл в себя.

«Крохотная. Она тебе даже на пользу. Так ты будешь скорей засыпать».

Она хищно захохотала и ушла...

Я был уверен, что больше не хочу так платить. Но искалеченные места невыносимо болели, и я уже знал, что не перестану мучиться, если меня снова не усыпят...

«Ложись!» – крикнули мне.

Я лёг на неё и мгновенно уснул, забыв о боли.

«Спишь?»

«Сплю».

«Видишь что-нибудь?»

«Я же теперь слепой!»

«Это неважно. У слепых – самые яркие сны. Смотри лучше!»

Я напрягся и понял, что начинаю жить в долгом прекрасном сне.

«Мне снится девушка, – передавал я врачу. – Красивая девушка с длинными тёмными волосами...»

«Ты любишь её?»

«Да».

«А она тебя?»

«Я думаю, да. Мы хотим с ней пожениться, родить детей и всегда быть вместе...»

«Хорошо тебе?»

«Хорошо».

«Спи».

И я погрузился в светлый сон...

Мне казалось, что он никогда не кончится, мне не хотелось, чтобы он кончался, но вдруг кто-то разбил его, как ёлочную игрушку.

Я проснулся, и явь была нереальнее сна, потому что я ничего не видел. Я почувствовал, что мне рубят ноги, вырезают мужские органы, и закричал...

«Эта плата чудовищна», – стонал я в нечеловеческих муках, временами теряя сознание.

«Что ты! Она тебе в помощь. Теперь тебе будет совсем просто заснуть – ведь больше тебе и делать почти нечего», – слышал я злорадный голос врача.

«Я сам засну! Я же стал импотентом!» – взмолился я, смутно вспомнив что-то очень далёкое.

«Твоя голова отменяет любую импотенцию! Впереди ещё великие сны! А сам ты не дотянешься к ним из-за боли», – возразили мне.

И тогда я заорал:

«Хочу уснуть! Помоги!»

«Спи», – врач навалилась на остаток моего существа грудью, и я мгновенно уснул.

«Куда ты идёшь?»

«У меня нет ног, у меня нет глаз. Я не могу идти!»

«Это неважно. Слепые – лучшие странники. Безногие – странствуют в мечтах... Куда ты идёшь? Думай!»

Я задумался и понял, что живу в долгом прекрасном сне.

«Я иду на родину, – рассказывал я женщине. – Я слышу шорох её лесов, я чувствую её запахи...»

«Хорошо тебе?»

«...Я верю, что хорошо».

«Спи».

И я погрузился в сон...

Мне казалось, что он будет всегда, мне хотелось, чтобы он был, но постепенно сон иссяк, словно ручей в зыбучем песке, и я проснулся.

Сквозь дикую боль я услышал звериный хохот. Моё туловище стали отпиливать, и я упал в тёмную пустоту...

«Очнись! Очнись!» – кричали мне.

«Меня больше нет», – то ли сказал, то ли только подумал я.

«Врёшь! Тебе что-то снится! Что?!»

«Мне снится сон о Христе... – начал я, едва шевеля языком. – Нет, это я сам Христос... Мои руки прибивают к дереву, и я вижу перед собой огромное лучистое пространство...»

«Дальше!» – подстегнули меня.

«Дальше... Теперь я прибиваю кого-то на крест... Я прибит... и я прибиваю другого...»

«Тебе хорошо?»

«Сейчас мне будет ещё лучше...»

«Прекрасно. Спи».

И я спал...

Мне хотелось, чтобы сон кончился, но мне отрубили в нём руки, и я попал в новый сон.

«Как дела?» – услышал я знакомый, почти уже родной, голос.

«Не знаю».

«Снится что-нибудь?»

Я долго думал и догадался:

«Мне снятся сны... Сны о матери, о девушке, о родине и о Христе... И ещё много снов снится... А теперь мне снится сон об этих снах – о том, что все они скоро кончатся...»

«Это хорошо?»

«Да, очень хорошо».

«А почему они тебе снятся?»

«Потому что мне снится сон о женщине, которая погружает меня в них».

«Кто она?»

«У неё много имён».

«А зачем она это делает?»

«Она лечит меня. Но я думаю, она меня вылечила. И я хочу, чтобы этот сон кончился».

«Плати».

«Я заплачу».

«Придётся платить дважды. За сон о снах и за сон о женщине, которая лечит снами».

«Я согласен. Разбуди меня ради бога!..»

Она вздохнула и вырвала мой язык.

Я проснулся от сна о снах и опять услышал её голос:

«Спи! Теперь спи без снов».

«Почему? Так нечестно!» – попытался промычать я.

«Потому что тебе больше нечем платить за услугу!» – захохотала женщина.

«Я плачу!!!» – мысленно возопил я.

«Будь по-твоему», – зловеще процедила она.

И тогда я понял, что сейчас она разобьёт мне голову...

21 мая 1996

Наталья Елизарова
СИЛЬФИДА ИЗ ТРОЛЛЕЙБУСА

Что испытывает человек, перебирая ворох вещей из прошлого: ностальгию, священный трепет, волнение с оттенком грусти? Чёрта с два! Он испытывает раздражение оттого, что этот хлам занимает так много места и чувство жгучего стыда – неужели я был тогда таким наивным?

…Письма, как их много: полустёршиеся листки из школьной тетради, расплывшиеся чернильные каракули. С позором вспоминаю, как я их целовал, пытаясь угадать, куда прикасались твои

пальцы. Мне кажется, даже спустя десять лет я ощущаю запах твоей парфюмерии – тошнотворно-приторной, отвратительной своей назойливостью.

Сколько бесполезных, ненужных безделушек! Когда-то они умиляли меня, и я пел дифирамбы этой безвкусице… На колени падает засохшая роза – уродливая, с корявым стволом и агрессивными шипами… Без малейшего сожаления откладываю её к вещицам, ждущим своей очереди на выброс: здесь стихи, которыми ты восторгалась – образец бездарности и графоманства, пластинка с мелодраматической мурой, которая много лет назад казалась мне божественной и вызывала слезу, и мой дневник, в котором я, размазывая сопли, убивался оттого, что ты полюбила другого и бросаешь меня. Я даже не осуждал тебя, восхищаясь твоим стремлением быть честной… Неужели из-за этой маленькой шлюшки я когда-то пытался покончить с собой?

«…Обшарпанный, грязный троллейбус, заплёванный семечками пол, угрюмые лица пассажиров, звериный рык кондукторши и среди всего этого ты – нереальное, неземное существо, как будто прилетевшее из сказки. Ты вошла, и мне вдруг как-то сразу стало тепло… А ещё говорят, что чудес не бывает…»

«…Ты едва доставала до моего плеча, была такой маленькой и хрупкой, что мне хотелось взять тебя на руки... Я наклонился и поцеловал тебя… Ты, смеясь, сняла перчатку и стёрла с моего лица помаду. Я перехватил твои холодные пальцы и прикоснулся к ним губами… Аромат духов и твоё нежное щебетанье сводили меня с ума… Я выговаривал непривычные для себя слова: “Единственная моя, любимая”…»

«…Я задёрнул шторы. Моё сердце отчаянно колотилось… Я стыдился своего тела: оно казалось мне недостаточно мужественным: цыплячья шейка, худющие ноги, узкие девчоночьи плечики… Ты была ещё более скованна, чем я. Я шагнул к тебе и обнял…»

«…Ненавижу разлуку. Живу от письма до письма. У меня замирает сердце, когда я в окно вижу почтальона. В твоих посланиях

мне всё кажется родным: и старательный ребяческий почерк, и ошибки – милые и трогательные, и лёгкие, как прикосновение губ, штемпеля…»

«…Зачем мне жить без тебя? Я могу вынести всё что угодно – болезнь, лишения, пытки, тюрьму, но только не одиночество. Не лишай меня своей любви! Без неё я – ничто…»

Глупо, Боже, до чего же глупо!.. Я не придумал ничего другого, кроме как наглотаться аспирина (хотя, разумнее всего было бы излупить тебя, как собаку!) Помнится, выжрал целую пачку. Однако Вертера из меня не получилось. До конца жизни не забуду, как я корчился над унитазом в приступе рвоты. Как напоминание о том дурацком дне – гастрит, от которого я периодически загибаюсь…

Могу представить, на какой пьедестал тебя подняла вся эта история. Ещё бы, нашёлся идиот, который ради тебя хотел свести счёты с жизнью! Держу пари, ты вообразила себя роковой женщиной.

Не так давно мы случайно столкнулись в подземном переходе. Ты, сгибаясь под тяжестью сумок с продуктами, торопливо семенила по лестнице, рискуя поскользнуться на обледенелых ступеньках. Потёртый кожаный плащик, красные от холода руки, обесцвеченная перекисью водорода прядь волос, скорбная складка на переносице – неужели это ты?... Мы поравнялись. Ты невидящим, безразличным взглядом скользнула по моему лицу. И прошла мимо.

Мэри Кушникова
В НОЧЬ ПЕРЕД КАЗНЬЮ

Пролог, или два возвращения после долгого отсутствия

Обычные люди из одного и того же путешествия возвращаются единожды. Но то – обыкновенные. Господин Марко Поло умудрился вернуться дважды. Причём очень по разному.

Когда после изнурительного пятилетнего плавания из Империи великого хана Кубилая в родную Венецию братья Никколо и

Маффео Поло, удачливые купцы, а также их сын и племянник Марко, увидели как бы восстающую из моря Венецию, они уже решили, каждый для себя, как представить землякам и путешествие, и возвращение.

Старшие Поло своё долгое плавание намерены были обозначить как последнюю почётнейшую миссию, какой удостоил их Великий Кубилай за их верную многолетнюю службу, а возвращение – как вынужденное, потому что, как они узнали в пути, Кубилай умер, а другому господину они служить не хотели.

Марко же про себя знал, что в это опаснейшее плавание они трое были отправлены, скорее всего, чтобы никогда не увидеть ни Венеции, ни величественной столицы кубилаевой империи, Канбалу.

Но твёрдо решил, что ни словом о том не обмолвится, а, напротив, всячески станет поражать доверчивых венецианцев рассказами о своих похождениях и высоком положении при дворе хана.

Однако, это – первое – возвращение оказалось двусмысленным. Вопреки заблуждению Марко, венецианцы оказались вовсе не так доверчивы, как ему представлялось, – это они такими могли показаться издалека, на фоне многослойных отношений, что складывались при дворе Великого Хана Китая.

И когда Марко, встреченный, впрочем, радушно горожанами, убедился, что не производит на них ожидаемого впечатления, это надо же себе представить – такой высокий сановник при китайском императорской дворе! – он принялся – кому ни лень было слушать – излагать, кстати, весьма правдиво и ничего не тая, всё, что довелось увидеть и обо всех, кого довелось повстречать за прошедшие годы.

Сперва его слушали увлечённо, потом на лицах замелькали улыбки, через несколько дней послышались смешки, а вскоре до старших Поло дошёл слух, что в среде венецианцев, в ответ на описание виденных и привезённых им богатств, словоохотливый Марко получил кличку «Господин Миллион».

Но старики не на шутку обозлились и, запершись с Марко в рабочей комнате отца, прочли ему нелицеприятную отповедь.

– Ты, Марко, – веско сказал дядя Маффео, – при дворе хана непозволительно разбаловался. Да, там ты был куда более нас сведущ во всех тонкостях политики, а, стало быть, ощущал чувствительнее пульс торговли, но это время минуло и здесь, в Венеции, ты будешь придерживаться тех правил, которые не нами придуманы, а люди их чтут веками.

Так вот – сперва-наперво немедленно сними с цепочки эту нефритовую побрякушку, которой не место рядом с честным крестом. Не перечь старшим – каждому видно, что это женское кольцо. Ещё не хватало, чтоб до ушей нашего досточтимого Дожа дошло, что отпрыск всеми почитаемого семейства Поло носит около креста кольцо путаны...

– А я тебе вот что скажу, – прервал брата отец Марко, – мы, конечно, всё сделаем, чтоб восстановить в городе твоё доброе имя, иначе и думать нечего о процветании торгового дома Поло – но знай, ты остепенишься, женишься, станешь жить, как все в Венеции живут. И никаких разглагольствований на площадях, а то на тебя ходят смотреть, как на заезжего жонглёра, позор нам!

И ты, будь добр, в моём присутствии изволь снимать головной убор. Это тебе не дворец Кубилая, где столько сброда из всех стран собралось, что только по головному убору и узнаешь, с кем сидишь рядом за столом. А теперь иди. Мы с дядей обдумаем, как выправить твоё положение, – да что твоё! – общее наше положение...

Марко, понурив голову, молча вышел. Ему перевалило за тридцать и по меркам его недавнего прошлого он – муж зрелый и хозяин своей жизни. По меркам же Венеции он, прежде всего, пока жив отец, то есть глава дома, – всего лишь покорный сын и продолжатель рода. Так что, похоже, жениться-таки придётся. И подумать только – сам Кубилай нередко спрашивал у него совета! И в его личных сундуках лежат такие сокровища, что, если бы венецианцам показать, – глазам бы не поверили и посчитали бы, что видят сон в бреду...

Но – чтобы снять колечко – этому не бывать!

Между тем, Никколо и Маффео, которые в Китае некоторым образом чувствовали себя под защитой Марко и беспрепятственно богатели, сейчас ощущали гнёт ответственности за честь рода

и смутное беспокойство оттого, что придётся-таки выделить Марко его долю прибыли – без него в Китае пришлось бы им солоно и нередко довелось бы думать не об удачных торговых операциях, а как бы сохранить жизнь...

Но, может, удастся избежать делёжки, если хорошо дать почувствовать Марко, что именно они, старшие рода, восстановили в Венеции его доброе имя и смягчили насмешливое к нему отношение.

– А почему, собственно, не поставить их перед фактом? Я имею ввиду венецианцев, – сказал Никколо. – Они сомневаются в рассказах Марко? А мы устроим им представление, – уже потирал руки более изобретательный и более гибкий из старших Поло, отец «блудного сына».

Из двух братьев он куда сильнее проникся духом Кубилаевой Империи, дворцовыми обычаями, некоторой театральностью всех связей и отношений между людьми, а также придворного этикета. Так что идея устроить «показательный приём» принадлежала ему.

Приём устроили на славу, пригласили чуть не всю Венецию и разыграли-таки настоящее представление. Сперва хозяева появились в рубищах – символ ничтожности человеческой жизни, потом в атласе, бархате и парче – символах воздаяния за усердный труд, в данном случае купеческий. А как же россказни хвастунишки Марко?

А вот так: в парадную комнату внесли лари и ссыпали на покрытый белейшей скатертью стол множество драгоценных камней – причём глаза у венецианцев просто-таки округлились, поскольку среди них было немало рубинов, а цены на них в Венеции были баснословные, а уж россыпь крупных, круглых жемчужин повергла всех в оторопь.

– Третья часть всего, что вы видите, по праву принадлежит Марко и являет собою плод его неустанных трудов, не только в торговле, но и в высшей дипломатии при дворе едва ли не наиболее могучего в мире правителя, китайского хана Кубилая.

Когда гости разошлись, отец, уже стоя на пороге парадной комнаты, сказал:

– Всё это было проделано, как ты, наверное, догадываешься, для твоей реабилитации в глазах соотечественников. А теперь –

изволь подняться. Ты позволяешь себе сидеть в присутствии отца. И сними берет. Я уже говорил тебе, что пора отвыкать от китайских привычек.

На том и вышел.

А Марко, так и не поднявшись, ещё долго сидел и сжимал в ладони, вместе с крестом, узенькое колечко из яблочно-зелёного нефрита, в тайне души благодаря судьбу, что отец хотя бы о нём не вспомнил...

Молва

Жизнь в Венеции – однообразная. Марко всё казалось скучным и нищенски убогим, по сравнению с роскошью, в которой он жил много лет.

Теперь над ним почти не подтрунивали, но обидная кличка нет-нет, а звучала. Более того. Кто-то сообщил старшим Поло, что сам Дож, наслышанный о Марко и его дипломатических и мореходческих способностях, пожелал его повидать и назначил ему приём.

Старшие волновались, это была неслыханная честь, но Марко заупрямился и сказался больным, да так естественно разыграл маету животом, что к нему даже приставать не стали.

Единственное неудобство, – Дож прислал к нему – тоже небывалая милость! – своего лекаря, а также и священника.

Ну, лекарь – понятно, полечить. А священник?

Искушённому в куда более сложных интригах, Марко нетрудно было догадаться, что молва своё дело сделала: его смелые суждения про многообразие мира и удивительную разность, а одновременно сходность людей – будь они белолицые, желтолицые или чернокожие, будь они мусульмане, христиане или иудеи, не могли не взволновать Дожа.

Значит, священник послан его «прощупать».

И священник «щупал», как умел:

– Говорят, сын мой, что ты не носишь креста?

– Ношу, конечно же! – удивился Марко.

– Покажи!

Марко показал.

– А что это за кольцо висит рядом? – спросил священник, не ведая, что как бы подаёт руку на четверть века вперёд другому

своему коллеге, который станет соборовать Марко незадолго до его кончины.

– Это самое ценное сокровище из всех, что я привёз, и я ношу его на шее из боязни похищения, – нашёлся Марко, – но вот другое, с которым я тоже никогда не расстаюсь из-за его ценности, и его я хотел бы просить вас, отец мой, передать достопочтенному Дожу, в знак моего верноподданства и извинения за то, что позволил себе занемочь в день оказания мне такой чести и приглашения меня на приём...

И Марко вынул из кисета, что тоже носил на шее на длинном кожаном ремешке, кроваво-красный рубин небывалой величины и передал священнику.

Когда тот ушёл, Марко немедленно поднялся со своего ложа и сплюнул:

– Подумаешь, Дож, – тоже мне владыка! «Жених моря»! Ему бы на Кубилаево величие хоть одним глазком взглянуть, когда он повелевает утром через своего астролога, чтобы солнце взошло! А этот – в его нелепых красных сапожках тоже возомнил о себе, что повелевает морем! Зря, зря отдал я ему камень, – вздохнул Марко, – но ведь иначе ни от него, ни от священника не отделался бы...

На мгновение он вспомнил, как подарил ему этот камень Кубилай за особо удачную миссию, и что случилось это именно в день со злосчастным нарушением «этикета кубка», повлекшего столько бед, и решил, что как бы совершил предательство, отдав этот дар Дожу. Впрочем, если вспомнить всё, что связано с Кубилаем...

Но он не хотел вспоминать.

Он дал себе зарок – не вспоминать.

Иначе жить в Венеции, маленькой, тесной, с вечным сероватым туманом над каналами и хлопотливо снующим скопищем людей на узких улочках вдоль этих каналов – было бы невыносимо.

А между тем Венеция слыла в ту пору одним из богатейших и прекраснейших городов Европы, но что до этого Марко! Никогда не «прирастёт» он к этому городу, он в нём – чужой и всегда останется чужим...

Неожиданный поход

Невдолге старшие Поло сообщили Марко, что извечный конкурент и противник Венеции, Генуя, никак не угомонится и вновь затевает козни, а потому все торговые дела идут под уклон, так что нельзя исключить, что вскоре придётся вновь воевать с Генуей, а от этого купцам – ничего кроме убыли.

Впрочем, как слышно, Дож дал понять, что, если в самом деле положение осложнится, «капитан Марко», как нередко теперь называли молодого Поло – был бы для венецианского флота бесценным человеком и он, Дож, на него рассчитывает.

Так что, как бы не успев освоить место у очага в отцовском доме, равно не успев обзавестись женой, «капитан Марко» вынужден был ввязаться в очередную авантюру. Так называли старшие Поло все торговые и дипломатические миссии, которые доводилось Марко вести за последние двадцать шесть лет.

Впрочем – выбора не было. Он представлял торговый дом Поло, генуэзские корабли блокировали в гаванях венецианский флот, так не его же отцу и дяде браться за арбалет или за меч.

Многочисленный флот генуэзцев вышел осенью 1298 года в Адриатическое море и шёл на Далматинский берег, подвластный венецианцам. У венецианцев было 90 галер и они были полны решимости истребить вражеский флот – дело нешуточное, нужно было, наконец, открыть путь торговым суднам, которые скопились в венецианской гавани.

Одним из кораблей управлял Марко Поло. Что ему был путь по Адриатике, коли он на вёслах прошёл в своё время из Китая в Аравию! Но тут разразилась небывалая буря. Подняли паруса и всё, казалось бы, шло хорошо, но вдруг небо очистилось, встало солнце и как бы прямо от него вышли навстречу генуэзцы. Спустить паруса и выбрасывать вёсла было поздно, да и солнце слепило. Генуэзцы шли быстро на вёслах и на расстоянии выстрела из лука началось сражение. Сцепились галера с галерой. Вёсла давно бросили и рубились на мечах. Венецианцы хотели было отступить, но ветер теперь был против них. Знаменитые генуэзские арбалетчики завершили победу.

Семь тысяч моряков Венеции попали в этот день в плен к генуэзцам. Столь велико было отчаяние венецианцев, что предводитель флотилии бросился с мачты на палубу своей галеры и разбился насмерть. Марко Поло взяли в плен живым во время сражения.

Генуэзская тюрьма была построена как бы кругами, похожими на ад, который несколько позже описал в своей поэме флорентинец Данте. В тюрьме говорили на разных языках. Заключённые давно переругались друг с другом, – ругались, в основном, на итальянском, – хотя общим языком был французский – признанный придворный и купеческий язык.

И тут судьба свела Марко Поло с неким пизанцем Рустичиано, тоже взятым в плен во время другого сражения. Рустичиано был писателем. По крайней мере, он сам так себя называл, хотя на самом деле просто перелагал, сокращал и переиначивал, расцвечивая любовными историями старинные романы о рыцарях Круглого Стола. Рустичиано сидел в тюрьме так давно, что все истории, которые рассказывали друг другу заключённые, уже знал наизусть и потому капитан Марко Поло был для него вестником как бы другого мира. Он говорил о Китае, о диковинных обычаях Тибета, монгольских воинах и, конечно же, о торговых путях.

В тюрьме, как ни странно, в отличие от родной Венеции, Марко Поло верили. Потому что большинство заключённых были либо мореплаватели, либо купцы и гостевали в некоторых краях и морях, которые описывал господин Марко.

Когда он появился в тюрьме, Рустичиано сидел уже двенадцать лет. Он слушал-слушал нескончаемые истории капитана Марко, а потом, наконец, уж неизвестно каким чудом, достал бумагу и писчие принадлежности и стал записывать рассказы «Господина Миллиона».

Сперва он попросил господина Марко рассказать как бы вкратце всё, что наиболее поразило его за двадцать шесть лет путешествия. Записывал каждый день маленькие главки, сколько успевал.

Марко Поло сердился: история «зацеплялась» за историю, уложиться в главки было невозможно. К тому же Рустичиано путал татарские имена.

А между тем война кончилась, но генуэзцы не спешили отпускать Марко, хотя относились к нему с полным уважением: он был их самый ценный трофей, на нём лежал как бы отблеск величия самого хана Кубилая.

Так была написана, а, вернее, продиктована давно задуманная книга, которая совсем не походила на ту, какую представлял себе Марко Поло, а потому он даже не взял её с собой, когда уезжал из Генуи в Венецию, решив про себя, что то самое важное, что он хотел запечатлеть на бумаге, он напишет сам, в тайне своей рабочей комнаты.

В углу комнаты стояло ложе с шёлковыми простынями до пола по привычке, усвоенной во дворце Кубилая. У окна – резной стол и резные же высокие византийские стулья. Тут можно было спокойно работать...

Второе возвращение

В Венеции его приняли радостно, отец, в конце концов, даже позволил ему не снимать шляпу с головы в своём присутствии, что водилось нечасто в купеческих семьях, но это был как бы выкуп: никто не знал, сколько времени пробудет в генуэзской тюрьме господин Марко и потому, по обычаю, для продления рода, его изрядно помолодевший отец вновь женился – и тут Марко почему-то вспомнил о некоей маленькой блуднице, которую некогда приблизил к себе стареющий хан. Так не о том ли вспомнил и отец, что «ничего так не молодит стареющего мужчину, как близость юной отроковицы» – так говорил лекарь Айсе...

Так что, вернувшись домой, Марко встретился с новоявленными тремя братьями.

– Превосходные дети, дорогой мой сын, ты будешь их очень любить! – убеждённо сказал отец.

Марко не обиделся, и тут же понял, почему отец так милостив – пусть, де, носит свой берет в его присутствии, и пусть забирает свою долю имущества.

Вскоре он тоже женился – не очень счастливо, поскольку некое печальное происшествие так и довлело над его жизнью, но, впрочем, утешал себя тем, что вряд ли бывают счастливые браки.

Теперь он жил «как все», в смысле соблюдения обычаев. Но, по сравнению с другими, он был очень богат и обстановка его личной комнаты, в которую прочие домочадцы допуска не имели, располагала к тому, чтобы, наконец, «скинуть бремя».

Так состоялось второе возвращение господина Марко в Венецию, где его участие в боях было оценено как гражданский подвиг и вызвало к нему уважение, но для него это второе возвращение было куда горестнее первого. Потому что он понял, что, если уж «писатель» Рустичиано составил из его искренних и правдивых рассказов что-то вроде сборника забавных анекдотов, то, значит, никогда не удастся ему поведать всё, что он повидал и пережил, и никто никогда не поверит всерьёз ни одному его слову.

И вспомнил речи придворного лекаря хана Кубилая, христианина, итальянца Айсе: «Если хочешь, чтобы тебе поверили, никогда не рассказывай всю правду, а только её половину. Потому что жизнь уготовляет каждому столь невероятные испытания, что ни один сказочник не придумает».

И господин Марко решил жить дальше в нелюбимой Венеции, по завету Айсе. Если и рассказывал что-нибудь диковинное, то с такой лукавой улыбкой, что за ней явно читалось: «каково я над вами подшутил?»

Нет, не радостным было второе возвращение господина Марко. Сидя в тюрьме и рассказывая Рустичиано о своей жизни в Китае, он словно вновь в эту жизнь окунулся и сейчас во второй раз как бы сам себя исторгал, с плотью и кровью, из мира, которым он даже и сам не знал, как дорожил...

* * *

Итак, господин Марко Поло вновь вернулся в Венецию из тюремного заключения. Он по-прежнему изумлял своих сограждан необыкновенными историями обо всём, что видел и пережил в загадочных восточных странах, а также показывал иногда привезённые издалека сокровища, за что и был окончательно прозван «Господин Миллион».

Но самое драгоценное сокровище, самое потаённое, никому показать нельзя было, поскольку оно гнездилось в самых глубоких закоулках сердца Господина Миллиона, и ему ещё только предстояло найти для него форму и очертания.

Господин Марко Поло задумал написать книгу, в которой намеревался повествовать, далеко не так скупо и куда подробнее, всё, что видел и ощущал в неведомых доселе странах, казавшихся совершенно сказочными добрым венецианцам, чем позволял себе во время весёлых застолий в своём великолепном доме.

Ему и так мало верили, а если б он решился пересказать многие происшествия, участником коих был сам, его и вовсе посчитали бы сумасшедшим. Впрочем – слушок о «болезни головы» господина Марко и так шелестел по закоулкам Венеции. Хотя по заветам Айсе он «рассказывал только половину правды»...

Однако его сограждан не столь изумляли бархатные, парчовые, атласные ткани, привезённые с Востока, украшавшие его дом, сколь странный слуга, который следовал за господином Марко повсюду, что называется, по пятам, причём и облик, и имя слуги не могли не вызвать множества вопросов.

Слуга был довольно ещё молод, лицо имел белое, волосы русые, чем очень выделялся среди черноволосой венецианской толпы. О том, что он высок ростом, можно было только догадываться, потому что ступал как бы на полусогнутых ногах, что сильно уменьшало его рост. И видно было, что ступать ему нелегко, а, может, даже и больно. Звали слугу Ван-Хо. И вовсе уж непонятно было, как согласовать его китайское имя с белокурыми волосами и чуть вздёрнутым носом, какие нередко встречаются у славян. А славян венецианцы знали не понаслышке – с ними их связывали обширные торговые операции.

Господин Марко Поло всё больше мрачнел, хотя дела его процветали и в городе он пользовался полным уважением, так что угнетала его явно некая тайная печаль или некое бремя, которое он не знал как скинуть с себя.

На самом деле – мучило его и то, и другое. О печали он расскажет позднее в своей пока ещё ненаписанной книге, а бремя и являла собою сама эта книга, за которую он всё не решался приняться.

Бремя

С самого начала господин Марко к собственному удивлению ощутил некоторое затруднение, приступив к описанию событий

на итальянском языке. Оказывается, за долгие годы пребывания при дворе хана Кубилая, в голове у него образовалось диковинное смешение языков самых разных: монгольского, уйгурского, различных диалектов тюркских языков, включая и кипчакский, а равно и смешение алфавитов, на которых доводилось вести переписку по поручению хана с разными народами. Но потом – ничего, итальянский был всё-таки родней всех прочих языков, а латинский шрифт, – так ему казалось, – «врос» в саму плоть господина Марко, поскольку он повсюду возил с собою Катехизис на латинском языке. Но он ошибся. Писать по латыни он не умел, хотя всячески пытался.

Конечно, более всего не терпелось ему повествовать о той великой печали, которая тёмным крылом омрачила всю его жизнь и напоминанием о которой постоянно служил Ван-Хо. Но это было всё равно, что вновь раскровенить едва зажившую рану и он медлил. Кроме того, *та* неописуемо горькая ночь сейчас представлялась ему настолько мало правдоподобной, что скорее походила на некое игрище актёров, что в праздничные дни развлекают зевак на площадях Венеции.

А потому сперва нужно было, для лучшего понимания читателя, описать как бы сцену и декорации, где сыграна была одна из самых трагических страниц в жизни великого путешественника, который отсутствовал из дому целых двадцать шесть лет.

И всякий раз, едва приступая к работе, он уносился памятью в далёкий край, куда, если бы мог, вернулся хоть сегодня, пешком, но хан Кубилай давно умер, а он, Марко, уже был не в той поре, когда предпринимают великие перемещения. Однако это ему только так казалось. Потому что задуманную книгу он ведь в конце-то концов написал – скорее, продиктовал – причём сидя в тюрьме в Генуе, куда угодил, попав в плен при сражении венецианских купеческих суден с генуэзскими галерами, как уже было сказано.

* * *

А, может быть, всё-таки начать писать книгу на латыни? – задумывался Марко. Но оказалось, что латынь он напрочь и окончательно позабыл – читать умел, а писать – никак. Он знал пять языков и пять алфавитов и сидел в недоумении.

Единственный, кто имел допуск в его личные покои, был странный прихрамывающий слуга Ван-Хо. И как-то вечером господин Марко призвал его к себе:

– Юноша, – обратился он к нему по давней привычке подтрунивать над ним, хотя Ван-Хо давно перестал таковым быть. – Я хочу записать всё то, что произошло с нами двоими в *ту* ночь. Ты знаешь, о чём я говорю. На каком языке писать, как по-твоему?

– Мой господин и друг, – раздумчиво ответил Ван-Хо. – Я полагаю, всё, что тогда произошло, могло случиться только во дворце Кубилая, и только при тех обычаях, и только при образе мысли той страны. Потому ты, владеющий языком монголов и уйгуров, равно и китайским, можешь описать эту историю, – которая пострашнее, чем знаменитые сказки рыцарей Круглого Стола, о которых рассказывал твой пизанский друг в тюрьме; ты можешь рассказать эту историю на том языке, который долгое время будет наименее доступен для чтения твоими земляками. Потому что с тебя и так хватит и россказней, и зависти, и насмешек.

Господин Марко, который, как известно, был не только удачливым купцом, но и искуснейшим дипломатом, сразу понял мысль Ван-Хо:

– Ты полагаешь, что всё то, что записал в тюрьме по моим рассказам Рустичиано, уже ничем не возмутит воображение моих земляков, – впрочем, ты знаешь, я эту книгу даже не взял с собой из Генуи, хотя с удивлением слышу, как многие записанные там события комментируются сейчас на площадях Венеции, поистине, слухами земля полнится. – Так вот, ты полагаешь, что *ту*, нашу с тобою историю, наш с тобой «рыцарский роман» – потому что разве не истинно рыцарским был совершенный нами подвиг – ты полагаешь, что его надо зашифровать до поры-до времени, когда наши кичащиеся просвещённостью европейцы дорастут до многоязыкой восточной культуры?

– Да, – кивнул Ван-Хо, – пусть это будет наша с тобой тайна. Только опиши сперва все те чудеса, которые ты видел в прекрасной стране Кубилая и всё великолепие его дворца, и всю терпимость, но и всю жестокость тамошних обычаев.

– Вот-вот, я именно потому никак не мог взяться за описание *той* ночи, потому что и по сю пору она мне кажется каким-то

дьявольским игрищем, разыгранным не нами, а теми бродячими актёрами, которые поражают наше воображение сказочными действиями. И я не знал, как мне взяться за описание декораций, в коих надлежит разыгрываться таким сценам. Ты подсказал мне: я просто опишу то, что видел, и это будет похоже на сказку.

Прозорливость тюремного летописца

Пизанец Рустичиано свои записки со слов Марко Поло начал таким вступлением: «Государи и императоры, короли, герцоги и маркизы, графы, рыцари и граждане, и все, кому желательно узнать о разных народах, о разнообразии стран света, возьмите эту книгу и заставьте почитать её себе». Про самого же Марко Поло сообщает: «Научился он их языку, то есть монгольскому, и четырём азбукам, и письму, в очень короткое время. Выучил четыре разных языка, умел читать и писать на каждом».

Итак, начиная вспоминать «декорации», прежде всего Марко Поло вспомнил поразившее его многоязычие, в котором жили подданные Кубилая. Большой вес среди других народов имели уйгуры. Потому Кубилай-хан поручил тибетскому учёному Паг-паламе составить монгольский алфавит, что законы Чингисхана записаны были уйгурским алфавитом, а уйгурский шрифт это особый монгольский, который произошёл от сирийского. Паг-палама составил квадратную монгольскую азбуку, на основе алфавита тибетского. И назвал этот новый азбучный закон баспа. Тысячу букв составляли его и каждая в свою очередь состояла из сорока одного коренного знака. Но ненасытное стремление к знанию заставило Марко изучить ещё сирийскую и арабскую азбуки. Он бегло говорил по-французски – без французского путешествующему купцу никак нельзя было, что впоследствии очень импонировало хану Кубилаю.

В Китай Марко Поло отправился вместе с отцом и дядей, купцами, и по пути повидал немало диковинок. Поразила его Персия и особенно город Тавриз. Здесь он впервые увидел женщин в паранджа, которые сами приходили на рынок, где продавались духи и разные помады для тавризских кокеток, и сами покупали для себя благовония. Выглядели они странно, с головою закутанные в белые покрывала, с сетками из чёрных конских волос перед глазами.

Еще поразила его торговля жемчугом. Два купца садились друг против друга, руки покрывали платком, разные свойства жемчуга и его цену определял каждый сустав пальцев. А важных свойств у жемчуга уйма: круглость, величина, оттенок, подобранность. И вот два человека сидели друг против друга, руки их были закрыты, но пальцы спорили. Вот такой торг. Без всякого крика и шума. Может быть, этот странный, нешумный язык пальцев и наложил отпечаток на многие последующие рассказы Марко Поло, где нередко необходимо было читать между строк.

По пути юный Марко встретил множество разных народов, которых он обозначал не по нации, а по религии. Всех мусульман он называл сарацинами: у него это и уйгуры, поскольку в двенадцатом веке у них были обширные владения в восточном Туркестане и потому во всех монгольских владениях они сохранили высокое положение как чиновники монгольской канцелярии; сарацинами числились также персы и арабы.

А иногда он народы называл по религиям. Так, например, несториане – представители некоей сирийской христианской секты, впоследствии широко рассеялись по Востоку, так что в эту секту вписались многие народы, и потому несториане-сирийцы всегда играли роль передатчиков чужих культур. Искусные переводчики с греческого и арабского, именно они принесли греческую культуру не только к арабам и персам, но и ко двору Кубилая.

Поразили Марко также мёртвые города на тюркских землях. Некогда славный город Балк лежал в развалинах. Мраморные стены домов закопчёны от пожаров, а на разбитых лазоревых воротах надпись: «Этот город построен во имя бога и волей султана превращён в подобие рая». Но город молчал как кладбище и только трава пробивалась сквозь камни мостовой.

Не подозревал Марко Поло, встречая на своём пути такие развалины, что именно в одном из подобных изувеченных городов, а именно в Отраре, который, кстати, не попадался нашим купцам на пути, завязался такой узел, какой умеет завязывать только всемогущий Рок...

Прошли наши купцы и по пустыне, у Памира закупили нефрит и рубины, и Марко опять же и ведать не ведал, что через двадцать шесть лет вернувшись в Италию, некое нефритовое

колечко он будет носить на шее на тонкой цепочке, к возмущению священника, который станет его соборовать перед смертью, оттого что негоже колечку с тонкого девичьего пальца висеть на цепочке рядом с крестом на шее доброго христианина...

Так незаметно для себя Марко Поло приближался к заветному ханству Кубилая. Вспомнил, как проезжали он и его спутники, отец Никколо и дядя Маффео через пустыню.

Он и ранее слышал от китайских путешественников, что таинственные шумы поражают всякого, кто окажется в пустыне. А тут – «едешь по той пустыне ночью, и случится кому отстать от товарищей, поспать или за другим каким делом, и как станет тот человек нагонять своих, заслышит он говор духов, и почудится ему, что товарищи зовут его по имени, и зачастую духи его заводят туда, откуда ему не выбраться. Так он там и погибает. И вот ещё что: и днём люди слышат голоса духов, и слышится часто, как играют на многих инструментах, словно на барабане», – записал много позже Марко.

...И тут, через множество лет, он вспомнил, как в последнюю ночь своей жизни Младшая Императрица Китая, вторая жена хана Кубилая, шептала о том, что «никогда более не услышит песни песков», поскольку родом была из того полуразрушенного Отрара, который едва ли не единственный сумел выстоять, но, конечно, лишившись своего величия, после монгольских нашествий...

За сорок дней пути хан Кубилай выслал на встречу венецианским купцам почётную стражу, что очень им польстило, а когда они подъехали ко дворцу, то были, что называется, сражены его величием. Дворец окружал парк, ограждённый стеной в шестнадцать миль. Антилопы, лани и олени резвились в том парке. Кубилай был человеком «системным» и для каждого вида занятий у него был отведён особый день. По четвергам – охотился и травил зверей в своём парке при помощи ручного леопарда.

Те, кто знали Кубилая в пору его встречи с итальянцами, вряд ли поверили бы, что он один из близких родичей Чингисхана. Никакого помина о кочевьях уже не было в его жизненном укладе. И Марко Поло решил подробно описать, как выглядел его дворец из бамбука на золочёных лакированных столбах. Каждый столб кончался драконом, голова дракона поддерживала

стропила, а лапы поддерживали блестящую бамбуковую кровлю. Причем дворец, диво той поры, можно было разбирать: он стоял как палатка и был растянут на двухстах шёлковых верёвках. В этом дворце Кубилай жил до августа. Может быть, разборной дворец всё-таки напоминал ему о виденных в детстве разборных юртах...

Сам Марко был свидетелем удивительного зрелища. Двадцать восьмого августа ко дворцу пригнали десять тысяч белых кобылиц, а кобылье молоко имели право пить только люди, родственные хану, а также люди из племени ойратов. Он сам видел, как пригоняли десять тысяч белых красавиц, причём никто не смел преградить им дорогу, а тем более пересечь путь. Из кобыльего молока делали кумыс и в конце месяца августа разливали в честь духов по земле.

Сперва юный Марко дивился чудачествам хана, который был очень суеверен. Тибетские и кашмирские ламы стояли на крыше дворца и колдовали, чтобы тучи не осмелились приближаться к дому хана без спросу.

Впрочем, суеверны были и все подданные хана. Точно также, как и он сам, они верили, что по утрам, когда Кубилай отдавал приказания всем, он приказывал также и солнцу, чтобы оно поднялось. Впоследствии, когда хан начал стареть и боялся проспать, то эту важную церемонию он поручил особому доверенному лицу, чтобы не случился в мире большой беспорядок – не забыло бы солнце подняться. Небесными силами «заведовали» тибетцы и китайцы. Тучи разгоняли тибетские колдуны, а с солнцем «справлялись» китайские, которые заранее высчитывали тёмные дни солнца и сам Марко видел, как в подобные дни приготовлялся чёрный порошок, который зажигали в медных ступках, названных пао, и метали камнями в небо, чтобы дракон выпустил солнце из зубов.

При всём могуществе Кубилая, итальянцы ощущали некоторую его тщательно скрываемую неуверенность. На престол он взошёл в 1256 году. Но не весь Китай ещё был покорён им и поэтому звездочёты рекомендовали ему ходить по улицам столицы никак не с музыкой и прочей торжественностью, как, казалось бы, подобало его сану.

Что поразило итальянцев, так это то, что при дворе Кубилая скопилось множество христиан, самых разных сект. Причём итальянцы разных городов враждовали между собой и здесь тоже, как у себя на родине.

Хан Кубилай принял братьев Поло весьма дружелюбно, особенно понравился ему Марко и он сказал ему лично «добро пожаловать».

И задан был великий пир, который господин Марко помнил по сей день. Он увидел престол Кубилая. По правую руку его сидела Первая Императрица, китаянка из династии Сун, что так и осталась непокорённой в самой южной части Китая – брак был явно дипломатическим, поскольку властительница особой красотой не блистала. Разве что поразили итальянцев её крохотные ножки, едва выглядывавшие из-под парчового платья, и тут они убедились, что рассказы о том, что в Китае маленьким девочкам бинтуют ноги чуть не со дня рождения, чтобы они оставались крохотными, – не россказни, а сущая правда.

За столом пили много. Недавно из Китая привезли виноградные лозы и научились из винограда делать вино. Но куда охотнее пили кумыс, рисовое вино, медовое, пальмовое, особенно же пиво из ячменя.

Пока Кубилай расспрашивал братьев Поло об их дорогах и товарах, юный Марко приглядывался к окружающим. Поразил его светловолосый, голубоглазый, роскошно одетый молодой человек, явно из тех славян, что были захвачены в плен монголами при набегах на тюркские города, которые сейчас лежали в развалинах, и куда славянские мальчики, русичи, попадали как пленники, поскольку набеги тюрков на русские города и селения тоже кончались и разрушениями, и убийствами, и уводами в плен.

Когда хан Кубилай хотел пить, он протягивал кубок именно этому молодому человеку и тот, стоя за спинкой его трона, тут же наливал ему питьё, и Марко увидел, что он как-то странно передвигается, как будто боится наступить на пятки.

Расспросы длились долго и Марко надоело слушать в который раз, как долог был путь, и какие роскошные товары братья Поло привезли ко дворцу, и он ушёл от стола. Сад Кубилая был прекрасен. Здесь он увидел соколов всего мира, орлов с ледяного моря,

беркутов, которые умели останавливать на бегу лисицу, красногрудых соколов для охоты на журавля, а в золочёных клетках сидели индийские цветистые птицы с дивным зелёным, синим и ярко-красным оперением, которых он про себя даже не знал как назвать.

...А за стеною парка степь цвела алыми не то маками, не то тюльпанами, весна здесь была прекрасна и небо безоблачно. И вдруг среди цветов Марко увидел девушку в синем атласном одеянии, каких он тоже никогда не видел доселе. Она направлялась к нему, и он решил её подождать. Приблизившись, спросила:

– Ты чужеземец?

– Я итальянец и приехал сюда предложить хану свои товары, а со мною вместе мой отец и дядя, – ответил он по-арабски, поскольку девица именно так обратилась к нему. – А ты кто будешь?

– Я? – усмехнулась девица. – Я всего лишь младшая жена хана Кубилая, который дал мне титул Второй Императрицы, чего раньше в этом дворце никогда не случалось.

– Так почему же ты не на пиру?

– Я пошла посмотреть на цветение тюльпанов – точно так цвели они весною около города, откуда меня привезли сюда пленницей вместе с моим отцом-астрологом.

– Так откуда же ты родом? Ты не несторианка?

– Я родом из Отрара. Ты, наверное, по пути проходил через этот город? Он был некогда знаменит и величественен, но монголы постарались – они до основания разрушили его и сожгли библиотеку, которая, как говорил мой отец, была ничем не хуже знаменитой Александрийской. Ну уж не знаю, так или нет, но в нашем городе женщины ходили с непокрытым лицом и мой отец говорил, что это первый шаг к просвещённому восприятию мира.

– Твой отец жив?

– Мой отец не только жив, но и в почёте. Он придворный астролог. А теперь я пойду. Первая Императрица, конечно же, заметила моё отсутствие и не преминет по этому поводу нашептать моему повелителю, Кубилаю, невесть какие небылицы.

Марко Поло тоже вернулся в пиршественный зал. Кубилай пил без счёту. К нему поминутно подходил врач Айсе, родом из Италии. Все знали, что он, пожалуй, единственный, кто смеет

говорить Кубилаю правду без утаек. И теперь Айсе убеждал его, что пить вино вредно, есть мясо вредно – от этого и пухнут ханские ноги. Но хан, хоть и любил правду, но ещё больше любил ублажение плоти и потому пил и ел, невзирая на добрые советы.

Придворные летописцы той поры, когда юный Марко впервые увидел хана, описывали его так: «Великий государь царей, который зовётся Кубилаем, с виду вот каков: росту он хорошего, не мал, не велик – среднего роста. Только в меру мускулист и сложён хорошо. Лицом бел и как роза румян; глаза чёрные, славные, и нос хорош, как следует. Законных жён у него четыре, и старший сын станет по смерти великого хана царствовать в империи; называются жёны императрицами и каждая по своему; у каждой свой двор, и у каждой по триста красивых, славных девок».

Впоследствии Марко узнал, что кроме «славных девок» у четырёх императриц было ещё много слуг, евнухов и служанок, и при дворе каждой жены кормились и бездельничали по десять тысяч человек.

В ту пору Марко ещё не знал, что с каждым годом он станет дивиться всё более и более. Собственно, удивление началось с того, что придворный летописец бессовестно лгал. Кубилай никак не был ни бел, ни румян, как роза, и нос у него был вовсе не «хорош, как следует», а несколько приплюснут, как у многих монголов, и передвигался хан не легко, из-за припухлых ног. При всём при том, примерно каждые два года по всей стране хан посылал послов. И они выбирали ему примерно четыреста или даже пятьсот девиц, отбирая их по принятым в этой стране канонам красоты.

Для того существовали особые оценщики, которые осматривали каждую весьма подробно: волосы, лицо, брови, рот, губы, соразмерность всех членов, а затем оценивали в шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать карат, смотря по красоте. Отбирали девиц в двадцать или двадцать один карат и привозили хану. Здесь их осматривали другие оценщики и сам хан выбирал для своих покоев тридцать или сорок самой высокой ценности. Затем следовало ночное наблюдение. Девиц отдавали жёнам князей, а те ночью примечали, нет ли у избранниц каких-нибудь изъянов, не храпят ли, не идёт ли от них дурной запах.

От законных жён у Кубилая было десять сыновей, причём семеро носили титул «ван», что означает король. И, как позднее узнал Марко Поло, седьмой царевич, носивший титул «ван», был рождён именно Второй Императрицей, то есть пленницей, которая стала Второй, обогнав прочих законных жён, что никак не прибавило ей ни любви, ни сочувствия при дворе. Причём поговаривали, что наследником станет именно её сын, а не самый старший и первый, как положено.

Все эти странности в общении императора с женщинами сильно удивили юного Марко, потому что, в остальном, Кубилай был удивительно терпимым к жителям разных наций и разных религий, которые так и слетались со всех сторон в его империю.

Но он куда более удивился, когда узнал, что в ещё непокорённом Кубилаем Южном Китае исконный китайский император даже на прогулку ездил, запрягая женщин из своего гарема. Ещё говорили, что исконный китайский император страдает злым недугом: испытывает непрестанную, ничем непреодолимую скуку.

«Наверное, скука это особый недуг императоров!» – думал про себя юный Марко. И был прав. Потому что Кубилай-хан тоже скучал. И чего только не предпринимал от скуки. Он постоянно кочевал из дворца во дворец, вызывал к своему престолу колдунов разного толка, а также богословов – евреев, мусульман, христиан, и вызывал их на споры о боге. Победивших в споре награждал щедро, а над побеждёнными подтрунивал и поил вином.

И вскоре Марко понял, что хан хотя и был мудр, но люди почему-то боялись его, боялись всегда – сидя, стоя, разговаривая.

Он, Марко, до встречи с ханом объехал за четыре года разные земли, в детстве воспитывался без старших и потому не боялся никого. Но и не сближался ни с кем. До того дня, когда в парке встретил странного белокурого юношу, которого подметил за троном Кубилая во время первого пира. Он подошёл к нему и напрямик спросил:

– Почему тебя зовут Ван-Хо? Разве ты король, что носишь титул «ван»?

– Меня так назвал хан. Король – не король, а кто скажет, – выше или ниже престола моя должность при дворе...

– Ты служишь при покоях хана?

– Нет, я некоторым образом его родня.

– Это как же? – удивился Марко.

– Я – палач, но только для тех, кто посягнул на государственное величие. Понимаешь, не может один и тот же человек казнить воришку и того, кто поднял руку, скажем, на хана или на кого-либо из его семьи, и тем самым как бы встал на его уровень, сделал шажок к его престолу. Вот я и король в делах жизни и смерти.

– Удивительны твои рассуждения! – воскликнул Марко. – Ты учился у мудрецов?

– Я воспитывался в Отраре в доме нынешнего придворного астролога и с Второй Императрицей мы росли рядышком. Всё, чему учил её отец, он учил и меня. А потом Отрар разрушили и всех наших домочадцев увели в плен.

– Ты любил Отрар?

– Научился любить, со временем. Когда меня привезли туда после набега на несторианское поселение, где жили русичи, мне было немного лет, но я слыл искусником в резьбе по дереву и кости, чему обучил меня отец. И в Отраре меня ценили. А я пытался бежать. Тогда, любя, – недобро усмехнулся Ван-Хо, – мне надрезали пятки и вогнали в разрезы измельченный конский волос. Пятки зажили. Но я никогда не забывал и не забуду боли и уже никогда не смогу ни бежать, ни быстро ходить, ни ступать на всю стопу, не испытывая мучительного колотья.

– Но почему у тебя китайское имя?

– Вообще-то меня зовут Иванко. И в Отраре меня так все и называли. Но когда я попал сюда и хан Кубилай увидел, как я из обожжённого коровьего рога вырезаю ветку с цветками сирени, он изумился, спросил, как меня зовут, тут же переименовал и всячески стал приближать к себе. Как-то он объявил мне: «Знаешь, у тебя искусные руки. Наверное, ты одним надрезом ножа мог бы отсечь голову человеку. А знаешь что? Назначу-ка я тебя придворным палачом для государственных казней». И с тех пор не отпускает меня от себя, что называется, ни на шаг.

– И тебе доводилось кого-нибудь казнить?

– За десять лет, что я здесь живу, ни одной такой казни не было. Хана, похоже, любят. Любят, или боятся, – не пойму. Только все

уверяют, что за целую жизнь мне так и не придётся прибегнуть к палаческому ремеслу. Что ж, дай бог!

Пока они так беседовали, господин Марко вдруг заметил, что у высокого ворота китайского короткого халата, скорей похожего на куртку, у Ван-Хо скромно алеет бутон тюльпана, из тех, что цветут в степи и которыми ходила любоваться Младшая Императрица.

И странная мысль осенила его: ведь эти двое с детства росли вместе – как же они теперь относятся друг к другу? Она – на вершине престола, он, хоть и именует себя «королём жизни и смерти» и, кажется, весьма обласкан Кубилаем, но всё-таки всего лишь палач. Впрочем, когда это бывало, чтобы сословия бесповоротно разделяли людей, если между ними многолетне трепещет таинственная паутинка взаимного притяжения...

– Тебе доводится встречаться с Второй Императрицей? – напрямик спросил Марко Поло, озорно поблескивая глазами. В конце концов, он и его собеседник были почти одного возраста и должны бы понимать друг друга с полуслова.

– Я не удостоен допуска в её дворец, – вздохнул, как показалось Марко, его собеседник, – но когда я встречаю её в парке или в степи, я называю её Минкуль, её отрарским именем, что означает Голубое Озеро. И она не обрывает меня, так что, похоже, ей нравится вспоминать наше давнишнее знакомство и детскую дружбу.

На том они разошлись. По лицу Ван-Хо, вдруг замкнувшемуся, как будто покрытому непроницаемой пеленой, словоохотливый итальянец понял, что беседа закончена.

Но ночью ему приснилась Вторая Императрица, которая якобы стояла на берегу голубого озера и, зачерпнув ладонью воду, закрыв глаза, эту воду пила.

С того дня господин Марко всё больше о ней думал. Его как бы завораживало её имя – Лазоревое Озеро, Голубое Озеро, имя для сказок, имя для стихов. Жаль, он не спросил у Ван-Хо, как зовут её сейчас. Ведь наверняка здесь её переименовали.

Между тем, он познакомился с её отцом, весьма почитаемым всеми астрологом, которого по-прежнему, «по-отрарски», звали Зейнулла.

Будучи необычайно любознательным и заинтересованным судьбою любого человека, которого встречал на пути, Марко спросил у отрарца:

– Наверное, своим высоким положением ты во многом обязан положению твоей дочери Минкуль?

– Не называй её так, – озираясь, ответил Зейнулла. – Здесь её зовут Синей Бабочкой, – ты, наверное, заметил в её прическе множество высоких булавок, на кончиках которых трепещут бирюзовые бабочки, это всё подарки Кубилая, он любит, чтоб она так причесывалась. Что до её положения... – многозначительно замолк отрарец.

И Марко понял, что тому известна некая тайна.

– Ты хочешь сказать, что оно не так прочно, каким кажется на первый взгляд?

– Вовсе нет, – вздохнул астролог. – К сожалению, оно слишком высоко её вознесло, а её первый гороскоп, ещё в Отраре, составлял именно я. И потому знаю: не доведёт её до добра гордая осанка и недолго удержится на её высокой шее красивая голова моей Минкуль, моего любимого Голубого Озера...

При его словах Марко даже вздрогнул, так зловеще прозвучали они, как некое пророчество, которое, показалось ему, чем-то затрагивает и его самого. Но он отогнал эту мысль – незаметно, гуляя по парку, они с Зейнуллой дошли до степи, где тюльпаны теперь просто пылали, так, словно степь залита кровью. И вновь мелькнуло синее одеяние – по степи задумчиво бродила Минкуль.

– А вот и моя дочь! – обрадовался астролог. – Хочешь, я тебя с ней познакомлю? Ведь никак нельзя назвать знакомством то, что вы изредка видитесь на пирах. Да там она и не бывает никогда сама собой – в присутствии Первой Императрицы она сжимается и, как улитка, прячется в раковину высокомерия и молчания.

– Вы, конечно, говорили обо мне? – полюбопытствовала Минкуль, переставшая быть безбрежным Озером и превратившаяся в этой чужой стране в хрупкую и незащищённую Бабочку. – Впрочем, отец прав. Её величество Первая Императрица очень меня не любит. Я даже удивляюсь, как она ещё не подослала ко мне ассасина, знаете, из той секты мусульман-измаилитов, которые так легко убивают. Может быть, потому не послала, что Кубилай

давно их почти всех истребил. Но мало ли способов избавиться от нелюбимого человека. Я нередко об этом размышляю.

– Дочь моя, – прервал её Зейнулла. – Твой гороскоп не сулит тебе гибели от предательского ножа. Удел твой иной. Но я не скажу тебе, каков он, также как не говорил никогда, сколько бы ты меня о том не спрашивала. Единственное, что могу сказать тебе: «если от воды, то не от огня, если от огня, то не от петли». Таково могущество Рока, который против имени каждого вписывает в Книгу Судеб его будущее – жизнь и её конец.

И тут Марко почувствовал, что этот разговор мучителен для отца и дочери, и что он длится уже долгие годы. Возможно, астролог увидел в гороскопе дочери, когда она была ещё ребёнком, такие глубины ужаса, что содрогнулся и ничего не сказал не только её матери и ей самой, но и сам пытался забыть то, что увидел, хотя уж он-то хорошо знал, что письмена в Книге Судеб изменить ничто не в силах...

Неожиданная встреча

Юного Марко Поло именно во дворце Кубилая впервые назвали «господином» и это обращение прижилось к нему навсегда. Оно свидетельствовало о высоком уважении, которое питали к нему не только оттого, что все давно заметили, как доверяет ему Кубилай и, как будто бы, сердечно привязан к нему, но и оттого, что нельзя было не заметить и другого. Крупные сановники всё чаще обращались к Марко за советом, поскольку он был неутомим, легко выполнял любые поручения, по первому знаку ездил в самые отдалённые точки Империи, откуда привозил бесценные сведения, он ничего не забывал, он помнил всех, с кем встречался и всё, что видел на пути, так что влияние его при дворе всё более возрастало.

Вскоре Кубилай поручил ему весьма деликатную миссию. Первая Императрица была принцессой из южнокитайской династии Сун и потому её вельможный супруг до поры-до времени не очень-то спешил с полным покорением этого благословенного уголка Китая, где по-прежнему царили древние традиции и процветала древняя культура.

Однако всему наступает конец и в 1278 году к островам Южного Китая подошли суда Кубилая. Тогдашний царь находился на

островах, но умер годом раньше и наследовал ему брат – мальчик. При виде войск Кубилая последний придворный государя Южного Китая посадил к себе на плечи мальчика-царя и прыгнул в море. Так что великому хану легко досталась вся вожделенная южная земля с каналами и кораблями.

Но всё ещё не покорялся большой и богатый город Саян-фу. А именно там жили великие мастера, искусно ткавшие шёлк и парчу, которые купцы развозили чуть не по всему азиатскому и европейскому миру, и купцы-братья Поло тоже не раз привозили эти дивные товары в Венецию.

Теперь город попал в осаду, но поскольку был защищён со всех сторон большим Озером, по которому в него привозили провизию, горожане держались бодро. Весьма непрозорливы были эти беспечные мастера шёлкоткачества, слишком надеялись на то, что огненные катапульты (очевидно, порох уже был известен в Китае) Кубилая не смогут пробить глинобитные стены непокорённого города.

Как-то Марко обмолвился перед Кубилаем, что знает людей, проживающих в осажденном Саян-фу, которые умеют строить стенобитные орудия ничуть не хуже, чем итальянцы, к которым это искусство перешло по наследству ещё от римлян. Предприимчивые венецианцы этим искусством пользовались прибыльно и даже брали подряды, когда кому-либо требовалось «добить» какой-нибудь осажденный замок. Много позже, в тюрьме, Марко Поло продиктовал уже упомянутому Рустичиано: «А великий хан велел взять город во что бы то ни стало. И тут сказали два брата и сын господин Марко: великий государь, есть у нас мастера, делают они такие снаряды, что большие камни бросают. Не выдержит этот город, станут машины бросать камни, тут он и сдастся».

...Теперь вспоминая былое, стареющий «Господин Миллион» вдруг воочию увидел, как два орудия, построенные по их рассказу, подошли к войску, что осаждало неподатливый город, и служившие в войске татары глазели на них как на диковинных зверей. Полетели камни. Испуганные жители собирались кучками и держали совет, как спастись, но ничего не могли придумать и, понимая, что их ждёт гибель, решили сдаваться.

Тогда же, в тюрьме, Рустичиано записывал: «По милости Никколо, Маффео и Марко вышло так, и немалое это было дело. И город, и область, самые лучшие у великого хана, большой ему доход отсюда».

Вот какую великую услугу оказал юный Марко с семейством хану Кубилаю и тем самым обездолил мастеровитый, весёлый и честный народ. А вечно скучающий хан Кубилай первое, что сделал, – запретил в городе все игры, выступления фокусников и даже песни, которые здесь ценили, как нигде в мире. Горожане передавали друг другу, будто бы хан сказал: я покорил вас с оружием в руках, и всё, что принадлежит вам, моё, поэтому если вы играете, то играете моей собственностью. А ещё народ приучили молчать. Когда приближался хан, то молчать приказано было на две версты кругом.

Следом покорился также большой и мастеровитый город Циньлинь-Цзюнь. Больше всего стенали крестьяне, поскольку земля была плодородной, а аланы, посланные на его завоевание, вытоптали все посадки.

Всё это прекрасно видел Марко и ощущал на себе великую вину, и потому неимоверно обрадовался, когда аланы набрели во взятом только что городе на доброе вино и напились так, что заснули до полного бесчувствия. Жители же города, увидев победителей мертвецки пьяными, перебили их всех до одного. Но это никак не спасло обречённую Южную страну.

Казалось бы, на этом миссия Марко в Южном Китае закончилась, но не тут-то было. Едва он появился в новой столице Кубилая Канбалу, она же Ханбалык (нынешний Пекин), что означает Великая столица, он узнал, что сюда, в Ханбалык, перенесена зимняя резиденция, оборудованная с необыкновенной роскошью, но далеко лежащая от заветной тюльпанной степи, где можно было надеяться увидеть прекрасную Минкуль.

На первом же приёме послов из того же покорённого Южного Китая, где обязана была присутствовать Первая Императрица, но вовсе не обязана, а всё же присутствовала, Синяя Бабочка Минкуль, во время пира Марко показалось, что она подаёт ему тайный знак, взглядом указывая на выход в сад. Улучшив момент, он выскользнул из пиршественного зала и углубился в самую гущу

диковинных деревьев, что росли здесь, собранные чуть не из всех стран мира. Минкуль его ждала.

– Ты сильно отличился, говорят, господин мой Марко, – чуть насмешливо сказала она. – Благодаря построенным вами, итальянцами, орудиям многие китайские города, наверное, лежат в развалинах, ничуть не отличаясь от моего Отрара. Но я на тебя не в обиде, а, напротив, хочу просить об услуге.

Она приблизилась к нему и от неё повеяло неведомыми духами, похожими на амбру, которые он запомнил на всю жизнь. Недаром один из мудрецов в Южном Китае рассказывал ему, что нет сильнее средства заставить человека напомнить о себе, чем полюбившийся запах. «Запах пробуждает не только память, но и, казалось бы, давно иссякшие чувства», – утверждал мудрец.

...«Господину Миллиону» суждено было испытать это на себе, и теперь, когда он писал о встрече в саду, он даже закрыл глаза, так явственно почувствовал запах диковинных духов прекрасной Второй Императрицы.

Она показалась ему печальной, хотя силилась улыбаться и казаться беспечной.

– Никого, кроме тебя, не могу я просить о том, с чем я сейчас обращусь к тебе. Скажи, ты часто видаешься с Ван-Хо?

– Когда бываю здесь, – часто. Но ты знаешь, ведь я подолгу отсутствую, когда хан посылает меня в Южный Китай разведать все диковинные обустройства, которыми так славятся китайские города.

– А ты мог бы его встретить сегодня?

– Сегодня – не знаю. Вечером хан назначил мне встречу в собственных покоях, где я должен рассказать ему о многочисленных банях в китайских городах, а также, как хитро вымощены все улицы – камнями и кирпичом, так что кирпичные дороги даже ведут в поля. Но для конницы каменные дороги неудобны и потому часть улиц с краю остаются немощёными для гонцов и войска. А ещё главные улицы мощёны не камнем, а покрыты мелким щебнем с водосточными трубами для стока дождя...

– Всё это, господин Марко, ты расскажешь вечером Великому хану, и он будет весьма заинтересован ввести подобные новшества и в своих городах. Но ведь я позвала тебя не для того, чтобы

ты доказывал мне превосходство и изобретательность мудрецов, что, к счастью, ещё не перевелись в Южном Китае.

Марко устыдился той увлечённости, с которой говорил, хотя о явлениях весьма необычных и, несомненно, чрезвычайно интересных, но, похоже, вовсе ненужных сейчас чем-то опечаленной Минкуль.

– Прости меня, владычица, – взмолился он. – Я действительно сражен всем, что увидел, но ведь ты позволишь мне встретиться с тобою ещё раз и рассказать тебе о многих чудесах, изумивших меня в покорённых нами городах?

– Конечно же, мы с тобою ещё встретимся. Хочешь, приходи завтра в обсерваторию, где работает мой отец. Я тоже приду. И мы поговорим.

А теперь – о моём деле: пока тебя не было, – не скрою, мне показалось, что тебя не было очень долго! – Кубилай ночевал не раз и не два во дворце Первой Императрицы, чего не случалось уже несколько лет. А на утро глядел хмуро и, похоже, не хотел меня замечать. Это не к добру.

К тому же мои девушки передали мне, что служанки Первой Императрицы судачат, будто бы она жалуется, что я где-то хвасталась, что мой друг детства, палач Ван-Хо, по моему велению Первую Императрицу отравит и даже называли чем.

Будто бы из тюльпанной степи, в которой росли также в изобилии маки, я, де, привезла некое маковое снадобье, способное умертвить за одну ночь даже могучего воина.

Так вот, я хотела бы, чтобы Ван-Хо обо всём этом узнал. У него острый ум и, возможно, он поможет мне выпутаться из этой сети, которую, я чувствую, всё туже затягивает вокруг меня Первая Императрица.

Марко Поло пообещал, что тут же примется искать Ван-Хо.

Впрочем, ему и искать-то его особенно не пришлось. Как только Минкуль ушла из сада, Ван-Хо тут же появился, покинув пиршественный зал. И Марко понял, что тот всё время пристально следил за каждым движением Обречённой Бабочки и точно знал, что сейчас понадобится и ей, и Марко. Рассказ Марко его ничуть не удивил, он давно знал о лютой вражде Первой Императрицы, да и остальных трёх, равно как и всех десяти законных жён Кубилая, к

Минкуль, отчасти и оттого, что её сын, седьмой по счету, будто бы намечен в наследники. Он тоже почему-то не сомневался, что с ней постараются покончить, ничуть не стесняясь средствами...

Настал вечер и Марко пожаловал в покои Кубилая, которого больше всего поразило, что в последнем завоёванном южнокитайском городе построено четыре тысячи просторных бань, и что на дверях домов всех тысячи двухсот городов в этой области написаны имена хозяев, и их жён, сынов и жён сынов, и когда кто-либо умирает, то имя тут же из списка вычёркивается.

– А женщины? Женщины там каковы? – загорелся Кубилай.

И Марко рассказал, что женщины там красивы и настолько умны и приветливы к гостям, что кто хоть раз встретился с ними, никогда их не забудет, и что они одеваются роскошно и пользуются очень сильными духами, потому что с детства приучены, что именно духи закрепляются в памяти и даже через много лет возвращают человеку былые чувства.

Кубилай лукаво покосился на Марко и спросил:

– А ты не привёз с собой подобные духи для моих женщин?

– В городе Кинсае, – ответил Марко, – один купец, с которым я подружился, сказал мне, что женщин этого города никто не может забыть именно из-за духов и посоветовал мне взять несколько бутыльков с собою. Я взял.

– Так это ты подарил Младшей Императрице те духи, которыми она теперь всеми силами пытается меня вновь привязать к себе?

– Нет, – сказал Марко. – Я не посмел бы привезти такой дорогой подарок столь высоковознесённой женщине. Но давеча на пиру я ощутил идущий от неё аромат, которому подобного, кажется, на свете нет...

– Так она и тебе вскружила голову? Вот уж истинная дьяволица! – ощерился Кубилай. – Недаром Старшая Императрица жалуется на её непомерную гордыню, да ещё толкует, что Ван-Хо, – понимаешь, мой Ван-Хо! – которого я возвысил чуть не до сана собственного сына, получает от неё подарки, и что она сама видела, и не раз, приколотый к его вороту алый тюльпан, а, может быть, и мак, которые, как известно, так любит Младшая Императрица, в отличие от прочих моих женщин, которые

предпочитают цветы неземной красоты, что в изобилии растут в моих садах.

Не зная, что ответить, Марко смешался, но тут же спохватился, поскольку уловил в словах Кубилая как бы невзначай брошенное слово «мак». Мак – источник того крепкого яда, которым, по словам Первой Императрицы, Минкуль собиралась её извести.

– Мой повелитель, – воскликнул Марко, – с тех пор, как я живу при твоём дворце, я подружился с Ван-Хо и не знаю человека честнее и благороднее его. Только ты в твоей небом данной премудрости мог углядеть в маленьком славянском пленнике из Отрара столь преданного тебе человека, достойного любого самого высокого сана. Не верь наветам. Они и у нас в Италии – сильное и опасное оружие в любом доме, где сосуществуют хотя бы две-три женщины.

– Я и не верю, – усмехнулся Кубилай, и Марко показалось, что гроза миновала. – Но ты скажи мне, господин Марко, ты-то взял в подарок необыкновенные духи, а что ты подарил взамен? Негоже моему посланнику принимать дары, ничем не отплатив.

Марко от ответа попытался увильнуть и залепетал что-то о семенах диковинных цветов, что растут в саду Кубилая. Не мог же он, в самом деле, рассказать, как подружившийся с ним купец сказал ему про свой народ, «который крепок, но не как камень, а как земля», и что страна его «крепка, как ива, которую ветер никогда не сломает, хотя ей и приходится менять имена с каждой династией».

И когда Марко спросил у него, что ему привезти в подарок, купец ответил: «Высок бамбук в саду хана, а глаза вашего слуги и младшего брата стары. Бамбук хана растёт быстро. Пыль гонцов ест мои глаза. Этот бамбук необыкновенно красив – теперь после разорения и войны, наверное, нельзя достать его в большом количестве. Но сейчас я стар и мне хватит несколько десятков стволов, чтоб они могли закрывать зрение. Нам жаль, когда мы теряем какую-нибудь вещь, а тем более жаль большую страну. И лучше бы высокий бамбук закрыл для моего взора творящееся зло».

Конечно же, эти слова господин Марко никак не мог повторить завоевателю Кубилаю, но попытаться перевести разговор на духи, на Ван-Хо и на взаимоотношения императриц ему тоже

как-то не удалось, и он удалился с ощущением, что безграничное доверие Кубилая к нему чуть пошатнулось...

Сокровенный разговор

Как ни странно, в обсерватории Зейнуллы господина Марко ожидала не Минкуль, а Ван-Хо. Он сказал Марко, что знает о назначенной встрече, но что хотел сам рассказать ему о некоторых вещах, которые сильно его тревожат и, возможно, даже грозят Минкуль.

– Итак, ты знаешь, что Кубилай не очень доверяет монгольским князьям и именно потому его окружает такой большой двор. Ему хочется иметь побольше врагов, что называется, «под собственными глазами». Потому он возит их с собой, одевает, кормит и поит, но и держит против них расторопную стражу. Ты знаком с сарацином Ахмедом?

– Это тот, который среди двенадцати советников Кубилая самый важный? – спросил Марко. – Почему ты завёл разговор именно о нём?

– Оттого, что с некоторых пор хан сам ленится принимать важные решения и всё перепоручил Ахмеду. А тот – великий взяточник. И все знают, что стоит ему сказать Кубилаю, что такой-то заслуживает казни, потому что покушался на величие хана, и хан отвечает ему: делай, как знаешь. И, конечно же, каждый несёт Ахмеду, чем богат. Круче всего приходится тем, у кого красивые жёны и дочери. Незамужних он берёт в жены, а замужних уводит от мужей. А когда узнаёт о какой-нибудь особой красавице, докладывает хану, что такой-то заслуживает самой высокой награды и был бы рад отблагодарить хана, отдав ему свою жену или дочь. На жён хан не польстится, а вот дочери, чем юнее, тем больше прельщают хана. Ты же, наверное, заметил, как он сдал за последнее время. Для стареющего мужчины нет лучшей утехи, чем юная отроковица. Так говорит лекарь Айсе. И вот что я скажу тебе: недавно я узнал, что среди не очень влиятельных женщин из ханского гарема появилась девочка лет двенадцати, которую с некоторых пор приказано во время пиров одевать в лучшие одежды и сажать за стол у ног первой Императрицы. Ты не видишь в этом угрозу для нашей Минкуль? – спросил Ван-Хо.

– Почему ты сказал «нашей»? – изумился Марко.

– Потому что любящий безошибочно узнаёт любящего. Тем более, если оба пылают сердцем к одной и той же женщине.

Помолчали. Тучи сгущались над головою Минкуль. Это явственно чувствовали оба. Только никак нельзя было предугадать, к каким уловкам прибегнет Старшая Императрица, чтобы избавиться от ненавистной соперницы.

Тем не менее, господин Марко начал энергично присматриваться к всемогущему Ахмеду и вскоре ему удалось обнаружить не только его лихоимства, но даже и государственную измену.

...Сейчас «Господин Миллион», записывая свои воспоминания, с содроганием подумал, что, не согласись он тогда присутствовать по просьбе Кубилая при допросе Ахмеда, может быть, и не последовала бы *та* грозная ночь... Особенно много злодеяний совершил Ахмед против китайцев и теперь те справедливо требовали мести. Не молчали и сарацины, с которыми давно у Марко сложились добрые отношения. Он не раз побывал у них, якобы чтобы добыть масла у Гроба Господня, на самом же деле для получения нужных сведений. За привезённые сведения Кубилай назначил Марко советником. И он имел в стране немалую силу.

Китайцы требовали казни соратников Ахмеда и, поскольку Кубилай с таким презрением отнёсся к своему бывшему поверенному, то даже не прибегнул к услугам придворного палача для государственных изменников и велел совершить казнь без кровопролития.

Так виновные были казнены с помощью кошмы, то есть их плотно укутывали в кошмы, пока они не задыхались, а потом вывозили на городскую свалку, где и закапывали. Так был казнён и сам Ахмед.

Но отмеченная вниманием Кубилая девочка всё вольготнее чувствовала себя на пирах у ног Старшей Императрицы и даже подавала той питьё в кубке. По всему видно было, что Старшая Императрица всячески старается показать, что она вполне доверчива и вот берет же из рук недавно ещё мало кому известной девочки кубок, в который так легко можно добавить яд. Значит, не просто вымысел или плод её прирождённой недоверчивости всё то, что она рассказывала о якобы узнанных ею намерениях

Минкуль, – а уверенность, подкреплённая сведениями от верных людей.

Младшая Императрица сидела обычно двумя ступеньками ниже, чем Старшая около престола Кубилая. Ей подавали питье её служанки, а иногда, в виде особой милости, Великий хан сам передавал кубок в руки Ван-Хо и уже тот подносил его Минкуль.

Подача кубка с питьём занимала огромное место в придворном этикете на пирах. Важно было точно знать, кто кому вправе подносить кубок, кто у кого может попросить его, очень важно было, чтобы кубок был подан ловко, так, чтобы ни одна капля питья не запятнала одежду высокопоставленных гостей, а тем более Кубилая и его императриц, равно важно было, чтобы передача кубка не сопровождалась никаким бряцанием металла о какой-нибудь вставший на пути предмет, ибо малейший шум, непредвиденный этикетом, оскорблял слух Великого хана и его жён.

И всякий раз, когда Ван-Хо передавал кубок Кубилаю или, по его велению, наливал его для Минкуль, он помнил, что при нарушении «этикета кубка» милости ждать не приходится и даже его близкие отношения с Кубилаем не могли бы его защитить.

В последнее время Марко, который всё чаще отлучался и успел побывать в разных странах по соседству с Империей Кубилая, в том числе и в Индии и на острове Цейлон, когда возвращался, двор хана всякий раз видел как бы «свежим глазом» и потому всё воспринимал живее и пристальнее. Ему было тридцать лет, он вошёл в пору зрелости и многое, что ранее было для него сокрыто, уже читалось без труда.

При наездах ко двору, на пирах, которые Кубилай теперь особенно полюбил и устраивал их чередою, господин Марко почему-то всё чаще думал, что «этикет кубка», и именно он, таит в себе опасность для Минкуль. И не ошибся.

Он только что вернулся из очередного путешествия и получил от хана в вознаграждение дивный перстень с кроваво-красным рубином и, конечно же, был приглашён на пир. Все чинно сидели на своих местах. Старшая Императрица подала знак рукой, чтобы девочка поднесла ей кубок.

Та неловко запнулась о длинный шлейф атласного одеяния Минкуль, кубок выпал у девочки из рук и звонко покатился по

мраморным плитам пола. Минкуль рывком подобрала свой шлейф и вскочила с места так порывисто, что золочёный невысокий стул, в своё время копийно сооружённый по образцу престола самого Кубилая, назло Первой Императрице, опрокинулся, отчего случились шум и смятение.

Не на шутку испугавшись, Минкуль выбежала из пиршественного зала.

Вторая Императрица испугалась не зря. «Этикет кубка» нарушила именно она, кому положено было строго блюсти все принятые при дворе правила, как и подобает императрице, но ещё более оттого, что именно ей-то и не простят, как ненавистной сопернице, допущенное нарушение.

Вечером в её покои явился Ван-Хо, присланный самим Кубилаем. Напряжённо стоя перед Минкуль, возлежавшей на низком ложе, покрытом шёлковой накидкой, Ван-Хо, опустив глаза, повторял чужим и официальным голосом, слово в слово, всё, что велено ему было передать Второй Императрице.

Кубилай требовал: поскольку личное оскорбление нарушением этикета было нанесено Первой, а, стало быть, Главной Императрице – ведь именно предназначенный ей кубок до неё не дошёл, и к тому же покатился по полу, а причиной был шлейф слишком много позволявшей себе Минкуль – заметим, шлейф ей носить не полагалось, это была привилегия только Первой Императрицы – то непомерно гордая и даже чванливая принцесса из династии Сун, Первая Императрица, – тем более озлобленная сейчас после полного покорения Южного Китая, где ещё оставались её родичи, требовала, чтобы Минкуль совершила «обряд покаяния», к которому прибегали, только если виновным было лицо, стоящее неизмеримо ниже оскорблённого Величия.

Обряд состоял в том, что провинившийся должен был проползти на коленях от самой двери огромного зала до места, где сидел оскорблённый, и попеременно поцеловать обе его ноги, а если тот настроен будет простить, то попеременно облобызать и обе его руки, после чего, прикрыв лицо и голову подолом платья оскорблённого лица и постояв так на коленях столько времени, сколько пожелает само лицо, по знаку последнего может опять-таки на коленях уползти из зала.

Итак, всё это надлежало пережить Минкуль. В противном случае ей грозило обвинение в оскорблении Величества, что пока ещё не подразумевало казни, но могло повлечь за собою суровое наказание, как то избиение палкой на главной площади дворцового парка.

– Иванко, – совсем по-отрарски обратилась она к Ван-Хо, и тот от неожиданности даже вздрогнул, – друг мой и брат, ты, с которым мы делили хлеб и кров, и позор плена, что ты посоветуешь мне? – всхлипнула Минкуль.

– Сестра моя, ровесница и возлюбленная, – ибо ты ведь не можешь не знать, что я люблю тебя пуще жизни чуть не с самого детства, – я дам тебе плохой совет, потому что для меня главнее всего сохранить твою жизнь. А если ты откажешься от покаяния, то, ты знаешь, что палочные удары могут быть разной силы и что ты сама вкладываешь оружие в руки твоих врагов. Более я ничего не смею сказать.

– Так ты все эти годы любил меня, Иванко? – совсем невпопад и не ко времени, казалось бы, спросила Минкуль. – И никогда ни словом, ни взглядом не дал мне понять, что моё чувство к тебе пользуется взаимностью!

И тут оба умолкли, смущённые только что сделанным, так поздно и так несвоевременно, открытием, как будто в этот вечер речь шла не о жизни и смерти беззащитной Синей Бабочки, поруганного Голубого Озера Минкуль...

Но сейчас время было не годить, а действовать, и первым как бы очнулся от сладостной оторопи Ван-Хо.

– Возлюбленная, я думаю, надо призвать немедля в твои покои моего друга Марко. Его советы всегда полезны. Притом, узнай же: он давно и беззаветно тоже любит тебя. Теперь пора ему открыться.

– Но где ты найдёшь его так поздно?

– Найду!

И вскоре, в самом деле, Ван-Хо и Марко явились пред заплаканные очи Второй Императрицы, которая в этот час уже почти что перестала таковою быть...

Марко, узнав, что Минкуль известно о его чувстве к ней, даже обрадовался. Теперь будет проще советоваться им троим,

связанным таинственным узлом, так хитро заплетённым и запечатлённым в неумолимой Книге Судеб.

Он заметил вдруг, что Минкуль сняла с себя все драгоценности, кроме узенького нефритового колечка, которое Кубилай купил для неё у юного в ту пору Марко в первый его приезд, и теперь оно трогательно оттеняло её бледные, тонкие, как у девочки, пальцы с коротко остриженными ногтями – в отличие от Первой Императрицы, носившей по древней китайской традиции длинные и даже чуть изогнутые ногти, которые её недруги про себя называли когтями.

– Прошу тебя, подари мне на память это кольцо! – взмолился Марко. – Я так подолгу не вижу тебя, оно будет мне рассказывать о тебе.

И Минкуль подала нефритовое колечко и даже сама надела на мизинец Марко, надела с трудом, такое оно было маленькое, да и то доходило только до половины его пальца.

Ван-Хо повторил свои соображения по поводу опасности, грозящей Минкуль, и Марко сразу с ним согласился. В конце концов, как ни дорога честь, но жизнь – дороже. Этой премудрости его научили купеческие скитания и сопутствовавшие им неожиданности.

Итак – решено: назавтра Минкуль совершит «обряд покаяния».

В нарушение собственной безопасности

Для предстоящего обряда Минкуль надела ярко-жёлтое тафтяное платье, поскольку жёлтый – «цвет императоров». А в волосы вколола множество янтарных гребней и булавок, поскольку янтарь – «солнечный камень», а она желала подчеркнуть, что предстоящий обряд расценивает не как унижение собственного величия, а лишь как способ защитить свою жизнь, которой дорожит. Особенно сейчас, когда впервые после стольких лет назвала Ван-Хо Иванкой...

По залу прошелестел шепоток. Все ожидали, что она явится в знак скорби в белом траурном одеянии.

У двери Минкуль легко опустилась на колени и проползла по мраморному полу через весь зал, казалось, никого не замечая, до самого престола Первой Императрицы. Она знала, что

среди придворных стоит и господин Марко, а рядом с престолом, на котором восседал Кубилай, сидела приведённая Ахмедом девочка, по обыкновению, у ног торжествующей властительницы.

И вдруг у самого своего лица Минкуль увидела крохотные, в детстве изуродованные ноги женщины в белых чулках и чёрных атласных узких башмачках, в пору десятилетнему ребенку. Она увидела эти ненавистные ноги, всегда вызывавшие у неё отвращение, как всякое уродство. Она наклонилась ещё ниже, чтобы эти ноги поцеловать по обряду, но – что только на неё нашло – сжала кулачки и молниеносно ударила по чёрным башмакам и плюнула на каждый из них.

– Стража! – хрипло крикнул Кубилай. – Ван-Хо! Схватить смутьянку и увести. В подземный склеп, пока мы не примем решение о наказании.

Но в это время Первая Императрица, почувствовав себя дурно, когда Минкуль только ещё склонилась к её ногам, и протянув руку за кубком с медовым вином, который девочка у её ног всегда держала наготове, – потому что Первую Императрицу постоянно мучила жажда, – только успев отхлебнуть пару глотков, упала без чувств. Это случалось с ней и раньше, но сейчас как-то странно совпало с приближением к ней Минкуль. И пока развенчанную Синюю Бабочку волокли к выходу из зала, лютую её врагиню, бесчувственную, уносили в её покои, а в зале уже громко звучали предположения и обвинения:

– Вторая отравила-таки Первую!

– Не иначе, успела плеснуть макового зелья в медовое вино!

– А девочка, однако, – раззява. Кубок словно нарочно держала наготове!

– Что ж, всякий сам для себя старается. Глядишь, маленькая выскочка займёт около хана престол Первой.

– А и Второй – тоже не худо. Эх, не дожил Ахмед до такого торжества его подопечной.

Всё это прекрасно слышали и Марко, и Ван-Хо, которого Кубилай, ухватив за руку, пригнул к себе, прошептав:

– Проводи меня до моих покоев. Только я буду на тебя опираться изо всех сил. Нельзя, чтобы заметили мою немощь. Держи меня покрепче.

И Ван-Хо, подставив локоть одной руки под руку Кубилая, другой придерживал его за спину, под видом того, что поправляет тяжёлую, постоянно сползавшую мантию.

В ожидании

Пока во дворце продолжалась суета, лекарь Айсе посетил Первую Императрицу и объявил, что ничего определённого пока сказать не может. Болезнь её запущена, на ногах – постоянно незаживающие язвы от этой же болезни, а всё от медового вина, которое он ей давно запретил.

Но его никто не слушал. Все уже успели уверовать, что Первая Императрица отравлена, тем более, придя в себя, она впала в глубокий сон, а, как известно, самый глубокий, смертный сон приносит маковое зелье. Так что, выходит, верны были давно будоражившие придворных слухи.

...И пошёл лекарь Айсе к другу своему астрологу Зейнулле, который запёрся в обсерватории, опасаясь расправы – ведь дочь его уже слыла отравительницей и к тому же виновной в оскорблении Величества.

– Что думаешь ты обо всём этом, друг Айсе? – спросил астролог лекаря.

И тот ответил:

– Ну какое же это отравление. Такой приступ называется кома и нередко приводит к смерти при подобной болезни, что происходит от избытка поглощаемых сладостей. Не удивлюсь, если старуха больше уже не проснётся, хотя молю бога, чтобы так не произошло.

Я всегда любил твою дочь, Зейнулла, и помню, когда её привезли сюда семилетней, вместе с хроменьким мальчиком Иванко. Я до сих пор не забыл её настоящее имя, равно как и его. Это я уверял мальчика, уже взрослого, что ему никогда не придётся применить искусство палача, потому что у нас в стране сплошная благодать, – невесело усмехнулся лекарь, – и все любят Великого Хана и его близких.

Боюсь, я солгал ему.

Боюсь за твою дочь, Зейнулла...

Старый астролог сидел неподвижно, вперив взгляд в листы гороскопа дочери, который с раннего утра разложил перед собою на столе.

– Смотри, Айсе, ты не хуже меня разбираешься в игре светил. Ну, разве при таком расположении их во время рождения Минкуль, могла она ожидать мирной кончины в глубокой старости? А ещё ты не видел на её левой ладони «треугольник смерти от казни». А я видел, чуть не с её рождения. За многие годы я уже привык к такой мысли. Только я молил Аллаха, чтобы он оттянул роковой исход. И мои молитвы услышаны не были.

– Ну, не всё ещё потеряно! – успокаивал Айсе своего друга. – Возможно, старуха ещё очнётся. И тогда никакой казни не случится. А даже если сгинет, – между нами говоря, туда ей и дорога! – я всё равно пойду к Кубилаю и опишу ему правдиво картину происшествия. Я же не раз предупреждал его, что старуха, если не побережётся, то скоро ему вдоветь.

И он, никак не смущаясь, отвечал, что её место есть кому занять. Это он намекал на твою дочь. Кто бы сказал, что всё так обернётся. Я не знаю, послушает ли он меня – сейчас он как в угаре от этой малолетней блудницы, что подсунул ему Ахмед, да будет ему земля каменной колодой, – но я всё равно скажу Кубилаю правду.

И, кстати, почему бы не подлить зелья в кубок старухи именно этой маленькой распутнице? Она-то прекрасно понимает, чего стоят взгляды хана, когда он глазеет на её прозрачные аравийские балахоны...

А в это время Ван-Хо и Марко, щедро подкупивший стражников, сидели у изголовья Минкуль, которая, обессиленная, легла на кирпичный пол, куда Марко бросил свой изумрудно-зелёный бархатный плащ, подбитый куньим мехом, – ему всегда было холодно, – Италия в его крови постоянно вещала ему, как и где следует жить южанину. Но он никогда не слушал добрых советов. Он их давал другим.

Так они просидели втроём всю ночь.

На завтра был назначен суд ханского Совета. Который ровно ничего не решал, а существовал при дворе, как некая диковинка в назидание приезжим: вот, мол, где торжествует справедливость, а ещё говорят, что монголы – варвары...

Суд ничего не решал. Решал Кубилай, и часто решал поспешно, а потом, – и с годами это случалось всё чаще, – сожалел о

содеянном, а иногда даже отправлялся к несторианским проповедникам или к русскому дьякону, что проживал при его дворе, – каялся.

Членом Совета был и господин Марко, так что с утра он покинул подземный склеп, а с ним вместе и Ван-Хо. Каково бы ни было решение, оно напрямик касалось его служебных обязанностей, и он заранее содрогался при мысли, что по должности он – палач, и тогда он сам, своей рукой...

Нет, он не станет думать об этом. Так и беду накликать недолго...

Решение

Совет заседал весь день до самых сумерек. Все ждали, очнётся ли Первая Императрица. Но она не очнулась. Как ни сопротивлялся господин Марко, а члены Совета решили принять версию предумышленного отравления с предварительным оскорблением Величества. И тогда – никаким наказанием палками на площади несчастной Синей Бабочке не отделаться...

Впрочем, случай был так необычен, что всем Советом решили идти к хану – в конце концов, это прежде всего семейное дело – пусть сам распутает эту чисто женскую свару.

Кубилай принял Совет в белом траурном халате. У его ног, а, вернее, чуть не у него на коленях сидела маленькая блудница в своём неприлично прозрачном одеянии. Возбуждённо сверкая глазами, она внимательно слушала, просто-таки впитывала, каждое сказанное слово. Ван-Хо невозмутимо стоял у плеча своего повелителя. Он ждал приговора. Своей возлюбленной и самому себе.

Кубилай долго молчал, как будто бы в тронном зале кроме него больше никого не было. Хотя все говорили наперебой, он как бы смотрел сквозь них и не слышал их слов. И тогда господин Марко сказал, что прежде чем принимать решение, нужно вызвать лекаря Айсе и послушать его. Уж он точно не ошибётся, определяя, отчего именно скончалась Первая Императрица. И тут кто-то робко подсказал:

– А неплохо было бы вызвать и астролога. Всё-таки решение нешуточное. Пусть скажет, как отнесутся светила к судьбе обвиняемой.

А кто-то другой возмущённо воскликнул:

– Но не астролога же Зейнуллу вызывать, в самом деле. Ведь речь-то об его дочери, и он, конечно, встанет на её защиту.

А кто-то третий вкрадчиво предложил:

– А не отстранить ли вообще этого пленного тюрка, этого Зейнуллу от двора? У нас имеются и другие достойные астрологи. И почему мы столько лет так доверяли именно его предсказаниям – не иначе, он своим волховством добился такой нашей беспечности!

А кто-то ещё, почти шёпотом, подсказал:

– Изгонять его из страны нельзя – толков не оберёшься. О нём знает весь тюркский мир. А вот если бы он ненароком как-нибудь исчез...

Кубилай продолжал сидеть молча. Вспоминал многие свои откровенные беседы с астрологом Зейнуллой, который не раз подсказывал ему верные решения во многих спорных обстоятельствах, в каковые, по своей горячности, Кубилай был мастер попадать.

Но Зейнулла, на самом деле, слишком знал дворцовые тайны, а тем более сейчас, когда решение о судьбе Минкуль почти уже созрело в душе хана, будет знать ещё больше. И если вернётся в Туркестан, или отправится в Иран, то чего только не расскажет об обычаях при дворе Великого Хана Кубилая, достигшего вершины могущества настолько, что даже объявил себя родоначальником новой императорской династии Юань, что означает «Начало». Хорошенькое же начало положит он этой династии, начиная с казни Синей Бабочки...

Итак, – слово «казнь» уже произнесено в тайниках его разума и запечатлелось в самых тёмных закоулках его души.

– Что касается пленного астролога Зейнуллы, я тоже думаю, что его устранение от двора, а, может, и (тут он помедлил) вообще, ко благу. Но решение о судьбе Второй Императрицы не пристало принимать мне одному. Хотите переложить на меня ответственность за её жизнь? А за что я столько лет плачу вам из казны немалые деньги, как не за то, чтобы вы высвобождали моё время для более важных дел, чем определять степень вины провинившихся подданных?

В это время в тронном зале появился Айсе. Он направился прямо к престолу Кубилая и спросил:

– Ты звал меня, государь?

– Я – нет! Но вот мои советники, особенно же господин Марко, к которому, все знают, я прислушиваюсь более чем к другим, считают, что именно ты можешь внести ясность в столь запутанное дело, которое касается не только Второй Императрицы, но и меня лично, и моего доброго имени.

Никто бы не сказал, глядя на невозмутимое лицо лекаря Айсе, что всё нутро его бурлит от негодования. Но он сдержал себя и, глядя прямо в глаза Кубилаю, сказал:

– Твоя Старшая Императрица была женщиной немолодой и сластолюбивой. К тому же невоздержанной в еде и особенно в питье. Она вся была пропитана опасной для жизни сахарной слизью. Она могла умереть в любую минуту. И её кончина сейчас всего лишь совпадение с «обрядом покаяния», а не доказательство вины Синей Бабочки. На том я стою, и кто бы меня об этом ни спросил, в какой бы стране я ни оказался, я скажу то же самое!

Члены Совета заволновались. Выходит, что и Айсе «знает слишком много» о дворцовых тайнах и, похоже, вполне допускает возможность своего устранения из дворца и даже отъезда в Европу, где он пользовался широкой известностью, как в Италии, так и при французском дворе.

Надо было принимать решение, и притом не сильно обременяя Кубилая, который не склонен забывать тех, кто причинял ему неудобства.

В зале повисло тяжёлое молчание. Дело опять зашло в тупик, чего члены Совета и опасались.

– Вот что, – решительно встал с места и вышел в средину зала один из бывших закадычных друзей Ахмеда. – Мы все знаем, как искусно вёл обследование и участвовал в допросе ныне казнённого Ахмеда наш досточтимый содруг, господин Марко Поло, наделённый высокой мудростью. Почему бы не поручить ему допросить Синюю Бабочку и выведать у неё, как обстояло дело с отравлением и действительно ли она грозилась расправиться с Первой Императрицей или же только повинна в оскорблении Величества?

Кубилаю предложение понравилось. Он высоко ценил дипломатические способности господина Марко и знал, что все переговоры, которые он поручал ему в различных странах и даже во многих уголках обширной Империи, всегда оборачивались в пользу самого Кубилая. Пусть возьмёт на себя ответственность и на сей раз и всё решит наилучшим образом для доброго имени зачинателя династии «Начала».

– Согласен ли ты, господин Марко, помочь мне и на этот раз? – обратился к нему Великий Хан.

И обернувшись в сторону Ван-Хо, пронзительно взглянул в его лицо:

– А ты, приёмыш мой и верный слуга Ван-Хо, если будет принято решение, которое потребует твоего содействия по назначенной тебе должности, сумеешь ли выполнить необходимое? Ведь за все годы, что ты стоишь у моего плеча возле престола, тебе ни разу не пришлось выказать своё мастерство в деле лишения человека жизни.

Не дрогнет у тебя рука? Веточки с цветами сирени ты вырезал весьма искусно, а как владеешь ножом и мечом, касаясь горла человека, кто знает...

Про себя Ван-Хо решил, что попытается использовать ещё одну лазейку. Последнюю из оставшихся. И он, казалось бы, совершенно равнодушным голосом спросил:

– А зачем, мой повелитель, непременно прибегать к ножу и мечу? Ведь у нас, у монголов, правда, не очень давно, принят обычай казнить без кровопролития, чем мало кто из других народов может похвастаться, конечно, если речь идёт о казни родовитого государственного преступника. Почему бы не воспользоваться удушением кошмой? Да притом, ведь решение о казни ещё не принято!

Вот этого ему и не следовало говорить. Он сам как бы подтолкнул Кубилая к произнесению роковых слов.

– Почему же? Разве я не вполне ясно, хотя и не впрямую, выразил своё отношение к этому прискорбному делу? Вот ты только что сказал «мы, монголы», и это меня порадовало, что ты, хотя и славянин, притом приведённый в плен из Отрара, за эти годы так свыкся с нами, что тоже причисляешь себя к монголам.

Но ведь ты знаешь, что мы отличаемся ещё и тем, что нам доступен язык иносказаний, что мало какому народу присуще. Так что, похоже, придётся тебе вспомнить, на какой должности ты столько лет числишься при дворе. А уж чем, вернее, каким способом ты воспользуешься, чтобы помочь мне наказать забывшуюся и мною столь возвышенную некогда женщину, это уже частности.

В зале вновь повисло молчание. Члены Совета сидели, не шелохнувшись. Все понимали, что именно сейчас окончательно решится судьба бывшей Второй Императрицы.

Господин Марко, коему всегда свойственна была особая способность мгновенно ориентироваться в обстоятельствах и, взвесив все «за и против», принимать решения, которые чреваты возможно меньшими потерями, понял, что для себя Кубилай твёрдо решил от Минкуль избавиться.

Рок был против неё, а спорить с Роком, он это знал по себе, – пустое занятие. Чувствуя, как сердце его словно сжимает неумолимый кулак, он сказал, выйдя на средину зала:

– Я согласен допросить госпожу Синюю Бабочку и, в зависимости от того, что будет обнаружено, склонен лишь тогда принять решение о способе лишения её жизни. Либо принять наиболее милосердный – удушение кошмой, либо призвать к делу моего друга Ван-Хо.

Впрочем, есть ещё один выход, но я сообщу о нём лишь завтра к вечеру, после того, как проведу день с бывшей Второй Императрицей.

Видно, Великий Хан Кубилай в самом деле слишком высоко вознёс пленницу Минкуль и тем самым заставил весь двор оказывать ей небывалые почести, потому что сейчас в роковой миг её жизни вдруг оказалось, что у неё гораздо больше врагов, чем можно бы представить.

И хотя хан Кубилай с доводами господина Марко согласился и даже был весьма удовлетворён его речью, из среды советников послышались возмущённые голоса:

– Как бы там ни было, – отравление или не отравление, но оскорбление Величества налицо, а это государственное преступление, не заслуживающее милосердия.

– Испокон веку государственным преступникам рубили или отрезали голову. Почему бывшая Вторая Императрица должна пользоваться даже и сейчас небывалыми привилегиями? Ведь удушение кошмой ввели лишь недавно, по великой милости мудрого нашего хана, когда против него выступил его же племянник Наян, и был побеждён. И удушили его кошмой, только чтобы не пролить на землю его кровь, ибо в жилах его текла кровь великого Чингисхана. И с тех пор повелось – казнить родовитых, даже дальних, потомков великого Чингисхана удушением без пролития крови!

– Не будем вмешиваться, пусть всё решит господин Марко после допроса. Хотя можно ведь согласовать и милосердие, и традицию...

И тут этот мудрейший и двоякостный из всех советников хана предложил казнить Минкуль двумя казнями. Почему бы милосердно и без кровопролития не удушить её кошмой, если, конечно, господин Марко придёт к выводу о её несомненной виновности в отравлении, а на следующий день, уже удушенную, казнить путём отсечения головы на главной площади в парке дворца.

Ван-Хо, конечно, с этим справится. Ведь казнить мёртвую куда легче, чем живую. Не будет ни сопротивления, ни слёз, ни криков...

– Притом вряд ли Синяя Бабочка родовита! – крикнул ещё один азартный недруг Минкуль. – Наш хан – внук великого Чингисхана и справедливо пощадил кровь своего племянника Наяна. И принятый с тех пор обычай мне по душе. Но кровь Чингисхана вряд ли струится в жилах безродной Синей Бабочки!

Последний день

Весь следующий день после заседания Совета во дворце Кубилая господину Марко надлежало провести рядом с Минкуль и самым осторожным образом выведать у неё, не только каковы были её действия в скорбный день «обряда покаяния», но и каковы были мотивы её действий.

Однако господину Марко не удалось отправиться к ней с самого утра, потому что дворец был охвачен смятением и по парку то и дело пробегали взволнованные придворные. Оказалось, что на заре у подножия обсерватории был найден Зейнулла с разбитым лицом

и окровавленной головой. Похоже, он выбросился из окна галереи, что вела из обсерватории в его кабинет, где он записывал свои наблюдения.

О решении его устранить, принятом накануне, он уже успел узнать, а о неминуемости казни дочери знал много лет назад сразу после её рождения. Поэтому когда Совет собрался у Кубилая, он сразу же ни на минуту не усомнился, каков будет исход. Помнил, как содрогнулся, когда на ладошке трёхлетней девочки увидел зловещий треугольник, предвещающий смерть не от предательства, не от несчастного случая, а именно от казни.

Правда, тогда ему трудно было представить, в чём может так провиниться его дочь, чтобы её приговорили к подобной смерти.

Но он был астрологом и притом мудрецом, и знал, что неведомы пути, предуготованные каждому человеку и записанные в Книге Судеб. Потом к этой мысли привык и беспокойство стал ощущать только тогда, когда при взятии Отрара всех их не убили на месте, а привезли ко двору хана. Готовился какой-то неожиданный поворот в судьбе его семьи, и, возможно, именно он сулил такую несуразицу – а теперь он уже привык именно так называть предположение о грозящей Минкуль казни, – какую запечатлел на её ладони зловещий треугольник.

И когда Кубилай с высоты своего престола объявил всему двору, что отныне рядом с ним будет восседать не только стареющая Первая Императрица, но и «цветок моей жизни», – он именно так сказал, – отрарская девушка Минкуль, которую всем надлежало называть Синей Бабочкой и считать младшей Второй Императрицей, – Зейнулла содрогнулся.

Чем выше возносит судьба человека, тем вероятней падение его с высоты и тем больнее предстоящие ему удары. Мудрец Зейнулла с этого дня всё более опасался за жизнь и судьбу дочери. И всё свершилось по его предчувствиям. Так что ему не было нужды ожидать известий о решении, которое накануне принял Кубилай и он, даже не дожидаясь встречи со своим другом Айсе, сделал то, что сделал, хотя для доброго мусульманина это считалось немалым грехом.

Однако перед тем, как его совершить, вспомнил, как при первом захвате Отрара монголами женщины, узнав о чуть не поголовном

истреблении всех мужчин города, забрав с собою детей, поднялись на купол тамошней обсерватории и ринулись вниз, чтобы избежать позорной судьбы наложниц варваров-монголов.

И все, кто остались живы, восхищались их подвигом. Это и решило сомнения Зейнуллы, и вот он лежал тут, навек успокоенный по поводу исполнения гороскопа Минкуль, который сам же и составил, и ему уже ничего не грозило...

Первым, кто увидел его, был именно Айсе – он направлялся к своему другу. Айсе всё понял, но он был твёрд духом и знал, что даже самому суровому властителю необходим хоть один человек, который без страха за собственную жизнь станет говорить ему ту правду, которую все остальные из раболепства и для собственной безопасности будут от него таить.

Поэтому после вчерашнего Совета, хотя услышал немало скрытых угроз под высказанными словами, решил, что ему, который уже успел получить в Европе титул «князя государства Римского» и «принца Рима», вряд ли грозит серьёзная опасность.

Он знал, как дорожит Кубилай своим авторитетом в глазах не только мусульманского мира, но и европейских правителей – ведь именно от этого во многом зависело процветание страны, которое едва ли не более всего опиралось на обширные торговые связи.

Именно потому он и шёл к своему другу – хотел предложить тому спрятаться у него, Айсе, а потом помочь Зейнулле переправиться хотя бы во Францию, где в ту пору астрологи и маги были в особой чести. Но – не успел...

И теперь горько корил себя за это. Если бы успел, напомнил бы Айсе их давние и постоянные споры о неопровержимости Книги Судеб.

Зейнулла свято верил в неотвратимость её таинственных предначертаний и потому так опасался за судьбу дочери.

Айсе придерживался другого мнения, хотя и сам, будучи лекарем, был также весьма сведущ и в астрологии и, случалось, даже составлял гороскопы.

– Ты, Зейнулла, глядишь на Книгу Судеб, как на свод приговоров, – убеждал он. – Я же считаю, что она – список предостережений. Вот ты любишь повторять: «если от огня, так не от воды,

если от воды, так не от петли». Но если ты, зная гороскоп человека, предупредишь его, от чего последует для него какая-либо беда или даже кончина, он продлит свои дни, соблюдая осторожность.

– Смотря что считать осторожностью, – усмехался Зейнулла. – Представь себе, что человеку предстоит смертельная опасность от воды. А он окажется в пустыне. И вдруг набредёт на оазис, и тут же потянется к колодцу. И остановится на полпути: он знает, что может упасть в колодец, неосторожно набирая воду; вода слишком холодная, и он занеможет от охлаждения; злоумышленники зачем-то отравили воду в колодце. Предупреждённый о тайне своего гороскопа, человек предусмотрительно отойдёт от воды и умрёт от жажды в пустыне, то есть – всё равно от воды.

Или, скажем, путник в холодную ночь – а у нас в Отраре, например, дни знойные, а ночи холодные, – увидит беседующих у костра таких же путников и ему, конечно же, захочется к ним подойти. Но он вспомнит о гороскопе и заопасается: а вдруг те захотят его ограбить, бросят головой в огонь и расправятся с ним. Или он сам, в пустынном месте, пожелает ночью согреться и развести костёр. Но у костра можно угореть, а можно и уснуть, так что загорится одежда и сам погибнешь от ожогов. И всё равно, выходит, такой человек умрёт от огня...

– Друг мой, Зейнулла, – ехидничает Айсе, – умереть от *воды и огня*, или от *боязни* того и другого – разные вещи. Ведь знание ещё не предполагает обязательно присутствия мудрости. Ты предостерегаешь человека и даёшь ему знание о возможной опасности. А далее уже дело его мудрости, как наиболее полезно для себя воспользоваться узнанным и сохранить свою жизнь.

– А если гороскоп предсказывает петлю? – не сдаётся Зейнулла. – Кто скажет, где может оказаться человек, в какой стороне, с какими обычаями?

– Ну да, – парирует Айсе, – выходит, человеку нужно, как пришитому, сидеть в своём дому, ибо, даже выйдя за дверь, он может нечаянно толкнуть вельможу или напугать его коня, и конь понесёт.

Всё проще: вступая в связи с людьми, хотя бы за дверью собственного дома, а тем более на чужой стороне, помни заветы человечности и соблюдай вдумчивую неторопливость, а тем более

чти законы чужестранцев, сколь бы странными они тебе ни казались в их собственной стране, или когда они бывают у нас.

Словом, – никого не толкай локтями, никому не наступай на ноги, и петля тебя минет.

– Айсе, мой друг и брат! Ты знаешь гороскоп моей дочери. Ну какая же казнь может её ожидать? Как ей-то предостеречься от грозящей беды? – неизбежно касался в подобных спорах Зейнулла наиболее жгучего своего опасения.

– Ты должен был, ты обязан был рассказать ей о знамении на её ладони! – возмущался Айсе. – Я не раз говорил тебе об этом. Но ты боялся её напугать и не послушал меня.

А, тем не менее, став Второй Императрицей, она настолько возгордилась, что когда друг её детства Иванко, то бишь Ван-Хо, протягивал ей питьё в кубке, она даже не оборачивалась и не благодарила хотя бы улыбкой, а протягивала руку через плечо, подражая Кубилаю. Когда она так вот возгордилась, ты должен был сказать ей, ты обязан был сказать, что путь к вершине чреват бедами. И когда она позволила себе носить одеяние с длинным шлейфом, что положено только Первой Императрице, ты опять же обязан был предупредить её, что сильному не подобает доказывать свою силу тщеславием, ибо с тщеславия нередко начинается путь к гибели. Но ты не сказал ей о треугольнике на её ладони, и теперь маховик запущен. Увы, друг мой, Зейнулла, иногда я опасаюсь за твою дочь...

Так они спорили не раз, но своенравная Синяя Бабочка так своего гороскопа и не узнала. А узнай она – кто скажет, как сложилась бы её судьба...

И теперь Айсе казнил себя не только за то, что не успел остановить своего друга от совершённого только что шага, а куда более оттого, что так и не успел переубедить его в неотвратимости предначертаний, записанных в Книге Судеб...

Всё это он рассказал господину Марко, который, как он знал, направляется в Розовый Павильон, куда должны были переправить Минкуль из склепа, чтобы господину Марко удобней было находиться рядом с ней целый день для выяснения обстоятельств её преступления.

Розовый Павильон находился в самом укромном уголке обширного парка и назывался так, потому что был весь облицован

розовыми раковинами. Господин Марко знал, что это была именно идея Минкуль, ей очень хотелось, чтобы розовые раковины радовали её взор – недаром же имя её означало Голубое Озеро, что предполагало тесную связь с подводным миром...

Павильон состоял из трёх просторных покоев, отделённых друг от друга ковровыми, плетёными в Индии, ширмами, так что находящиеся в нём могли по своему желанию эти ширмы передвигать и приближаться или отдаляться друг от друга.

Когда господин Марко пришёл в павильон, он увидел, что Минкуль, теперь тщательно одетая и причёсанная, в сопровождении прислуживающей ей девицы, находилась в дальнем углу павильона в крохотном пространстве, которое для себя выделила, оградив его двумя ширмами от всего остального покоя.

Как-то так получилось, что когда господин Марко заглянул за ширму, Минкуль бросилась к нему, обвила его шею руками и прижалась головой к его плечу.

– Господин мой Марко, я даже не спрашиваю тебя, каково принятое о моей жизни решение. По твоему лицу вижу, что ничего отрадного сообщить ты не можешь. Да и когда меня перевели в этот павильон и объявили, чтобы я тебя ждала, я тут же поняла, что ты явишься ко мне как допросчик. Но ведь прежде всего ты мой друг, не правда ли?

Трепеща от счастья держать её в объятьях, – необъяснимого в столь скорбных обстоятельствах, – господин Марко заверял, что попытается сделать всё возможное для её спасения, потому что верит в её невиновность и не только не осуждает, а восхищается так называемым «оскорблением Величества», которое она себе позволила, поскольку он сам, окажись в таком положении, наверное, не просто плюнул бы на башмаки ненавистной властительницы, но, пожалуй, просто заколол бы её кинжалом, который носил за поясом.

Но даже если бы Минкуль была виновна в самых тяжких преступлениях, он, Марко Поло, отдал бы собственную жизнь, чтобы спасти её, поскольку мир, который она бы вынуждена была покинуть, для него стал бы похожим на кладбище и даже на Ад.

Долго сидели они на веранде Розового Павильона и Минкуль рассказывала ему об Отраре, о библиотеке, в которую отец водил

её совсем ещё маленькой, о фолиантах на арабском, арамейском и фарси, которые украшали кабинет отца. Она рассказала ему, как появился у них в доме худенький, пряменький, быстро вытянувшийся для своих лет мальчик Иванко, и как она спросила его, почему у него белые волосы, а он застеснялся, а потом оттолкнул её и сказал, что нет ничего несноснее, чем любопытные девочки.

Но вскоре они подружились и после смерти матери, когда её воспитанием занимался только отец, он взял Иванко в дом и научил его читать на арамейском и на фарси и стал приучать к премудростям астрологии и врачевания. А когда мальчик вырезал из кусочка дерева, который нашёл во дворе, дивного коня, который куда-то стремительно нёсся, словно в полёте, обещал определить его в обучение к местному художнику, который расписывал диковинными фресками стенки отрарских домов. Но и этого Зейнулла сделать не успел...

Нашествие монголов было стремительно. Они поджигали всё окрест и убивали всякого, кто встречался на пути. Их дом тоже подожгли, но Зейнулла взял на руки обоих детей, а было им уже лет по семь-восемь, и вынес их из огня. А потом был плен...

Сперва Минкуль определили в служанки к десятой жене Кубилая и та очень её полюбила. Лет пять служила она у своей госпожи, пока как-то в парке не увидела, как Кубилай охотится за ланями. Ей было жалко ланей, а особенно одну, которая убегала так стремительно, что глаза её налились кровью. Кубилай её настиг и убил. Девочка вскрикнула и хан обернулся к ней. Это и решило её судьбу.

В тот же день её перевели служанкой к Первой Императрице, которая в то время ещё была хороша собой и сильно ревновала Кубилая к остальным его трём императрицам и десяти законным жёнам, и так привыкла к отрарской девочке, что нередко жаловалась ей на его непостоянство и на свою горькую судьбу. И Минкуль очень её жалела и даже испытывала к ней привязанность.

Однако шло время, и когда Кубилай посещал свою Главную супругу, он всё чаще замечал, как выросла Минкуль и как ей к лицу платья, в которые любила наряжать её Первая Императрица. У неё не было детей, она не могла рассчитывать, что её сыновья наследуют престол, что сильно её огорчало, а Минкуль служила как бы отдушиной для её неизрасходованной любви.

И настал день, когда Кубилай, которого Минкуль провожала из покоев своей госпожи со всякими почестями и поклонами, вдруг обнял её и стал срывать с неё платье, порвав ворот у горла. Минкуль закричала и тут внезапно появилась её госпожа. Оказывается, она давно примечала интерес Кубилая к девочке и исподволь за ними следила.

Первая Императрица тут же объявила, что изгоняет служанку из своих покоев и пусть Кубилай сам пристраивает её, как знает.

Кубилай – знал.

Он перевел её в собственный дворец, как первую наложницу, а вскоре последовало то, что её погубило: он объявил её Второй Императрицей.

– Скажи, любимая и досточтимая повелительница моя, – сказал Марко, который живо представил себе весь безотрадный жизненный путь маленькой полонянки, – скажи, за эти годы ты часто встречалась с Ван-Хо?

– Не называй его так. Я уже назвала его Иванко, я вернула ему его прежнее имя и вернула наши с ним отношения к той точке, когда они чуть было не оборвались при гибели Отрара. Конечно, мне очень хотелось видеть его, но я не смела. Я – наложница хана, стыдилась глядеть ему в глаза – ведь он был мне как брат. Потом привыкла. Но частых встреч избегала, чтоб не навлечь на него гнев Кубилая.

Иногда мы встречались в тюльпанной степи и бродили по ней, держась за руки. А однажды, когда меня уже назвали Синей Бабочкой и по первости придворные глядели на меня с презрением, я ушла в степь и дала волю слезам. И тут подоспел Иванко, обнял и поцеловал в щёку. И не один раз. «Главное, не ожесточайся и не загордись!» – так он говорил мне. И я его не послушала, а всё более гордилась своим величием – так мне представлялось тогда моё положение, – и от гордыни принялась изводить Первую Императрицу.

А права была не я, а она. По справедливости она и должна была меня ненавидеть. И ненавидела. И Иванко не раз остерегал меня от её гнева. Но разве я его слушала? – всхлипнула Минкуль. – Ведь дошло до того, что я принимала из его рук кубок на пиру, даже не оборачиваясь, даже не взглянув. Просто

протягивала руку, точно так, как это делал Кубилай. Обращалась с ним, как с рабом...

– Но ведь ты сама говорила, что любила его, также, как и он тебя? – удивился Марко.

– Но чем больше любила, тем больше ожесточалась. Ведь он никогда не говорил мне, что я для него давно не просто сестрица, с которой он рос вместе. И дальше поцелуев в щёку отношения меж нами не продвигались. Я полагала, что он просто меня жалеет, а, может, даже немножко презирает из-за моего положения, и потому, чем больше любила, тем яростней хотела его унизить. И унижала. Потом себя ненавидела...

– Мне жаль, что Иванко не слышит тебя сейчас, – вздохнул Марко, – ведь и он думал, что судьба могла всё устроить по-другому, и вы жили бы в мире и согласии, как и подобает супругам, – ведь повернись дела иначе, ты бы сочеталась с ним браком?

Минкуль только всхлипнула в ответ. Вопрос был не только праздный, но и жестокий, и Марко сразу это понял – незачем было бередить незажившие раны...

Так они просидели до вечера, им приносили еду, Марко рассказывал Минкуль о своей весьма пёстрой жизни и сказочных похождениях в неведомых ей странах.

Говорить было больше не о чем. Какой из него, Марко, допросчик? Ведь всё и так было не только вполне ясно, но и предрешено. Разве не понял он ещё вчера, что спасти жизнь Минкуль невозможно, и потому нужно лишь попытаться сделать её смерть не очень мучительной, а, главное, не позорной.

Когда она, утомлённая их неторопливой беседой, прилегла на широкую китайскую квадратную кровать, покрытую стёганными атласными одеялами, и Марко с щемящим умилением услышал, как она во сне совсем по детски чуть посапывает, он принялся придумывать план завтрашнего отчёта хану, а, главное, – как облегчить участь Минкуль.

Вспомнил о коварном и, казалось бы, необыкновенно жестоком предложении одного из советников на вчерашнем собрании: сперва Минкуль удушить, а потом отсечь ей голову. В её жилах не было крови Чингисхана, которую не полагалось проливать на землю, на виду у неба и солнца.

Теперь он решил, что, пожалуй, это самое мудрое решение. По закону, палач должен провести последнюю ночь в одной комнате с жертвой, чтобы с ней как бы породниться, дабы казнь, которую ему надлежало свершить, не выглядела следствием ненависти или мести со стороны враждебного человека, а делом истинной справедливости. Значит, Ван-Хо и Минкуль смогут в единственный и последний раз насладиться любовными речами – и не только! – как бы навёрстывая упущенные годы...

Как бы хотелось ему, Марко, тоже провести эту последнюю ночь рядом с ними. Ему нетрудно было бы добиться разрешения от хана, в доказательство того, что мнимый его сегодняшний допрос никак не окрашен проявлением вражды, а служил только выявлению истины. Но он не смел мешать этим странным влюблённым – палачу и жертве, которым отмерено было лишь скудное мгновение единения.

На всякий случай господин Марко оглядел павильон и в одном углу обнаружил нишу, тоже укрытую ширмой. Здесь он мог бы спрятаться и хотя бы слышать голос Минкуль до последнего мгновения её жизни.

Так он и сделает – решение его было твёрдо...

Покидая Минкуль в этот вечер, он спросил, не одарит ли она его последним поцелуем, кто знает, как обернутся события завтра...

И она, ни слова не сказав, прильнула губами к его губам, и он вновь ощутил необыкновенный аромат, что исходит от неё.

...Сейчас, когда, казалось бы, охладевший ко всем страстям «Господин Миллион» описывал эту последнюю встречу, он даже закрыл глаза, так явственно почувствовал обволакивающий его запах духов Синей Бабочки и даже прикосновение её губ и вкус того последнего поцелуя...

Придя в себя, стареющий Марко вновь припомнил следующий день после его встречи с Минкуль в Розовом Павильоне...

* * *

С самого утра в дворцовом зале вновь собрался Совет.

– Ты выполнил моё поручение, господин Марко? – строго спросил Кубилай. – И если выполнил, изволь поведать мне, каков твой вывод и каково решение, которое ты посоветуешь нам принять.

– Я выполнил твоё поручение, повелитель! – ответствовал господин Марко. – И я пришёл к выводу, что женщина в Розовом Павильоне ничуть не виновна в отравлении Главной Императрицы, и более того, даже с благодарностью вспоминает недолгое время, когда она ей прислуживала и Императрица была к ней добра.

Не вина, а великая беда госпожи Синей Бабочки, что ряд событий изменил ход её жизни! – ледяным тоном объявил господин Марко, пристально глядя в чуть прищуренные от напряжения глаза Кубилая.

А потому, – хотя Синяя Бабочка по местным понятиям и не считается родовитой, но, учитывая, что по обычаям моей страны астролог и лекарь ничуть не уступают в родовитости, например, нашим баронам, поскольку учёность и мудрость считаются ценнее герба, а отец обвиняемой, как тебе известно, был учёным и мудрецом, не раз пользовавшим тебя и снадобьями при болезни, и советами по части будущих сражений – так вот, исходя из всего этого, считаю непозволительным, ввиду её невиновности в отравлении, казнить Синюю Бабочку путем кровопролития.

– А оскорбление Величества? – вскричал давешний поборник самого сурового наказания для Минкуль. – Этак вскоре подобные нарушения обычаев вообще перестанут считаться преступлением и всякий простолюдин поверит в свою безнаказанность. И более того – примется доказывать, что он – потомок Чингисхана, ведь мало ли девиц оплодотворил великий твой предок, досточтимый наш повелитель Кубилай, когда со своими ратниками завоёвывал страну за страной по всему Востоку. И в нашей стране тогда казнь путём отсечения головы придётся отменить, и всякий хулитель твоего величия станет претендовать на казнь при помощи кошмы. И твоя доброта к племяннику Нояну, правнуку Великого Чингисхана, обернётся великим злом и расшатает устои Империи.

– Ты всё сказал? – холодно оборвал словоохотливого обвинителя господин Марко. – Тогда я продолжу. И вот, как невиновную в отравлении, бывшую Вторую Императрицу следует казнить через кошму только за оскорбление Величества, что, к сожалению, несомненно, имело место.

Но, чтобы не случилось то, что предрекал уважаемый предыдущий обвинитель, надобно для назидания, чтобы казнь на площади

всё-таки состоялась. Только отсечение головы палач произведёт над уже мёртвым телом, причём во всеуслышание будет объявлено, за что именно последовала такая необычная казнь. Теперь я всё сказал.

Кубилай был сражён всем, что услышал. Долго молчал, потом изрёк:

– Господин Марко, ты поистине непревзойдённый советник, но и искуснейший дипломат. Вчера кто-то уже предложил подобное, но это казалось бессмыслицей. А ты всё объяснил – причины, следствия и последствия, и каждому стало понятно, что именно так и нужно поступить. Все знают, что ты всегда дружелюбно относился к обвиняемой женщине и потому всё рассудил беспристрастно и без личной вражды.

– Да, государь, это так! – воспользовался такой неожиданной удачей Марко, тут же невольно поймав себя как бы на святотатстве: разве уместно слово «удача» в его положении? – тем не менее, последние слова Кубилая позволили ему поступить так, как он вчера решил. И он попросил разрешения последнюю ночь, вместе с палачом Ван-Хо, провести в одной комнате с Минкуль, в доказательство своей беспристрастности при допросе и даже благожелательности к ней.

Разрешение он получил.

Таинственные переговоры

В парке он встретил Ван-Хо и подошёл к нему.

– Нам с тобой предстоит жестокое испытание, друг, – сказал он, и Ван-Хо взглянул на него таким затравленным взором, что господин Марко не смог продолжить начатого разговора.

Зато продолжил разговор Ван-Хо:

– И ты называешь меня другом? Ты сам предложил отсечение головы на площади после удушения кошмой. Разве ты забыл, что мне, именно мне, предстоит всё это содеять? Но я тебя удивлю: меня не пугает удушение, напротив, я никому другому не позволил бы принять её последний вздох.

Но я не хочу уподобляться богу и убивать дважды. Это он сперва умерщвляет тебя на земле, отлучая от всех радостей мира и от всех любимых, а потом убивает повторно уже в своей вотчине, на

небесах, то есть посылает на вечные муки в ад. Вот уж – палач так палач! Я так не смогу. Отсечь голову мёртвой моей возлюбленной? Да я лучше повешусь тут же в Розовом Павильоне после удушения!

– Ты христианин? – спросил поражённый Марко.

– Не меньше, чем ты, хотя, по-моему, ты вряд ли кому-либо и во что-либо веришь – слишком во многих странах ты побывал и чувствовал себя везде, как дома! – парировал Ван-Хо.

– Я оттого спросил, – продолжил господин Марко, – что, совершив удушение и тем самым нарушив заповедь «не убий», ты собираешься грех умножить, положив конец своей жизни по собственной воле. Разве ты не знаешь, что это нарушение всё той же заповеди?

– Если всё случилось, как случилось, ни в какие заповеди я больше не верю! – вспылил Иванко. – Я не могу и не хочу жить после смерти Минкуль. А тем более – чтобы я, своими руками, на площади...

И тут господин Марко не стал более таиться.

– От удушения женщины, которую оба мы, похоже, любим одинаково пылко, избавить я тебя не могу, ты сам знаешь.

И даже если мы оба умрем до того, Кубилай назначит другого палача, который это свершит, и когда я подумал, что чьи-то чужие и жестокие руки спокойно, а, может, даже со сладострастием, лишат жизни это божье создание, прекраснее которого я ничего на свете не знал, члены мои леденеют и сердце останавливается.

Но от деяния на площади я тебя избавлю, клянусь Гробом Господним. Хотя ты и сомневаешься, христианин ли я. Сейчас я ненадолго отлучусь, мне нужно кое с кем повидаться. Дай мне слово, что не предпримешь никаких опрометчивых шагов до моего возвращения. С вечера тебе надлежит явиться к Минкуль в Розовый Павильон. Там она проведёт свою последнюю ночь. Я тоже туда приду. Не опасайся, я вам не помешаю. Ты друг мне, а я не каждого называю другом. Сейчас не спрашивай меня ни о чём – только верь мне...

...Когда «Господин Миллион» дрожащей от волнения рукой записывал эти строки, – вдруг вспомнил, как в пору юности изумился, когда в новопостроенном Кубилаем городе Канбалу, объявленном столицей, обнаружил казарменный порядок и понял, что

Кубилай, зачинатель новой династии Юань, живёт в постоянном опасении не столько за свою жизнь, сколько за прочность завоёванной им власти – город кишел охранниками...

Охрана в городе-казарме была разношерстная, сюда привозили людей из разных стран. Господин Марко даже познакомился с неким русским князем Григорием, который командовал гарнизоном в десять тысяч русских воинов. И тогда, редко задумывавшийся в ту пору, господин Марко, может быть, впервые углубился в размышления о прихотливых и извилистых тропах судьбы.

Давно ли монголы разгромили стены русского города Киева китайскими стенобитными машинами, а теперь именно с помощью русского войска держат как бы в «жёстком ошейнике» прекрасный город Канбалу, потому что Кубилай не верит и никогда до конца не поверит покорённым китайцам. Ибо не может побеждённый любить победителя, и потому у всех ворот города посменно дежурят тысячи воинов, главным образом, русских.

Теперь всё это казалось почти нереальным, но тогда, в тот проклятый небом день, именно на русских стражников, что стояли у всех ворот Канбалу посменно, надеялся господин Марко, как на якорь спасения.

А потому отправился на поиски князя Григория и довольно легко его нашёл. Господин Марко по своему положению и близости к Кубилаю стоял никак не ниже князя Григория, а даже несколько выше, и потому принят был радушно.

Тайный их разговор длился недолго и разошлись они вполне довольные друг другом. У Марко всегда водились золотые монеты и слитки – в стране, где недавно ввели бумажные деньги, что впоследствии в рассказах «Господина Миллиона», вернувшегося в Венецию, более всего удивляло его земляков и вызывало сомнение в его здравомыслии, – в ту далёкую пору золото особо ценилось, и князь Григорий принял от Марко в дар увесистый кожаный кошель, пообещав полное содействие.

Вечер перед кончиной

Когда господин Марко вернулся во дворец, ему сообщили, что Кубилай уже дважды справлялся о нём и велел ему прийти в свои личные покои, как только появится.

– Долго же ты отсутствовал! – подозрительно констатировал хан. – Ты не забыл, что тебе надлежит с вечера отправиться в Розовый Павильон к твоей подопечной, – съехидничал Кубилай, – причём лучше в сопровождении свиты, чтобы потом в городе не было кривотолков, что каким-либо образом нарушен закон и что ты обвинил женщину по личной злобе. Но у ворот павильона свиту ты, разумеется, отпустишь.

Эту ночь моя Вторая Императрица, моя Синяя Бабочка, цветок моей жизни, должна провести в тиши и в дружелюбии с теми, кого её несчастливая судьба выбрала своими орудиями, чтобы исполнить предначертанное ей, – с изумлением услышал господин Марко и подумал, как же бесчеловечно глумится Кубилай над обречённой Минкуль...

Но взглянув на хана, вдруг увидел, что в его уже изрядно потускневших от возраста глазах стояли слёзы, а также следы слёз увлажняли его тронутые старческими складками щёки.

– Я всё помню и всё исполню, как ты велишь, государь! – заверил Кубилая, на мгновение умягчившись сердцем, господин Марко, и впервые за многие годы подумал, что этот славный на всю Азию и Европу всесильный Император, бесстрашный и ненасытный завоеватель, был, в сущности, по крайней мере, в эти дни, всего лишь уязвлённым в своём властолюбии мужчиной, так и не переставшим любить женщину, обречённую им на казнь.

И ещё подумал, что судилище и казнь – одна из уступок многочисленным недоброжелателям, которые неизбежно сопутствуют любому величию, чтобы сохранить нерушимой долголетне завоёванную власть...

По дороге в Розовый Павильон господину Марко вдруг показалось, что этот последний разговор ничуть не сблизил его с Кубилаем, а, напротив, вряд ли тот забудет когда-нибудь, что позволил своему подданному заглянуть в тайники собственной неукротимой души, и, конечно, сам себе этого не простит, и тем меньше простит господину Марко, что тому довелось увидеть слёзы Императора.

– Ох, пора, пора бы нам с отцом и дядей сворачивать дела торгового дома Поло, – подумалось на мгновение, – теперь я тоже

«слишком много знаю» о дворцовых подпольях, также как покойный Зейнулла и пока ещё здравствующий Айсе...

Последние откровения

Когда господин Марко вошёл в Розовый Павильон, уже сгущались сумерки. На широкой квадратной кровати сидели рука в руке Минкуль и Ван-Хо. У их ног на маленьком столике горела масляная лампа, глиняная, расписная на тюркский манер, похожая на утицу. И Марко подумал, что, наверное, местные мастера изготовили её лично для Второй Императрицы, в память об её отрарском детстве.

– Я всё уладил, как обещал, друг мой Ван-Хо, – объявил господин Марко, – не вдаваясь в подробности. – А теперь не обращайте на меня внимания, я удаляюсь в некое тайное убежище, найденное мной в этом зале, и вы вскоре забудете, что кроме вас здесь может находиться ещё кто-нибудь. Но это приказ Кубилая и я обязан так поступить.

– Что именно ты уладил? – спросила Минкуль.

– Всё это я потом объясню Ван-Хо, – смущённо сказал господин Марко.

– Когда это – потом? – необдуманно спросила Минкуль-Синяя Бабочка.

Похоже, она никак не собиралась привыкать к мысли, что очень невдолге будут происходить события и звучать слова, которые она уже не сможет ни увидеть, ни услышать, поскольку её просто не станет.

Вот не будет её, а мирские дела пойдут своим чередом, так, как будто бы из его обитателей не выбыла навсегда прекрасная и столь многими любимая тюркская девушка, монгольская императрица Голубое Озеро, Синяя Бабочка...

– То, что ты улаживал, касается Ван-Хо? – как ни в чём ни бывало, продолжала она выспрашивать господина Марко, и тому стало необыкновенно тяжко: она в самом деле не могла представить себе, что значило это «потом», только что произнесённое им.

– Это касается нас обоих, его и меня, – смущённо сказал Марко, и даже пытался неловко отшутиться, – ведь могут же у нас быть свои мужские дела!

На том он и удалился в свою нишу, оставив влюблённых в последний раз наедине друг с другом. Он ожидал бурных изъяснений в любви, объятий, а, может быть, и соития, но никак не ожидал увидеть и услышать то, что произошло этой ночью.

А произошло вот что: ничего не объясняя друг другу, Минкуль и Ван-Хо сняли с себя свои амулеты. Минкуль – «Руку Фатимы», маленькую золотую женскую ручку с бирюзовой бусинкой на ладони. Похоже, она носила её на шее всю жизнь с самого детства. Ван-Хо же снял с шеи довольно большой деревянный крест, какие обычно носили несторианцы, к коим он принадлежал, когда ещё совсем маленьким мальчиком был захвачен тюрками при набеге на несторианское поселение, состоящее из русичей.

И господин Марко тут же осудил себя за то, что приравнял крест к талисману Минкуль, и тут же сам себя оправдал, потому что события последних дней всё более заверяли его, что, в сущности, крест, который и он сам носил на шее, – не больше чем талисман, которым при крещении родственники младенца пытаются оградить его от будущих злоключений, неизбежно предуготованных всякой человеческой жизни.

Итак – они молча обменялись своими талисманами и каждый одел на шею тот, что отныне должен был ему сопутствовать до конца.

Первым нарушил молчание Ван-Хо.

– Зачем ты надела на шею мой крест? Ты не просила его у меня, и я даже сам не пойму, как угадал, что ты этого хочешь.

– Ты правильно угадал, – вздохнула Минкуль, – ведь тебе предстоит нарушить краеугольную заповедь твоей веры – «не убий». И, стало быть, ты осуждён и будешь наказан в потусторонней жизни на вечные муки, мне про всё это рассказывал христианин лекарь Айсе. И я подумала, если ты отдашь мне свой крест и оденешь мой могущественный талисман, каким является «Рука Фатимы» – спутницы и супруги нашего пророка Магомета, ты как бы отречёшься от христианства и, значит, заповедь «не убий» нарушит уже не христианин, а мусульманин Иванко, который стал таковым, приняв мой символ веры.

– Значит, ты отреклась от веры своих отцов, которая всегда служит поддержкой человеку в последний его час, чтобы спасти меня?

– Ты слишком хорошо обо мне думаешь, – едва улыбнулась Минкуль. – Это я не тебя, а себя спасла. Ведь и ты, и я, оба знаем, что я обречена, хотя и ни в чём не повинна. И, стало быть, я уйду из жизни как мученица? Мой отец рассказывал мне, как сразу же после распятия вашего Господа Христа римляне бросали на растерзание львам первых христиан и те умирали как мученики, ибо не было на них никакой вины, и они попадали в божий рай. Я не знаю, так ли прекрасен ваш рай, как тот, что описан в нашем Коране, но всё равно, наверное, он получше устроен, чем наша земная обитель.

– А как же я? – удивился Иванко. – Я понимаю, ты взяла мой грех на себя, ты придумала для меня оправдание, но ведь теперь я отступник? Ведь я отрёкся от своей веры и принял враждебную?

– Ну почему же враждебную? – удивилась Минкуль. – Мы, мусульмане, считаем, что бог для всех един, и что это люди, в своей слепоте и гордыне, стали делить бога как бы на отдельные кусочки. По одному кусочку для каждой веры.

А если так – как же быть единому богу, в которого верим мы, мусульмане, если на поле битвы ваши крестоносцы, которые так мечтали спасти Гроб Господень от нас, изуверов-мусульман, как же они молят о помощи свой «кусочек бога», а рядом, напротив них, наше войско, которое тоже считает христиан изуверами, молит свой мусульманский «кусочек бога», и тоже о победе.

Как быть этим «кусочкам»? Бороться друг с другом? И выходит, что люди заставляют бога вести суровые битвы внутри самого себя: кому же всё-таки помогать?

– Никогда не приходилось мне так глубоко задумываться о вере, – изумлённо воскликнул Ван-Хо. – Ну, носил себе крест и носил. А один ли бог, или их много и у каждого народа – свой, вот о чём я никогда и думать не думал.

– Я тебя удивлю, – опять улыбнулась Минкуль. – Ведь я спасла не только себя, став как бы христианской мученицей, но и тебя тоже. Ведь самой большой добродетелью у нас считается принять ислам. Надев «Руку Фатимы», ты ислам принял.

И более того, не думай, что наша вера не считает умерщвление невинного человека грехом. Очень даже считает. У нас говорят:

«если встретил врага, пытайся убедить его, что он неправ, если не сможешь – скажи ему “иди с миром”, и пусть ваши дороги разойдутся, а ты никогда не попытаешься его умертвить». Так что на самом деле теперь ты как бы подвешен на чаше весов. На одной чаше деяние, которое ты вынужден совершить, – не по своей воле, а по приказанию, – и это деяние считалось бы грехом, если бы не было на то воли твоего господина.

Но особой добродетелью у нас, мусульман, считается повиновение высшему правителю. И, кроме того, принятие тобою ислама как бы смывает твой грех, который как бы даже и не является грехом, потому что теперь у тебя на шее не крест, а «Рука Фатимы». Так что чаши весов уравновешены.

И мы с тобою оба чисты и защищены от кары небес, если всё, чему учат нас с детства, на самом деле правда, а не людской вымысел...

– Возлюбленная моя, сестра моя, как счастливы мы были в Отраре, когда каждый из нас, нося свой заветный амулет, слепо верил в его силу и во всё то, что рассказывали нам старшие про ожидающее нас за пределами жизни. Ведь тогда-то и умирать казалось не страшно. И потому что мы были ещё маленькие и не представляли себе, что такое уход в небытие, и потому что верили, что находимся под могучей защитой, и что за пределами жизни нас ожидают прекрасные сады с добрыми ангелами в христианском раю и обольстительными Гуриями в мусульманском, и что, наверное, нас ждут там сладости и игрушки, и всё то, что в детстве кажется наиболее желанным. И как же суровы оказались предначертания, уготованные нам обоим, чтобы сегодня мы говорили без страха всё, что говорим!

И тут они обнялись и долго сидели так молча, без единого поцелуя, и так долго не шевелились, что господин Марко в своём убежище, который всё слышал и – уж чего греха таить! – всё видел, даже испугался, не постигла ли их кара небесная за все кощунственные слова, которые они позволили себе произнесть на пороге того деяния, что им предстояло пережить так невдолге.

Время протекало как-то удивительно быстро. Казалось, так недавно только ещё смеркалось, и, стараясь изо всех сил, в саду

пели водяные лягушки, а сейчас они смолкли и повеяло предрассветной прохладой, а за окнами небо перестало быть бархатно-чёрным, как это бывает только в этих краях, и приобрело чуть зеленоватый оттенок. Похоже, близился рассвет и всем им надо было уже не готовится к действию, а действовать.

Действие

Первой освободилась от волшебства этой невероятной ночи сама Минкуль. Не выказывая ни страха, ни беспокойства, спросила у Ван-Хо:

– Скажи, Иванко, как ты думаешь, человек, завёрнутый в кошму, задыхается быстро, или ему приходится долго мучится?

Иванко ответил ей, тоже как будто бы с полным спокойствием.

– Я думаю, это зависит от того, насколько плотна ткань кошмы и как туго обернуть в неё человека. Кошмы, которые приготовлены здесь у входа, честно говоря, кажутся мне слишком тонкими, но я не знаю, чем заменить их.

– Мы сделаем вот как, – сказала Минкуль. – Вы с Марко сдерёте ковры, натянутые на ширмы. Я ещё днём к ним присматривалась. Они, по крайней мере, вдвое толще и плотнее, чем монгольские кошмы. Тогда, наверное, всё произойдет быстрее и легче.

– Господин Марко, друг мой, – позвал Ван-Хо. – Подойди поближе, нам нужно всем вместе решить, как избавить нашу возлюбленную от излишних мук.

Господин Марко приближался к ним и по пути подумал, что последние слова Минкуль, которые он хорошо слышал, – необыкновенное свидетельство её мужества, прозорливости и хладнокровия. Оказывается, когда они с ней ещё вчера довольно безмятежно беседовали здесь, в Розовом Павильоне, она приглядывалась к ширмам и обдумывала всё то, что её ожидает, и даже примеривалась к толщине ковров, натянутых на ширмы.

– Ну что ж, я здесь! – сказал он. – Что будем делать?

– Я думаю, сперва надо содрать ковры и, по крайней мере, два из них положить друг на друга и расстелить на этой кровати. Потом я лягу на них, а дальше, – это уж вы сами решайте, как действовать, – объявила Минкуль.

Так они и сделали. Но на всякий случай положили друг на друга не два, а три ковра. Ковры были индийской работы, полушерстяные и полушёлковые, очень плотные, мягкие и гибкие, так что завернуть в них Минкуль, наверное, будет нетрудно.

Синяя Бабочка Минкуль легла на своё смертное ложе и нашла в себе мужество улыбнуться и объявить:

– В первый раз в жизни лежу на таком мягком ложе. То, которое мне приходилось делить с Кубилаем, было жёстче и казалось мне всегда слишком узким, чтобы я могла уснуть достаточно далеко от него. А теперь – приступайте! – сказала она и закрыла глаза.

И тут господин Марко, встав на колени, прильнул к её ногам и целовал узенькие ступни и всхлипывал, ничуть не стесняясь своей слабости. А Ван-Хо у её изголовья целовал её закрытые глаза, обеими руками обхватив её голову, и зарывался лицом в её волосы, которые она перед тем распустила, так что они шелковистой волной покрывали её чуть не до пояса.

– Люблю тебя, люблю! – твердил он, ничуть не таясь от господина Марко.

– Люблю тебя, люблю! – шептала Минкуль еле слышно сквозь пелену мягких густых волос.

И, наконец, господин Марко вскочил на ноги и, начиная со своего конца, стал сворачивать ковёр, тогда как Ван-Хо ещё стоял на коленях у изголовья Минкуль.

Когда ковёр достиг её подбородка, медлить уже нельзя было и Ван-Хо, непрестанно твердя «люблю тебя, люблю», прикрыл её голову своим концом ковра. Затем оба они с господином Марко свернули продольные стороны ковра над телом Минкуль и Ван-Хо лёг около неё на широкую кровать и обеими руками прикрыл то место, где должно было находиться лицо и горло, и, надавив изо всех сил, продолжал шептать «люблю тебя, люблю». А господин Марко зарылся лицом в то место, где должны были быть её колени, и теперь уже, совсем потеряв самообладание, всхлипывал и рыдал, как в детстве.

Никто из них не мог бы сказать, много ли прошло времени, только одно удивило обоих – ни стона, ни одного движения, чтобы высвободиться от удушающей тяжести, за это время не последовало.

Минкуль уходила величественно, также как привыкла жить, будучи Второй Императрицей самой могущественной азиатской империи той поры.

Теперь уже совсем рассвело, и Ван-Хо дерзнул чуть откинуть тот конец ковра, который закрывал лицо Минкуль. И сейчас тоже – ни движения, ни звука. Похоже, она была мертва, но он боялся раскрыть её лицо и увидеть, какой она стала после удушения. И, тем не менее, пришлось это сделать, поскольку надо было убедиться, можно ли звать стражу и свидетелей, которые смогли бы подтвердить, что казнь через удушение состоялась.

Но господин Марко остановил своего друга.

– А теперь я расскажу тебе подробности, о которых давеча умолчал. Значит, так: из этого павильона, о чём мне вчера рассказал Айсе, подземный ход ведёт к Южной Башне города. После того, как уйдут свидетели, пройдёт немного времени, пока не явятся носильщики, чтобы унести тело на площадь.

В это время ты нырнёшь в подземный ход и по нему через весь город пройдёшь к Южной Башне. Там старшему стражнику скажешь, что ты русич Иванко, про которого знает князь Григорий. Князь обещал мне, и за немалую мзду, спрятать тебя в своём доме. Он слишком высокий сановник, чтобы кто-нибудь стал тебя у него искать. Я же останусь здесь и выкажу всяческое недоумение по поводу твоего отсутствия – мало ли, отлучился в дальний угол павильона по нужде...

Конечно, казнь всё равно состоится. Только, не найдя тебя, разъярённый Кубилай вложит меч или нож кому-нибудь другому в достаточно привычную руку, чтобы всё состоялось по правилам…

Потом объявят розыск, но какое-то время ты будешь в безопасности. А потом я тебя найду.

– Но ведь ты рискуешь не меньше меня! – воскликнул Ван-Хо. – Или у тебя созрел какой-нибудь план спасения?

– План моего спасения, как ни странно, очень похоже, созрел в душе самого Кубилая. Вчера я окончательно убедился, что нам, купцам Поло, надо сворачивать здесь свои дела и возможно скорее удалиться из этой Империи. И опять же, – зная ход некоторых дипломатических планов Кубилая, – думаю, он сам поможет нам поскорее и возможно пристойнее убраться из его владений.

День после первого убиения

Как и предвидел Марко, Кубилай, разъярённый исчезновением Ван-Хо, повелел немедленно убить во второй раз уже мёртвую Минкуль и для большей издёвки вложил нож в руки придворного повара.

И тот, дрожа от страха и унижения, – он вовсе не считал почётной работу палача, даже если велено перерезать горло бывшей Второй Императрице, – тем не менее, со своим делом справился.

Но при мысли, что совершает надругательство над умершей, содрогался от ужаса: вдруг её тень станет являться ему и требовать, чтобы он языком лизал острие ножа, которым полоснул по шее Синей Бабочки. Так, примерно, представлял он себе возможное её возмездие.

Однако же, так или иначе, казнь свершилась и толпа, что собралась на площади, осталась вполне довольной. Марко сидел среди других членов Совета и вынужден был до мельчайших подробностей смотреть, как второй раз убивают Минкуль, что запомнил на всю свою жизнь.

Кубилай, которому шло к семидесяти годам, после казни несколько поутих, но долго не призывал к себе Марко. Из чего тот заключил, что дела торгового дома Поло висят на волоске.

Но более всего тревожила его мысль, удалось ли спрятаться Ван-Хо у князя Григория, ведь хромота его друга была неопровержимым признаком для опознания беглеца.

Как-то, ближе к ночи, закутавшись в плащ, господин Марко, который в любой час спокойно расхаживал по городу – его чуть не каждый знал в лицо и оказывал знаки почтения, как приближённому к хану, этот самый господин Марко теперь прятал лицо – он боялся. Шёл к князю Григорию со смертью в душе: вдруг что дурное случилось с его другом.

Опасения оказались напрасны – князь Григорий не только по родственному принял Иванко, но даже попытался напомнить ему русскую речь, – впрочем, безуспешно. Тот напрочь забыл язык своего раннего детства.

Князь Григорий обещал, что станет прятать подопечного у себя в доме до лучших времён, хотя и поинтересовался осторожно у Марко, как скоро, по его мнению, такие времена наступят...

Вечером в доме, где жили Никколо и Маффео Поло, собралась вся небольшая семья. Марко старики считали наиболее искушённым в придворных прогнозах и предложили спокойно и трезво оценить обстоятельства.

– А обстоятельства таковы, – сообщил Марко, – что у Кубилая подагра, но он по прежнему пьёт вино и ест мясо без меры, а приступы боли его злят и он всё чаще винит лекаря Айсе в невежестве – что, мол, за лекарь, коли не может избавить своего господина от боли.

К тому же, – как заметил Марко, – Кубилай потерял вкус к жизни. Хандрит. Чтобы развлечься, наводнил двор фокусниками, актёрами и плясунами. Двор, да и весь город, только и делают, что веселятся.

По словам Марко, стало ясно, что Кубилай хандрит от приближения старости. Его бег к вершинам величия и славы, который продолжался всю его жизнь, вдруг не только замедлился, а и вообще прекратился.

И Кубилай придумал: давно был наслышан о некой дивной стране Мьянь, что лежит за горами и снегами (Бирма) и теперь он пожелал её покорить, причём не с помощью войск, а... фокусников. И, конечно же, в этот вздорный поход послал главарём Марко.

На семейном совете младший Поло не стал рассказывать удивительные происшествия этого похода. Он рассказал главное. Недавно, когда он вернулся, Кубилай вызвал его для доклада и Марко с изумлением увидел, что хан пьёт уже не вино, а мелкими глотками потягивает чай, заваренный в медном сосуде, внутри которого в особом отделении горели угли.

А маленькой блудницы во дворце уже давно никто не видел...

Теперь же Марко рассказал Кубилаю про две поразившие его башни, одну из цельного золота, а другую из серебра, увешанную колокольчиками, что при малейшем дуновении воздуха тихонько позванивали, и что в этой загадочной стране не счесть сокровищ – сапфиров, янтаря, слоновой кости, так не прикажет ли Кубилай эту страну захватить и доставить сокровища к его двору, но хан лишь вздохнул и сказал, что добродетель не велит чинить разбой в чужих владениях.

Так что, как считал Марко, оправдались слухи, будто с некоторых пор при дворе встречается всё больше конфуцианских монахов, и что слово «добродетель» в лексиконе Кубилая укореняется всё прочнее.

Что, впрочем, как мы уже знаем, не помешало ему жестоко расправиться с некогда любимой Синей Бабочкой...

Но старшие Поло уже о ней забыли и удивились, – что ж в том плохого, что хан вспомнил о добродетели, ведь на его совести много такого, что все придворные монахи не помогут ему замолить. Это же хорошо, что он говорит о добродетели! Это очень даже хорошо для всех!

– Нет, плохо! – сказал Марко. – Это он сам себя убеждает, что покаянием можно вымолить у судьбы прощение за былые злодейства. Это он мается памятью о гибели своих Императриц. Вы не заметили, а я заметил: после известной вам казни это непривычное для хана слово вошло в особую моду при дворе.

И, значит, хан вряд ли забудет тех, кто причастен был к нарушению им добродетели. И он, Марко, в этом списке, конечно же, окажется первым. Так что надо потихоньку, – а вернее, – поспешая, не торопясь, – менять всё здешнее имущество на рубины, особо ценимые в Венеции...

Про себя Марко решил, что попытается попросту бежать всей семьей и на родину отправиться морем, под видом очередной торговой операции, захватив с собою и Ван-Хо.

Но Марко, хоть и хорошо знал Кубилая, а всё же, оказалось, вовсе его не знал.

Стоял год 1286 и хану исполнилось 70. И тут он вдруг ввязался в очередную войну с очередным подозреваемым им претендентом на престол, из близкой родни, поскольку звездочёты никак не могли ясно высказаться по этому поводу. Но – какой же поход без Марко?

После кончины Минкуль Кубилай как бы избегал частых встреч с Марко, а, вернее, боялся их. Постоянно решал для себя нелёгкую задачу – что перевешивает в пользу его, Кубилая, стабильности: дипломатический дар Марко и купеческая сноровка его родичей; или – постоянное чувство, что Марко видит его, хана, насквозь, и много, слишком много знает о нём, и, похоже,

читает в его душе, как в открытой книге, – явно предупреждает об опасности.

Новая вздорная война, которую придумал себе Кубилай, оказалась для него победной, хотя армия противника была куда лучше снаряжена, притом в бою участвовали слоны, которых поили допьяна и они одетыми в железо клыками крушили всё на своём пути. Тем не менее, победил именно Кубилай, а побеждённого родича велел умертвить удушением кошмой – тот тоже был потомком Чингисхана...

Этот случай вновь напомнил Марко об угрозе, нависшей над ним, оттого что Кубилай при умерщвлении родича, несомненно, вспомнил о казни Минкуль и об участии Марко в этом тёмном деянии.

А тем временем Ван-Хо так и жил в доме князя Григория, и Марко не чаял, как бы скорее вернуться из похода, оказаться в Канбалу и подготовить отплытие в Италию.

Опасный эпизод с удушением очередного племянника, в самом деле, натолкнул Кубилая на мысли, роковые для купцов Поло.

Ему всё менее хотелось встречаться с Марко и, трезво рассудив, что вряд ли в будущем доведётся покорять новые страны, – сам ощущал, как старость подкрадывается к нему, окутывая леденящим плащом, – и тогда Марко-посол, Марко-дипломат вряд ли ему понадобится.

А купцы Поло так разбогатели во время пребывания в его стране, что народ начинал роптать, поминая «ненасытных иноземцев» – так, по крайней мере, сообщал специально содерживаемый Кубилаем штат доносителей.

Проще всего было бы от семейства Поло избавиться немудрым способом – уничтожить. Но все они были люди видные на обоих континентах – о других пока никто ещё и ведать не ведал, так что этими двумя континентами и ограничивался для Кубилая весь наземный мир, не считая смутных представлений о севере Африки, – и он решил, что надо придумать для итальянцев какую-нибудь миссию, которая увела бы их подальше от его, Кубилая, Империи...

Кубилай не зря в летописях той поры слывёт счастливцем и небесным избранником. Ему везло всегда и во всём.

Повезло и теперь.

Совсем недавно братья Поло обратились к нему с нижайшей просьбой – отпустить их, хотя бы на время, они так давно покинули Венецию, что им просто необходимо побывать дома. Живы ли ещё их домочадцы, стоят ли на месте и не разрушились ли их дома, – в Венеции постройки недолговечны, чему виной постоянная влага...

Но Кубилай осыпал их подарками, сулил небывалые почести и согласия на отпуск не дал.

Братья Поло и Марко забеспокоились – не задумал ли хан худого? Да и сам он стар, дряхлеет ото дня ко дню, и если умрет, кто знает, каков будет наследник и не расправится ли с ними толпа...

Семейство Поло не знало, что не худшим дипломатом был и сам Кубилай.

Заверяя их, что ему без семейства Поло не обойтись, он исподволь вёл переговоры со своим внучатым племянником, ханом персидским Аргоном, который после смерти Первой Жены Булган-Хатун решил взять новую Первую Жену монгольского рода.

Уже побывали у Кубилая послы, выбирали невест и особо отличили семнадцатилетнюю принцессу Кокачин.

И тут Кубилай перестал таиться. Вызвал к себе Марко и спросил совета: как он считает, хорош ли выбор? И как везти невесту к Аргону – сушью или морем?

– Конечно, морем! – заверил Марко, привыкший за много лет угадывать мысли и желания Кубилая.

– Знаешь ли, господин Марко, наши с тобой мысли нередко совпадают. Совпали и сейчас, – усмехнулся хан.

Ты, конечно, знаешь, что твой отец и дядя просили меня об отпуске, но ты знаешь также, что мне без вас, верных моих подданных, – и я сказал бы, даже друзей, – куда труднее будет управлять страной. Но вот я думаю, если вы согласитесь выполнить моё последнее поручение, – я говорю «последнее», потому что чувствую приближение ухода в Горние Миры, – я посчитал бы вас свободными от каких-либо обязательств по отношению ко мне, – неспеша рассуждал Кубилай.

Я хотел бы поручить вам почтеннейшую миссию – назначить послами в Персию и вручить моему родичу Аргону невесту из

нашего рода, принцессу Кокачин. Но ты, господин Марко, знаешь, как ненадежны все представители Сунской династии из Южного Китая, который лишь притворяется покорным нашей власти. Есть среди них некая принцесса, у которой, как слышно, весьма честолюбивый нрав. Лучше бы ей оказаться от Южного Китая подальше.

Что, если бы ты уговорил её, что быть Второй Женой персидского хана – почётная участь, и доставил бы моему родичу Аргону вместо одной невесты – двух?

Марко согласился.

Перед отбытием на переговоры с принцессой в его доме опять собрался семейный совет.

– Вы, конечно, понимаете, отец мой и дядя, что никакая это не почётная миссия, а просто почётная ссылка. Пристойный способ от нас избавиться. И слава богу! Я ожидал худшего. Видно, за все проведённые здесь годы я всё же недостаточно изучил хозяина.

Слышно, что корабли будут предоставлены самые надёжные и довольствие предусмотрено сроком на десять лет. Значит, путешествие предвидится долгое и небезопасное. Попадут ли невесты в Персию, Кубилаю, в сущности, всё равно. А вот мы, авось да сгинем в пути.

И тогда все правила этикета соблюдены, а опасных свидетелей многих ханских деяний и несравненного его коварства – как не бывало. Но это я – так, даже не знаю, отчего это пришло мне в голову...

Принцессу из династии Сун Марко, конечно, уговорил и привёз ко двору Кубилая, где её приняли с великими почестями и познакомили с принцессой Кокачин – ведь им предстояло долгое совместное путешествие...

Прежде чем семейство Поло отбыло из Империи, Кубилай несколько ночей подряд размышлял, правильное ли принял решение, и пришёл к выводу, что правильное.

Марко Поло в Китае любили, у него всё больший вес и влияние. Казнить его не за что, да и незачем, а держать при себе нет нужды. К тому же с годами у Марко появилась раздражавшая Кубилая привычка: ему нравилось хвастаться своим высоким положением при дворе. Вот это было уже совсем ни к чему...

Но зачем он, Кубилай, предложил такой долгий и опасный водный путь? На это хан даже самому себе не хотел отвечать, но почему-то при мысли о том сам себе очень не нравился.

Путешествие

Марко предчувствия не обманули – путь оказался и долгим, и опасным. Все воины-монголы, что были с ними, погибли невдолге. Но о них не тужили. Провожатых на четырнадцати кораблях было шестьсот человек. А на корабле, на котором плыли купцы Поло, их было тысяча двести. Однако до первой большой стоянки дожила лишь половина.

Выжил и Ван-Хо, которого Марко придумал-таки, как вывезти из Империи. Его обернули атласными отрезами, поверх – парчовыми тканями, и упаковали в виде рядового тюка, среди многих, предназначенных для свадебного подарка Аргону.

И теперь Ван-Хо терпеливо ковылял за своим другом по палубе. Вскоре его все полюбили. Татары, а их было много на корабле, непривычные к морю, сильно страдали от качки и от нехватки овощей. У них пухли дёсна и ноги, их тошнило, и Ван-Хо ухаживал за ними терпеливо, как брат.

Иногда ночами они с Марко, сидя бок о бок, подолгу молчали – на шее у Ван-Хо Марко видел «Руку Фатимы», а Ван-Хо – нефритовое колечко Минкуль, которое Марко повесил на цепочку рядом с крестом...

Путешествие было даже более долгим, чем мог ожидать Марко. Пришлось обогнуть остров Яву. Погода менялась. Доплыли до острова Суматра, и Марко понял, что ветер переменился надолго, и что здесь придётся зимовать. Так что он решился построить редут и здание из брёвен, запас дров и поставил надёжный караул.

Целых пять месяцев простоял корабль на этом острове, на котором сосуществовали аж восемь царей, что привело Марко в изумление. Попробовали бы при Кубилае, на его земле, ужиться столько важных правителей...

Марко ездил на охоту, пил пальмовое вино, ел рис и рыбу, пытаясь хотя бы так ублажить себя, и однажды заметил, что маленькая принцесса Кокачин грустит и почти не ест. Вдруг представил себе,

что участь её мало чем отличается от судьбы Минкуль, и почувствовал к ней такую острую жалость, что даже заопасался. После кончины Минкуль он боялся всякой привязанности, хотя нельзя сказать, чтобы жизнь вёл монашескую...

...А сейчас, дописав заветную главу, «Господин Миллион» почувствовал, как у него ломит поясницу, оттого что писал, нагнувшись над столом, вместо того, чтобы писать, стоя у высокого пюпитра, как велели ему врачи.

Закрыл глаза и попытался вспомнить, довёз ли он обеих принцесс до Аргона. Не довёз.

Неумолимой бывает судьба к иным наиболее беззащитным созданиям, предназначенным для совсем иной, наилучшей доли.

Пока корабли добирались до Персии, миновав уже и Цейлон, и «Малабарское царство», прошло два года.

Заболела и умерла китайская честолюбивая принцесса из династии Сун. Стойко держала вахту рядом с господином Марко, – капитаном Марко, как величали его сейчас, – маленькая Кокачин.

И тут корабли заблудились – отказал компас...

...Сейчас «Господин Миллион» лишь смутно вспомнил, что на море лютовали пираты и потому в гавани заходить опасались. Обогнули остров Занзибар, подошли к острову Сокотре. Уже три года плыли они без устали и персидский хан Аргон сердился. Он жаждал своих невест и даже не подозревал, что одна из них умерла.

Но беды ожидали путешественников впереди. В то время как они чуть не на ощупь приближались к цели, персидский жених Аргон умер, отравленный одной из жён своего гарема. Невест, а, вернее, одну из них, везти было некому. Кокачин, прильнув к плечу Марко, сказала:

– Увези меня с собой, господин, я буду твоей служанкой. Если хочешь, – выйду замуж за Ван-Хо. Только бы мне не расставаться с тобой.

– Ты поедешь к своему жениху, я дал слово тебя довезти, притом сам себе дал обет до конца дней оставаться свободным и одиноким.

...Всё это вспоминал сейчас «Господин Миллион» в полудреме, равно вспомнил, что послушал совета людей бывалых и, чтобы

избавиться от Кокачин, передал её сыну Аргона, Казану. И ещё вспомнил, что в пути узнали они о смерти хана Кубилая.

Да не покажется странным, но старшие Поло горевали о нём, как о родном, и говорили, что самые счастливые годы провели в стране умершего хана.

До Венеции ещё плыть и плыть. Да и кто их там ждёт. А в Китай уже пути нет, потому что ушёл из жизни щедрый, коварный, мудрый, жестокий, но незлобивый, отчаянно смелый, чуткий ко всему новому хан Кубилай, которого в равной мере можно было любить и ненавидеть...

А между тем доплыли до Трапезунда, обогнули Константинополь, проплыли мимо греческих островов и вдруг как бы из моря всплыла Венеция, куда купцы Поло вернулись через двадцать шесть лет отсутствия. Стоял год 1295-й.

Дом был стар, крыша поросла мхом. И теперь Марко вспомнил, каким маленьким показалось ему его жилище, которое он всегда считал роскошным, но по сравнению с дворцом Кубилая, – какое жалкое зрелище...

...Тут в покои «Господина Миллиона» вошёл Ван-Хо.

– Друг, скажи, как по-твоему, там, на корабле я был не слишком ласков с принцессой Кокачин? Не подал ли я ей ложных надежд? – вдруг спросил Марко-летописец.

– Что теперь вспоминать? – пробурчал Ван-Хо. – Слишком – не слишком, какая разница. Ну, попала она в Персию. Ну, стала Первой Женой. Пожила-пожила, а теперь, как дошли слухи, царствовала недолго. Померла не так давно и про тебя не вспоминала, не надейся. А вообще-то монахом ты никогда не был. Я-то знаю. Только никто и никогда не занимал и не займёт в твоём сердце место Минкуль, так же, как и в моём. А уж твоя жена – тем более.

С женой «Господина Миллиона» Ван-Хо не ладил. Она не раз спрашивала у мужа:

– Ну, зачем тебе хромой слуга, которого почему-то называют твоим другом? Какой от него толк? Его не дозовёшься – пока он доковыляет. Весь город потешается. Рынок полон рабов на продажу, только знай-выбирай...

Марко загадочно молчал, а если супруга его, Доната, уж слишком ему досаждала, стучал ладонью по столу:

– Молчи, женщина! Не то лишу тебя наследства!

Он знал, что Доната не любит его, так же, как и он её, и что их брак был вынужденным – отец настоял, не жить же всё одному...

А с её стороны – голый расчёт, она не забыла первый приём гостей в доме Поло после возвращения Марко, когда все три путешественника ссыпали пригоршнями на стол горстки алмазов, сапфиров, рубинов и жемчуга, чтобы завоевать доверие венецианцев, которые более чем скептически отнеслись к восторженным рассказам Марко обо всём виденном в далеких странах...

...Теперь «Господин Миллион» окончательно высвободился из полудрёмы и вдруг явственно увидел перед собою книгу, которую он не только может, но и обязан написать. Чего стоит хотя бы последнее его путешествие, люди и звери, которых он повстречал на неведомых островах, пока увозил несчастных принцесс к их печальной участи на заблудившемся корабле...

Почему бы, например, не написать об единороге, ведь все до сих пор верят, что такой зверь существует и что победить его может только девственница. А на самом деле нет никакого единорога – есть носорог, совсем не похожий на изображения, что ткут на гобеленах во Франции.

Или, например, – о жирафе. Как изумился его отец Никколо, когда впервые увидел этого зверя.

– А шея у него такая от рождения, – спросил отец, – или местные жители её вытягивают каким-нибудь особым способом?

Но самое важное, самое главное, – написать о Кубилае и о его чудесной стране, куда бы он хоть сегодня пешком пошёл, не будь Кубилай мёртв. И господин Марко вдруг понял, что, несмотря ни на что, он сам – из тех, что Кубилая любили, а не ненавидели, и что их двоих навсегда связал самый крепкий из всех узел – их общая любовь к Минкуль...

Эпилог

В 1307 году, по слухам, Марко Поло подарил копию своей новой книги рыцарю Тибот де Сепуа, французскому послу в Венеции. Это была не та книга, что составил Рустичиано в генуэзской тюрьме и которую возмущённый его вольностями Марко там в Генуе и оставил. Прошло уже восемь лет, как господин Марко

вернулся из тюрьмы домой. Так что послу он подарил ту новую книгу, которую так явственно увидел перед собой, когда дописывал сокровенную главу о возлюбленной Минкуль, время от времени притрагиваясь к нефритовому колечку на шее. Главу, которая так сокровенной и осталась, ибо в новую книгу она не вошла.

«Господин Миллион» отдал её на сохранение Ван-Хо, но тот, не выдержав придирок Донаты, куда-то, в конце концов уковылял и унёс эту главу с собой.

– Такое предательство, такое предательство! – сокрушался «Господин Миллион». – Кто бы мог подумать...

Хотя в тайне души понимал, что эта глава по праву принадлежит Ван-Хо, отрёкшемуся от веры отцов и преступившему первейший завет «не убий» из любви к Минкуль. Куда ему, Марко, до такой глубины чувства и до такой высоты совести, на какие был способен хромой «почётный палач» хана Кубилая...

Через двести лет после смерти Марко появилась первая его биография, а написал её географ Рамузино, секретарь венецианского Совета Десяти, он же и перевел её с французского на итальянский, и называлась та книга в переводе «Роман о Великом хане».

Двести лет – большой срок. За это время многое забывается.

И позабылось, конечно же, как в день, когда Марко почувствовал себя дурно и решил написать завещание, а священник увещевал его хотя бы на смертном одре признаться, что почти все его рассказы – выдумка, что не бывает бумажных денег, что все годы, проведённые в Китае, он якобы не видел Полярной Звезды, потому что тогда выходит, что Земля – круглая, а ему ли, простому купцу, а вовсе не учёному, судить о том...

Ведь ребёнку ясно, что господин наш Христос не мог бы сойти с небес на круглую землю – как бы он на ней удержался? «И вообще все ваши слова – ересь, – убеждённо шептал священник, – но я никому не скажу про это. Вы только покайтесь. И тогда мы ваши книги не сожжём. А, может, даже постараемся издать. Только назовём их, скажем, “Сказки Синьора Марко Поло”, или, – чем плохо? – “Роман о Великом хане”»...

Но Марко Поло даже в этот свой час был строптив. Он вспомнил, как «щупал» его, по поручению Дожа, тоже какой-то слишком любознательный священник после первого его возвращения

в Венецию. И теперь поведал другому священнику, что в разных странах, где он побывал, множество очень разных людей, обладавших очень разной совестью, и что они исповедуют очень разные религии. И более того, – люди как бы делят единого бога на отдельные кусочки, и у каждого народа – свой кусочек.

И при этих словах оба содрогнулись. Священник и Марко. Первый – от неслыханной дерзости таких речей, а Марко – от воспоминаний о ночи откровений в Розовом Павильоне.

Но Марко был купец, он хорошо изучил природу людей. И, вспомнив, как отделался много лет назад от любопытства Дожа и его посланника, отдав Дожу дорогой его сердцу подарок Кубилая, велел составить завещание, и вписал туда такие щедрые дары церкви, что его оставили в покое и не требовали более примирения с богом.

И, однако же, в названном выше переводе книга «Господина Миллиона» всё же так и была названа «Романом о Великом Хане», вопреки обещаниям священника...

Впрочем, – не всё ли равно?

Не будь этой книги, на которую вдохновили Марко воспоминания о прекрасной Минкуль – Голубом Озере, Синей Бабочке, не искал бы эту книгу в 1426 году дон Педро Португальский в Венеции, не подняли бы в августе 1492 года три каравеллы свои паруса, начав путь на запад, потому что для генуэзца Колумба эта книга служила компасом...

А то, что Марко Поло умер, так и не примирившись с богом, с которым поссорился после ночи тайных откровений в Розовом Павильоне, к этому времени уж точно все забыли...

Июнь 2002г.

Мирослава Метляева, Роман Аронов
«ПРИВЕТ, МИССИС ВАТСОН!»

Что скрывается за фасадом гражданских судебных процессов? В этом пытаются разобраться журналистка и юрист – связующее звено историй, представленных в предлагаемом читателю фрагменте почти документальной повести ***Мирославы Метляевой*** *и* ***Романа Аронова*** *«Привет, миссис Ватсон!»*

Вместо пролога

Елена Васильевна с трудом заставила себя взглянуть на часы.

– Ого! – вскочила она. – Так и есть – проспала. Полдевятого!

А на девять у неё назначена встреча с одним из внештатников. Обещал принести что-то особенное. На фоне парадных описаний очередных тусовок, ритуальных празднеств и клановых презентаций этот автор приносил материалы, связанные всё-таки с житейскими ситуациями, заставлявшие дрогнуть сердца читателей и в какой-то степени повышавшие тираж газеты.

С полузакрытыми глазами она ринулась в ванную. Спешно привела себя в порядок. Вызвала такси. Шепнула ещё спавшей старенькой матери – «Пока. Я позвоню» – и умчалась в редакцию.

Она успела в самый раз. Пробежав глазами несколько страничек, корректно отреагировав на дежурный комплимент и распрощавшись с внештатником, она остановила свой взгляд на стопке бумаг к следующему номеру. Затем взглянула на серое, во всю стену окно. За стеклом чихало и сопливило гриппозное весеннее утро с шумом шин и резкими выкриками рабочих на издательском дворе, занятых погрузкой-разгрузкой бумажно-печатной продукции.

Хроническая усталость давала о себе знать. Новые, уже становившиеся старыми, времена заставляли экономить на всем. Газета, которую она выпускала, держалась на спонсорах, богатеньких «буратинах», из которых она с трудом выколачивала деньги на каждый номер. Кроме понта – как же, держатели СМИ! – им хотелось ещё и прибыли. А тут хотя бы по нулям выйти. Так что была Елена Васильевна Топорова, как она говаривала, и швец и жнец, и на дуде игрец, то бишь не только редактором, но и фотокором, и просто кором, и ответственным секретарём и мало ли ещё кем.

– Рубрику, что ли, новую завести? – вздохнула она. Была у неё идея, но вот только что из этого получится?

Вчера Елена Васильевна заглянула в одну из контор, которых в их здании развелось немерено. Газеты и журналы появлялись и

лопались, как мыльные пузыри, опустевшие кабинеты занимали переводческие фирмы, нотариальные конторы, компьютерные компании. На двери, которую она открыла, тускло мерцала добротная металлическая пластинка с надписью «Юридические услуги. Судебный поверенный Александр Семёнович Рывкин». Александр Семёнович, восточного типа человек лет тридцати, выглядевший просто Сашей, – протянул ей руку. – Добрый день. Что привело вас к нам? – спросил он с интонацией семейного врача.

Дело, по которому она решила обратиться, давно её беспокоило. Надо было разобраться в бумагах по приватизации квартиры. Но всё руки не доходили. А вот теперь она решилась, наконец-то, проконсультироваться. Дело оказалось не таким уж простым. Александр Семёнович разъяснил ей, что на всё уйдет достаточно много времени, и взялся помочь.

– Александр Семенович, – неожиданно отвлёкшись от темы, спросила Топорова, – вот у вас на дверной табличке написано «судебный поверенный». Знаете, девятнадцатым веком повеяло… Что-то мне не встречалось в нынешние времена такое словосочетание. А слово-то какое – «поверенный»…

– Ничего не вижу странного, – почти обиделся Рывкин. – И слово нормальное, ассоциируется с таким замечательным – «поверить».

– Я ничего против не имею. Просто мне оно показалось уж очень архаичным. И что оно вообще значит?

– Попытаюсь объяснить. Судебный поверенный – это, как правило, профессиональный юрист, который представляет интересы юридических и физических лиц в судебных инстанциях на основании выданной ему этими лицами доверенности.

– А чем он отличается от адвоката? – не унималась Елена Васильевна.

– Адвокат тоже в своём роде поверенный, только его полномочия пошире: он имеет монополию на уголовные дела, – как школьнице объяснил Саша.

– Мне и в голову не приходило, что у нас существует институт судебных поверенных…

– Могу ещё дополнить, что и в советские времена это понятие существовало. А сейчас в республике две трети гражданских дел

в судах ведут судебные поверенные, а не адвокаты, – менторским тоном завершил свою маленькую лекцию Рывкин.

Уже вечером Елена Васильевна подумала, а что если этот симпатичный молодой юрист согласится вести полосу в её газете по всяким житейским вопросам, требующим юридического разъяснения. Вот она, к примеру, тоже не догадывалась о многом в занимающем её деле, и, как оказалось, крючков в нём не счесть, а выпутываться надо.

На следующий день она всё ещё колебалась, стоит ли беспокоить человека, но потом, решительно отодвинув стопку бумаг, набрала номер «Юридических услуг».

– Заходите, – раздался в трубке знакомый голос.

Она поднялась на четвёртый этаж. Александр Семёнович сразу же предупредил её, что времени у него в обрез и он спешит на судебное заседание.

– Александр Семёнович…

– Можете называть меня Саша, – перебил её молодой человек.

– Мне как-то неловко, – усмехнулась Елена Васильевна, – а впрочем, почему нет: мой сын, наверняка, вашего возраста.

– Вот и хорошо, – любезно отреагировал юрист. – Так с чем вы ко мне сегодня? Бумаги необходимые принесли?

– Конечно. Вот они. Но кроме этого у меня к вам просьба…

И Елена Васильевна, набравшись духу, выпалила:

– Ведите у меня юридическую рубрику. И мне хорошо, и вам реклама.

Александр Семёнович даже рассмеялся:

– Ну и ну! Скажу честно, не ожидал. Дайте подумать. Я вам позвоню.

– Саша, только не раздумывайте долго. У меня номер горит, – буквально взмолилась Елена Васильевна.

– Ничего не могу обещать, но к вечеру позвоню, – любезно усмехнулся Александр Семёнович.

Часам к семи он позвонил.

– У меня завтра есть свободное время с часу до трёх. Вас устраивает?

– Нет слов! Значит, вы согласны?

– Попробуем.

С лёгким ли паром, господа?

Маршрутка была забита до отказа. Но деваться было некуда (день был расписан до минуты). Елена Васильевна втиснулась в эту консервную банку с вязкой тишиной и тяжёлым воздухом. Неожиданно водитель врубил динамик: «А я люблю военных, высоких, здоровенных», – просекла общественное молчание разухабистая песня.

Суровые лица в маршрутке не дрогнули. Время от времени в салоне наблюдалось некоторое перемещение: из него, как из тюбика зубной пасты, выдавливалась порция пассажиров и тут же восстанавливалась новыми. Елена Васильевна выскочила на остановку раньше, чтобы отдышаться.

Надо было встретиться с новым верстальщиком. От прежнего пришлось отказаться: время от времени то ли от перегрузок – а работал он в трёх местах плюс ещё подработки всякие – то ли от неустойчивости нервной системы случались с ним сбои. Он, взрослый семейный человек, садился перед компьютером и ни с того, ни с сего вдруг исходил молчаливыми мужскими слезами. Это значило, что номер висит на волоске. А газета была вроде журнала, довольно объёмная, но выходила раз в месяц, и срывать её выпуск – не шло ни в какие ворота: постоянные читатели не потерпели бы, не говоря уже об учредителях, да и с новой рубрикой тираж пошёл вверх. В общем, сказала ему Елена Васильевна «отдохни ты немного, Петенька», он согласно кивнул головой, и расставание состоялось.

С новым верстальщиком, интеллигентным Митей, познакомила её приятельница. Митя понравился хотя бы уже тем, что глаза у него были весёлые и депрессиям он явно не подвергался.

Поднявшись на второй этаж, Елена Васильевна увидела, что её уже ждут. Это был Рывкин.

– Сегодня ну никак не могу уделить вам время. Разберитесь сами. Если подойдёт, – берите, – Александр Семёнович протянул ей увесистый пакет и, помахав рукой, скрылся в глубине коридора.

Потом заглянул Митя. Разъяснив, чего она от него ждёт, Елена Васильевна передала ему несколько полос для вёрстки. «Будет сделано», – отрапортовал Митя, – и Елена Васильевна осталась

наедине с собой и своими планами на день. Значит, так, – отдам в набор материалы, сбегаю в библиотеку на презентацию очередного гения, перекушу, и посмотрим, что там в папке. Елена Васильевна поймала себя на мысли, что здорово подсела на судебные казусы. Она сопереживала, нервничала, негодовала, когда входила в суть разбираемых дел, каждый раз представляла себя на месте простаков, попавшихся на удочку какого-нибудь мошенника, и точно так же, каждый раз, понимала, что недалеко ушла от тех легковерных, с судьбами которых она по воле случая столкнулась. Уже во второй половине дня она открыла папку.

* * *

Кто не помнит, как с конца 80-х – начала 90-х годов уже прошлого века только-только набирало силы местное предпринимательство. Многие руководствовались прежними сказками советских времён о хаотичном, неплановом капиталистическом хозяйствовании, и уж сколько народу ухнулось крепко оземь, руководствуясь ими, и не перечесть.

Но были и те, кто всё-таки что-то соображал: взявшись за дело, и о планах не забыли, и расчётами не погнушались. Братья Теренте, Василе и Фёдор, действуя по большей части интуитивно и, как и многие, не имея особых знаний о предпринимательстве, культуре и этике бизнеса, будучи типичными представителями первичного накопления капитала, всё же отличались от многих представителей «новых» хотя бы тем, что обзавелись штатным юристом и, в принципе, стали сторонниками юридически защищённого бизнеса. В сфере розничной торговли табачными изделиями братья заняли свою нишу, где чувствовали себя безопасно, так как закон они уважали и к действиям «по понятиям» относились с предубеждением.

Им и в голову не приходило, что у них могут возникнуть проблемы. Достаток, свой круг общения, свои развлечения, свои традиции создавали атмосферу избранности, исключительности. А конкурентная борьба за место под солнцем как бы вносила пряный оттенок в их образ жизни.

Братья Теренте были молоды, но уже обзавелись семьями. Семья, бизнес – всё отнимало довольно много времени, душевных и физических сил.

В общем, при всей своей репутации порядочных семьянинов, братья любили всё-таки оторваться «на стороне», расслабиться, чтобы отряхнуться от всего и повеселиться на всю катушку. И образовался у них свой небольшой кружок, объединённый некоей традицией, устоявшейся за 11 лет совместного приятельства и общих интересов.

Место, время, состав участников ставшего привычным ритуала были неизменными. А традиция была такова: перед каждым новым годом братья Теренте и три их однокашника по школе отправлялись в сауну (то бишь в баню) попариться и, скажем откровенно, не только… Не знаем, навеяна ли была эта традиция рязановским фильмом или нет, однако то, что стала она неотъемлемой частью их жизни – это факт.

Сауна была из дорогих, отделана по всем финским стандартам: хозяин строил её явно с расчётом на новых VIP-персон. Стоимость услуг была почасовая – по 20 евро с носа, а выпивку можно было принести с собой.

В этот день, когда фортуна повернулась не тем боком к одному из участников традиционной помывки, все они явились в сауну несколько навеселе. Встретил их банщик Петру, мужчина лет сорока, работающий в этой системе не первый год и хорошо усвоивший повадки клиентуры, в том числе «братьев Теренте и К°». Следует отметить, что чем больше успех сопутствовал Василе и Фёдору, тем прижимистей они становились: цену каждой копейке они хорошо знали, и поэтому, если уж платили за развлечения, то отрывались по полной программе и выжимали за свои кровные всё, что возможно.

Банщик почтительно провёл гостей куда надо, обеспечив их всеми аксессуарами банного действа, и услужливо напомнил, что если возникнет какая нужда в нём, то следует нажать на кнопку вызова, и он немедля появится на месте.

Что сказать, пили братья с компанией, не щадя живота своего, и за друзей, и за врагов. По традиции, каждый из пяти присутствующих, по часовой стрелке, должен был произнести тост, и по

этой самой часовой стрелке тосты произносились уже несчётное количество раз. Внезапно выпивка прекратилась. Кончилось горючее. А душа и мотор сердца требовали своего.

Так и не нащупав кнопку вызова, старший из братьев, Фёдор, вызвал банщика Петру по мобильному телефону, дал ему пятнадцать минут на поход в магазин за спиртным, и вся компания гуртом завалилась в парную.

Услужливый Петру принёс, что от него требовалось, и всё закрутилось по новой. Где-то через час закончилась закусь. Понятное дело, Петру был тут как тут. Закуска – колбаса, огурчики – появились, как по волшебству, минута в минуту, что и следовало из приказа развлекавшихся клиентов. Присутствовавшие были в восторге от услужливости банщика.

Но всё когда-нибудь кончается, и подошла пора расчёта. Когда Петру принёс счёт, старший брат, хотя и был крепко навеселе, с присущей ему дотошностью отсчитал положенную сумму и потребовал кассовый чек за услуги сауны. На лице банщика отразилось разочарование, но он безропотно выдал чек, затем вызвал такси, посадил господ в машины, поздравив их с наступающим Новым годом, и помахал на прощание ручкой.

Когда старший брат, Фёдор, явился домой, его благоверная, ни о чём не спрашивая, так как уже привыкла к традиционным новогодним аттракционам супруга, стала снимать с бесчувственного муженька пальто, и обнаружила, что под ним только… исподнее.

И вот тут необходимо отметить одно очень важное обстоятельство. За год до посещения сауны Фёдор с супругой был по делам бизнеса в Швейцарии. А поездка эта совпала с его днём рождения. Жена, желая сделать мужу приятное, подарила ему швейцарские часы фирмы Tissot («Тиссо») за полторы тысячи евро и шикарный костюм за 350 евро.

И вот теперь перед изумлённой женщиной, еле держась на ногах, стояла её дражайшая половина без штанов, то есть без костюма, и без часов. Супруга не могла уснуть до утра, и как только рассвело, она растормошила муженька и задала ему соответствующие вопросы. Фёдор помнил только то, что был в сауне, а также текст пяти тостов. Остальное провалилось в пустоту. Мгновенно

протрезвев, он стал обзванивать бессменных участников банной традиции. Начал с брата Васи. Но у Васи никто не брал трубку, а «мобильный» был отключён.

Федя нутром понимал уважительную причину молчания, но дело не требовало отлагательств, и он на такси рванул к брату. После долгих звонков и стука в дверь ногами послышались нетвёрдые шаги и бормотание «кого это чёрт принёс в такую рань». Едва Василе открыл дверь, Фёдор с порога вместо приветствия спросил: «Где мой костюм и часы? Ты не в курсе?»

И Василе, без тени сомнения, произнес: «Как где? Ты же сам вчера снял часы с руки, и указал на костюм, который был на вешалке, банщику Петру, и сказал ему, что “это всё твоё в подарок от меня вместо чаевых по случаю Нового года”. Петру был вне себя от счастья – ещё бы, такая щедрость!».

Фёдор ничего не помнил, но твёрдо знал, что дарить ничего не собирался. Неужто по пьяни сердце дрогнуло? Он был в шоке – отдать подарок супруги какому-то банщику!

Тут же набрав телефон банщика, он не без смятения спросил:

– У тебя мои часы и костюм?

На что банщик дал утвердительный ответ:

– Да, у меня.

– Я сейчас приеду забрать свои вещи! – крикнул в трубку Фёдор, но Петру ответил:

– Как забрать? Я тебе не отдам ничего, да и костюм мне впору.

Началась перебранка по телефону. Но банщик упорно отказывался вернуть вещи, считая их честно заработанными своим трудом, тем более, что в тот день он не получил от Фёдора никаких «чаевых».

Хозяин сауны на все жалобы отмахнулся от братьев, не желая вмешиваться:

– Это ваши разборки, оставьте меня в покое.

Отрезвление было суровым. Будучи формалистом и буквоедом в бизнесе, Фёдор с тех же позиций попытался подойти к нестандартной житейской ситуации. Но он чувствовал себя совершенно беспомощным. В отчаянии он обратился к адвокату. Адвокат, не долго раздумывая, подал иск на Петру. И дальше пошла такая ерунда, что Фёдор решил найти другого человека.

Рывкин ознакомился с иском, который был выдвинут прежним адвокатом. А тот обратился в судебную инстанцию с требованиями:

> – обязать Петру Донича вернуть Теренте Фёдору его имущество в виде костюма и часов, общей стоимостью в 1850 евро (прилагались чеки из магазинов);
>
> – обязать Петру Донича выплатить в пользу Теренте Федора сумму в 5000 леев в качестве возмещения морального вреда;
>
> – компенсировать за счёт ответчика расходы по уплате госпошлины и расходы, связанные с оказанием юридических услуг.

Банщик был настолько уверен в своей правоте, что даже не нанял адвоката.

Александр Рывкин, ознакомившись со сложившейся ситуацией, решил вначале встретиться с банщиком. Петру оказался исполнительным трудягой с обострённым чувством собственного достоинства, явно ущемлённым претензиями Фёдора на принадлежащие уже ему, Петру, и только ему, часы и костюм. Он считал себя абсолютно правым: «Я, как папа Карло, распинался перед ними в тот день, делал всё, о чём только они меня ни просили, можно сказать, всю смену на них пахал, рассчитывая на чаевые. Кому сейчас деньги не нужны?! А они – всё по счёту, копейка в копейку, ничем меня не отблагодарили за старание. Я вам скажу, что это очень задело меня в глубине души. Я ничего не сказал. Но клиент, как видно, заметил, что я разочарован, и подарил мне при свидетелях часы и костюм. И, конечно, я ему благодарен».

Поверенный Фёдора Теренте попытался разъяснить банщику, что с юридической точки зрения этот вопрос не так прост, как ему кажется. «Вы своими действиями причинили имущественный ущерб Фёдору, незаконно присвоив себе его дорогостоящие вещи, тем более подарки жены. Кроме того, ваши услуги были полностью оплачены, что подтверждается кассовым чеком».

– Я не согласен с вами. Пусть дело решает суд, – был неумолимый ответ банщика.

Рывкин в своём выступлении в судебных прениях особо коснулся такой деликатной темы, как «чаевые» в деньгах и натуре.

В соответствии с гражданским законодательством республики, отношения между Теренте и Доничем не могут квалифицироваться как отношения дарителя и одаряемого, ведь по договору дарения даритель безвозмездно (!) передаёт в собственность одаряемого своё имущество, а Донич твердил, что часы и костюм получил за дополнительные услуги. Таким образом, утверждение Донича, что Теренте подарил, а он принял дар, является незаконным и необоснованным.

Более того, Гражданский Кодекс страны указывает, что все сделки, независимо от их вида, заключённые между гражданами на сумму свыше одной тысячи леев, обязательно должны быть совершены в письменной форме.

А если стороны не соблюли письменной формы, то они не вправе требовать привлечения в подтверждение спорной сделки свидетелей. Поэтому утверждения младшего брата и остальных участников «банной церемонии» не могут быть приняты судом во внимание. И вообще, отношения между истцом и ответчиком квалифицируются как возмездное оказание услуг. И по этому договору Теренте Фёдор полностью оплатил их, получив кассовый чек.

Что касается «чаевых», законодательство Молдовы вообще не знает такого понятия. На практике «чаевые» означают выплату за предоставленные услуги определённой суммы сверх установленной в счёте к оплате за особое внимание к клиенту. Платить или не платить «чаевые» – дело клиента, и это вопрос не к праву, а к морали – заслужил или нет обслуживающий персонал дополнительной оплаты, то есть «чаевых». Поэтому требования Донича Петру получить «чаевые» либо в деньгах, либо в натуре с точки зрения действующего законодательства Республики Молдова являются недопустимыми и незаконными. Более того, Донич выполнял свою работу по индивидуальному трудовому договору согласно должностной инструкции, и эта работа была оплачена предприятием как зарплата.

И ещё, когда истец передал часы и костюм банщику, то он передал их на хранение предприятию с правом требования их возврата, так как по закону администрация и персонал бани обязаны заботиться о сохранности вещей клиента. Но поведение Донича

ну никак не демонстрировало заботу о собственности клиента, а напротив, – речь идёт о незаконном присвоении вещей.

Следует подчеркнуть, что законом устанавливается презумпция добросовестности в делах, то есть исполнение обязанностей должно соответствовать основам правопорядка и нравственности. Но разве поведение Донича демонстрирует эти качества?

Дописав очерк до этого места, Елена Васильевна оторвалась от стола. На улице было уже темно.

– Ну, что это ты так поздно, – с укоризной встретила её мать.

– Мам, ну ты же знаешь, если у меня завал, лучше не спрашивать.

– Ладно, ладно, – примирительно замахала руками старушка.

Наскоро перекусив, Елена позвонила Рывкину:

– Саша, тут у меня возник вопрос, а можно ли передать в счёт уплаты «чаевых» костюм, часы, свои драгоценности?

Усмехнувшись, Саша ответил:

– А всё, что прямо не запрещено, то разрешено. Однако, – продолжил он, – о чём я и сказал в суде, исходя из обстоятельств дела, нахождение истца в состоянии опьянения в момент совершения им необдуманного поступка, с учётом отсутствия соглашения между сторонами об отчуждении вещей, часы и костюм не могли быть приняты банщиком как «чаевые» за оказанные дополнительные услуги.

– Хорошо, – продолжала Елена Васильевна, – а как удалось подтвердить моральный вред?

– Это было довольно затруднительно, – последовал ответ. – Что правда, то правда, Фёдор действительно потерял душевное равновесие, что отразилось и на делах, и на семейной жизни. Обстоятельства дела привели его к медику-психиатру, о чём суду было представлено заключение последнего, и Фёдору пришлось потратиться на восстановление психического здоровья. А закон о защите прав потребителя от 13 марта 2003 года предусматривает возмещение морального ущерба независимо от выплаты материального вреда.

На этом телефонный разговор закончился.

Утром, просматривая имеющиеся по делу бумаги, Елена была буквально изумлена. Оказывается, в ходе суда выяснилось, что

банщик из чувства мести и озлоблённости продал часы и костюм, так что вернуть их практически стало невозможным.

Тогда Рывкин изменил свои требования, заменив требование о возврате вещей в натуре на требование о взыскании с Донича стоимости несохранившихся в натуре вещей.

Ответчик Донич по-прежнему упорствовал в отрицании своей вины.

Елена, отписывая материал, вдруг задумалась. Странная мысль, неожиданно промелькнувшая в голове, заставила бросить всё и позвонить Рывкину:

– Тебе не кажется, что в этом деле что-то не так и немножко перевёрнуто с ног на голову?

– У меня тоже какое-то непонятное ощущение, будто я иду на поводу… Только не могу понять, у кого…

– А до меня, кажется, дошло, у кого!

– Уж не у предыдущего ли коллеги?

– Вот именно… Чутьё тебя не обманывает. Мне легче, так как я не настолько в материалах дела и могу смотреть на всё как бы со стороны. Так вот сейчас, отписывая материал, я обратила на одну, с моей точки зрения, важную деталь: а куда девался хозяин сауны? Какова его роль во всём этом деле?

Последовало долгое молчание. Затем Рывкин произнёс, чуть ли не по слогам:

– Вы мне подали идею! Собственно, она лежит на поверхности. Хозяину сауны невероятно повезло, что иск подали на его работника, тем самым уведя его самого от ответственности. Не будем вдаваться сейчас в подробности, почему это произошло. Надо срочно всё повернуть другой стороной. Я подготовлю уточнённый иск, где привлеку к суду только хозяина.

С этого момента дело приобрело совсем другой оборот. Если бы всё осталось по-прежнему, то судебный исполнитель ходил бы за банщиком до скончания века за возмещением стоимости вещей Фёдора.

Для хозяина сауны уточнённый иск был вроде взрыва бомбы. А ведь по сути дела отвечать за действия своего подчинённого на рабочем месте должен был он, работодатель. И теперь проблемы, которые он считал не своими, стали его собственными, и по закону

получалось так, что именно он должен был возместить причинённый Фёдору ущерб, как материальный, так и моральный.

Суд полностью признал вину хозяина сауны, ибо все претензии, предъявленные до этого к его работнику, всецело относились к нему. И теперь владельцу сауны, и только ему предстояло выяснять свои отношения с Петру, чтобы хоть как-то компенсировать свои немалые убытки из-за этого, как ему казалось, глупейшего дела.

Но Фёдора Теренте уже ничто не волновало: разве может что-либо сравниться со всепоглощающим чувством счастья от полученной сатисфакции!

После звонка Рывкина об исходе дела, Елена предложила:

– Саша, есть чуток времени пофилософствовать?

– Через час освобожусь.

– Знаешь, – сидя в кафешке напротив здания Дома печати, обратилась к Рывкину Елена Васильевна, – вот у меня совершенно не вызывает сочувствия ни один из участников конфликта. Посмотри, как бесцеремонно обращались клиенты с банщиком. Завелись большие деньги – значит, наплевать на всех и море по колено? Никакой этики, никакого уважения к человеку!

Александр Семёнович усмехнулся:

– О чём вы говорите! Им же казалось, что, заплатив за всё, они покупают и душу человека. Одним словом, осчастливленный робот им обязан всем.

– Вот чем наши «новые» отличаются от западных, можешь ответить? – Елена повернула лицо к Саше.

– Могу. У них целые направления в науке о бизнесе посвящены умению общения с подчинёнными и наоборот. А у нас? – я не говорю о студентах вузов, а о тех, с первичным накоплением капитала… Их разве загонишь на какую-нибудь лекцию об этике бизнеса?

– А сам Петру? Ведь у него ничего, кроме зависти и социальной озлоблённости нет и не было. Честно говоря, я его в какой-то степени даже понимаю. Но должны же быть всё-таки у человека какие-то представления о совести!

– Совесть… Нравственные понятия…, – грустно усмехнулся Рывкин. – А вы обратили внимание на брата Фёдора – Василе и

оставшихся в тени дружков? С какой охотой они свидетельствовали против своего! Как хорошо помнили его действия! Значит, не настолько были пьяны! Ведь могли остановить его, могли… Ан нет. Зато сколько тихого злорадства выявили, когда на их глазах их собрат и собутыльник совершал глупость.

– А сам хозяин сауны? Ведь он имел все шансы улизнуть от ответственности, – откликнулась Елена.

После некоторого молчания они, не сговариваясь, встали из-за столика и направились к выходу.

– Главное, – сказал на прощание Рывкин, – что каждый, всё-таки, получил своё.

Анастасия Пушкина
МНОГОТОЧИЕ

За сумраком сумрак, за звездами – звезды,
за жизнью, наверное, смерть,
а сбиться с дороги так просто, так просто,
как в зеркало посмотреть…

Владимир Леви

1

Осень выдалась дождливая, похожая на плаксивую пьяную женщину, то изливающую слёзы горькие и обильные без особой на это причины, а то вдруг начинающую скандалить, срываясь резкими, почти грубыми порывами ветра. Ещё в сентябре все ждали «бабьего лета», как последнего всплеска тепла, которое подпитывается уже, увы, не согревающими лучами солнца. Но начался октябрь, а «бабье лето» так и не наступило. И теперь люди чувствовали себя обманутыми. Насупленные, хмурые, как сама погода, они ютились под зонтиками, дрожа от сырости, и стараясь как можно быстрее скрыться в тёплых помещениях.

У окна, прислонившись лбом к стеклу, стояла женщина, наблюдая, как капли дождя, догоняя друг друга и вновь разбегаясь, стекают вниз, чтобы затем общим ручейком упасть с карниза на тёмный асфальт. От холодного стекла неприятно ломило лоб, но

женщина, заворожённая происходящим действом, будто не замечала этого. Ей было чуть больше тридцати. Красивая, стройная, с едва заметной сеточкой морщинок в уголках глаз – свидетельством смешливости и лёгкости в общении. Её короткая стрижка открывала почти мальчишеский затылок, плавной линией переходящий в тонкую шею. Одета она была просто, без вычурности: лёгкий вязанный свитерок и джинсы, обтягивающие плотные округлые бедра. Она тихо напевала себе под нос в такт дождю что-то грустное мелодичное, напоминающее старинную колыбельную песню.

В комнате постепенно сгущались сумерки. И лишь свет от торшера в дальнем углу слегка освещал её. Возле торшера в кресле сидела пожилая дама, одетая в бирюзовый пеньюар, отороченный по подолу и рукавам норковой опушкой. То, как она сидела в кресле, не облокачиваясь, с выпрямленной спиной, как читала маленький томик со стихами, не сгибая головы и держа книгу в полусогнутых руках на уровне глаз, расположение её длинных ног со ступнями в модных сабо, расшитых бисером: правая стояла чуть вперёд от левой, при этом колени были гордо сведены, подол пеньюара спадал волной, едва оголяя худощавые лодыжки – всё это выдавало натуру жёсткую, не просто требующую к себе уважения, а приказывающую уважать. Причём слово «уважать» в её случае означало беспрекословное подчинение. Лицо дамы было напряжённо, и казалось, что она вот-вот начнет декламировать стихи слегка певуче, прикрыв глаза, как это делают поэты.

– Моему сыну было бы сейчас пятнадцать лет, – будто отвечая на вопрос, произнесла женщина у окна.

– Что? – не сразу откликнулась дама. Она лениво посмотрела на молодую женщину поверх книги. На секунду на её лице отразилась лёгкая досада от прерванного чтения.

– Ах, ты опять об этом, – продолжала она, опуская взгляд на страницы и отыскивая потерянную строчку. – Твой сын в детском саду. Твой муж скоро вернётся с работы – кстати, – дама посмотрела на настенные часы, – тебе пора идти за ребёнком. Уже полшестого.

– Моему сыну было бы пятнадцать, – тихо, растягивая слова, повторила женщина у окна. Она резко оторвалась от стекла и посмотрела в темноту, туда, где сидела в кресле её мать.

Пожилая дама раздражённо захлопнула книгу.

Любовь Андреевна не любила, когда дочь заводила разговор на эту тему. Какой смысл жалеть о том, чего не произошло? В жизни её дочери всё сложилось наилучшим образом. Окончила школу с медалью. Затем институт. Без особых трудностей устроилась на хорошо оплачиваемую работу по специальности. Муж заботливый, внимательный, предупредительный. Сын ещё совсем крошка, но уже с мужским стержнем в характере.

Иногда становилось непонятно, как столь непутевая особа как Зойка так удачно устроилась в жизни? В то время как Любовь Андреевна жизнь прожила в одиночестве, без крепкого мужского плеча и опоры близких. Проработала в школе до самой пенсии, вдалбливая в бездарные головы чужих детей основы алгебры и тригонометрии. А сколько было вложено в саму Зойку? Болезненная с самого детства девочка пропускала школу неделями. То ангина, то отит… Приходилось оплачивать коллегам дополнительные занятия на дому и всячески умасливать директора, чтобы Зойкины пропуски официально не проходили по журналу: девочка была способной и шла на серебряную медаль. И свою личную жизнь Любовь Андреевна не строила лишь по причине того, что они с дочерью занимали небольшую комнату в малосемейном общежитии. И было совершенно невозможно, чтобы подросшая уже Зойка ночью невзначай заметила на соседнем диване подозрительные шевеления и прочие неподобающие для тонкого детского осмысления действия. Всё, что позволяла себе Любовь Андреевна – это со страстью, почти граничащей с безумием, увлекаться поэзией. Она читала одинаково взахлёб произведения легендарных поэтов и неказистые на их фоне стишки неизвестных современников. Многое заучивала на память. Но чаще переносила особо тронувшие в толстый блокнотик, который всегда хранился в её старомодном ридикюле.

Зойка же шла по жизни с невообразимой лёгкостью. Как стрекозка из известной басни, наивно полагая, что все проблемы решатся сами собой. Очень странно, но именно так и получалось в итоге. Это свойство дочери брать от судьбы всё, что хочет, не заслуженно, в подарок, не приложив сколько-нибудь значительных

усилий, раздражало Любовь Андреевну. Тем более ей были не понятны вдруг вспыхнувшие угрызения совести, которыми (якобы) изводила себя дочь. Что за бессмысленное препровождение времени – жалеть о том, чего не произошло?

– Ты ведь понимаешь, Зоя, что поступила тогда правильно, – сказала она, вставая, затем положила томик на журнальный стол и молча вышла из комнаты, давая понять, что разговор окончен.

Зоя повернулась к окну.

– Нет… Не понимаю… И никогда не смогу понять, – прошептала она.

2

Какой иногда цепкой бывает человеческая память. Зойке казалось, она помнит каждую мелочь, каждую деталь. Цвета, запахи, ощущения, невзначай обронённые фразы остались в её душе тяжёлой накипью. И все последующие годы лишь чётче очерчивали события тех дней.

Вот и осень тогда была совсем другой. Сухая, солнечная, наполненная пряным ароматом желтеющих листьев. Казалось, лето медленно прощается с природой, отступая в сторону едва заметными шажками. Хотелось любить. Любить не так страстно, как это бывает весной, а нежно, слегка касаясь, боясь вспугнуть или растревожить, оберегая сны лёгким дыханием тёплого ветерка.

Она не сразу поняла, что беременна. Вернее, отгоняла от себя мысль об этом, пытаясь приписать неопровержимые признаки обострённому гастриту и перенесённым стрессам. Но дни шли. Тошнота усиливалась. Росла досада на саму себя: «О чём ты думала раньше?» Ещё какое-то время делала наивные попытки вызвать менструацию поднятием тяжестей, длительными прыжками, бегом по лестнице, и даже (вот дура!) стояла «берёзкой» с вытянутыми вверх ногами, подпирая ладонями спину.

Беременность… такая ненужная сейчас… Конечно, это не проблема, а так, лишь небольшая неприятность. И хорошо, что никого не придётся ставить в известность. Зачем? Какой смысл? Если и так всё решено: без сомнений аборт. Опытные врачи под хорошей анестезией, обхватив корнцангом хрупкий кровянисто-мясной

сгусток, за пятнадцать минут вытянут из тебя тошноту и головокружения. Всё равно, что удалить гнилой зуб из воспалённой отёкшей десны. Различие в одном: после удаления зуба десна ещё какое-то время ноет и остаётся припухшей. А здесь… Нет никаких проблем…

На кресле Зойку осматривала уже не молодая, но довольно осовремененная и вполне адекватная женщина-гинеколог. «Плоды сексуальной революции» не вызывали в ней негодующего омерзения с нервным подёргиванием мимических мышц лица. Поэтому не было унизительных взглядов и ненужных вопросов.

– Да, беременность есть. Семь-восемь недель, – сказала она спокойным голосом.

И что-то случилось вдруг… Стало радостно, захотелось смеяться, шутить, говорить глупости, и слова «беременность есть» как будто пузырьками игристого вина весело защипали в носу. Зажмурившись, Зойка почти физически ощутила, что там, в темноте её плоти, похожий на маленькую рыбку, уже живет белокурый мальчик, которого, без сомнения, зовут Женькой. Натягивая на себя капронки, она представила вдруг, как они вместе гуляют в парке, как он смеётся, протягивая к ней свои нежные детские ладошки. «Мама, мама!» – звал он – «посмотри, я вот как могу!» – и скатывался с самой высокой горки. И она, такая красивая и молодая, улыбаясь, отвечала ему: «Ох, Женька, не балуй!». Но он, звонко смеясь, уже катился вниз в её надёжные руки.

– Ну, что вы решили? Оставляете беременность? – спросила доктор.

– Да! – просто ответила Зойка – и непреодолимое тёплое счастье распространилось гулким эхом от темечка до самого низа её живота.

Выйдя на улицу, Зоя добежала до ближайшего телефона-автомата и решительно набрала номер матери:

– Я беременна! И я буду рожать! – выпалила она.

– Кто он? – только и смогла проговорить ошарашенная мама.

– Ну какая разница, от кого этот ребенок? Он мой. – Зойка повесила трубку: выслушивать нотации сейчас хотелось меньше всего.

3

Они никогда не были по-настоящему близки. Мать и дочь. Зоя досталась Любови Андреевне тяжело. Узнав о её беременности, муж трусливо собрал вещички и исчез. Почти с первых дней рвота и ничем не поправимая изжога измучили её. Она не высыпалась, худела. Плод не затихал, казалось, ни на минуту, пинаясь и ворочаясь в утробе. Почти всю беременность провела в больнице, где в неё постоянно что-то вливали то посредством долгих томительных капельниц, то уколов, болезненных до слёз. Но мучительней всего были взгляды соседок по палате, которые, пребывая практически в таком же физическом состоянии, как и она, светились от счастья и умилённо улыбались при каждом малейшем движении внутри них. Гордо выпятив свои животы и поддерживая себя руками под поясницу, они прохаживались по коридорам отделения, и напоминали толстых глупых пингвиних, которые, сбиваясь в стаи, часами курлыкали об одном и том же: кто и что прикупил для малыша, о выборе имён и о «незабываемых» ощущениях, связанных с беременностью. Обязательно в палате находились одна или две ранее рожавшие, готовые в подробностях поделиться своими впечатлениями о ходе всего процесса родов. Любовь Андреевна разговоров о младенцах избегала. Держалась особняком. Между процедурами больше лежала на своей койке, отвернувшись лицом к стене. Да и в столовую спускалась самой последней, когда, в основном, все уже возвращались в палаты.

Роды начались преждевременно. Сильные схваткообразные боли сопровождались открывшимся кровотечением. Резко упало артериальное давление. И Люба оказалась в экстренном порядке на операционном столе.

Девочка родилась недоношенной, худой, покрытой тёмными волосиками практически по всему телу. При малейших звуках или чуть резком движении она вздрагивала, при этом её тонкие руки, шевеля длинными пальчиками, рефлекторно распахивались в разные стороны, на какое-то мгновение оставаясь в таком положении, а затем медленно, как будто обнимая нечто невидимое, скрещивались на груди. Личико младенца было сморщенное, слегка

выпученные глаза затуманенно смотрели в никуда. Ушной хрящик по причине недоношенности был мягким и поэтому ушки свисали тряпочкой. Ягодиц как таковых не было – седалищные кости сходились треугольником к копчику. Ребёнок был настолько худой, что его маленькие косточки казались просто обтянутыми синюшной складчатой кожицей. Когда Любовь Андреевне впервые принесли дочь, не сдержавшись, она воскликнула: «Ой, какая страшненькая!». Чувство брезгливости, возникшее тогда, не прошло с годами. Но она научилась с этим жить, понимая, что ребёнок не виноват в её нелюбви.

Мама всегда была рядом, заботилась, кормила, одевала, но делала это автоматически, будто выполняя материнскую повинность. Конечно, в младенчестве Зоя любила свою мать, как любят все дети с восторгом в глазах, самозабвенно и всепрощающе. Но на любое проявление ласки со стороны дочери Любовь Андреевна, морщась, отстранялась, лишь изредка снисходительно позволяя Зойке, обняв за шею, прижаться к себе или поцеловать маленькими липкими губами. Зойка и не требовала большего. А со временем совсем перестала ласкаться к матери. Она тихо росла в своём игрушечном мире, придумывая имена куклам, смеясь и разговаривая с ними. В пять лет научилась складывать буквы в слова, потом читать. В шесть влюбилась в мальчика в детском саду. Она нарисовала рисунок, на котором два смешных человечка шли по тропинке, взявшись за руки. Внизу наивно подписала: «Это я. Это Вова». Рисунок попал в руки матери. Мама была вне себя от возмущения и кричала непонятные ребенку взрослые фразы: «В подоле принесёшь… я кормить твоих выродков не буду…». Зое было шесть лет, но в глубине своей детской души она сознавала всю нелепость ситуации. Не сдержавшись, бросила в лицо матери слово «дура», в ответ пощёчина, звонкая, резкая, как удар кнута.

4

Домой Зойка решила идти пешком. Её всё ещё подташнивало, но сейчас это было даже приятно, как подтверждение жизни внутри неё. Она забрела в небольшую аллейку. Сентябрьское солнце

ещё немного припекало спину, и в плаще было жарко. Зойка сняла плащ, перекинув его через согнутую руку, пошла медленно вдоль аллеи, шурша опавшей листвой. Зоя знала, что дома её наверняка ждёт скандал. Девушка прекрасно понимала свою маму. «Позор, конечно, позор», – с сарказмом думала она. Но это не пугало её. Она была счастлива. И, видимо, улыбалась, потому что встречные прохожие тоже улыбались ей в ответ. Казалось, что все догадываются о её счастье, и она гордо шла дальше.

– Я буду рожать!

Мама на удивление была более-менее спокойна.

– Ну, хорошо, допустим. А как же твоя учёба? Как институт? Ты ведь так готовилась, так стремилась.

Любовь Андреевна вся будто кипела внутри. Но решила, что разумнее сейчас сдерживаться, не устраивая скандала, а, напротив, спокойно убедить Зойку пойти на аборт. «Ребёнок в доме… – думала она, – бессонные ночи, запах сырости от вечно мокрых пелёнок... А болезни, когда надо практически постоянно быть рядом?.. Что может Зойка одна? Она сама ещё подросток. Всё ляжет на мои плечи… Опять… Думала, что выращу дочь, так хоть вздохну свободней… Непутёвая… Придётся отложить поездку в Венецию. Так давно мечтала об этом… Копила деньги… А нервы, потраченные на сбор необходимых для загранпаспорта документов?.. А очереди?.. Да что себе позволяет эта девчонка?»

– Родишь, учёбу придётся бросить, – продолжала Любовь Андреевна убеждать дочь. – Первый курс не закончишь – академ никто не даст. Тебе всего семнадцать. Это сейчас кажется, что ребенок – это так …но он не игрушка, это большая ответственность. Тебе и на дискотеку захочется, и погулять. Ребёнок будет обузой.

Зоя не спорила. Да, ребенок – большая ответственность. Но разве она не понимает этого? Ей уже семнадцать. А когда родится Женька, будет восемнадцать. Конечно, её жизнь изменится. И она совершенно по-взрослому это осознавала, понимая, что уж первый-то год ей точно придётся трудно. Учёбу Зойка пока бросать не собиралась. Она толком не придумала, как поступить с институтом, когда малыш родится, но до этого, по крайней мере, ещё месяцев семь.

– Мама, как ты не понимаешь, ведь он живой там внутри меня. Я его уже люблю. Как я могу убить его? – Зойка недоуменно смотрела на мать.

Если бы Любовь Андреевна ругалась, выкрикивая обидные глубоко ранящие оскорбления, как это бывало всегда при проступках дочери, то Зойка бы знала, как себя вести: хлопнув дверью, закрыться в ванной, пустить прохладную воду, и засунув ладони под струю, закрыть глаза, отрешиться от всех окружающих звуков, уходя в мир своих мыслей. Но мама вела себя спокойно. Говорила, в общем-то, разумные слова. И Зойка надеялась, что сможет достучаться до её сердца. Ну, хотя бы раз в жизни…

Любовь Андреевна еле сдерживалась. Эта легкомысленная девчонка ещё что-то там бормотала про великое чувство. Смешно! Та, которая засыпала под «Мцыри» Лермонтова, могла что-то чувствовать? Что она знает о любви? Слюнявые мальчики в подворотнях, липкие руки, нервно теребящие застёжку бюстгальтера, и, как выяснилось, ещё и секс, наверное, с влажным дыханием в самое ухо – это у них называется любовью?

Любовь Андреевна передернулась от отвращения.

– Что ты можешь дать ему? Что, кроме своей так называемой любви? Ни образования, ни денег. Замуж навряд ли выйдешь. Кому ты с ребенком будешь нужна? И потом, не забывай о той катастрофе… Завтра идём к доктору! – голосом, не терпящим возражений, добавила она.

5

В десятилетнем возрасте Зойка была отправлена матерью в пионерский лагерь, где и познакомилась с девочкой года на три старше себя. Девочка эта жила в другом районе города, училась в другой школе. Но с того пионерского лета Зоя и Лена практически больше не расставались. Они везде были вместе. Вместе посещали кружки. Вместе сначала записывались в секции, а потом вместе переставали ходить на занятия. Школьные вечера посещались по очереди: то с классом Лены, то с классом Зои. Когда Лена стала студенткой, Зойке было пятнадцать с небольшим хвостиком. Они перестали появляться на школьных праздниках, посещая более интересные студенческие мероприятия.

Девочки настолько сдружились, что считали друг друга почти сёстрами. Немного бесшабашная Зойка называла Лену своей совестью, доверяя ей самые сокровенные мысли и прислушиваясь к советам старшей подруги.

Мама Зои не одобряла этой дружбы, но Лена писала неплохие стихи, и Любовь Андреевна, будучи страстной любительницей поэзии, делала некоторое снисхождение. Она разрешала девочке оставаться на ночь у них, и иногда по субботам отпускала Зойку с подругой, при условии практически ежечасного отзванивания по телефону и полного отчёта о проведённом времени. А на утро по возвращении Зойкина одежда подвергалась обнюхиванию на предмет табачного дыма.

Отгремели школьные балы. Закончился всеобщий мандраж по поводу выпускных и вступительных экзаменов. Прошло счастливое время зачислений и смены унизительного звания абитуриент на возвышенное – студент. Наступил август. Спокойный безмятежный месяц. Лена и Зоя как всегда были вместе. Пропадая сутками на даче с развесёлой компанией таких же молодых беззаботных девчонок и парней. Всем хотелось догнать и перегнать упущенное в период экзаменов время. До начала новой взрослой жизни оставалось ещё три недели. Именно там, на даче, особо не задаваясь вопросами морали, Зоя попрощалась с девственностью.

В то утро девушки возвращались в город. Дачка стояла на пригорке. До автобусной остановки было минуть двадцать пешком. Сначала по тропинке в лес, по мостику через небольшой ручей, затем крутой подъём на железнодорожную насыпь, а там стоило только перейти через полотно из нескольких линий рельс, и вот уже видно шоссе с одинокой постройкой, своим видом, а особенно соответствующими запахами больше напоминающей общественный туалет.

Девушки шли медленно, беседуя и наслаждаясь утренним лесом. Лена говорила о поэзии, читала свои стихи. Возле ручья они остановились, чтобы смыть с туфлей налипшую листву. По железной дороге медленно туда-сюда ходил маневровый локомотив. Он то тянул за собой три порожних грузовых вагона, то, наоборот, шумно толкал их вперёд. Близость этого места к станции

часто создавала неудобство для дачников: порой приходилось часами ждать, чтобы перейти через линию. Девочки остановились, но тут маневровый стал отъезжать, освобождая проход.

– Давай перебежим, а то так и на автобус опоздать можно, – поторопила подружку Лена. – Когда перейдём на ту сторону, я тебе расскажу своё новое стихотворение.

Девочки поднялись по насыпи. Лена шла чуть впереди, а Зоя слегка подвернула ногу и поэтому, немного замешкавшись, шла сзади. Вокруг стоял грохот бьющихся друг о друга пустых вагонов. Маневровый как раз притормаживал и вот-вот мог двинуться обратно. Лена уже была на соседних путях. Зойка старалась быстрее пройти рельсы. Перескочив через ту линию, по которой ходил маневровый, девочка занесла ногу над следующим рельсом, но, может, сработало хорошо заученное правило «посмотри налево – посмотри направо», она повернула голову… доли секунды… сотые доли… скорее даже не осознав до конца всё происходящее… глухой удар в грудь… что-то с силой оттолкнуло её назад… грохот и мелькание проносящихся вагонов… и только до ужаса спокойная мысль: «Это не моя смерть. Я не от этого умру»…

Зоя не была уверена, что вообще теряла сознание. Но, когда машинист маневрового подбежал к ней, поезд на соседних путях уже остановился.

Ей помогли подняться в локомотив и повезли до станции.

– А где Лена? – наивно спросила Зойка, сидя в кабине.

– Ох, девчонки, девчонки, – тяжело произнес машинист.

На станции уже ждала «скорая». Девушку пересадили туда. И врач пошёл осматривать место происшествия.

– Господи, пожалуйста, пусть она будет жива, пусть только она будет жива, – шептала Зойка, но в душе понимала, что уже всё свершилось, и поздно просить о чуде…

Зоя практически не пострадала. В травмпункте сделали рентген – смещение межпозвонкового диска в грудном отделе. Когда прошёл шок, стала ощущаться боль. Впрочем, обезболивающие таблетки на некоторое время помогали. Рентген повторяли ещё дважды, но других повреждений не обнаружили.

Подготовка похорон, сами похороны, и первые дни, в которые, наконец, начинаешь осознавать, что дорогого тебе человека больше нет, и так теперь будет всегда, заглушали не только физическое страдание, но и все другие праздные мысли, казавшиеся теперь пустой суетой. Всё воспринималось через мутную дымку нереальности происходящего. А память отматывала плёнку в последние дни жизни подруги и события фиксировались с необычайной чёткостью – тепло рук, голос, запах, смех, так и не прочтённый стих…

Именно тогда Зойка выкрикнула: «Господи, пусть я буду беременна!» – и сама испугалась на секунду, а потом ей эта мысль даже понравилась. Казалось логичным рождение малыша после гибели родного человека – как превосходство жизни над смертью.

Через три недели стало понятно, что брошенная в сердцах фраза достигла неба.

6

«Не забывай о той катастрофе», – сказала мама. Разве о таком можно забыть? Но эта фраза отрезвила Зойку. И тревога, как микроскопический вирус, проникнув в самое сердце, уже начала внедряться в тонкую нить безмятежного счастья. Зоя была неглупой девочкой. И, конечно, она понимала, что выпитые обезболивающие таблетки, рентгеновское облучение, полученное ею в избытке, и психологический шок от потери близкой подруги, могли сказаться на ребёнке. И всё это на первых неделях беременности, когда она ещё ни о чём не догадывалась, но маленькая клеточка уже начала своё таинственное превращение в мыслящее, чувствующее, осознающее и способное анализировать свои поступки существо. А вдруг сбой? Вдруг её Женька – получеловек-полурастение? Имеет ли она моральное право дать жизнь неполноценному ребёнку, обрекая прежде всего его на пожизненные насмешки? Вспомнились уродцы в стеклянных колбах со спиртом, виденные когда-то на экскурсии в анатомическом музее. Их огромные головы, скрюченные в суставах конечности и всегда тупые бессмысленные глаза.

Нет!.. Её Женька не может быть таким! Он голубоглазый, с длинными густыми ресницами. Он смешно морщит носик, когда

смеётся. Он обнимает её за шею, и, прижавшись к ней своим маленьким тёплым тельцем, быстро шепчет ей на ухо свои наивные детские тайны. «Мама, а правда?..» – спрашивает он…

Стоп! Хорошо, она пойдёт с матерью к доктору, чтобы узнать ответы на все интересующие её вопросы.

На следующее утро мама повела Зойку к знакомому гинекологу. Любовь Андреевна притворно улыбалась, говорила заискивающе-сладковатым голосом, «от всей души» дарила чёрный пакет с дорогим шампанским и шоколадными конфетами. «Ну, что вы… Не стоило… Мы ведь давно знакомы…» – вторила ей докторица, суетливо пряча презент в стол.

Были собраны все необходимые анализы. Зойке даже сделали УЗИ. Расспрашивая жалобы и данные генеалогического, социального и других анамнезов, гинеколог смотрела мимо Зойки, избегая прямого взгляда в глаза. Любовь Андреевна отвечала сама, говоря о дочери в третьем лице. Сначала Зойка попыталась вставить что-то от себя, но её не услышали, а интересовавшие её вопросы повисли в воздухе, оставшись без ответа. И далее она сидела на кушетке, молча, ожидая окончания визита.

Придя домой, Зойка отказалась от еды, закрылась в ванной и прорыдала там до самого вечера. Любовь Андреевна слышала, как плачет её дочь, однако вмешиваться не стала.

На следующий день Зойка решила сходить к бывшей учительнице по биологии. После института она отправилась в школу. Но на вопрос о влиянии облучения на беременность биологичка пошленько улыбнулась и спросила: «А кто беременный? Ты что ли?». Зойка сконфузилась и больше ничего не сказала.

Конечно, были ещё книги. Справочники лекарственных препаратов, перекрикивая друг друга, сообщали о тератогенном эффекте анальгетиков. А о рентгеновских лучах Зойка прочитала столько, что от этого тревога в её душе разрослась ещё больше, заслоняя собой уже слабые проблески счастья.

7

Аборт был назначен на начало октября. Накануне Зоя проплакала всю ночь. Заснула уже почти под утро. Ей снилась Лена, но в каком-то странном образе маленькой обугленной куклы.

Рано утром, сложив необходимые принадлежности в небольшой пакет, Зоя пошла в больницу. Девушка в регистратуре сказала ей ожидать в коридоре. Здесь уже собралось несколько женщин, пришедших по тому же поводу. Ровно в восемь вышла медсестра и повела всех в подвал, в котором находилась комнатка-темнушка, используемая, видимо, как гардероб. Места было мало, и кроме гвоздиков на стенке и нескольких разбитых долгой жизнью стульев в комнате ничего не было. Женщины, толкаясь попами, громко и радостно обсуждали актуальную для них на сегодняшнее утро проблему, переодевались в домашние халаты и тапочки. Оказалось, что Зойка самая молодая среди них. Остальные, видимо, были здесь не в первый раз. Переодевшись и сдав документы всё той же медсестре, женщины пошли за ней в отделение гинекологии, где в небольшой операционной освобождали женщин от нежелательных им беременностей. Здесь же была палата на десять коек, в которой прооперированные отходили от наркоза, а остальные ждали своей очереди. Все разлеглись по койкам, продолжая обсуждение причин, по которым каждая из них здесь оказалась. Одна из них, сорокапятилетняя дамочка, уже имела двоих детей, а настоящая беременность случилась с ней нежданно. «Думала всё, климакс наступает. А доктор сказала, что климакс мой на ножках», – смеясь, вещала она на всю палату, приводя остальных женщин в восторг. «А я, – говорила довольно здорового вида ещё относительно молодая женщина, – на курорте была. Без мужа, представьте. Домой вернулась, и на тебе, такой казус. Мой муж даже не догадывается, где я сейчас». Третья бывала, по её словам, здесь обязательно раз в полгода. Четвёртая… На Зойку никто не обращал внимания, а она старалась не вникать в их разговоры. Их базарно-игривый тон удивлял её. Создавалось впечатление, что аборт для них лишь уловка получить лишний выходной день по больничному листу. Спустя годы Зойка поймёт, конечно, что у каждой из этих женщин на душе было неспокойно, а их радостные разговоры были маской, скрывающей слёзы женской сущности по не рождённым никогда младенцам.

Женщин как на конвейере уводили по одной и через пятнадцать минут возвращали спящих наркотическим сном. Два санитара грубо

перекатывали их с каталки на кровать. А анестезиолог, называя каждую по имени, окликал женщин, не отходя от кроватей до тех пор, пока они бессвязно не отвечали ему сквозь пелену наркоза. Примерно через два часа очередь дошла и до Зойки. Она медленно вошла в операционную. Воздух, казалось, пропитан сладковатым запахом лекарств, стерильности и безнадёжной обречённости. Яркий электрический свет, отражаясь от стен, покрытых кафельной плиткой, распространялся по комнате голубоватыми бликами.

– Раздевайтесь и проходите на кресло, – не глядя, кинула медсестра.

Зойка замешкалась. Руки дрожали. Медленно стянув халат, скинув тапочки, она осталась в одной ночной рубахе на голое тело. Медсестра протянула синие клеёнчатые бахилы:

– Давай, поторапливайся. Что, мы с вами здесь весь день возиться будем?

Зойка была последней абортницей на сегодня и медики, изрядно уставшие, хотели поскорее закончить свою работу.

– Я… а я могу отказаться?..

Все удивлённо посмотрели в сторону Зойки. Такие экземпляры встречались не каждый день.

– Ой-й, да завсегда, пожалуйста. Ты точно решила? – весело спросила врач.

– Да! – Зойка схватила халатик и, едва сунув ноги в тапки, не оборачиваясь, выбежала из операционной.

8

– Да ты понимаешь, что ты меня идиоткой выставила? – кричала вечером Любовь Андреевна. Я за тебя деньги заплатила, между прочим, не так уж мало. Да ты вообще соображаешь, что натворила? У тебя времени осталось две недели, потом аборт делать уже никто не возьмётся.

Зойка молчала. Она быстро смахивала со щёк всё набегающие слезинки. «Я не могу, пойми ты!» – рвалось из её груди сдавленными всхлипами.

Мать ещё долго что-то кричала, зло бросая слова в лицо дочери. Через некоторое время, несколько успокоившись, она добавила сквозь зубы:

– Ты считаешь себя взрослой? Ты считаешь, что вправе решать серьёзные вопросы? Так знай же, моя милая, оставишь ребёнка – ноги твоей в моём доме не будет. Как ты выкрутишься, не знаю. Можешь квартиру снимать, или комнату в общежитии попросить.… Но когда родишь своего урода, ко мне за помощью не обращайся.

На следующей неделе Любовь Андреевна повела дочь в больницу сама. Зойка, морально обессиленная от непрекращающихся скандалов, шла молча. И вот всё тот же коридор, тот же гардероб, даже лица женщин казались теми же. Знакомая палата, операционная, наполненная голубым свечением.… Какими-то правдами-неправдами Любовь Андреевна добилась, чтобы в отделение её пустили вместе с дочерью. И только оставив девочку на попечение врачей и, убедившись, что операция началась, успокоилась и пошла на уроки.

Вводимый раствор, проникнув с венозной кровью в сердце, а оттуда попав в аорту, артерии и достигнув тончайшей сеточки капилляров, мгновенно разнёсся по организму, пропитал собой каждую клеточку мозга, принося забвение и забирая в царство Морфея. Последнее, что помнила Зойка – это стук металлических инструментов, предназначенных для операции…

Очнулась она уже в палате, когда грубые санитарские руки перекидывали её с каталки на кровать. «Зоя, Зоя, ты меня слышишь?» – как будто сквозь толщу воды раздавался гулкий голос анестезиолога. Отвечать не хотелось. Хотелось умереть, застыть навсегда, уснуть, продлить тёмное забытьё наркоза. Она не откликнулась. Пустота… Горка одиноко стоит в опустевшем парке. Не слышно детского смеха и звонких мальчишеских голосов, только скрип раскачиваемой холодным ветром качели…

9

– Нет… Не понимаю, – прошептала Зоя, вновь повернувшись к окну. – Я никогда не смогу понять, почему тогда рядом со мной не оказалось мудрого взрослого человека, который сказал бы: «Остановись! Не делай этого!»; который объяснил бы

мне, глупой, что природа защитила себя, придумав закон «Всё или ничего!», согласно которому аномальный плод самоисторгается из материнской плоти, а раз он остался, значит, нужно было надеяться; который, взяв за руку, отвёл бы меня, растерявшуюся девочку, к нужным специалистам, чтобы наверняка опровергнуть либо подтвердить мои опасения; который предупредил бы, что теперь всю свою жизнь, каждый год, считая возраст не рождённого младенца, буду смиренно ждать кары небесной за совершённую непоправимую ошибку. Я никогда не смогу понять, почему я, уже любившая этого ребёнка, не смогла отстоять его право на жизнь.

Она ещё долго стояла у окна. И по её щекам текли слёзы. А, может, это дождь холодный, грустный, каким он бывает только осенью?…

г. Сургут

Борис Телков
ИМЯ ОТ ПРИШЕЛЬЦА

12 апреля 1961 года Гагарин осветил своей улыбкой весь Земной шар. Обаяние и слава этого, уже и не человека, а полубога были так велики, что несметное число младенцев мужского пола, явившихся миру в ту пору, нарекли Юриями.

Я же родился до юрского периода.

* * *

Первая в моей жизни дурацкая история случилось как раз в те дни, когда вся моя будущая семья – отец, мать, дед с бабкой, три тётки очень разного возраста и пятнадцатилетний дядя Михаил готовились к двум событиям: к празднованию Нового Года и к моему вероятному рождению. То, что я вот-вот появлюсь на свет, ни у кого, особенно у мамы, не вызывало сомнений: последний месяц я нетерпеливо ворочался в её животе, как медведь в берлоге, затосковавший по весне. Я подозреваю, что кое-кто из родни праздников ожидал больше, чем моего рождения и даже боялся,

как бы не произошла досадная накладка. Именно то, что вся эта нелепая история выпала на канун Нового Года, когда у части родственников было шальное настроение, хоть как-то объясняет случившееся со мной несчастье и оправдывает этих людей.

Как всё это происходило, я могу предположить и даже описать в лицах достаточно подробно по множественным, хотя и отрывочным воспоминаниям участников событий…

Итак, морозный звёздный вечер, шахтёрский поселок. Уже водружены и светятся крашеными лампочками две ёлки: одна – перед Дворцом культуры, другая вморожена в лёд посреди катка.

Дед, хозяин дома и глава рода, сидел за столом в большой комнате и, слушая последние новости из чёрного эбонитового радио, рисовал химическим карандашом резвящихся лошадок по краю вчерашней газеты. Толстые губы его кривились – у деда был постаревший вместе с ним конфликт с правительством страны, а, попросту говоря, он ему не верил и подвергал внутреннему осмеянию всё, к чему призывали «наверху».

На кухне бабушка, бормоча, возилась в огромном тазу с разваренными поросячьими ножками, готовила холодец. Очищенные от мяса копытца, похожие на шахматные фигурки, она складывала рядом на клеёнку.

Мой отец, запрокинув носатую птичью голову, похрапывал – ему сегодня было в «ночную».

Мама, тихая, как херувим, сидела на краю его постели и меланхолически листала журнал «Акушерство и гинекология». Делала она это не от страха перед родами – просто принимать появившихся на свет детей была её профессия.

Старшие мамины сёстры, девицы на выданье, в тот момент развлекались неизвестно где и с кем, история тут безмолвствует, зато младшая, бряцая длинными сосульками на махровых шароварах, как венецианская люстра, только что вернулась с катка и, спешно похлебав щей из алюминиевой миски, прилежно засела за уроки.

Хулиганистый дядя, хапнув уже на чьём-то дворе тёплой шипучей бражки, теперь с беломориной в зубах прогуливался с дружками по улицам посёлка в поисках приключений на одно место.

Около девяти часов вечера раздался простуженный скрип досок крыльца, и кто-то осторожно постучал в сени. Все, кто услышал

шаги и неуверенное царапание, оторвались от дел и вопросительно переглянулись меж собой. Похоже, это был дальний гость – поселковские громко топали по крыльцу, как лошади, пинали валенками в дверной косяк, стряхивая снег, и, если стучались, то никак не в сенки, а уже в оббитую рыжеватым войлоком дверь, ведущую в дом.

– Кто там ходит? – встревожено и даже грозно выкрикнула бабушка – она не любила гостей, тем более, незваных да поздних, чего нельзя сказать о дедушке, который тут же встрепенулся, омолодился и повёл плечами, будто расправил невидимые крылья. Чутьё ему подсказало, что этот вечер не так уж безнадёжен. Мой дед всегда был настроен на праздник.

За дверью брякнули развешанные вдоль стены, как рыцарские доспехи, бабушкины тазы и кастрюли – неизвестный в темноте на ощупь упорно пробирался к двери. Наконец, ему удалось нащупать ручку.

В клубах морозного пара на пороге возникла сухонькая пожилая женщина в серой шали, чёрной плюшевой шубке и с котомкой за плечами. Следом за ней вошёл мужик в овчинном тулупе и такой огромный, что увидевшим его показалось, будто на них падает стена.

Насколько боязливо и даже заискивающе пролепетала что-то гостья, настолько уверенно, по-хозяйски повёл себя её спутник.

– Здравствуйте, люди добрые! – гаркнул он и, сняв пёструю собачью шапку, швырнул её на лавку. От его свежестриженной под полубокс головы остро пахнуло крепким одеколоном.

Домашние невнятно, пришибленно ответили на приветствие незнакомцев.

Через несколько минут выяснилось, что поздние гости совсем не посторонние люди, не приблуды, а наоборот – очень близкие родственники из-под Воронежа, во всяком случае, женщина с котомкой. Она – родная мать моего отца, а мужик – «как бы её муж». Именно так со смешком представился сам пахучий громила, подмигнул деду и при этом залихватски крутанул щепотью седой ус. Его спутница стыдливо отвернулась к двери…

Чета с Дона приехала на Урал проведать родственников, прицениться к здешней жизни и, возможно, осесть здесь в какой-нибудь из деревень навсегда.

Гостям предложено было раздеться, их усадили за пока ещё пустой кухонный стол. Бабушка (та, первая) молча убрала таз с холодцом со стола, шикнула на мою тетю, чтоб убиралась в соседнюю комнату делать уроки, и поставила на печь чугунок со щами. Дед уже нырнул в подпол, откуда позвякивал неприкосновенными новогодними запасами спиртного. Кажется, у него возникла деликатная проблема: ставить на стол магазинную водку или поселковый этикет позволяет в этом случае обойтись самогоном. Всё-таки приехали без предупреждения, на ночь глядя… Дед нашёл компромиссное решение: из погреба он выскочил, как чёрт из шкатулки, с двумя бутылками.

Кое-как, в четыре руки разбудили моего отца. Натянув штаны, он вышел к гостям.

– А-а, привет… – отец, ещё не пришедший в себя после сна и от увиденного в реальности, почесал свою лохматую голову. – Вот не ожидал, письмо бы черкнула, встретили…

– Колька, а ты всё такой же, как и в детстве, шкилет… – некоторое время женщина с тихой грустной улыбкой разглядывала своё великовозрастное дитя, потом бросила короткий взгляд на его жену, откровенно беременною мною. Одобрительно покачала головой, отягощённой уложенной в кольца толстой косой. Дескать, молодцы ребята, время даром не теряете… Моя вторая бабушка была, как подросток, маленькая и худенькая с крупными натруженными руками и светло-голубыми иконописными глазами на пол-лица. Эти большие глаза и тонкие черты лица она передала в наследство своему сыну: когда отец после какой-нибудь мужской вольности виновато смотрел на свою жену, мою маму, та не выдерживала его взгляда и замахивалась на него тряпкой: «У-у, Николай-угодник, глаза сейчас вытекут!..»

Трогательной встречи матери с сыном не произошло – ни объятий, ни счастливых слёз, ни поцелуев… Как я узнал уже в зрелом возрасте, на то были свои причины: воспитанием моего отца занимались его дед с бабкой, с ними он пережил немецкую оккупацию, а после смерти стариков угодил в детдом, откуда бежал, а потом бродяжничал. Мать тем временем в одиночку поднимала троих дочерей – муж, сделав ей последнего

ребёнка, утонул по весне, когда перевозил муку через Дон по хрупкому льду. Грустная история, в которой никто не виноват…

Между моим отцом и его матерью установились настолько прохладные отношения, что они жили по много лет, не имея никаких весточек друг о друге. Письма тоже не перепархивали от одного к другому: она была неграмотна, он же в своём беспризорном детстве, кажется, всегда находил занятия поинтереснее, чем чтение классики, а тем более – синтаксис и орфография: до самой смерти отец испытывал перед чистым листом бумаги какой-то дикарский страх.

Если бы мать моего отца приехала в гости одна, вечер прошёл бы тихо, уютно, за полночным чаепитием, женским щебетанием, охами да вздохами, у деда – потенциального осквернителя благолепия, были бы отобраны бутылки, а его самого отконвоировали бы окриками в постель. С шебутным стариком семья уже имела большой опыт борьбы, свои испытанные приёмы, неплохо показавшие себя на практике и отработанные до автоматизма – на него, затеявшего очередной переворот и смену власти в доме с демократии на диктатуру, семья наваливалась гуртом и легко упелёнывала полотенцами в течение пятнадцати минут.

«Как бы муж» моей новой бабушки оказался семье не по зубам – его было много. Очень много. Целая гора. С действующим вулканом на вершине, сотрясавшим в округе воздух и наполнявшим его чесночно-одеколонным духом. Моя тихая – по большому счёту – семья не привыкла к таким объёмам, звучанию и манерам. Пришелец горланил, громко хохотал, поднимал стол пузом, когда тянулся за хлебом, хлопал деда по плечу так, что потревожил ключицу, поломанную в шахте ещё в годы войны. И ел, ел, ел. А ещё больше пил. У щедрого на застолья деда, как у ребёнка, наворачивались слёзы, когда он видел, в какую бездну, в прорву уходят его сокровенные «четушки» и «бомбы». Первое время он пытался не отставать, но вскоре не выдержал гонки, сломался и сошёл с дистанции – отец, собиравшийся идти в ночь на работу и поэтому не пьющий, оттащил своего тестя на кровать. Прежде, чем скрыться за линялой

занавеской в горошек, дед из последних сил погрозил гостю жёлтым ногтем. Мол, не балуй тут, я всё вижу и ещё вернусь.

Отсутствие главного хозяина за столом ничуть не смутило гостя. Он непрерывно выдавал «на гора» тосты и сам же пил: женщины сидели перед рюмками с наливкой и на его здравницы с испуганной синхронностью кивали головами – да-да-да… Между тостами «как бы муж» учил женщин, как правильно делать пельменное тесто, сеять морковь, хранить картошку, перекрашивать самогон, в какое время закрывать вьюшку, чтобы дольше удержать в доме тепло. Моего отца, уже надевавшего «москвичку», спросил, кем он работает на заводе, и тут же выдал несколько советов, как нужно стропить груз. И этого всезнайке-громиле показалось мало: громоподобным окриком он вызвал мою младшую тётю из соседней комнаты и попросил показать тетради…

Хозяйки дома, бабушка и моя мама, очень рассчитывали, что гостья наконец-то успокоит своего спутника, но тут они ошибались: она, чуть дыша, смотрела на него снизу вверх светло-голубыми влажными глазами с собачьей преданностью и обожанием.

Ближе к полуночи вернулись гуляки – две тёти, разрумянившиеся от поцелуев у калитки, и дядя Михаил, дышащий через раз и норовивший как можно быстрее нырнуть в постель. Происходящее за столом ввергло их в состояние лёгкого шока.

Тёток великан усадил по обе стороны возле себя, между делом огладив их по налившимся женской спелостью задам. Свою худосочную «как бы жену» он одним движением руки смахнул к краю стола. Михаилу вовсе не нашлось места среди пирующих, и он поставил свою тарелку на крышку бачка с питьевой водой, стоящего в углу комнаты.

Через пятнадцать минут все мои тётки уже были женаты на «племяшах» пришельца, а дядя устроен на работу шофёром в какую-то казачью станицу. Неугомонный тамада, решив обмыть эти радужные семейные перспективы, в очередной раз нырнул по проторенной дорожке в подпол и, когда уже брякнул на стол по бутылке «беленькой» и «красненькой», произошёл небольшой казус. Выяснилось, что в доме закончилась вся еда. Нет, конечно, что-то съесть ещё было можно – в том же подполе на

полках рядами стояли пыльные трёхлитровые банки с соленьями и вареньями, но гость под водку предпочитал только мясо. Или сало. Но никак ни «этот силос». Он прямо так об этом и заявил и вопросительно, с уже затаившимся во взгляде упрёком посмотрел на хозяек.

– Ну, если только холодец… – пробормотала бабушка. – Так он ещё не остыл.

– О! А говоришь, что ничего больше нет… Давай, мать, мечи на стол!

О том, «как бы родственник» поедал это варево, а, по сути, тёплый свиной бульон с чесноком и луком, моя мама вспоминала десятилетия спустя. Дело в том, что бабушка, желая, «чтоб пузан лопнул и больше ничего не просил», налила ему не тарелку, а средней величины таз «недохолодца». Она была уверена, что после такой дозы человек просто не выживет.

– Отличная хавка! – воскликнул гость и… покрошил в таз с полбулки хлеба.

Лучше б бабушка не давала ему этот холодец! Хотя кто мог предположить, что после того, как он будет уничтожен, а водка выпита, случится следующее…

Великан почувствовал новый прилив вдохновения. Он тоскливо оглядел кухню, вяло заинтересовался трещиной на потолке над умывальником. Нет, хотелось чего-то большего, иных просторов. Потом новатор перевёл взгляд на сидящих перед ним людей и тут с удивлением и радостью обнаружил, что остался таки в доме человек, в судьбу которого он ещё никоим образом не вмешался.

Это был бедный я, на тот момент прятавшийся в мамином животе.

– Когда принесешь мне внука? – облизывая жирную ложку, бесцеремонно, как самый близкий родственник, спросил гость мою маму.

– Почему же обязательно внука… А, может, девочку? Вот в медицинском журнале пишут, что пол ребенка… – от смущения и досады на такую бестактность мама стала умничать. Желая защитить меня, она даже прикрыла живот руками.

– Внука, внука давай быстрее, и нечего там рассусоливать, – громила погрозил пальцем, отчего мама покраснела ещё больше. – Как кликать-то будете?

– Вы что имеете в виду?

– Имя уже придумали парню?

– Н-нет ещё…

– Да? – радостно воскликнул гость, и повернулся к маме вместе со стулом. – Ну, тогда назови его…

Как далее повёл себя этот Пантагрюэль с Дона, в воспоминаниях очевидцев имеются некоторые незначительные для людей посторонних, но существенные для меня разногласия. Одни говорят, он, якобы, надолго задумался, прежде, чем назвать имя, и даже подпер щёку кулаком, величиной с небольшую дыню. Другие утверждают: имя «Борька» выскочило из уст гостя сразу, будто уже сидело во рту, как в засаде и ждало только удобного случая.

Следующие нюансы: куда смотрел «как бы муж» моей бабушки, после чего произнёс имя. Женская часть очевидцев успокаивала меня тем, что «наименователь» разглядывал мамин живот, словно пытался по его формам и размерам представить меня. Единственный свидетель мужского пола, ехидный дядя, клянётся, что имя моё было произнесено после того, как гость заглянул в ведёрную кастрюлю, где оставалось ещё немного свиного холодца.

Я почувствовал, что по ту сторону живота мне готовится какая-то гадость, и обиженно дёрнулся…

– Ну, всё, решено, – довольный проведённым вечером, громила наконец-то встал из-за стола. – Через три недельки мы с матерью вернёмся и, как следует, – был сделан упор именно на эту фразу, – отпразднуем Борькино рождение.

Вернувшись со двора, гость бросил на пол возле печки свой тулуп, лёг на него и тут же захрапел. В шкафу тоненько задребезжала посуда…

Так я получил свое имя.

* * *

Конечно, довольно странная и нелепая история. Даже обидная. Получить на всю жизнь имя от человека вообще постороннего, что

называется «левого», неизвестно откуда взявшегося на мою беду. Не каждому так везёт. Но самое удивительное в этой истории то, что с его мнением безропотно смирилась вся родня, как будто они в тот предновогодний вечер давали имя не продолжателю рода, а какому-нибудь прибившемуся ко двору щенку.

Почему смирилась мама, женщина достаточно строптивая и своенравная, мне тоже непонятно. Потом она не раз говорила мне, что хотела дать мне имя Володя, но не в честь Ленина, как назвали моего непутёвого двоюродного братца, а в память о своей любви к золотисто-кудрявому коренастому матросу Северного Флота. Даже после моего рождения он некоторое время забрасывал маму душещипательными письмами и пышными букетами цветов, нарисованными цветными карандашами на картонках из-под обуви – морячок в свободное от несения службы время баловался живописью.

Родственники, участники этого, чуть не сказал, трагического события, как я догадываюсь, всё же чувствовали свою вину передо мной. Через несколько лет они решили завести поросёнка. Так же, как и в истории со мной, встал вопрос, как назвать этого крючкохвоста. Родственники сгрудились вокруг посылочного ящика, в дне которого на охапке сена сопел розовый хрюшка. Пошептавшись меж собой, они разом посмотрели на меня и единодушно покачали головами: «Так мы называть поросенка не будем».

Не знаю, кого этим они хотели успокоить: меня или свинячьего детеныша…

* * *

Я родился ровно через три недели, в ночь на старый Новый год.

Родственники с Дона так и не пришли поздравить моих родителей. Мою вторую бабушку я увидел, когда уже учился в школе, а её «муж» так и остался навсегда «как бы» – громила бросил её и ушёл куда-то дальше перекраивать и переиначивать окружающий мир. Возможно, давать чужим детям имена, чтобы оставить на земле хоть какую-то память о себе...

Ирина Юсупова
ДУХ ЛЕСА

Посвящается СОЛ «Волга»

Ну, наконец-то!

Наконец, она здесь. Весь год она так часто думала, как войдёт в этот сказочный лес, как обнимет любимую сосну, как будет говорить со всем этим дивным окружением, что сейчас не могла ничего ни сказать, ни сделать. Просто стояла и улыбалась…

Может, она и вправду, «не того»? Ведь нельзя же вот так любить *просто лес*, чтобы на этот раз пожертвовать даже замужеством.

Это местечко, которое деревенские называли не по-книжному, а по-своему – «Лисий лес» на берегу верхней Волги, она знала с детства. Сначала её брали сюда с собой родители – здесь была расположена турбаза от института, где они работали. Потом она и сама поступила в этот институт, и частенько спрашивала себя, уж не из-за турбазы ли? Институт был «мужской» и технический, и ей, с её ну, совершенно не «технарским» характером, было очень сложно учиться в нём. Но родители помогали, она сама была упрямая, и диплом получился чуть ли не пятёрочный. Знание языка плюс «корочки» всё ещё внушающего уважение вуза позволили, в общем-то, неплохо устроиться. Хорошая стабильная фирма, хороший оклад, по-своему хорошее, не пристающее не по делу начальство… и абсолютно неинтересная и нелюбимая работа… Хотя, как и у очень многих в наше время… Может, ещё и поэтому, так устав за весь год от этой борьбы с самой собой, она так рвалась сюда.

Она пошла, раскрыв руки и закрыв глаза. И было совсем не важно, что по пути попадалась крапива, что комары облепили все открытые участки тела… Хотя она и знала здесь каждый кустик, каждую полянку и тропинку, но почему-то этот лес никогда не надоедал, ни приедался. Как любимая потрёпанная игрушка, как зачитанная до дыр книга…

Она, конечно же, отдыхала и в других местах. Подружки затаскивали на юг. Институтская компания всё ещё никак не хотела угомониться, и могла за день-другой собраться и укатить аж на самый край земли… И везде ей очень быстро надоедало. Тянуло обратно, домой, а потом… потом она брала билет, тряслась три часа на электричке,… потом автобус или попутка,… и, здравствуй, лес и Волга!

Сейчас попасть на турбазу мог любой желающий, а не только сотрудник института. С развалом страны кончились режимные страсти, и были бы только деньги – приезжай, кто хочешь. Деньги у неё теперь были, и она опять сбежала сюда из города. И, причём, почти из-под венца.

Вообще-то, с Алексеем ей крупно повезло. Все так считали. Красивый, высокий, спортивно сложённый. Умница, каких мало, да ещё плюс ко всему, из очень интеллигентной семьи. Всего на три года старше её, а уже руководитель отдела. Не курит, не пьёт, своя квартира, …ну, что ещё можно пожелать? И, тем не менее… Она «выпендривалась», как говорила Наташка. Сколько он звал её замуж – уже и не сосчитать… «Дура ты, Светка, …ох, дура!» – Наташка, на самом деле, и сама была бы не прочь выскочить за него, это точно. Да и не она одна. Девчонки с фирмы так и липли к нему, и как он только выдерживал их натиск? А вот она… Она и сама не могла в себе разобраться. Нет, ну стоило подойти к зеркалу, и возникал резонный вопрос: что же он в ней такого нашёл? Маленькая, тощенькая, так и не ставшая к своим уже почти двадцати восьми женственной. Вся офисная «униформа» сидела на ней просто комично, даже если была куплена за очень немалые деньги. Она скорее напоминала мальчика-подростка, и, видимо, поэтому, единственное, что ей шло – джинсы и свитера, которые в офис не наденешь. Лицо – самое обычное, волосёнки – тонкие и непослушные, вечно, напоминая одуванчик, торчали во все стороны. И когда они где-то бывали вдвоём, она постоянно ловила на себе недоумённые взгляды женщин: «Как? Этот красавчик – и вот с этой вот мымрой?» Конечно, она была не монахиня. И уже давно приучила родителей, что замужество и секс – вещи никак не связанные. Часто оставалась у него, но… скорее, чтобы уступить и не обидеть, а не от своего какого-то безумного желания. И

утром, даже если это был выходной, находила «совершенно неотложное и срочное дело» и убегала. Алексей грустно смотрел ей вслед, а она, стыдясь за себя и переживая за него, уходила и чувствовала себя такой счастливой и свободной! И как после этого связывать себя браком?

Но на этот раз вопрос был поставлен решительно и окончательно – да или нет. Сейчас или никогда. И сначала она, подумав и вздохнув, согласилась… Алексей сразу же достал из кармана колечко с довольно крупным бриллиантом (и сколько же он его с собой таскал?), торжественно надел ей на палец – что-то вроде помолвки… Он был такой радостный и возбуждённый, начал обсуждать планы на будущее,… а она… она еле дотерпела до вечера, дождалась, когда он крепко заснул, оставила кольцо на столе и сбежала. Теперь, видно, уже насовсем…

Вот и знакомая поляна. Черника только цветёт, комары гудят, от земли после дождя идёт такой запах, что кружится голова…

Однажды она затащила сюда и его, и очень жалела потом об этом. Турбаза была старая, самым выдающимся её достижением на поприще цивилизации было отдельное здание душа, работающее два раза в день по два часа. Алексей не был белоручкой или пижоном, но он был из другого мира. Он не понимал, почему душ нужно принимать по расписанию и, причём, идти за этим через всю турбазу. И почему есть нужно то, что дают в столовой, а не то, что он хочет. И почему для того, чтобы покататься на яхте, нужно сначала заштопать парус и починить дно? «Я достаточно зарабатываю, чтобы купить все эти удовольствия в нормальном, приличном и цивилизованном месте!» А уж лес просто полностью вывел его из равновесия: «Это же просто садомазохизм какой-то! Это не комары, это – летающие крокодилы!» И за те всего-то два дня, проведённые ими там, они ухитрились даже поругаться, несмотря на его покладистый характер.

Всё опять и опять прокручивалось в голове, а она всё стояла на поляне… Потом села на ещё чуть влажный и горячий мох… а потом и вовсе откинулась на спину… Небо было такое синее… Вокруг марево и тишина… Она не заметила, как уснула.

А вот проснулась она от того, что почувствовала на себе чей-то взгляд. Вообще-то, она даже и не испугалась. Совсем чужие

люди здесь бывали крайне редко, да и то только по выходным. Жителей крохотной ближайшей деревеньки она знала всех с детства. Все обитатели турбазы – или старые приятели, или друзья, или просто знакомые лица. Больших зверей здесь тоже никогда не видели. Но всё же стало как-то не по себе. Она очень медленно и очень осторожно приоткрыла глаза.

Совсем рядом, метрах в двух от неё, сидел лис.

Почему-то сразу подумалось, что именно лис, а не лиса. Сидел и смотрел на неё. У неё захватило дыхание. Лис был великолепен. Огромный, пожалуй даже очень огромный для своего лисьего рода – ростом с хорошую овчарку, огненно рыжий, пушистый, с чудесным белым воротником. И ещё… Нет, это было невероятно, может, она ещё спит? Лис улыбался. Не скалился, а именно улыбался, открыв огромные крепкие клыки. И глаза у него были рыжие и озорные. Вообще, он скорее был похож на весёлого щенка, который так и ждёт, когда ему бросят мячик… Она лежала и любовалась им. И даже совсем забыла, что надо бы испугаться. Ведь это был зверь, и причём очень серьезный! Если бы эти клыки вцепились ей в руку, то, пожалуй, с рукой можно было бы проститься. Она всё смотрела и смотрела на него, и вдруг лис сделал ну, совсем уж невероятное. Просто как в Диснеевском мультике. Он прилёг и… подпёр морду лапой! Вот так вот лежал рядом, облокотясь на лапу, смотрел на неё и улыбался! Наконец, она окончательно сбросила остатки сна, и, поняв всю невозможность ситуации, широко открыла глаза и тихо ойкнула. Лис вскочил, прыгнул в кусты, на секунду мелькнула его хитрая весёлая морда… Она сидела совершенно сбитая с толку, разомлевшая ото сна, и слушала, как кусты всё ещё шевелились и шептали: «Лана… Лана… Лана…» Она потрясла головой, потёрла глаза, шёпот прекратился.

– Вот до чего может довести человека эта дурацкая городская суета, – пробормотала она уже вслух, для того, чтобы проснуться окончательно.

А потом задумалась. Ланой её называли очень немногие. Сама она никогда так никому не представлялась. Это было её любимое и тайное имя, какая-то тоненькая струнка души, которую она прятала глубоко-глубоко… Для всех она была: Светлана Сергеевна –

на работе, Светик – для родителей, Светка – для друзей, Светочка, Светуля – для Алексея… Ланой её называли лишь мама, и то очень нечасто, в редкие моменты задушевных разговоров, да ещё одна совершенно посторонняя старушка, живущая здесь, в деревне. Старушку все местные считали колдуньей и немного побаивались. Хотя, за что? Ведь та столько раз помогала всем при болезнях и недугах, на все случаи жизни у неё была припасена какая-то травка, настойка, отвар… «Не понимают – и боятся», – говорила старушка. «А вы расскажите, научите!» – говорила она. «Да я бы с радостью, так ведь не хотят! – сердилась баба Аня. – Только бы им пузо набить, да водки нахлестаться! А тут учиться надо… И долго, всего и за год не расскажешь». И единственной её ученицей была она. Да только много ли можно рассказать всего-то за две-три недели отпуска? И других дел, к тому же, было предостаточно. Всё-таки она была молодой и весёлой девушкой, у неё было здесь много друзей и знакомых, много других занятий. Хотелось накупаться на год, поиграть всласть в волейбол, напеться у костра до хрипоты и натанцеваться на дискотеке до упаду… А потом весь год она будет Светланой Сергеевной, молодым, пусть и не очень подающим надежды… но серьёзным и ответственным специалистом.

Она встала и окончательно поняла, что всё это было сном. Поэтому кусты, видно, и шептали Лана.

И всё же что-то было не так…

Огляделась, задумалась… Ну, точно! Её не кусали комары. Нет, комаров было предостаточно. Июнь – самая комариная пора. Они тучами вились рядом, зудели в полуметре… а на неё не садились! Вообще-то, она никогда и ничем не мазалась от них. Сначала кожа страшно чесалась, но надо было перетерпеть и потом, видимо, организмом вырабатывалось какое-то противоядие, и всё приходило в норму. Ну, покусают, немного почешется, и пройдёт через полчаса. А сейчас… Она вытянула руки, словно приманивая их, но комары шарахнулись от этих рук, как от отравы. «Чудеса какие-то…» – подумала она. И решила сходить к бабе Ане.

Знакомая песчаная дорога, тропинка, ведущая к дому на отшибе…

– Баба Аня! А вот и я! – крикнула она ещё от калитки.

– Приехала! Ну, здравствуй, здравствуй, – баба Аня оторвалась от грядки с луком и смотрела на неё, улыбаясь. – А худющая-то… Одни глазищи… Ты что ж там, у себя в Москве, совсем есть перестала? Денег не хватает?

– Хватает. И ем я много, – она подошла, обняла и поцеловала старушку, – только всё куда-то улетает, прямо даже продукты жалко!

– Ну, пойдем, – баба Аня взяла её за плечи, – я тебе творожка свежего дам и молока… Поправляться надо, а то замуж никто не возьмёт!

– Брали меня, – вздохнула она, – да только я сама сбежала… Вот и не знаю теперь, может, зря…

– Это тот самый красавчик? – посмотрела старушка пристально. – Не для тебя он, и правильно, что сбежала.

– Это почему же не для меня? – улыбнулась она грустно. – Что, такая уж я страхолюдина?

– Я же сказала – он не для тебя, а не ты не для него. Это ж разные вещи, понимать должна! Ты изнутри красивая, и мужа нужно такого же искать.

– Да где ж его искать-то? – засмеялась она. – Может, вы кого на примете держите?

– Ох, Лана, Лана, – баба Аня тоже засмеялась. – Всё бы тебе посмеяться, и когда ты остепенишься? Пойдём, дома поговорим, а то уж очень становится жарко.

Они так здорово и уютно сидели на прохладной веранде, говорили обо всём на свете, она по макушку напилась вкусным, душистым и густым молоком… И потом, видя, как отмахивается от комаров баба Аня, вдруг вспомнила:

– Баб Ань, а чего это вдруг меня комары не кусают? – она опять вытянула руки, и опять комары шарахнулись от них в разные стороны.

Старушка посмотрела удивлённо, вытянула свою руку рядом. Комары пристраивались только с той стороны, где не было её руки.

– Интересно… – баба Аня внимательно смотрела на это. – Так, может, ты намазалась чем?

– Да вы же знаете, не люблю я это, – всё смотрела она на ненормальные комариные выкрутасы. – Хотя, …может, от меня ещё

до сих пор московский дух не выветрился? Лосьоны там всякие, кремы… Нет! Постойте, я вот что вспомнила, – нахмурилась она, пытаясь всё разложить по полочкам. – Сначала-то они кусали! А потом, когда я этого лиса увидела…

– Лису?

– Нет, лиса. Огромный такой, рыжий, хитрющий, – она рукой показала его размер, – не может лиса быть такой большой. Только лис.

– Ну, ну, и что, – баба Аня внимательно её слушала.

– Я заснула, а он смотрел на меня. И… улыбался. А потом я пошевелилась, и он убежал, – про то, что кусты шептали «Лана», она решила не говорить даже бабе Ане. – И потом… потом комары перестали кусаться.

Теперь баба Аня уже улыбалась.

– Значит, ты ему понравилась.

– Кому? Лису? А причём здесь комары?

– Да не лис это был. Это наш Дух.

– Кто?!

– Дух. Дух леса. На это раз лисье обличье принял. И комарам настрого запретил тебя трогать. Понравилась ты ему, – повторила баба Аня.

Она недоумённо посмотрела на неё, и засмеялась:

– Шутите? Я же вас давно знаю, вы и в бога-то особо не верите, а тут какой-то Дух…

– Бог – он ещё совсем юный… А духи – те и до него были! И не какой-то дух, а новый, – баба Аня улыбалась, но говорила на полном серьёзе. – Новый у нас теперь дух, видно, совсем молодой, весёлый. Ты ещё мало гуляла по лесу, не поняла пока. Побольше поживёшь – разберёшься. Лес изменился, всё изменилось.

– А что раньше – старый был? – она всё смеялась, думая, что это розыгрыш.

– Да, старый. Хотя, …даже и не старый, а просто… неинтересный, что ли. Наблюдал, за порядком присматривал… и всё. А новый – любопытный, озорной и добрый. Вот видишь, лисом прикидывается.

– Ох, баба Аня! – она уже хохотала. – Мастерица же вы сказки рассказывать! И что же, этого, нового, сюда из Института Духов

взяли работать? А старый – на повышение пошёл, или на пенсию?

– Смейся, смейся, – баба Аня улыбалась, – потом поймёшь. Да и как ты объяснишь это комариное помешательство?

– Ладно, как-нибудь само объяснится, – она встала и, прощаясь, попросила: – а вы приходите часам к девяти на турбазу, а? У нас вечер встречи будет. Там такие гитары и голоса приехали! Сережка Горов, Митины оба, Катерина, …да вы же всех знаете, почти весь состав. Вы же любите послушать!

– Приду обязательно.

…К хорошему привыкаешь быстро. И скоро она совсем забыла и о комарах, которые по-прежнему облетали её за полметра, и об аналогичном поведении всех кровососущих обитателей воздуха: слепнях, шершнях, оводах. Пару раз её спрашивали – чем это она так намазалась, что никто не пристает? Она отшучивалась – говорила, что совсем высохла в городе и теперь даже для комаров стала абсолютно невкусная.

День был заполнен до отказа. И хотя июньская смена была самой немноголюдной, отдыхающие всё прибывали, и она встретила очень много старых приятелей и друзей, да и просто знакомых лиц. Настроение поднималось, все московские события отошли на задний план.

…И вот, наконец-то, вечер – отдыхающие почти в полном составе собрались в комнате отдыха. Всё ещё слышались радостные возгласы только что встретившихся знакомых, все никак не могли угомониться, не хватало стульев, была какая-то суета… А когда ребята подстроили гитары и вечер всё-таки вошёл в свою колею, она почувствовала чей-то пристальный взгляд из глубины комнаты. По создавшейся за долгие годы традиции свет потушили, горели свечи. И в этом полумраке она никак не могла понять, кто же на неё смотрит. Кто-то явно незнакомый, ведь ни один из её друзей не мог бы похвастаться таким приступом стеснительности. Лишь на редкие мгновения колыхавшееся пламя свечи открывало белозубую улыбку и чей-то весёлый взгляд… Потом музыка так захватила, ребята всё вспоминали и вспоминали разные песни, пели и все вместе и по отдельности, приятельница рядом

что-то тихо рассказывала. Она вспомнила о незнакомце далеко за полночь, только когда все стали расходиться. В углу уже никого не было. Может, померещилось?…

Часть самых неугомонных отдыхающих решила пойти искупаться. Пляж не освещался, только далёкие огни турбазы, луна да звезды позволяли хотя бы не спотыкаться и не падать. Все, искупавшись, очень быстро засобирались по домикам – комары не давали никакого житья. Она же, лишённая теперь этого «удовольствия», потихоньку и незаметно «откололась» и осталась на пляже одна. Спать совсем не хотелось. На улице была такая теплынь, июнь выдался просто замечательный. И на юге-то такие ночи не часто бывают. Сидела, молча смотрела на лунную дорожку, улыбалась и ни о чём не думала… Треск цикад… звуки далёкой деревни… взрывы хохота – от турбазы. Где-то посередине реки проехала моторка и через небольшое время волна от неё докатилась до берега: «Лана… Лана… Лана…» – опять чудилось теперь уже в шелесте набегающих волн. И вот тогда опять она почувствовала чей-то взгляд. Обернулась. Недалеко, на песке, сидел мужчина. Откуда он взялся? Ведь все же ушли. Или подошёл так незаметно? В свете луны она видела лишь его силуэт. Молчание становилось каким-то неловким, и тогда она сказала:

– Красиво, правда?

– Очень, – у него был приятный низкий голос, и хотя она и не видела его лица, поняла, что он улыбается.

– Вы здесь впервые? Или в другие смены ездите? Я что-то вас не помню, хотя знаю очень многих.

– Я не с турбазы.

– Но, …деревенских я тоже почти всех знаю… В гости приехали?

– Нет. Я сам по себе.

– На машине? Палатку разбили?

– Ну, …почти…

Она вдруг устыдилась своей приставучести, и замолчала. И ещё она чувствовала, что он колеблется – и собирается уйти, и не хочет… Он всё же встал:

– Мне надо идти… Извините…

– Да, конечно, идите. Ещё увидимся.

– Я надеюсь…

Он встал и пошёл, но не в сторону турбазы или деревни, а в сторону леса. Она по-прежнему видела лишь его силуэт. Невысокий, стройный, с мягкой неслышной походкой…

Утром она встала пораньше, чтобы ещё до завтрака успеть побегать по лесу и поплавать. И ещё, даже не сумев до конца разобраться в самой себе, она побежала в ту сторону, куда вчера ушёл незнакомец. Лес здесь был довольно редкий, и никаких палаток и машин она не обнаружила. «Может, уже уехал?» Стало немного грустно, но ненадолго – после завтрака появилось много дел: все вместе осматривали яхты, виндсерфинги. Думали, что ещё можно подремонтировать, заклеить и заштопать. И при этом, конечно же, столько надо было рассказать друг другу! Ведь не виделись целый год! Купались, загорали, катались на лодках. День выдался чудесный.

После обеда, когда на турбазе был официальный тихий час, она опять пошла в лес. И ноги, конечно же, сами вывели на знакомую поляну. Опять тишина, опять марево… Комары всё так же гудели в полуметре от неё. И вдруг где-то сзади шёпот:

– Лана… Лана… Лана…

Она обернулась. Никого. Только показалось, или на самом деле вдалеке мелькнул рыжий хвост? Она решила пойти в ту сторону. И опять из леса шёпот:

– Лана… Лана… Лана…

Опять она пошла в сторону шёпота, и опять почудился вдалеке рыжий всполох. Где-то, глубоко в себе, она трезво смотрела на вещи и сомневалась в реальности всего происходящего, но… всё шла за шёпотом и за рыжим миражом. Наконец, она как-то сразу поняла, что пришла. Большая незнакомая поляна… была вся усыпана черникой! «Но ведь рано еще!» – удивилась про себя. «Может, тут условия какие другие? – продолжала она думать. – Какие-то тёплые источники, …или земля особая? И почему я её раньше никогда не находила?» Пластиковый пакет был, конечно же, как всегда, при ней и она сразу принялась за работу. Черника была такая крупная, что пакет очень быстро наполнился. Получилось много. И куда ей столько? Да и наелась она уже и так до отвала. «Отнесу бабе Ане», – решила про себя. И ещё… Всё то

время, пока она собирала ягоды, чувствовала, что за ней кто-то наблюдает. Тогда она повернулась в сторону взгляда:

– Да хватит прятаться! Ну, не съем же я тебя! Скорее ты меня, если бы захотел! – то ли шутила она, то ли говорила серьезно, и сама уже не могла понять.

И он показался.

Рыжий, огромный, весёлый. Всего на несколько секунд. Выглянул из-за дерева, улыбался во всю пасть.

– Спасибо за чернику! – крикнула ему. – От меня и от бабы Ани!

Тут он опять совершенно не по лисьи повёл себя… хмыкнул и скрылся.

Баба Аня выслушала рассказ внимательно, серьёзно.

– Да… что-то такого раньше не было… Чудит Дух.

– Баба Аня, вы что, серьёзно? – она опять смеялась, и уже всё это лесное происшествие больше и больше обретало налёт нереальности. – Просто нашла хорошую полянку, а лис… может, он ручной? Сбежал откуда-нибудь? В следующий раз я попробую его приласкать, наверняка он будет не против!

– Ты вот что… – баба Аня была всё так же серьезна. – Поосторожней-ка ты с ним! Во-первых, всё-таки зверь, а во-вторых, …что-то мне всё равно боязно…

– Ладно, бог с ним, с лисом. Вы мне вот что скажите, – она вдруг смутилась, опустила глаза. – Тут, случаем, к кому-нибудь в деревне знакомый не приехал? Невысокий такой…

– Да, описание полнейшее, – засмеялась баба Аня, – для кого ж невысокий? Для тебя, или вообще?

– Ой, ну для меня же вообще невысоких не бывает, – вздохнула она, – и в кого я такая?… Папа нормальный, мама – просто русская красавица, а я… Нет, он по средним меркам невысокий.

– Да нет, – баба Аня задумалась, – вроде все пока без гостей… Вот в июне, августе – тогда бывает народ. Клубника пойдёт, ягоды, грибы… Нет, ни у кого нет. А что за незнакомец такой, что это ты им так заинтересовалась? Что-то на тебя не похоже…

– Он на вечере был, на меня смотрел, – она всё ещё сидела, опустив глаза. – Я и сама не пойму, чего так заинтересовалась.

Потом на берегу мы всего парой слов перекинулись. Улыбка у него хорошая, хоть я почти и не видела…

– Вот те на! – баба Аня засмеялась. – Улыбку не видела, но она хорошая! Это как же тебя понять?

– Ну, не знаю как. Чувствую, что хорошая, и всё. Я вообще его не видела, он всё время в тени был…

– Вот что, радость моя, – баба Аня смотрела грустно и ласково, – действительно тебе замуж пора… да хоть за твоего красавчика. Совсем с ним разругалась или как?

Тогда она вкратце рассказала все последние события. О том, как взяли вместе отпуск, как собирались куда-нибудь поехать, как Лёша сделал предложение, и что из этого вышло…

– Да, …если он тебя действительно любит, то вскоре должен приехать. Я так думаю, сегодня-завтра. Он знает, где ты?

– Папа обязательно проболтается. Он в нём души не чает. Пилит меня день-деньской, хоть домой не ходи.

– А мама?

– Маме он тоже нравится, но она всегда за меня. Тёща из неё выйдет классическая…

– Значит, скорее всего, завтра жди гостя. А я, – баба Аня задумалась, – вот что, дам-ка я тебе травки кое-какой… и пирогов напеку, с черникой. Как приедет – приходите в гости, на пироги.

Вечером была дискотека. На дискотеку она ходила с единственной целью – потанцевать. Всякие там шманцы-обжиманцы уже были в прошлом. Все отдыхающие – старые знакомые, многие приехали целыми семьями. Да и вообще она любила просто танцевать, ради самого танца. А на этот раз настроение было просто замечательное, так как здесь был давнишний знакомый – Женька, великолепный танцор, так же как и она, ради самого танца. Они уже днём перекинулись парой слов и оба предвкушали полнейший отрыв вечером. Ещё было замечательно то, что Женькина жена была совершенно нормальным и неревнивым человеком. Да ещё и танцевать совсем не умела. Словом, на дискотеку она пришла, сияющая и поэтому даже красивая. Что они вытворяли, не описать! Народ периодически расступался и начинал хлопать в такт. Чуть ли не акробатические номера откалывали. Женька –

здоровый, сильный, мускулистый – вертел ею в импровизированном рок-н-ролле, как хотел, благо с ней это было так легко! Медленные танцы они тоже превращали в целые номера. Наконец, когда дело уже стало приближаться к концу, она сама сказала:

– Жень, ты всё-таки Лену пригласи, ну, нехорошо же, правда!

– Да её полтанца нужно будет уламывать, – вздохнул Женька, – а потом все ноги обтопчет!

– Жень! – настояла она. – Всё равно.

– Только ради тебя, – Женька отвёл её к скамейке, – ладно, у нас впереди целая смена.

Последние танцы были по традиции, в основном, медленные. Заиграла замечательная и старая мелодия, она даже закрыла глаза, сидела и всё ещё не могла отдышаться…

– Можно вас? – вдруг позвал знакомый уже низкий голос.

Он стоял немного сбоку от скамейки, и опять она видела только его силуэт. Она протянула руку, и он помог ей встать.

– Боюсь только, я не смогу изобразить такое, что видел, – он опять улыбался, и она опять очень плохо видела его лицо. На медленные танцы свет почти совсем выключался. Лишь всполохи светомузыки выхватывали из мрака замечательную улыбку, весёлые глаза… какого цвета? Не понять в такой темноте. Его длинные волнистые волосы только спереди имели вид стрижки. Сзади она скорее нащупала, чем разглядела хвостик, стянутый резинкой. Он двигался так плавно и гармонично, в такт с музыкой, что она удивилась:

– Я думаю, вы смогли бы изобразить и нечто получше!

– Некому поучить.

– Так в чём же дело? Я за уроки денег не беру. Приходите днём – мой домик пятый, на главной аллее.

– Не могу. Я днем работаю.

– Где? Здесь, на турбазе?

– Нет.

Она хотела было уже спросить где, но опять устыдилась своего любопытства. И вообще, ей вдруг стало так хорошо. Он осторожно, но твердо вёл её в танце, у него были такие удивительные руки, которые, даже только просто придерживая её за спину и талию, создавали иллюзию нежности… И ещё… от него исходил

какой-то ни с чем не сравнимый запах свежести, леса, воды… Она поняла, наконец, что крыша у неё уже едет… Стало весело, захотелось что-нибудь вытворить…

– А как на счёт искупаться?

– Я всегда «за», – тихо засмеялся он ей на ухо, – тем более в такой чудный вечер.

– Тогда исчезаем по-английски?

Когда они дошли до пляжа, она спохватилась:

– Ой, я же без купальника… Сходим? Здесь близко.

– А я тоже. Такая темень, всё равно ничего не видно. Я могу отвернуться.

– Народ сейчас может подойти, после танцев, неудобно…

– Тогда можно уйти за деревню, на дикий пляж, в такое время там никого не бывает.

И она ни на мгновение не задумалась – не опасно ли это, прилично ли вообще... Ушла с ним, даже не зная, как его зовут…

Темень действительно была такая, что разглядеть что либо, кроме силуэтов было просто невозможно. Да и он вёл себя крайне корректно, близко не подходил. Даже плавал на расстоянии. И больше молчал. Только она всё время чувствовала его улыбку.

– Как вас зовут? – она засмеялась. – Провожу, можно сказать, ночь с мужчиной, и даже не знаю его имени.

– Меня… – он вдруг запнулся, – пусть… хоть Лёва…

– Пусть? – она всё смеялась. – А если не пусть? Тогда как?

– У меня странное имя, не всем нравится…

– И всё же?

– Ну, тогда… Эл…

– Эл… – она задумалась, потом повторила, – Эл… Это как же, когда полное? Эльдар? Эльмир?

– Нет. Нет полного.

– Странный вы человек, как и ваше имя, – её глаза уже почти привыкли к темноте, и она всё пыталась получше разглядеть его. Они вышли из воды и сидели на берегу. Он одел одни только джинсы. Она, дожидаясь, пока хоть чуть-чуть высохнут ноги, – в своей длинной рубашке, которая была как мини-платье. – Вот даже и не спросите, как меня зовут…

– А я знаю – Лана…

Ей вдруг стало как-то не по себе. Если бы он сказал Света, было бы понятно – услышал от других. Но Лана… На базе её никто так не называл. Он сразу же угадал её тревогу:

– Вы меня боитесь? Не надо. Я ничего плохого даже в мыслях не держу. Честно.

– Я верю, – она и правда сразу же поверила. – Но откуда вы взяли это имя? Меня здесь так никто не зовёт.

– Но это же просто: Светлана – Лана…

– Меня чаще Светкой зовут. О Лане никто никогда не додумывается. У меня для Ланы внешность совсем не подходящая.

– А я на вас изнутри смотрю, – засмеялся он, – и там всё очень даже подходящее…

Она вдруг вспомнила, что баба Аня говорила почти то же самое…

Он поднялся, свою лёгкую тенниску одевать так и не стал, просто перебросил через плечо.

– Мне надо идти…

Ей вдруг почему-то стало грустно, она представила, что его кто-то ждёт… А он, словно читая её мысли, сказал:

– Меня работа ждёт, а не то, что вы подумали…

– Работа? Ночью?

– Ну, да – опять улыбнулся он, – считайте, ночная смена…

– А за ночной сменой должен быть выходной. Значит, я жду вас днём в гости?

– Нет. А вдруг я вам при дневном свете не понравлюсь? – опять засмеялся он. – Лучше постепенно привыкать…

– Да я всё равно вас уже вижу. Я глазастая…

Она теперь действительно видела его. На небе вышла из-за туч и вовсю сияла полная луна, глаза привыкли к темноте. Он был лишь ненамного выше её, может, на полголовы. Очень ладно и изящно сложённый, можно было бы даже сказать женственный, если бы не широкие плечи и низкий голос… Волосы, доходившие до груди, волнистые и пушистые, при свете дня, скорее всего, были светлые… И лицо у него было очень хорошее. Простое, приятное, с большими весёлыми глазами, цвет которых, конечно, даже и при такой луне разглядеть было невозможно…

Он подошёл поближе:

– Дискотеки завтра нет… Вы вечером что делаете?

– Не знаю пока… А что?

– Приходите сюда, часов в девять… Я лодку пригоню, покатаемся…

– А в девять ещё светло! – засмеялась она. – Не боитесь?

– Нет, – он тоже засмеялся, – уже нет…

И когда он уходил опять в сторону леса, обернувшись пару раз, и помахав рукой на прощание, она вдруг поняла, что и его тоже не кусают комары…

Утром она опять обежала весь окрестный лес и опять ничего не обнаружила – ни палатки, ни машины, ни даже шалаша. «Странно всё это… – думала про себя, – хотя, …может, он на велосипеде приезжает?» Если бы это была машина или мотоцикл, она бы услышала, ведь вчера она ещё долго сидела одна на берегу…

На турбазе, между тем, жизнь шла полным ходом. Из всей рухляди, гордо называемой начальством «спортинвентарём», удалось собрать несколько «живых» яхт и виндсёрферов. И если вчера они весь день провозились, всё это клея, ремонтируя и подыскивая из подручных средств замену потерянному, то сегодня уже можно было опробовать отремонтированное на воде. Она немного поколебалась – собиралась хорошая компания на яхтах, её, конечно же, звали, как опытного яхтсмена, …но настроение было скорее для одиночества… Да и виндсёрферов оказалось больше, чем желающих покататься на них, что было крайне странно и поэтому этим надо было срочно воспользоваться. И она понеслась по волнам…

Как описать этот полёт по воде? Ни моторка, ни самый супер-навороченный водный мотоцикл не в состоянии соперничать с тихим шелестом волн под доской, со звоном натянутого паруса, с шёпотом ветра в ушах. Налетающий порыв она, как опытный спортсмен, чувствовала ещё задолго. Мышцы напряжены, тело становится взведённой пружиной, она ловит ветер, она запрягает и укрощает его, и он её слушается. Хочется петь (если бы у неё был голос!) и смеяться. Она догоняет яхты, друзья

машут руками, все такие весёлые и счастливые! И вдруг парус, наполнившись новым порывом, выдыхает: «Лана… Лана… Лана…» От неожиданности она чуть ослабляет хватку и… доска и парус – в разные стороны, она сама глубоко в воде! Выныривает. Ребята на яхте уплывают, смеются, что-то кричат вслед. Она быстро опять встаёт на доску, опять порыв ветра и опять: «Лана… Лана… Лана…» Она тоже смеётся, ей почему-то совсем не страшно. И тихонько, почти про себя, она говорит:

– Это ты, хитрая рыжая морда, меня роняешь? Вот погоди, приду в лес, мы с тобой разберёмся…

…Но разборку с лисом пришлось отложить. Приехал Алексей и ждал уже её на берегу. Она, издали завидев его, тяжело вздохнула. Ну, куда он так вырядился? Его чудесный и дорогущий светлый костюм был великолепен в Москве, а здесь… Здесь народ придавал так мало значения одежде! Главное, чтобы было удобно. Старые джинсы, в которых можно сесть куда угодно, застиранные майки, которые не жалко бросить на траву и песок, бывалые кроссовки, чаще всего донашиваемые здесь до дыр, и тут же и оставляемые – чтобы не тащить обратно лишнее. Вот это была одежда…

Алексей стоял на пирсе, вглядываясь из-под руки вдаль. Увидел её, обрадовался. Она подплыла к самому берегу, но парус не бросила, крикнула издали:

– Отойди, я тебя забрызгаю!

– Ну и что? – он подошёл к кромке воды и собрался ловить парус.

– Да отойди же! Весь костюм перепачкаешь! – она всё не подъезжала к берегу, галсировала на расстоянии. – Откуда ты узнал, что я здесь? Папка проболтался?

– Чёрт с ним, с костюмом, – он улыбался и, похоже, совсем не сердился на неё, – главное тебя поймать… уж очень ты шустрая…

На душе у неё опять стало тяжело. Вот ведь, …девчонки на берегу аж наизнанку вывернулись все, глядя на это салонное чудо, а она и не рада вовсе… И, плюс ко всему, конечно же, предстоит объяснение…

С объяснением Алексей не торопился. Просто спрашивал, как отдыхается, не нужно ли чего ещё привезти. Потом они вместе дошли до стоянки, он достал из багажника своего БМВ две большие сумки и они пошли к ней в домик. И только когда он выгрузил все вкусности, что привёз, когда они уже напились чаю и когда немного поболтали обо всём и ни о чём, он спросил:

– И что же мне теперь думать? Это был твой окончательный ответ?

– Лёша… – ей было и жаль его, и не хотелось всех этих объяснений, – ну, что ты всё меня торопишь? Как-то всё у нас наоборот… Ну, зачем обязательно жениться?

– Света, – он был серьёзный и грустный. – Я нормальный человек. Может быть, слишком обычный для тебя, без полета… Но нормальный. Я хочу иметь жену, семью, детей… И если ты считаешь, что пять лет – это для знакомства слишком мало… Тогда хоть скажи, сколько мне ещё ждать…

Ей было совсем плохо… Если бы можно было раздвоиться! И одну, очень небольшую свою часть, которая была добропорядочной женщиной, отдать ему. Увы, в реальной жизни всё это невозможно. Она подошла к нему и обняла сзади за плечи.

– Лёш, я очень тебя люблю, правда… – сказала она тихо, и сама почти поверив в это, – и я бы очень хотела, чтобы ты был счастлив. Только, боюсь, со мной у тебя это не получится. Какая-то я неправильная…

– Только не надо за меня решать, что мне надо, – он взял её руки, тянул к себе, пытался, запрокинув голову, поцеловать, – что ж, пожалуй, я ещё подожду, разберись сама в себе.

Она всё-таки избежала поцелуя, просто взъерошила его чудесные, красиво уложенные волосы, спросила весело:

– Я надеюсь, ты хоть джинсы привёз? Переодевайся, пойдём к бабе Ане, на пироги. Она приглашала.

– Нет, Света. Я сегодня же уезжаю, – сказал он, внимательно глядя ей в глаза. …Увидел или нет, как она спрятала радостный взгляд?… – А на пироги, конечно же, сходим, – наконец, улыбнулся он. – Не такой уж я поросёнок, чтобы сразу так и перепачкаться.

– Уезжаешь? – она всё прятала взгляд. – Но ведь у тебя же отпуск…

– Нет, я опять вышел на работу. Ведь я хотел отдыхать с тобой… Да и, тем более, дел, как всегда, невпроворот, все только рады. А завтра понедельник… И потом… – он всё-таки почти насильно усадил её на колени, и посмотрел в глаза, – …потом, …если ты от меня сбежала, …зачем же надоедать?

Ей опять стало так плохо, и так жаль его… Она представила, как все в офисе шепчутся у него за спиной, видя, что он вернулся один, как девчонки усилили свои атаки. Может, всё-таки кто-нибудь из них добьётся своего… Поэтому только и смогла прошептать:

– Прости, если можешь…

Потом они сходили в деревню, ели замечательные пироги бабы Ани, Алексей оставил в подарок целую сумку деликатесов, чем почему-то опять только раздосадовал её: «Господи, ну какой же он правильный!»

…А травку, которую ей дала баба Аня, она выбросила. Взяла, поблагодарила, и уже на турбазе, не задумываясь, сунула в урну…

Вечера она ждала, как первого свидания. Всё-таки хорошо, что Алексей уехал. Что бы она ему сказала? «Пойду прогуляюсь, а ты не ходи?» А не пойти сама уже не могла. Прямо помешательство какое-то. И главное, ведь ничего о нём не знает, кто, откуда, чем занимается… Как назло, к девяти часам она, ну, прямо позарез, понадобилась сразу всем. Женька с Леной заглянули «просто поболтать», Серёга зашёл за песенником и, заговорив её, остался надолго, уже по дороге к деревне, куда она, страшно опаздывая, почти бежала, опять «зацепилась» за весёлую компанию, которая хотела непременно её взять с собой… И только в одиннадцатом часу, она, уже и не надеясь ни на что, подбегала к дикому пляжу…

Он лежал в лодке, смотрел на звёздное небо. Она подлетела радостная:

– Конечно, мне нет прощения, и я почти не надеюсь, но всё же…

– Вообще-то, это я не надеялся, – он поднялся, встал, легко и как-то даже изящно спрыгнул на землю, – ведь у вас гости…

– Уже нет… – она вдруг удивилась, – а вы откуда знаете? Что-то я вас сегодня на турбазе не видела…

– А я всё знаю… – он улыбался, – у меня работа такая – всё здесь знать…

– Тогда должны бы также знать, что гостей уже нет, – парировала она. – И, кстати, что же это за работа такая? Опять секрет?

– Да, вообще-то, нет… – он задумался, – пусть будет… лесник…

– Опять «пусть будет»? А если не пусть, тогда кто?

Он засмеялся, взял её под руку, помогая сесть в лодку, и так и ничего не ответил. Она сама продолжила:

– Что-то не похожи вы на лесника… Или, может, просто подрабатываете? На лето устроились?

– Лана, это так важно для вас? Моя работа?

Она растерялась:

– Да нет… Но как-то странно. Почему из этого делать секрет? – она улыбнулась. – Если только, конечно, вы не шпион.

– А если шпион? – он засмеялся. – Тогда что?

– Тогда вы совсем заврались! – она тоже засмеялась. – За чем здесь шпионить? Сколько дырок прибавилось в парусах за зиму? Или какой урожай черники ожидается в этом году?

– Но ваша турбаза – от режимного института, – всё поддерживал он игру.

– Ой, …Эл, я вас умоляю! – она всё-таки споткнулась об его имя, но потом засмеялась опять. – В наш, то есть теперь уже не в мой… институт может сейчас пройти кто угодно! Не те времена… Там уже иностранцы и учатся, и работают. Зачем же такие сложности?

Так, шутя и перебрасываясь словами, они уплыли далеко от берега. Он грёб, казалось, совсем без напряжения, но лодка буквально летела по тихой, тёмной воде… Только теперь она поняла, что эта лодка с их турбазы. И очень удивилась, ведь разогнать эти корыта до такой скорости было почти невозможно. Или это темнота создавала такую иллюзию? Спросила:

– А лодку вы у нас стащили?

– Ну, вот… сразу вы обо мне так плохо, – он не сердился, улыбался. – Почему стащил? Попросил…

– Так я вам и поверила, как же! Наш Ерофеич скорее удавится, чем выдаст лодку в неположенное время.

– Просить не умеете… – опять смеялся он.

Они иногда замолкали оба, но теперь молчание с ним не тяготило ее. С ним было просто здорово и помолчать… Когда они подъехали к берегу, она почти твёрдо была уверена, что время сейчас – около двух ночи. За всё время их знакомства он всегда сбегал именно в это время.

– Конечно, опять на работу? – она пыталась в свете луны посмотреть ему в глаза.

– Конечно.

– А мне можно с вами? Разве лесник – такая уж секретная работа?

– Нет. Работа не секретная, но нельзя.

Помогая ей выйти на берег, он, может, чуть дольше положенного задержал её руки, и она, чуть дольше положенного, не двигалась…

– А лодка? – наконец, спросила она.

– Утром верну. Куда она денется?

Она ждала, что он сейчас опять предложит завтра встретиться, но он почему-то молчал, был задумчив. Тогда она сама не выдержала:

– Ну, что? До завтра, или я вам уже надоела?

– Зачем вы так… – он, наконец, взял её под руку. – Только мне кажется, я встреваю в вашу жизнь не вовремя… нечестно как-то…

– Да откуда вы всё знаете? – она даже возмутилась. – И почему это решаете всё за меня?

– Потому, что вы мне нравитесь, – сказал он просто. – И мне не хотелось бы доставить вам неприятности…

– Тогда завтра я сама приглашаю вас на свидание. Или откажете даме? Можете придти прямо на дискотеку. Конечно, начало я вам не обещаю… Женька уже меня на всю смену вперёд пригласил, – она улыбалась, видя, что он соглашается, – но все последние танцы, считайте, у вас уже расписаны, даже если они и не белые…

– Тогда до завтра.

Он опять, иногда оборачиваясь и махая рукой, ушёл в сторону леса.

А она решила повести себя безобразно. Просто стыдно было до невозможности, но сделать с собой она уже ничего не могла… Она осталась в лодке. Спать совершенно не хотелось. «Вот и посмотрю, когда у него утро начинается…» Она легла, так же как недавно он, смотрела на звезды. Вроде бы и не хотелось спать, а вот поди ж ты, уснула и не заметила как… А очнулась… Ну, конечно, уже на пристани. Лодка была привязана к своему месту, вёсел не было. «Как же он вёл её?» Ведь она вытянулась во всю длину, ему бы просто некуда было сесть. …Солнце только поднималось, на турбазе была тишина. Она вздохнула и отправилась досыпать по-человечески…

Днём до обеда она опять то каталась с ребятами на яхте, то просто плавала, то носилась по реке на виндсерфинге. И уже не боялась и не падала, когда парус начинал нашёптывать в такт волнам: «Лана… Лана… Лана…»

А в тихий час, конечно же, пошла разбираться с лисом (или с Духом? …так хотелось поверить в сказку…). Вышла на полянку, немного постояла, закрыв глаза и прислушиваясь к себе. Потом повернулась в ту сторону, где, как показалось, находился он. И не ошиблась. Он теперь не убегал, но сидел далеко, на приличном расстоянии.

– Ну, здравствуй. Я уже по тебе соскучилась, хоть ты и пытался меня уронить… Или ты всё-таки тут не при чем?

Он сидел, немного склонив набок свою замечательную лукавую морду, и, конечно же, улыбался.

– Откуда ты такой? Из цирка? – лис опять совсем не по лисьи хмыкнул. – Ну, да… глупость… ближайший цирк даже и не знаю где… Но ведь ты не здешний, да?

Лис встал, оглянулся, как бы приглашая её с собой.

– И куда же на этот раз?

Лис, совсем как собака, немного помахал своим прямо-таки умопомрачительным хвостом.

– Хорошо, хорошо, иду. Я тебе верю.

Он шёл впереди, соблюдая дистанцию, оглядывался, иногда махал хвостом. «Нет, это правда помешательство какое-то… – смеялась

она про себя, – ведь скажи кому – не поверят и засмеют…» Наконец, она опять, как и в первый раз, поняла, что пришла. …На этот раз полянка была сплошь в крепеньких белых грибах.

– Вот это подарок!… – она обращалась к лису, как к человеку. – Вот это да!…

Она быстро и аккуратно, словно тихонько вывинчивая из земли, чтобы не повредить грибницу, собрала грибы. Лис сидел недалеко, наблюдал.

– Ну, подойди же поближе, – позвала она, – мне так хочется приласкать тебя. Ты такой замечательный… Или тебе это не понравится?

Лис перестал улыбаться. Смотрел очень серьёзно. Но не злобно, скорее задумчиво. Потом бесшумно прыгнул в кусты. Исчез.

Баба Аня встревожилась не на шутку.

– Не ходи больше в лес, нехорошо это!

– Да что же в этом нехорошего? – она смеялась. – Вы посмотрите, какие грибы! Как на подбор! Ни одного червивого! А лис – такая лапочка!

– Да не лис это, Дух, сколько тебе говорить!

– Да какой Дух? Просто ручной, видно, сбежал у кого-то. Жалко только… ведь подстрелят! Совсем не боится, глупый, и не понимает, какую шубу на себе носит! Вы только никому про него, ладно?

– Ох, Лана… – всё сокрушалась баба Аня, – положил Дух на тебя глаз, а ты и не понимаешь! Плохо всё это может кончиться… Не ходи в лес! Или уж хотя бы не одна, с подругами-друзьями…

– Глаз на меня положил совсем другой! – она опять смеялась. – И не дух, а самый обычный человек. Да ещё, как по вашему заказу, видит меня изнутри…

– И кто же такой? – удивилась баба Аня. – Я знаю? Вроде отдыхать все старожилы приехали…

– Ваш новый лесник.

– Какой такой лесник? – баба Аня опять встревожилась. – Что-то я не слышала, что у нас новый лесник… Как был Анатолий Иванович, так, вроде, и остался… И кто же он такой?

– Да тот, о котором я вас спрашивала, помните? Он к нам на турбазу вечерами приходит. Самый обычный. Невысокий такой. Светловолосый. Улыбка у него хорошая, а зовут странно – Эл…

– Нет, мне это всё решительно не нравится, – баба Аня встала, нахмурилась. – Лисы ручные, лесники какие-то новые со странными именами… А схожу-ка я к Иванычу, может, и вправду новый… или помощника на лето взял…

Когда она подходила к веранде, где уже начинала греметь музыка, увидела группку веселящихся ребят.

– Светка! Иди скорее сюда. К тебе пришли.

В центре расступившейся группы стояла баба Аня.

– А мы-то уж обрадовались, баб Ань, думали, вы решили стариной тряхнуть! – балагурил Серёга. – А что? Я обещаю, что ни одного танца у вас свободного не будет!

– Да ладно вам, – отмахивалась она. – Мне со Светой поговорить надо, – при всех она её звала только так.

Когда они отошли в сторонку, баба Аня тревожно заговорила:

– Лана, нет у нас никакого нового лесника! Как был Анатолий Иванович, так и остался. И помощника у него никакого нет. И слыхом он не слыхивал ни о каком таком Эле… Господи, – баба Аня вдруг перекрестилась, – а, может, это тоже… Дух?…

– Да никакой он не Дух, самый обычный человек… – она улыбалась и совсем не испугалась, вся была в предвкушении встречи с ним. – Вы оставайтесь, он скоро придёт, я познакомлю. А пока – посидите, посмотрите, что мы вытворяем, – и опять продолжила тему: – Ну, может, и не лесник, может, просто отдыхает…

– Нет, не могу. У меня корова не доена, я же в лес ходила, к Иванычу… Да и оглохну я от вашей музыки. Лучше бы на гитарах поиграли, попели, так хорошо! …а это, прости господи, прямо вакханалия какая-то!

– Да молодые ж мы ещё, баб Ань, – засмеялась она, – хочется же!

– В общем, я тебе всё сказала. Голова на плечах своя – думай…

Он подошёл, как всегда, незаметно, и буквально увёл её из-под носа у оторопевшего Женьки.

– А вот и я. Пришёл за обещанным…

Она, удивляясь себе и всё спрашивая: «Ну что за сумасшествие?», – обрадовалась и не скрывала этого. И опять последние медленные танцы проходили почти в темноте, и опять он, вроде бы ничего такого и не делая, ласкал её руками… А на улице, между тем, всё усиливался и усиливался дождь.

– Купание сегодня, кажется, отменяется, – она вздохнула тяжело, – уже просто ливень…

– Не последний ведь день…

– Всё равно жалко, каждого дня, – и почти не надеясь на согласие, она спросила: – Может, в гости ко мне, а?… До двух ещё далеко…

– Хорошо… – и, увидев, как взлетели её брови, улыбнулся, – но только до двух!

Она сразу же, не дожидаясь окончания танцев, потащила его к себе. По аллее почти бежали, дождь уже хлестал, как из ведра… Когда они вошли в домик, она сразу же включила свет и обернулась. Он стоял, улыбаясь, и молчал. Видимо, оттого, что взгляд у неё был уж слишком выразительный, он засмеялся:

– Да не боюсь я света, правда! Просто так уж получалось… всё время в темноте встречались.

– Да… – протянула она серьёзно, – тест на вампира вы, вроде бы, прошли успешно…

– Даже так? – он всё смеялся и сказал загадочно: – А ведь вампиры, кажется, электрического не боятся…

– А я ещё и в зеркало посмотрела, – она тоже улыбнулась, кивнув на шкаф. – Отражаетесь. Порядок.

Она всё смотрела и смотрела на него, ведь вот так полностью, при свете, она ещё его и не видела. …Лет тридцати. Черты лица тонкие, нос с небольшой горбинкой. Золотистые светлые волнистые волосы. Сегодня они не были схвачены резинкой и разметались по плечам мерцающим туманом… Бледная кожа, еле заметные, как пыль, веснушки… И большие серые глаза. Добрые, весёлые и замечательные.

Он совсем развеселился.

– Может, мне повертеться, чтобы лучше видно было? – засмеялся и, действительно, провернулся на пятке вокруг себя.

– Кого-то вы мне напоминаете, – она задумалась, а потом выдала радостно: – Ну, точно, эльфа!

Он улыбнулся грустно:

– Чего-то подобного я и боялся…

– Почему?!

– Мужчина должен быть не эльфом, а мужчиной…

– Господи, какая глупость! Как всё это надоело: качок, боевик, крутой, бряцание оружия, жёсткий бизнес, жестокий рынок, железные леди… Мне кажется, с прибавлением каждого нового мускула у человечества пропадают как минимум две извилины! И потом вы очень даже мужчина, только эльф-мужчина!

– Правда? – он опять засмеялся. – Значит, вы меня пока не бросаете?

– Не только не бросаю, а ещё и буду сейчас поить чаем, кофе… что хотите? Да, – она спохватилась, – мне тут… гости всякую выпивку привезли. Хотите за знакомство?

– Нет, нет, – он сказал это как-то очень поспешно, – спиртного не надо…

– А что это вы так испугались? – прищурилась она. – Может, вы бывший пьяница? Закодированы?

– Нет, я не пьяница, – посмотрел он весело. – И не закодированный. И, вообще-то, иногда пью. Сегодня только не надо.

– Ещё одна загадка, которую вы лихо промолчите? – она уже поставила чайник, села напротив него за стол. – Сейчас я вас буду мучить. Вопросами. У меня их столько накопилось! И попробуйте не ответить. Не отпущу тогда к двум.

– Всё, я лучше сразу сдамся! – он даже руки поднял, смеялся. – И что же за вопросы?

– Начнём с несложного. Как это лодка вчера на пристани оказалась?

– Я её пригнал.

– Со мной?

– С вами.

– А как? Там же негде было сесть?

– Да я вплавь! – он опять засмеялся. – Так жалко будить было…

– Так, – она смотрела задумчиво, – крылышки у эльфа отваливаются… Это ж какое расстояние нужно проплыть? Да ещё и лодку протащить. Да ещё и со мной! У вас дельфинов в роду не было?

– У нас у всех в роду были дельфины. Это уже, вроде, доказано.

– Уходите от ответа?

– Нет, – он всё смеялся, – ну, просто я, действительно, хорошо плаваю!

– Ладно, принимается. Следующий вопрос посложнее. Про лесника вы мне всё наврали?

– Почти нет.

– Лесник у нас как был Анатолий Иванович, так и остался. И помощников у него никаких нет. Разведка донесла.

– Хорошая разведка… Только я не говорил вам, что я от лесничества. Я говорил: «пусть будет лесник», разве нет?

– Ответ не принят, подробнее.

– Хорошо. Я, …как бы это сказать, …наблюдатель, что ли. За природой, экологией, и ещё… ну, в общем, за всем этим местечком. И совершенно от другой организации.

– Ладно, пока поверю. Дальше спрашивать?

– Давайте, …только вот что… У вас ведь сильно болит голова, да?

– А откуда вы знаете? – очень удивилась она. – Что, меня уже всю перекосило и так прямо заметно?

– Да нет… – он встал, подошёл сзади к её стулу. Она всё ещё удивлённо хотела повернуться, но он сказал: – Нет, сидите, как сидели, я сейчас помогу… Это от погоды, да? Плохо… но поправимо…

– Да, всё время, когда идёт дождь… А вы-то откуда знаете?

Он проигнорировал этот вопрос. Взялся за голову руками, как в кольцо окружил. Она вдруг почувствовала, как боль стала перебираться к его пальцам. Словно стекала. Когда она вся собралась там, он просто отнял руки, забрав всю боль с собой…

– Ну, как? Всё?

– Вот это да… – она смотрела на него во все глаза. – Вы что, ещё и экстрасенс?

– Это следующий вопрос? – улыбнулся он. А потом опять вдруг стал серьёзным. – А спина, вот здесь у вас, тоже иногда болит? – он дотронулся до спины между лопатками. – Я ещё во время танцев заметил…

– Точно, – она почти шептала. – Это старая травма, …да откуда вы всё знаете?

– Тогда и спину сейчас вылечим. Но придётся потерпеть.

Одну руку он приложил к больному месту, а второй взял её спереди за плечи. От руки на спине сразу же пошло сильное тепло… Всё усиливалось, усиливалось, потом стало жечь невыносимо…

– Ой, горячо! – она непроизвольно пыталась вырваться, но он держал её за плечи второй рукой намертво, даже пошевелиться было невозможно.

– Терпите. Вы что, горбатой хотите стать? С позвоночником нельзя шутить.

Жар от руки всё усиливался… Ей уже казалось, что его рука сейчас, пройдя сквозь неё, вылезет наружу, так было больно и горячо… Даже слёзы выступили. И когда она уже закусила от боли губу, его рука вдруг сразу стала холодной… Он ещё немного подержал её, отпустил.

– Ну, вот и всё. Больно? – виновато посмотрел в глаза. – Вы уж простите, …но тут никак иначе нельзя было.

– Кто вы?!

Она смотрела на него такими глазищами, что он опять засмеялся:

– Да вы же сами сказали – экстрасенс. Значит, пусть будет экстрасенс.

– Опять «пусть будет»?

– Опять.

Она молчала, всё так же смотря на него во все глаза. Он вернулся на свой стул, спросил:

– Опять вы меня боитесь? Не надо. Ничего плохого я вам не сделаю. …И давайте, что ли, следующий вопрос…

– А вы ответите?

– Если смогу.

– Куда вы всё время исчезаете к двум?

– Просто у меня… – он запнулся, – сеанс связи с… моей организацией. …Как отчёт, что ли.

– Почему ночью?

– Связь лучше. Да и так уж повелось… исторически…

– А где вы живёте?

– В лесу.

– Что-то я там никаких палаток или домов не видела…

– Под землёй. Снаружи не видно.

– В гости, конечно, не позовёте?

– Конечно, нет. Не от меня это зависит…

Она встала, взяла закипевший чайник, стала разливать кипяток по стаканам.

– Всё. Я сама от своих вопросов устала. Чем больше вопросов, тем больше непонятного… Жаль, что вы не пьёте… сегодня.

– Это почему же?

– Ну, не надоело вам «выкать»? Выпили бы на брудершафт…

– Можно и чаю.

– Чаю? На брудершафт?

– А я считаю, – он опять смеялся, – что в этом обычае вторая часть куда важнее… и приятнее!

– Уговорили.

Она взяла стакан и хотела просунуть ему под руку, но он отобрал его у ней, свой тоже поставил, а потом обнял и поцеловал… И хотя он сделал это так просто, без всяких страстных сопений и придыханий, у неё, казалось, сердце остановилось… Когда он оторвался от неё и, ещё обняв, и не отпуская, смотрел в глаза, она сама прошептала:

– Что-то я очень непонятливая сегодня… Хорошо бы повторить…

…Нет, кажется, никогда она так здорово не целовалась… Ну, где это раньше было? В школе – скорее из любопытства. В институте – в подвыпивших разудалых компаниях – потому, что все целовались. На дискотеках – заведённая грохотом музыки и находящая в этом выход своей неуёмной энергии. Потом, задавленная железной Лёшкиной волей – почти по принуждению…

А сейчас она потерялась во времени и пространстве от его нежности и ласки. И ещё… Он, словно чувствуя, что ей ничего

пока больше и не надо, не преступал ту неуловимую грань. Вот так просто обнимал за спину и плечи и нежно целовал, то в глаза, то в губы. Сколько же это продолжалось? Она первая прошептала:

– И где же это так учат целоваться? В вашей загадочной организации?

– В твоей. Разве мы уже не на «ты»? – он стоял, всё ещё обняв её.

– Да, в твоей. И ты, как всегда, ушёл от ответа… Слушай, а, может, ты и вправду Дух?

– Кто?!

– Баба Аня говорит, что в лесу новый Дух, …ну, Дух леса… И что это ты…

Он удивлённо посмотрел на неё, а потом принялся хохотать. …Ей так нравилось, как он смеётся. И не из-за красивой улыбки и хороших зубов… Вообще-то красивым его, пожалуй, и нельзя было назвать… И слава богу. Хватит ей и одного красавчика. Просто он очень здорово смеялся.

Отсмеявшись, и опять обняв её, прошептал на ухо:

– А ведь это здорово. Пусть будет Дух, – он заглянул ей в глаза и вдруг… может, это был всего лишь отсвет лампы?… или ей показалось?… или и вправду они полыхнули оранжевым?… – Тогда и вопросы сразу кончатся, да?…

Под шум дождя, да ещё без головной боли, она спала так крепко, что долго не могла сообразить, что же это за треньканье. Наконец, окончательно проснувшись, поняла – телефон. Видно, Лёшка всё-таки оставил его где-то в сумках. Только почему не сказал? По звуку сразу же нашла, включила.

– Да?

– Света? Это я, – конечно же, Алексей. – Ты как, жива? Голова болит? Ведь наверняка ничего с собой не взяла, а я тоже забыл привезти, извини…

– Нет, всё хорошо, не беспокойся. Ты чего звонишь в такую рань?

– Ничего себе рань, я уже давно на работе!

– На работе? Сколько же время? – она посмотрела на часы. – Ну, я и сплю…

– Так я тебя разбудил? Ты что, и завтрак проспала? – она чувствовала, что он улыбается. – Значит, действительно, ничего не болит, я очень рад за тебя…

– Лёш… – она даже и не знала, о чём с ним говорить, – ты не волнуйся, я сама лучше позвоню… потом… когда всё решу…

Весь день лил дождь. А голова совсем не болела. Она до обеда провалялась в кровати, вспоминая вчерашний вечер и улыбаясь. После обеда немножко походила по гостям. В основном, все отсыпались. Немножко попели, немного поговорили, попили чаю и кофе. Погода настраивала на меланхоличный лад. Ближе к ужину она уже прочно уселась дома: «А вдруг придёт раньше?» На ужин – стрелой, да и есть-то совсем не хотелось. После ужина опять домой: «Хоть бы про меня все забыли…» Все-то забыли, опять, видно, поддавшись погоде, и, в основном, отсыпаясь… а вот он не пришёл… Она прождала до двенадцати: «А вдруг он на пляже?» Глупость, конечно, дождь – как из ведра… Но всё-таки схватила зонт и пулей – туда. Никого, что и требовалось доказать… Обратно: «А вдруг приходил? А я даже записку не оставила…» Опять никого, и следов никаких – сухие ступеньки… Только в два ночи она поняла, что он уже не придёт. Проклинала себя за вчерашнее: «Ведь я не позвала его…» Но, казалось, это подразумевается. Ведь они расстались так хорошо. Ночь прошла почти без сна: «Где же теперь его искать?» И погода, словно решив оплакать её настроение, разрывалась проливным дождём… «Да где же моя гордость?» – пыталась образумить себя. «Да пошла эта гордость куда подальше! – тут же отвечала себе. – Первый раз в жизни мне так хорошо с человеком, какая тут гордость…»

И весь следующий день лил дождь. И она никуда не ходила, ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин. И даже на дискотеку. Заходили удивлённые знакомые, она говорила всем, что болит голова. И он опять не пришел. И всю ночь она проревела. Заснула только к утру. А утром, наконец-то, дождь кончился и была опять потрясающая погода. Завтрак она опять проспала. День, такой солнечный и замечательный, был уже в разгаре, но настроение при этом – препоганейшее. «Может,

я его чем обидела?» Вообще-то, разум говорил, что обидеться надо бы самой… а вот всё остальное готова была простить, только бы он показался. И она пошла в лес.

Сидела на любимой полянке. Подманивала комаров, которые по-прежнему не хотели кусаться. Ждала или его, или хотя бы лиса.

Пришёл лис. Сел совсем рядом, смотрел тревожно.

– Ну вот, – попыталась она улыбнуться, – я и тебе совсем разонравилась… Даже не улыбнёшься мне...

Лис помахал хвостом, подошёл ещё ближе.

– Как тебя зовут? Пусть ты будешь Рыжим? Хорошо? – а потом, вздохнув, тихо добавила: – И ко мне привязалось это его словечко: «Пусть…»

Лис подошёл совсем близко и вдруг… потёрся бархатной тёплой мордой ей о плечо. Она попробовала его погладить. Он не стал возражать. Она всё гладила его, потом почесала за ушами, зная, как нравится это собакам. Он потряс головой – не хотел.

– Конечно, …тебе это не нравится… Ты же ведь совсем не такой, как все… – и вдруг, сама не ожидая этого от себя, обняла его за мощную шею, заплакала прямо в шёлковое ухо. – Ты же знаешь, где он… Вы же наверняка знакомы… Ну, не может же он тебя не знать! Позови его, а? Скажи ему, этому эльфу ненормальному, что мне без него очень плохо… И если он не придёт, я даже не знаю, что сделаю…

Она ревела, обнимала лиса и жаловалась ему в чуткое, вздрагивающее ухо. Он, словно всё понимая, вздыхал, тёрся мордой о её щёку, и иногда лизал её мягким и шершавым языком. И, наконец, она заметила ещё одну странную вещь. От лиса не пахло животным. Тем более, она где-то читала, что лисы довольно-таки вонючие. От этого же пахло нагретой шерстью, лесом, водой, свежестью. Словно его только что хорошенько и тщательно вымыли. Она отстранилась от него, посмотрела в рыжие влажные глаза:

– Слушай, а, может, ты и вправду Дух? Или вы оба Духи? – и потом уже увереннее добавила. – Или я сошла с ума. Что, конечно, более вероятно.

Тогда лис, наконец-то, улыбнулся, глаза опять стали хитрые. Быстро лизнул её в щёку, прыгнул в сторону, помахал хвостом, убежал.

Она сидела молча и без мыслей. То есть мысли были, но такая каша, что и не разобрать. Какая-то очень небольшая трезвомыслящая её часть говорила, что нужно срочно бежать в Москву, выходить замуж за Лёшку, иначе она и вправду съедет с катушек. Всё остальное было против.

– Лана… – она и не заметила, как он неслышно подошёл сзади.

Она вскочила и бросилась к нему на шею. Сколько они целовались, она сказать не могла… Потом, всё-таки придя в себя, она горько прошептала:

– Ты куда пропал? Разве я тебя чем-то обидела? Почему? Ну, почему ты так со мной…

– Лана, прости… но всё значительно серьёзнее… – тоже прошептал он ей на ухо.

– Мне на всё плевать! Дух ты, человек, или ещё кто… Может, ты женат? Мне и это всё равно. Только хоть иногда приходи! Видишь, у меня не осталось никакой гордости. Я больше не смогу без тебя.

– Лана… Лана… о небо… что же я делаю?… – он всё целовал её и только теперь уже совсем не так…

Последней разумной мыслью, когда они падали в мох, было: «Почему “о небо”?»…

А первым чувством из реального мира – чувство запаха… Запаха леса, свежести, воды… Его волосы разметались у неё по лицу и груди. Он, обняв её, уткнулся носом куда-то в шею за ухом… Она засмеялась:

– Вы что, с лисом одним шампунем моетесь? Ведь это он тебя привёл?

Он молчал, только тихо и нежно гладил её своими волшебными руками…

– И кто же это говорил, что не мужчина? – она всё смеялась. – Я бы сказала, что даже слишком мужчина…

Он поднял голову, и она испугалась перемены, происшедшей с ним. До этого она, вообще-то, из-за слёз и горя, а потом и радости даже не посмотрела на него как следует… А сейчас… Он как будто постарел и посерел… круги под глазами… золотая трехдневная щетина… а глаза… Они уже не смеялись.

– Эл, что случилось? – она взяла его голову в руки. – Я… я так разочаровала тебя?

Он, всё также молча, обнял её, начал целовать лицо, грудь…

– Эл, не молчи, ради бога!

Наконец, он, опять уткнувшись ей в шею, тихо сказал:

– Я сам подписал себе приговор… Но что я мог сделать? Это сильнее меня… сильнее всего во Вселенной…

– Какой приговор? – ей становилось всё страшнее.

– Приговор – потерять тебя навсегда…

– Ну, уж нет, дудки! – она пыталась опять шутить. – Я так просто не теряюсь, если уж нашлась!

– Лана, слушай… Я не должен бы тебе ничего рассказывать, но ты всё равно всё забудешь… Я должен хоть как-то оправдаться…

– Я?! Забуду?! Да ты что? – она всё пыталась заглянуть ему в глаза. – Я ждала тебя всю жизнь, и я забуду?!

– Лана… я не здешний… я очень издалека…

– Да я уже давно поняла! Ты хорошо говоришь по-русски, без акцента, но как-то не так… даже не могу объяснить… Ну, и что?

Он развернулся на спину, поднял руку к небу… от пальца вдруг, как указка, протянулся тоненький луч… Она только теперь поняла, что уже темнеет…

– Смотри, вон та звезда, – он указал лучом на чуть заметную точку над лесом, – там мой дом…

Она молчала. Почему-то вдруг сразу стало понятно, что это правда. Молчала и чувствовала, как реальность пронизывает ее холодом.

– Если это шутка, то очень жестокая… – прошептала она.

Вместо ответа он хотел её поцеловать, но, видимо, уловив настроение, опять уткнулся носом за ухо:

– Нет, не шутка… Хотя, конечно, жестокая…

– Значит… все эти тарелочки и… зелёные человечки – правда?

– Разве я такой уж зелёный? – он опять поднялся на локте и, смотря на неё, попытался улыбнуться. – Немножко небритый и не выспавшийся… но не зелёный же…

Видимо, она всё так же страшно смотрела на него, что он опять грустно пошутил:

– А кто же обещал, что ему всё равно… даже если я женат?

– Кто ты?!

– Человек. Почти такой же, как ты…

– Так не бывает. Не может быть. Не должно быть, – опять прошептала она. – Так издалека – и такой же…

– У нас одни предки. …Это было очень давно и очень далеко… …Это была цивилизация, достигшая высочайшего уровня… Они смогли просчитать, что их звезда близка к взрыву. И решили найти другой дом. Строили… ну, в общем, ваши фантасты называют это звездолётами… для эвакуации. Только вот в выборе нового дома мнения разделились… И все разлетелись на три стороны. Одни – к вам, на Землю. Другие – к нам, на… пожалуй, Нирриа будет ближе всего по звучанию. О третьих мы так ничего пока и не знаем…

Она, вся сжавшись в комочек, слушала, не шевелясь… Он продолжил:

– Конечно, неизбежно, и мы и вы деградировали… Но у вас ещё и условия были значительно хуже… Вы вынуждены были тяжело бороться за жизнь и очень сильно отстали от нас, когда мы, наконец, вас нашли… И, к тому же, вы пошли совсем другим путём… У вас машинная цивилизация, у нас – биологическая. Мы давно на Земле и наблюдаем за вами, ведь вы наши родные братья…

Она плакала. Молча, без звуков, текли и текли слёзы… Он, конечно же, это чувствовал, и не решался трогать её…

– Ты меня опять боишься?

Она села, молча и отрешённо стала натягивать майку. Потом сказала:

– Кажется, это ты боишься… Не бойся, уродов не будет, я предохраняюсь…

Он резко развернул её за плечи:

– Да как ты могла такое подумать?! Во-первых, я всё про тебя знаю, а, во-вторых, я же сказал – я точно такой же!

– Да?! Такой же?! – она плакала и кричала. – Да ты посмотри на себя! У тебя же глаза сейчас рыжие! Это ведь ты разгуливаешь

по лесу в виде лиса!… Скажешь, нет? Он такой же… Это ты шепчешь в парус: «Лана!» Это ты комаров от себя отгоняешь… да и от меня тоже! Такой же он! Ты всё время меня обманываешь! Я тебя ненавижу, а не боюсь!

Тогда он опять обнял её, и хотя она яростно отбивалась, всё равно он был сильнее… так намного сильнее её…

– Да, такой же, – сказал он серьёзно и даже строго. – У нас абсолютно одинаковый набор хромосом. А мои особенности… Это как блондин – брюнет, высокий – низкий, толстый – тонкий… Просто наследственность…

– Да, да! И в особенности рыжая хитрая морда! Удивительная наследственная черта!

Он вдруг засмеялся:

– А разве он тебе не нравится? Мой лис?

– Отпусти меня!

– Лана… Лана, – он всё так же крепко держал её. – Лис – это работа…

– Какая работа?! Ты опять меня обманываешь?!

– Нет. Это связано с этим местом, и только с вашей Землей, – он всё пытался успокоить её и тихо говорил на ухо: – Земля – уникальна… Наша цивилизация, как я сказал, биологическая и мы многое научились делать с собой. Например, у нас нет машин, самолётов, звездолётов. Они просто не нужны, мы сами перемещаемся в пространстве… Но вот превращаться в кого-либо мы пока можем только здесь, на Земле. И только на Земле это вообще возможно. У вас есть места с особым… пусть излучением… И тут, вокруг вашей турбазы, как раз такое место. Может, тебе поэтому так здесь нравится? Ты очень чувствительна к этому… У меня на Земле много коллег – в Антарктиде, на Бермудах, в Австралии, Мексике, Африке… да всех не перечесть… И мы все изучаем природу этого излучения, чтобы суметь повторить это вне Земли.

И она уже не боялась, и не могла противиться и своему чувству, и его нежности, и уже не отбивалась, и уже целовала его… но всё равно плакала…

– Но почему тогда ты меня теряешь? Что за приговор?

– Мне запретили... – он тоже теперь зашептал ей на ухо… Так отчаянно… – Я не должен был вообще встречаться с тобой… Официального контакта с вами ведь пока нет…

– Почему, ну почему?

– Увы, но ваш мир слишком жесток. Многие наши знания для вас просто смертельны. Ещё разнесёте свою Землю в клочья… А мы этого не хотим… И не только из-за уникальности Земли… Главное, из-за вас. Мы не хотим вас терять…

– Но я никому ничего не скажу! – плакала она, пытаясь заглянуть ему в глаза.

– Лана, это не моё решение… – в его глазах было столько боли… – И потом… Ты же ничего не будешь помнить… Тебе будет хорошо… Это мне остаются лишь воспоминания на всю жизнь…

Они долго сидели молча, обнявшись, на тёплом мху… Она, наконец, прошептала:

– Твоя жизнь, она длинная?

– Да. Намного длиннее вашей. Мне сейчас… лет сто двадцать… по меркам Земли…

– Тогда возьми меня с собой, к вам! – делала она последние отчаянные попытки. – Там-то я уж точно никому ничего не скажу!

– Это невозможно… Я же говорил, мы сами перемещаемся в пространстве… У нас нет звездолётов… Да, и потом… Тебе бы там не понравилось… Кажется, в своём совершенствовании мы потеряли главное – любовь… Может, жестокость и любовь связаны? Не знаю… Но наш мир такой пресный, скучный и безликий… хотя, конечно, значительно более добрый… Я – неправильный человек для своего мира… Я так полюбил вашу Землю… и тебя… Поэтому и перестал слушаться доводов разума… Думаю, мои предки ошиблись в выборе звездолёта…

И опять она тихонько плакала у него на груди и он, неожиданно получивший в дар от природы Земли такое волшебное чувство, и понимая, что скоро опять потеряет его, тоже не скрывал слёз…

Она спросила:

– И сколько же у меня времени… до того, как я всё забуду?

– До утра…

– И ты, конечно, опять убежишь на свой… сеанс связи?

– Нет. Я так хочу быть рядом с тобой... Да и просто не смогу связаться... Не получится... Так бывает, когда, например… выпью спиртного… А сейчас я просто страшно пьян… от любви к тебе… И я до утра буду с тобой… если ты, конечно, всё-таки не прогонишь меня…

Она, конечно, не прогнала его. И это была ночь любви и слёз, радости и отчаяния, нежности и боли. Утром он проводил её до домика, уложил в кровать, положил свои волшебные руки на голову. Плача, и всё же засыпая, она до конца видела перед собой его чудесные добрые и мокрые глаза.

Утром она встала и удивилась. Дождь льёт опять вовсю, а голова не болит. Потом она нахмурилась, задумалась. Что-то было не так. Что она делала вчера? Ведь вчера была хорошая погода. Кажется, она ходила в лес… Или к бабе Ане? Или она ходила к ней раньше? Ну да. Ведь они ходили вместе с Лёшкой… И ели пироги. С чем? Наверно, с повидлом. Ведь ягод ещё нет… Или с картошкой? Что с головой? Всё перепуталось… Надо сходить к бабе Ане… Она взяла зонт и отправилась в деревню. И с порога, даже не поздоровавшись, спросила:

– Баб Ань! Вы нас с Лёшкой чем угощали? С чем пироги были?

– Да с повидлом, – баба Аня удивилась и всполошилась, – а что, неужто плохо стало? Отравились, что ль? Со мной-то всё, вроде, в порядке…

– Я что-то забыла… – она сидела и терла виски. – Что-то у меня всё перепуталось…

– Ещё бы! Как наскачитесь на вашей свистопляске, так я, думаю, как вообще чего соображаете…

– Нет. Дело не в этом, – она отчаялась разобраться в себе. – Знаете, я, видно, поеду в Москву… Деньги вот вам пришла оставить…

– Зачем? – баба Аня тревожно посмотрела на неё. – Зачем это мне, что-то я тебя не узнаю…

– Да сарай у вас покосился весь… надо бы поправить. Кто вам поможет? Лёшку разве допросишься? Да и не сумеет он…

– Лана, да что случилось? – баба Аня всё всматривалась ей в глаза. – Чтобы ты – и уехала раньше срока!

– Так ведь вон погода какая… Что здесь делать в такой дождь?

– Пройдёт скоро. Точно говорю. Все приметы на то показывают. Ещё день, а потом жара будет. И не меньше, чем на неделю. Опять голова, что ли, болит? – баба Аня подошла к шкафу. – Так я тебе сейчас травки дам, всё пройдет…

– В том-то и дело, что не болит… И это тоже странно… И ещё… Что-то вы мне про лес говорили… Что?

– Да что же я про лес могла говорить? Лес он лес и есть. Хороший у нас лес. Богатый. Скоро черника пойдёт, земляника, малина, грибы… А ты уезжать надумала… Да что с тобой?

Она встала, подошла и поцеловала бабу Аню.

– Я всё-таки поеду. И сама не знаю, что со мной… Может, действительно, замуж пора? Пока Лёшку кто-нибудь ещё не захомутал…

…На вокзале она достала телефон, позвонила Алексею.

– Лёш, это я.

– Светуля! – он обрадовался. – Как отдыхается? Я не звоню… Ты же не велела. Но очень беспокоюсь. Ты как?

– Лёш, я с вокзала. Я в Москве.

– В Москве? Что же ты не позвонила, я бы тебя привёз… Ведь с сумками, в электричке…

– Да всё нормально…

– Жди меня. Я через полчаса… нет, даже минут через двадцать подъеду. Где ты будешь?

– Нет, не надо меня встречать. Я сама. Здесь же близко.

– Свет, ты что? Что-то случилось?

– Да с чего ты взял?

– Голос у тебя… Да и чтобы ты с Волги раньше времени приехала… Может, обидел кто?

– Всё нормально… И ещё вот что. Наверно, действительно, пора замуж… Ты ещё не передумал?

– Света, милая… Я так рад… Всё-таки подожди меня, ладно?

– Хорошо, я буду в зале ожидания…

Он подбежал такой радостный. Господи, ну что они за странная пара! Она видела недоумение у всех, кто их окружал. Он, как

всегда, словно сошедший со страниц модного журнала. С великолепно уложенной причёской. Высокий и такой безумно красивый… Источающий дорогой и модный запах. Запах… Что-то она всё-таки забыла…

– Света, – он почти поднял её, чтобы поцеловать, – на этот раз серьёзно?

– Постараюсь…

– Да что с тобой? – он тревожно вглядывался в глаза. – Что там случилось, на этой твоей чёртовой Волге?

– Не смей, – она попыталась улыбнуться, – не смей трогать Волгу! А то точно брошу… И ещё… С чем были пироги у бабы Ани?

– Пироги… – он нахмурился, – с повидлом, кажется… А что?

– Я что-то забыла… И не могу вспомнить… И не знаю – что надо вспомнить…

– Вот что… – он всё так же тревожно смотрел на неё. – Тебе нужно дома посидеть. А то, видно, перекупалась и перегрелась на солнышке… Домой поедешь, или… может, сразу ко мне?

– Нет, только домой. А завтра – на работу…

Она уже неделю ходила на работу. Отшучивалась от всех вопросов. Наташка даже обиделась. Ведь она ничего так и не рассказала. Замкнулась в себе. В голове всё крутился и крутился вопрос – что же она должна вспомнить? Ходили с Алексеем вместе на обед. Он только смотрел тревожно, вопросов больше не задавал, о свадьбе не напоминал… Ждал, видимо, когда она сама заговорит об этом... К нему она ни разу не зашла, хоть он и звал каждый день… В пух и прах поругалась с папкой… Он опять пилил её за то, что мучает хорошего человека. Мама ласково и тревожно спрашивала: «Светик, если у тебя проблемы… ну, ты знаешь, какие… не молчи… лучше ведь всё делать раньше…» Но она просто должна была что-то вспомнить…

Она сидела, напряжённо уставившись в компьютер, когда зашла удивлённая секретарша, Леночка.

– Светлана Сергеевна! Там к вам клиент, а у меня никто на сегодня к вам не записан… Пускать?

– Кто? Я, вроде, ни с кем не договаривалась…

– Вообще, странный какой-то… Не похож на наших клиентов… Как будто перепутал дом или офис… На художника похож… Говорит, скажите только: «Эл». Я так и не поняла, это фирма или фамилия…

Эл… Вот что она должна была вспомнить! Как будто это слово было ключом ко всему… Эл! Боже, Эл!… И всё же что-то ещё оставалось… Что-то было недоступно… Что-то не так…

Она сама вышла в приёмную. Он стоял у окна и, действительно, был похож на художника. Чёрные узкие джинсы заправлены в замшевые остроносые сапожки. Свободная тёмная и какая-то чуть мерцающая куртка-рубашка подчеркивала широкие плечи и узкую талию. Теперь у него была небольшая густая бородка, такая же золотая и волнистая, как и волосы, рассыпанные по плечам. Он обернулся от окна… Большие, добрые и весёлые глаза. Что же ей мешает?…

– Здравствуй, Лана, – он подошёл поближе и говорил негромко.

– Боже мой… – она продиралась мыслями сквозь что-то вязкое… как туман… – Эл… Ведь ты говорил, что всё сотрёшь из моей памяти… Но я всё время что-то пыталась вспомнить… И сейчас я, кажется, всё вспомнила…

– Ну, допустим, ещё далеко не всё, – улыбнулся он.

– Да… ты что-то всё ещё держишь… Отдай. Отдай мне меня…

– Ничего я не стёр, Лана… просто закрыл на время. Опять ослушался. И ох, как мне опять влетело! Если бы стёр, пришлось бы заново с тобой знакомиться… – он всё улыбался. – А здесь это намного сложнее…

– Эл, не морочь мне голову… Отдай, отдай всё…

– Лана, послушай, – он подошёл совсем близко и заговорил ещё тише. – Ты должна решить всё спокойно, без эмоций. Потом отдам и эмоции. …Всё это время… я боролся за нас! Доказывал, убеждал и просил… И победил! Понимаешь, меня отпустили! Любовь – это редкость в нашем мире. Её нельзя терять… Мне разрешили, понимаешь, всё разрешили! Теперь – слово за тобой… У нас есть три пути. Первый – остаться здесь, где ты живёшь. Я, конечно же, мало похож на ваших мужчин, тебе будет

очень непросто со мной… Я не умею водить машину, ничего не понимаю в вашем бизнесе, не знаю ни ваших компьютеров ни техники, не играю, как настоящий мужчина, в хоккей, подраться… нет, пожалуй, смогу! – он засмеялся. – Только своими методами… Но я не буду тебе обузой – могу лечить людей, знаю много ваших языков, рисую, вообще-то, неплохо…

– Отдай…

– Дослушай же!… Или мы можем уехать в одно из ваших чудесных мест и я продолжу свою работу, которой, если честно, увлечён почти с детства… Только, увы, не на Волгу, там тебя знают…

– Эл, отдай немедленно…

– Но есть ещё третий путь – он смотрел ей прямо в глаза. – Я могу действительно всё стереть, и ты не будешь даже знать, что нужно что-то вспомнить… Я бы хотел заставить тебя полюбить твоего Алексея, он хороший человек и, видимо, это было бы самое правильное… Но мы не можем заставить делать других то, что сами почти не умеем…

– Забудь и о первом и о третьем! – она даже головой затрясла. – Мне до чёртиков надоела эта работа, я не горожанка, я здесь задыхаюсь и умру, в конце концов! Я хочу быть просто твоей женщиной… А вот ты должен продолжить начатое, ведь это твоё призвание!

– Ты решила, не пожалеешь? – последний раз спросил он.

– Отдай… – подалась она к нему всем телом.

Он легко провел рукой вокруг её головы… и тогда она опять, наконец-то, стала собой. И бросилась к нему на шею. И уже не слышала, как упала чашка у Леночки, не видела, как выкатились глаза у девчонок, разговаривающих в другом конце приёмной, не знала, как побелел и прислонился к стене вошедший Алексей. Стояла и целовалась с ним, как на Волге. И только вдруг испуганно сказала:

– Но я так рано стану старой!… для тебя…

– Да кто ж тебе позволит? – он смеялся и целовал её. – И не мечтай…

– …А тогда бежим отсюда, да?…

Апрель 2001

Между звуком и смыслом

Стихотворение есть растянутое колебание между звуком и смыслом.

Поль Валери

Уильям Шекспир

ИЗБРАННЫЕ СОНЕТЫ В НОВЫХ ПЕРЕВОДАХ

(Окончание. Начало см. «ГС» №№5-7)

СОНЕТ 115

Я ошибался, написав: «Люблю
И не смогу сильней тебя любить я».
Я недооценил любовь мою.
Я не сумел предугадать событья.

Я наблюдал: на кару не скупясь,
Ломая судьбы, сокрушая троны
И красоту затаптывая в грязь,
Сгибает время самых непреклонных.

И потому, боясь играть с огнём,
Я не сказал: «Люблю тебя без меры».
Зачем я жил одним коротким днём?
В грядущий день – зачем глядел без веры?

Любовь – дитя, и я забыл, прости,
Что дети могут быстро подрасти.

СОНЕТ 127

Минувший век смуглянок не ценил:
К ним равнодушье было беспредельно.
А нынче белокурым свет не мил:
Их красота считается поддельной.

И женщины, чтоб моде угодить,
Хоронят красоту под слоем краски.
Осмелишься естественною быть, –
На улицу не выйдешь без опаски.

Глаза твои и волосы черны,
Как траур по матронам и девицам,
Что прелести природной лишены,
Но в париках прекрасны, как царицы.

Все без ума от этой черноты,
И все хотят такою быть, как ты.

СОНЕТ 138

Ты в святости клянёшься без конца,
И верю я неправду говорящей,
Чтоб старика сочла ты за юнца,
Не знающего жизни настоящей.

Я, зная, что тебя не проведёшь
И что разоблачить меня нетрудно,
Предпочитаю просто верить в ложь,
С тобою изолгавшись обоюдно.

Я не скажу: «Я стар, моя душа»,
Не скажешь ты: «Я тоже – не девица».
Любовь доверьем ложным хороша.
Старик влюблён – и лет своих боится.

Приятная нам выпала задача –
Друг другу льстить, друг друга одурача!

СОНЕТ 141

«Не ангел ты – и кончен разговор!» –
Безжалостно моё решило зренье.
Но сердце этот тяжкий приговор
Отвергло тут же, полное презренья.

Я осязаю грубость женских рук,
Мой слух тиранят сбивчивые речи, –
Ни вкус, ни обонянье, милый друг,
На пире чувств с тобой не ищут встречи.

Но эти чувства, даже впятером
Всё о тебе поведав без утайки,
Не отвратят от счастья быть рабом,
Вассалом обожаемой зазнайки.

Так справедлива ль за грехи мои
Суровость соблазнителя-судьи!

СОНЕТ 145

«Я ненавижу», – приговор
Произнесли её уста.
И на меня метнула взор,
И прочитала, как с листа,

Что раны в мире нет сильней,
Чем та, что мне нанесена.
И бессердечностью своей
Сама была потрясена.

«Я ненавижу», – покраснев,
Она промолвила опять,
Но утро, темень одолев,
Кошмары обратило вспять.

«Я ненавижу», – в третий раз
Она сказала, – «но… не вас!»

СОНЕТ 154

В глубоком сне забылся Купидон.
Чудесный факел выронил малютка.

И чувствуя, что не проснётся он,
Над ним сыграла нимфа злую шутку.

Она к нему шагнула напрямик,
Своих подруг оставя удивлённых,
И был обезоружен через миг
Военачальник армии влюблённых.

Горящий факел бросила в поток.
Вода, шипя, целительною стала.
Но жар любви я в ней унять не мог:
Душа любить, как прежде, не устала.

Любовь согреет воду без труда,
Но в ней не охладеет никогда.

Перевод Евгения Фельдмана

Светлана Василенко
СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

«Да здравствуют герои Сиваша!».
«Пожежный щит».[1]
Граница Крыма.
Украина.
Ты вглядываешься в лица
пацанов, бредущих вдоль путей, –
найти пытаясь
отличья от
пацанов таких же,
только русских, –
и не находишь,
кроме нестриженных волос,
копной неубранной
лежащих
на голове,

как в те года,
когда одна,
как ключ, –
руда –
иль кровь
славянская в нас
била...

09.09.07.
поезд Москва – Феодосия

РОЖДЕСТВО

Дорога железная
Под Рождество.
Узуново. Выпечка. Сигареты.
Горячие пирожки.
Цистерны с нефтью, –
Как мираж, проплывают
Мимо.
Тишина.
Ледяная Ока.
Упавшая с неба птица.
Слюдяное окно:
В избушке – ёлка.
И спицей в глаза –
Звезда на самой верхушке.
Снова темно. Пустыня.
Новый посёлок:
Окошко. Ёлка. Звезда.
Окошко. Ёлка…
Проехали.
Чистое поле. Звезда над елью.
Стоим у окна,
Боясь упустить хоть одну,
Ликуя,

Словно волхвы
Под Рождество,
За звездой Вифлеемской
Бегущие…

02.01. 2008 г.
Поезд Волгоград – Москва

КРЁСТНЫЙ СЫН

Соседка, подруга детства,
Всю жизнь продающая розы
У магазина «Вояж»,
Прибегает ранним утром,
Говорит, что хочет
Покрестить дочь, –
ей идти этой осенью в школу,
и чтобы я была
крёстной.
По дороге в церковь
Выясняется, что
Старший сын
Не крещён тоже,
А ему этим летом
Сдавать экзамены
В институт,
И только Бог
Может помочь
Её хулигану и двоечнику,
Пропадающему весь день на Ахтубе
На рыбалке, –
Поступить.
А иначе забреют в армию, отправят в Чечню.
На бегу соглашаюсь стать
Крёстной у обоих.
В церкви священник,

Похожий на профессора
Из фильма «Собачье сердце»,
Спрашивает детей,
Верят ли они в Бога.
Мой будущий крёстный сын
Говорит, что нет.
– Так зачем же ты крестишься? -
Спрашивает священник.
– Я верю, что как покрещусь,
Так и поверю, – отвечает тот.
– Веришь в силу креста? Молодец!
Священник доволен.
Крестит его с особым чувством.
Через месяц тот сходу поступает
В институт в Ахтубинске,
Филиал МАИ,
куда невозможно поступить,
заканчивает его,
женится на любимой девушке,
бабушка дарит им квартиру.
Он навещает меня,
Когда я приезжаю в родной город,
Называет меня крёстной,
Рассказывает о сестре-отличнице,
Сообщает, что принёс мне гостинец, –
Пойманную в Ахтубе рыбу, –
И на мой вопрос,
Верит ли он сейчас
В Бога,
Говорит,
Что не знает.
Помолчав, поднимает глаза
И быстро, шёпотом,
Будто нас могут подслушать,
Добавляет,
Что после крещенья
Стал другим человеком.

И что кто-то его стал любить
И заботиться о нём.
Он это постоянно чувствует.
Может, это и есть Бог?
И вынимая из вещмешка
огромного судака,
Улыбаясь,
Громко и радостно, словно
Только увидел меня,
Говорит:
«Вот, поймал на стрелке
Ахтубы и Верблюжки.
Килограмма на два потянет…»

7 января 2008 г.

* * *

Памяти дяди –
Ивана Савельевича Василенко

Дожить до 83-х,
Пройти две войны –
Германскую и японскую,
Выйти из неё героем
С орденом Красной звезды
На груди
И выбитым немецким снайпером
Глазом.
Похоронить жену,
Взрослого сына
Младшего брата,
Почти всех ветеранов войны
Их маленького города, –
Долго умирать
На руках у дочери
В окружении внуков,
Правнуков, племянников
И двух состарившихся

Сестёр, одну из которых
Он будет просить дать
Таблетку, чтобы не мучиться, –
Наконец умереть, –
Выбежать мальчиком
Босиком среди звёзд
И упасть на руки плачущей матери.

18 января 2008 г.
Поезд Москва – Назрань

ДЕНЬ ИВАНА КУПАЛА

Сесть, сочинять стихи,
Прямо в поезде,
Положив бумагу на стол,
Будто бы собираешься есть колбасу,
Резаться в карты, пить чай.

Выйти в тамбур, стоять,
Вдавливаясь лбом
В чёрное стекло, за которым
Свист, словно бы разбойничий, –
вспоминать тебя.

Вспоминать, как шли с дачи,
покупали клубнику, старуха сказала,
что сегодня – день Ивана Купала.
Я в шутку сплела венок –
Бросила в воду.

Ты прыгнул, поймал, – тоже в шутку.
Живём шутя, как муж и жена
Уже полтора года.
А тот день горит во мне –
Как во тьме – вон то окно в хате.

27 января 2008 г.

* * *

Мою
мою старенькую мамочку.
Мочалкой
Тру её девчоночье
Тело.
Её качает, как от ветра,
Былинку,
Мою мамочку,
Мою кровинку.

24 февраля 2008 г.

* * *

Саратов. Глушь. Любовь.
И солнце из щелей
Дощатой старой церкви,
Похожей на корабль,
Так хлещет, как вода,
Как кровь
Из ран Тристана.
Стою с тобой,
молюсь лучу:
«Муж и жена мы.
Муж, жена…»
Обвенчаны с тех пор.
Саратов. Страсть. Весна.

25 февраля 2008 г.
Москва

КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ

1

Лето. Я маленькая. Едем с мамой
К её брату – моему крёстному –

Дяде Васе в Ростовскую область;
Увязли в ночи, как в смоле,
Посреди дороги.
Ночь, плотная и живая,
Пахнущая чернозёмом.
Чёрный ветер дотрагивается
до моего лица тёплыми
руками и ощупывает его,
как слепой. Мне страшно.
Я вдыхаю ночь в себя,
Всю её черноту,
Чтобы переработать её в свет, –
Ведь меня зовут Света.
Выдохнула и ослепла –
В глаза бьёт свет фары
Мотоцикла, вижу –
Смеющееся лицо крёстного,
Обнимает и целует меня.
Я вдыхаю его запах –
Запах моего рода.
Садимся с мамой в коляску мотоцикла.
Летим в ночи, разрезая тьму светом,
В совхоз «Красная заря», –
Туда, где нас ждут
деревенские родственники,
Сидя за накрытым столом,
где живёт мой крёстный.
Полное счастье.

2

Через много лет,
Когда крёстный умрёт, –
Сон.
Чёрная, неподвижная, мёртвая,
Как материя, ночь,
И я в ней, как в трауре, стою одна,
Чего-то ожидая, – и вдруг

Свет фары – это он,
Мой крёстный, на мотоцикле…
Он улыбается,
Я бросаюсь к нему на шею,
Мы молча, крепко, жадно
после невозможной разлуки
обнимаемся, целуемся, –
я так счастлива, –
мой крёстный, родной…
Так ты жив? Там есть жизнь?
Он молча кивает. Расстаёмся.

3

Пройдёт десять лет.
Он опять приедет ко мне
Во сне на своём мотоцикле.
Не доезжая, остановится.
Притушит свет фары.
Молча без улыбки
Посмотрит на меня,
Словно о чём-то предупреждая…

Через месяц умрёт мой муж.

……

Крёстный! С тех пор
Я жду, когда ты приедешь
За мной
На мотоцикле с коляской,
Как тогда, в детстве,
И мы поедем, вдыхая
Земной запах ночи,
Её полынную горечь, –
Разрезая темноту светом
Полетим навстречу
Красной заре, туда,

Где нас ждут,
Сидя за накрытым столом
Мои родственники,
Где Дом нашего рода.

12-13 марта 2008 г.
г. Москва

* * *

Тяжело переходить
С телеги на крылья,
Всю жизнь писать
Про заек,
А потом заделаться
Вдруг поеткой,
Шарахаться над косогором
Птеродактилем,
Гортанно дико так
Кричать
Над родиною
Дактилем.

27 марта 2008 г.,
г. Москва

ВОЛЬНОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Мой дедушка сумасшедший.
Он живёт в поселении для сумасшедших,
Которое называется вольным.
Семь километров от станции Миллерово
Мы с мамой едем на автобусе.
А потом идём – сначала клеверным лугом,
Свекольным сахарным полем,
Пробираемся через тёрн
(от вкуса его чернильных плодов
У меня сводит скулы,

А от колючих цепких ветвей
Все руки будут расцарапаны),
Долго идём по нескончаемому
Вишнёвому саду: грачи с клювами,
Испачканными в красном, клейком,
Будто в крови, вишнёвом соке,
Пьяно терзают вишнёвые деревья, –
Ягодами усыпана земля,
Сочится, как свежая кровавая рана.
Я залезаю на дерево и тут же пачкаю
Платье в алом (потом на обратной дороге
В автобусе одна женщина,
Пристально глядя мне в глаза,
Скажет интимно и загадочно:
«Девочка, а у тебя начались майские праздники…», –
И укажет на красное пятно сзади
на подоле моего платья
Я не понимая, о чём она говорит,
почему-то страшно краснею…).
И вот – подсолнухи, их целое поле –
Круглолицых людей с жёлтыми волосами,
А дальше – пшеница: мы с мамой
заходим в неё, как в воду, –
Маме она по пояс, мне по шею,
Словно плывём по пшеничной
Реке…
Выплываем к белёным длинным хаткам –
Это корпуса психбольницы. В хатах –
Палаты для больных.
Мы садимся за деревянный стол
под шелковицей. Мама уходит.
Я остаюсь одна. Где-то надо мной, в кроне,
Запутавшись, звенит, как бензопила, оса.
Умолкает. Чернильной кляксой сверху
на стол падает ягода шелковицы. Тишина.
Вдруг из зарослей кустов выбегает
Огромный, абсолютно голый парень.

Увидев меня, останавливается.
Мы смотрим друг на друга, как звери в лесу.
Я впервые вижу обнажённого мужчину.
Он сложён, как бог.
Глаза мои скатываются вниз, туда,
Где у него между ног висит жгучая, стыдная тайна,
запретный плод. Мы одни, как Адам и Ева…
Услышав голоса, он срывается с места,
Исчезает в кустах. Но с тех пор
он будет приходить в мои сны,
А через много лет в музее изобразительных
Искусств им. Пушкина я увижу его –
Он будет стоять там – голый, огромный –
Под именем Аполлона…
Возвращается мать с пожилым
коротко стриженным арестантом,
одетым в тёмно-синюю байковую пижаму,
с пришитым номером 33
над верхним карманом куртки.
Это мой деда Савва.
Он берёт пачку махорки,
Которую мы привезли ему,
Из газеты крутит козью ножку, закуривает,
Блаженно щурясь на солнце.
Сладкий дым самосада остаётся в моей памяти
На всю жизнь, как запах счастья и родственного единения:
Мой дед, моя мать и я – мы семья.
Мы вместе и мы счастливы.
Потом дед ест яйца, сваренные мамой вкрутую,
Лук, хлеб, сало… По его лицу не скажешь,
Что он сумасшедший, просто как будто
Мы навещаем его в больнице,
Простой больнице, где он лежит
С больным животом… Или горлом…
Только он упорно называет меня Маринкой, –
Так зовут его младшую дочь, которой во время войны
Было, как и мне сейчас – двенадцать…

Мне это не нравится, я поправляю его:
«Я не Маринка, – упрямлюсь я,
ведь мы хохлы, а хохлы все упрямые, –
меня зовут Света!..»
Натыкаюсь на его неподвижный
Ласковый взгляд, – Маринка, –
Говорит он мне – Маринка…
«Папа, – уговаривает его моя мама, –
Это дочка моя, Светлана…»
Где-то хлопает дверь.
Дед оглядывается. Поворачивается ко мне
И вдруг кричит мне: «Маринка! Ложись! Танки!»
Я кручу головой: где танки?
До самого горизонта стоят подсолнухи.
«Немцы! – показывает на подсолнухи дед, –
Ложись!»
Он скидывает меня с лавки на землю,
Прикрывает меня собой и страшно кричит:
«Немцы! Нас окружают!»
Я вижу его белые безумные глаза и верю,
Что немцы уже рядом, что мы окружены,
И кричу тоже…
Прибегает врач, санитары, курносая Нюрка,
Дедова гражданская жена, тоже сумасшедшая
(через год, когда дед умрёт, она обмоет его,
а другие больные отнесут на руках его гроб в грузовик,
который повезёт тело деда в совхоз «Красная заря»,
где его и похоронят родные).
Санитары скручивают деда и тащат его в белёную хатку…
Он оглядывается на меня: «Маринка! Беги!» –
Кричит он мне хрипло.
И я бегу. Бегу по пшенице, подсолнухам,
через вишнёвый сад, терновник, свекольное поле…
Мама догоняет меня на лугу. Рассказывает,
Что во время войны дед партизанил,
попал в плен к немцам, его расстреливали, чудом выжил…
А после войны кто-то из совхозных сторожей

Пошутил, выстрелил из ружья, – и дед сошел с ума:
решил, что вернулись немцы…
Время для него остановилось:
он воюет с немцами до сих пор.
Мы трясёмся в автобусе. Смотрю в окно автобуса.
Всё также светит солнце.
Всё также стоят до самого горизонта подсолнухи.
Но время изменилось.
Я вижу, как по полю идут, –
подминая под себя белые тела подсолнухов,
накручивая их на гусеницы, вдавливая в землю
детские желтоволосые головы, – немецкие танки…
Я даже привстаю со своего места,
я понимаю, что не могу этого видеть, –
ведь я не *сумасшедшая*, – но вижу, вижу…
Чужая женщина, сидящая сзади, заглядывает мне в лицо,
И пристально глядя мне в глаза, интимно и загадочно
Говорит мне, что у меня начались какие-то майские праздники,
Показывает на алое пятно на подоле моего платья.
Я страшно краснею.
Прихожу в себя.
Остываю. Снова гляжу в окно. Танков нет.
Понимаю: отныне я, как мой деда Савва,
могу видеть сквозь время.

12. 05. 2008 г.

Никита Данилов
ИЗ СБОРНИКА «ИНОЙ ВЕК»

ЯССКАЯ ШКОЛА

Он говорил мне о славе угасшей Рима,
о великих софистах Греции,
об Афинах, Милете и Спарте.
Я расспрашивал его о печали Нерона,

о меланхолии Калигулы и Гелиогабала.
Он продолжал о Цезаре, о Сократе,
и кончал Наполеоном и Ницше.
Я спрашивал о сомненьях святого Петра,
о беспокойном сердце Иуды,
о тяжком недуге Пилата.
Воды Бахлуя текли беспокойные, мутные,
на небе собирались чёрные тучи.
Так мы шли по пустынным улочкам в Яссах,
под вечер, в начале пятого.
Он – в английском костюме, при галстуке,
я – бородатый, с растрёпанными волосами.

ВОДА

Это тебя погубит, сказали ему.
И это тебя погубит, сказали.
А он всё стоял неподвижно, не в силах
глаз отвести от воды.
Двери тихонько пооткрывались,
головы повысовывались из окон.
Это тебя погубит!
тысячью ртов прокричали.
И это погубит!
тысячью ртов проорали.
А он всё стоял неподвижно
и молча в воду смотрел…

ПЕЙЗАЖ С БЕЛОЙ-ПРЕБЕЛОЙ СТЕНОЙ

На белой-пребелой стене он рисовал
лик своего небытия. Так: вместо глаз –
чёрный провал в стене. Вместо головы –
чёрный провал посередине стены.
Вместо рук – чёрный провал, вместо ног,
вместо тела – чёрный провал в стене.
И, захлебнувшись слезами, он погрузился в провал.

ЧАС РОКА

1

Вечер. Преобладает красное.
Пурпурно-красное.
И внутри и вне этого зрелища –
пурпурно-красное.
Дома все красны, и окна
мерцают красным.
Деревья тоже красны,
как и лица людей,
что глядят на улицу,
заложив руки за спину.

Фасады зданий
и внутренность зданий,
так же точно, красны.

Красная, смотрит мать
окаменев у окошка,
на улицу, что растворяется в красном.
Красные, обнялись влюблённые
Возле фонтана – красного.
Красные кличут птицы
в небе застывшем, красном.
Красный, липкий струится
свет по лицам людей,
перебегающих улицу.
Красным бьёт фонтан
в пурпурно-красное небо.
Красные поднимаются голуби
в небо, такое красное.
Красная, плачет возлюбленная
на окровавленном теле любимого.

Красное, отчаянно красное.

Красный, стенает колокол
над красным городом.
Красным взрывается перезвон
с красной звонницы.
Красным бьёт колокол,
красно, отчаянно.

2

Что это значит?
чуть не в истерике бьётся Мария.
Ничего, ничего, шепчет
погасшим голосом Марта.
Почему бьёт колокол?
Почему бьёт колокол?
Почему бьёт колокол?
в страхе кричит Мария
и рвёт на себе одежды.
Ничего, ничего! Успокойся, Мария!
успокаивает её Марта.
Почему бьёт колокол?
Оглушающее воет колокол!
Вот успокоилась, успокоилась Мария.
Скоро всё успокоится,
успокоится всё, успокаивает её Марта.

3

Кровь кипит на плите
и переливается через край,
но не по моей
вине!

Красным кипит кровь
и выливается на плиту,
но не по моей
вине!

Мария! Мария!

4

Время пробуждаться
ото сна на закате
и собираться к вечере.
Но прежде
умоем руки,
жа, умоем же руки
перед вечерей!

Сначала правую руку,
потому что она правая.
Потом левую руку,
потому что она левая,

склоняясь над пурпурным облаком.

5

Что это за вода?
Красная вода.
Красная вода!

Откуда она течёт,
такая красная?
Из красного моря,
что испаряется в небо
и проливается
красным дождём.

6

Не следует волноваться,
надо только умыть себе руки
перед вечерей.
Да, умыть свои руки
перед вечерей…

7

Разве я виновен,
что ты виноват?
Ты ни в чём не виновен,
потому что не виноват!
Тот, на кого ложится вина,
тот виноват!

8

Слушаю, как бьёт колокол,
и волнуюсь.
Красным бьёт колокол
и меня волнует.

Склонись ко мне ухом
и слушай, как стучит моё сердце.
Если ты виноват,
что тебе до моей вины?

Ты ни в чём не виновен,
тот, кто виноват,
стоит пред тобой,
наготове.

9

Положи свою руку
мне на руку и возьми
мне пульс иль послушай, как бьётся
сердце – и ты увидишь,
что я так же виновен, как ты.

Но я скоро умру,
и смерть моя будет отмщеньем!

10

Вот час, в который
должно начаться
землетрясение.

Какое землетрясение?
Землетрясение!

11

Сначала стемнеет
с востока
и ночь наступит.

Потом покраснеет запад
И ночь наступит.

12

Который теперь час,
будьте любезны, барышня?
Я спрашиваю потому,
что знаю вас понаслышке
и хотел бы теперь познакомиться.
Мне известно, что ваше имя Мария…

Мария! Мария!

Мария: Простите меня, господин,
позвольте пройти.
Не преграждайте мне путь,
я очень спешу.
Дома меня ждёт муж,
я забыла оставить ключ,
а муж мой очень ревнив.
И скоро настанет землетрясение…

Какое землетрясение?

Вот час, в который
должно начаться землетрясение!

Мария! Мария!

13

Мы все виновны, скоро
начнётся землетрясение.
Вот час, в который должно
начаться землетрясение!

14

Иди, беги скорее
и принеси мне воды в амфоре.
Если же не найдёшь
Воды, принеси мне вина
красного, чтоб я прочистил
глотку и умыл себе руки.
Если же не найдёшь
вина, принеси мне хотя бы
полотенце, или нет, ещё лучше
ту шаль, в которой венчалась
мать.

Она меня успокоит…

15

Успокойся же, ну, успокойся!

Сочится вода
кап
кап
кап
Сочится вода, чтоб меня успокоить.

Успокойся, ну, успокойся!
Сочится кровь
кап
кап
кап
Сочится кровь, чтоб меня успокоить.

Успокойся же, успокойся!

16

Слышен колокол – он меня успокоит.

У меня больше нет времени,
да если б оно и было,
мне ещё нужно набраться смелости,
чтобы вытереть руки
о полы одежды
или спрятать их за спину
и прохаживаться так по улицам,
притворяясь, будто о чём-то думаю.

О чём?
О чём-то! О чём-то!

Успокойся же, ну, успокойся!

17

Но времени больше нет,
Лучше уж мне открыть свою рану
скальпелем и вымазать руки
своею собственною кровью.
Может быть, так
незаметной окажется кровь другого.
Как клин вышибает другой
клин, так и кровь
можно смыть
только кровью!

Но времени больше нет, потому что
Приближается землетрясение!

18

Небо разверзается
и слышится гром.

Небо рассекается надвое
и в нём змеится молния.

Успокойся же, успокойся!

19

На этом высоком холме
Я должен отдать свою душу.
Но что есть душа?
То пурпурно-красное,
что окутало город.
Я гляжу сквозь пурпурно-красное
вниз, где клубится толпа.

Есть ещё время,
чтоб испить эту чашу желчи,
ту, что утолит мою жажду.
Высоси эту чашу
и утолишь свою жажду!

20

Протяни же мне чашу,
чтоб я увлажнил свои губы,
и освободи меня от телесных
мук. Может быть, так
я избавлюсь от жажды.

От этой жажды
и от этого зноя,
что томят мою душу,
не утоляя жажды.

21

Страшная жажда мучает город
и свет течёт,
липкий и красный.

Успокойся же, ну, успокойся!

22

И я буду спокойно
сидеть на террасе и пить свою чашу
вина. Налей, наполни мне чашу
вином! Ведь если я опьянею, быть может,
угомонятся удары сердца
и успокоится пульс.

Успокойся же, ну, успокойся!

Что это там за вино?
Это вино,
что утолит твою жажду.
Пляшите вы, девы небытия,
вокруг, посредине пламени
и утолите мне жажду!

23

Отсюда виден тот холм,
на котором он отдал душу.
Но что есть душа?
То пурпурно-красное,
что окружило город
и окутало весь этот холм.

Я гляжу сквозь пурпурно-красное
и вижу один лишь холм.

24

Склонись, о мати, над телом моим
и оплачь меня, мати,
потому что я мёртв!
Слёзы твои,
как холодные колокола,
да упасут, моё тело
от смертного зноя.

Склонись же, о мати,
над телом моим
и оплачь меня,
потому что я мёртв!

25

Надо бы приготовить ему одежды.
Какие одежды?
Пурпурно-красные.
Надо бы обмыть его тело
пурпурной водой
из пурпурной реки,
что течёт, окружая весь город.

26

Кровь течёт
и переливается через край.
Погляди же, кровь
переливается через край
погляди, о мати!
Омочи свои пальцы
в крови, что перелилась через край,
и нанеси мне на тело крест,
ведь я обречён кресту.

27

Что это за дерево?
Это красное дерево.
На этом красном дереве
я должен буду повесить свой труп.
Почему именно я?
Но кто же? Но кто же?
Тот, кто виновен!
Но кто же виновен?
Тот, кто виновен!
Склонитесь вы, ветви красного дерева,
И бейте, бичуйте мне душу!

28

Кровь кипит
и претворяется в воду.
Мати, о мати,
залей эти угли
и опусти свои пальцы в воду
и омочи мне лоб
кровью, что претворилась
в воду.

Мати, о мати!

Пламя врывается в окна
И вода
Поднимается вровень с окнами.

Мати!

В стойле мычит скотина
красным, красным!
Колокол воет
Красным, красным!
Колокол падает, падает
на мою душу!

Успокойся, о успокойся!

29

Я заливаю угли водой,
и вода превращается в кровь.

Успокойся, о успокойся!

Снисходит
ангельский мир и покой
над твоею головою.

Я омочила твой лоб
водой, которою загасила
угли, кровью, которою загасила
огонь. Я прогнала
пламя, что врывалось в окно,
усмирила воду,
что выла под окнами.

Успокойся, о успокойся!

Ангелы опускаются
над твоей головой,
чтоб тебя упокоить
в покое.
Успокойся, мой сын,
упокойся!

30

Кровь кипит
и переливается через край,
мати, о мати!

Вода течёт
кап
кап
кап
чтоб меня успокоить.

Успокойся, о успокойся!

Кровь течёт
кап
кап
кап
кровь течёт, чтоб меня успокоить.

Успокойся, о успокойся!

31

Вечер. Преобладает красное.
Пурпурно-красное.
И внутри и во вне этого зрелища
Пурпурно-красное.

Дома все красны и все окна
мерцают красным.
Фасады зданий и внутренность зданий
Так же, точно красны.

Красная, смотрит мать,
окаменев у окошка,
на красный пейзаж.
Красным бьют все фонтаны
в пурпурно-красное небо.
Красное и спокойное.

Красно, спокойно
плачет возлюбленная
на окровавленном теле любимого.
Красно, спокойно.

Красно, спокойно
бьёт колокол
над красным городом.
Красный разносится плач его.
Красный, спокойный.

Красный!

Перевод с румынского
Елены Логиновской

Пётр Кузнецов

ИЗ СБОРНИКА «ГАЛЕРЫ ВРЕМЕНИ»

МОЙ УСПЕХ

В пятнадцать лет, чтоб прыгать через планку,
Я долго мучил тело спозаранку.
Я бегал кроссы, умываясь потом,
Чтоб стало легче тело для полёта…
Но позади пред стартом суета.
Разбег. Толчок. И высота – взята!
…Так начал в юности я брать свои высоты,
Где мой успех – плод черновой работы!..

1986

ПРИЗВАНИЕ

В юности я чуть не стал актёром!
Предлагали в ГИТИС поступать…
Но тогда казалось мне позором
Химию на сцену променять!

Не угасли чувства и с годами!
Вновь на сцену тихо выхожу.
Белым мелом ровными строками
Формулы студентам я пишу…

Так соединились необычно
Труд актёра с жаждой просвещать.
Всё, что было в юности привычно,
С возрастом – боимся потерять!..

1985

ТРУДНЫЙ ПУТЬ

Дерзких возлюби учеников,
Что с тобою в чём-то не согласны!
У виска лютующую кровь
Сделай в этот миг себе подвластной…

Пусть они своею прямотой,
Вескими, свинцовыми словами
Расстреляют нимб научный твой,
Созданный печатными трудами.

И подкатит в горлу душный ком.
Вспомнишь, как упрямо, без оглядки
Шёл ты сам к вершине напролом,
Сжав под мышкой школьные тетрадки…

…Сложен воспитания процесс!
Путь в науку, как трясина, зыбок…
Но растёт там из открытий лес
Над бездонной пропастью ошибок…

1986

* * *

Мне открытка вдруг отца попалась
Средь сонетов, сложенных Шекспиром…
Как она туда тайком прокралась,
Ведь обоих нет давно уж в мире?
Вижу смысл я – роковой – в той встрече.
Видно, я не зря свой ум терзаю,
Рифмою весь долгий божий вечер
Бытие в стихи переплавляя!..

1992

* * *

Посвящаю Скорпионам

Мне – наплевать на козни Бытия!
Его я побеждал неоднократно…
Что наша жизнь – лишь детская игра
И кто писал сценарий – непонятно!..
Поэтому – терпенья наберись!
Трудом лечи все переломы жизни…
Ты на Судьбу гранитно обопрись
И душу не отдай тоске капризной!
Свершится всё, что пляскою планет
Задумано – таинственно и зорко!..
Вся наша Жизнь – не стог нелепых бед!
А Человек – не просто в нём иголка…

1992

* * *

Твой поцелуй – трава,
Которая не лечит.
Зачем нужны слова,
Пронзающие встречи…
Последним днём распят,
Из плена на постели,
Рвусь в голубой квадрат
Сквозь стёкла на панели!
Сквозь запахи в саду
Бегу босой, в надежде,
Что от тебя уйду
И от себя, как прежде…

1987

* * *

Все ушли – а мы с тобой остались,
Мне до гроба верная печаль!

И безумно, жарко целовались
Сквозь твою прозрачную вуаль…
Ты слезами мне кропила руки
И, невнятно бормоча: «прости…»,
Всё искала в омуте разлуки
Ключ от заколдованной Любви!

1992

ВОРОТА ЗЛАТЫЕ

Л.К.

Ты молись за меня почаще
В чёрном омуте жалкого дня,
Отводя от меня несчастья
И молитвы за душу творя…

Ты храни те минуты святые
В недрах тайного календаря…
Числа чёрные, знаки немые
В ожерелье вплетай Бытия!

Ты люби мои строчки литые.
Только в них не ищи себя…
В них лишь в Вечность ворота златые
Мной открыты и для тебя!..

1992

* * *

Т.К.

Образ твой из прошлого проник
Прямо в душу… В забытьи печальном
Я целую твой иконный лик,
Растворяясь в облике хрустальном…

Страшно мне вернуться в те года,
В прошлое, пронзённое кинжалом…
Крест Любви не канул в Никуда –
Вновь сверкнул под поцелуем алым!

…Но вползает в душу дрожь тоски
Стылым воем гибнущего волка,
Лижущего красные следы
У краёв смертельного осколка!

1992

* * *

О тебе я мечтаю всю ночь,
Околдованный сказкой любви!
Если хочешь, то можешь помочь:
Возвратись в мои детские сны…
Хоть принцессой, пастушкой лесной,
Приходи же, молю, поскорей!
Материнской любовью укрой
И бесшумно замри у дверей…
Я под утро, проснувшись тайком,
Убегу по дорогам Судьбы…
Но вернусь к тебе с Алым Цветком –
Ты вплети его в кудри Любви!..

1992

* * *

Я сброшу усталость свою
В печальные ритмы сонета,
Который тебе подарю
Когда-нибудь в мареве лета!..

1993

* * *

О, послевкусие любви!
Храним его устами…
Нам в кольца руки сплетены
Усталыми Богами!
И лишь ресниц немой покров
Трепещется печально…
Под ним созвездия из снов
Любовь хоронят тайно!

1993

* * *

О.Т.

Посмотри, в зеркалах я осталась!
Не ищи меня здесь, на Земле…
Пусть моя многорукая жалость
Снова будит тебя на заре…

Если хочешь со мною встречаться –
Днём укрой меня чёрным платком,
Чтобы солнцем не мог расплавляться
Образ мой в Зазеркалье живом!..

И когда ночи мёртвые звуки
Вновь прихлынут к хрусталикам глаз –
Из зеркал я вдруг выброшу руки,
За которые ты меня спас…

Ты моё инфернальное тело
Не кропи больше маревом слёз!..
Вспомни песни, что я тебе пела
Давним летом в созвездье берёз…

1993

* * *

Листаю жизнь, как книгу без названья,
Не зная, где начало, где конец…
Ужели Бытие – плод моего сознанья
Иль, может, Бога царственный венец?
А, может, Жизнь – лишь колдовство Природы,
Материей овеществлённый миг!?
И вновь в младенце обретёт Свободу
Уже на ладан дышащий старик!..

1992

РЕКВИЕМ

Я уйду когда-нибудь отсюда
В ночь коротким криком телеграмм.
Млечный путь бесформенным сосудом
Прикоснётся холодом к губам…
Но родных заплаканные лица
И друзей скорбящие сердца
Мне помогут снова возродиться
В имени рождённого мальца!
С ним я встречусь где-то во Вселенной
На орбите, у планеты Икс…
Углеродным атомом нетленным,
Вкрапленным в простой метеорит!..

1983

Павел Маркин (Ёж)[1]
УСЛЫШАТЬ ВДОХНОВЕНЬЕ ТРУДНО…

* * *

Я сплю в общаге чутким сном –
услышать вдохновенье трудно,

когда всё ходит ходуном,
как в бурю брошенное судно.

Но вот строка вступила в сон,
и я её услышал зримо...
Забилось сердце в унисон,
и спать вдруг стало нестерпимо.

Готова вещь вчерне пока.
Как много в ней ещё ошибок.
Но всё равно я гопака
спляшу на тени с перегибом.

А после днём читальный зал
центральной всей библиотеки
мне на ошибки указал...
И сон вписался в картотеки.

Ах, боже мой, там столько слов
закрыто в книжных переплётах,
что я как ученик основ
всерьёз подумал о полётах.

И вот теперь я сам себя
заснуть напрасно принуждаю,
и от мечтаний отгребя,
я сон грядущий осуждаю.

26.08.92

* * *

Экзамен сдан и выпускной у вас.
Готовитесь отметить на поляне...
Купил и я шампанское и квас,
списал кассету с группою «Земляне».

Поправив прядь волос, ты у берёз,
не замечаешь, что гляжу так хмуро.

Наверно, под гипнозом смелых грёз
забыла разом то, что было, дура...

Мне шепчет друг: «Рискуй», – не отвечал,
уж зная – силы тратятся впустую.
И я сбегу на старенький причал,
где боль души, наверно, отшвартую.

А по заливу шторм, и у схорон
я вдруг догадкой страшной поражаем:
весь праздник этот – вроде похорон,
в последний путь мы юность провожаем.

26.03. 89

* * *

Я не беру рекомендации,
ведь Ховрино не центр Москвы,
и не коснулся деградации,
которой так боялись Вы.

Мила мне улица Ангарская,
блатная хата – мой приют...
И песня здесь звучит дикарская,
хотя здесь песен не поют.

Ну не случилось быть мне признанным
на поэтических кругах,
зато блатная хмарь по вызнанным
моих следах на берегах

давно мой дар смешками подняла,
и, откупного дав стакан,
пошлёт меня опять на родину
на тройке резвых таракан.

Ну так и быть: Сибирь далёкая,
крутая речка Ангара...

И тараканы, чем-то ёкая,
меня доставят на «ура».

И там тоска, тоска глубокая
опять затянет в омут свой...
Такая жизнь всё однобокая
мотает пьяной головой.

И в самом деле – надо вырваться,
случайно выронить стакан...
Да что сказать, тут как не рыпайся –
сыскался в тройку великан.

И кто мне даст рекомендации,
когда я сам их не беру...
Элементарной деградации
я декларации деру.

26.04.2000

* * *

Я был прописан в городах,
в селе, на станциях, – но лишь
тюрьмы прописка навсегда,
оттоль не выпишешь – шалишь!

Я честен сам перед собой,
а судьи – что ж? Они
моей закованной судьбой
глумились подло в эти дни,

когда я слушал приговор
от имени других людей...
Я точно знал, что я не вор,
что наплевать мне на судей.

И фразу с библии твердил:
– Да не суди, не будешь сам...

В том утешенье находил,
противясь жёстким словесам.

Татьянин день... В Татьянин день
студенты будут пить вино,
а ты фуфаечку надень,
ступай на горьковское дно.

25.01.2002

АНГАРСКИЙ ОМУТ

«Корова»[2] переходит в «Ангару»[3],
большой глубокий «омут» вброд.
Я никогда с похмелья не помру,
пока бредёт сюда народ.

Палатки круглосуточно дают
всем жаждущим испить огня,
но «шило» только ночью продают
из самопала отгоня.

Так сладко падать в собственных глазах
и отсыпаться под кустом.
Попытки вырваться – учёт в разах,
всё чаще клинит на пустом.

Да, пусто там, где храм стоял души,
когда же рухнул дивный храм?
Да разве мне расскажут алкаши,
которые глядят на шрам.

Я столько раз впрягался за других,
и много раз награды брал...
Гулял фартово в клубах дорогих,
красивых женщин ночью драл.

Но утром мне укажут на порог,
и я бездомно доберусь –
путём шоссе держа коровий рог,
а лбом с деревьями дерусь.

И так случилось: вовремя пришёл,
юнцы позорят старика...
Старик счастливый, честный хлеб нашёл,
ползёт – слупив пятерика.

Я всех юнцов в кровине утопил,
чтоб знали впредь: смеяться – грех.
Остатки фарта весело пропил,
а на закуску был орех.

27.04.2000

* * *

Цапля уснёт на одной ноге,
другая нога отдыхает...
Вот и в Сизо на «вшивой карге»
узник в полметре сдыхает.

Он оговор не стал возводить,
месяц все ждут: вот мол, станет...
Тень на плетень легко наводить –
цапля – та тоже устанет,

но человек пересилит муть,
выплыв на чистую воду...
Как уж законом не баламуть, –
надо хотеть на свободу.

15.07.04

* * *

Слово за слово, – и поспорил,
что войду к санитарам в морг.
Сам себя я тут объегорил
и уже не пуститься в торг.

Этот мрачный объект округа
обходила за три версты,
но в него всех сошедших с круга
все везут и везут кресты.

Страхи разные ведь бывают.
Санитаров звучат басы.
Захожу, а они срывают
кожуру, нет, у колбасы.

«Заходи, – говорят, – покушай.
Что ты съёжился, будто жмых?..
Да не бойся ты мёртвых, слушай,
бойся лучше, родной, живых!»

19.04. 92

* * *

Несчастные люди – смотреть сквозь решётку,
запутан и сломан весь жизненный путь их...
И дарит монета «орла» или «решку»
мечты об амнистии: «может быть, Путин»...

Мне так хорошо вспоминается лето,
когда наш «Столыпин» несётся в морозы...
Я был бы убит занесённым стилетом,
когда бы не выхватил нож под угрозы...

А дальше всё быстро мелькает галопом:
защита такая включает реактор

почти, как «Чернобыльский» – стой остолопом –
судьба по тебе направляет свой трактор.

И я испугался, бежал и скрывался,
в рыбацких избушках и дачах таился,
и часто на смерть всей душой нарывался –
зафлаженный волк, – сам признаться явился.

И месяцев семь получил, но январских,
лишь только за то, что бежал правосудья...
На нарах нарвался на наглость аварских
и чуть не добавил пожизненно к «груздям»,

что в кузов по-доброму мне нарезали...
Пишите, поэт, но вот имя не надо.
Известность – поэтам, а мне бы сказали,
что я «заболел золотым звездопадом».

Земляк, дорогой мой, я тоже из Канска
и тоже люблю этот город холодный...
А вот корифан, познакомься, с Асанска...
Да ты угощайся! Ты, может, голодный?

Высоцкий сказал, мол, что зря получилось...
Высоцкий – актёр – он лишь роли играет...
И светом надежды лицо залучилось,
что где-то и что-то он сам выбирает.

Пускай он от голода сдохнет свободным,
но он завязал понапрасну швыряться
по белому свету, углам небосводным,
минутам, кои уж не повторятся.

1.03.2001 г.

* * *

Меня родня считает дураком,
и это правда! Я и сам считаю,

что слишком глуп мой стихотворный ком,
который я который год катаю.
Себя я ненавижу! Дело в том,
что слеповат, картав и заикатый, –
а все воспоминания гуртом
в душе самоубийственны в закаты.
Ночами мне, уже в грядущий век,
является Есениным открытый,
Такой же чёрный жуткий человек,
а белый человек – пока что скрытый.
Никто его в натуре не открыл,
но он же есть на нашем белом свете,
как день и ночь, как лик мелькнёт средь рыл,
но не присутствует он на совете.
И я его ищу в своей душе,
как в зеркале, назло глухим потёмкам...
И шум вселенский – этот гад ушей
сильнее в слове, образном и ёмком, –
что всё напрасно, что я избран зря,
что никому не нужен в век наш гласный...
Скорей бы ночь прошла! А там заря
напомнит то, с чем я давно согласный:
Вначале было слово. Слово – Бог,
но это Слово кем-то говорилось...
Не может говорящий быть убог!
И вся душа, чтоб слышать, отворилась.

7.12. 2000

* * *

Мамочка милая, в небе бездонном
катится огненный шар...
Я здесь живу тем жестоким законом,
что создают для клошар.
Всё невесомо и нету опоры,
некуда больше идти...

Снова насущными сделались споры,
те же, о лучшем пути.
Судьбы поэтов бескормицей схожи.
Выбора, в общем-то, нет:
чтобы творить – надо вылезть из кожи
и отползти от монет.
Мамочка милая, в этой клошаре
нету и не было дна...
Лучики блещут на огненном шаре –
ты не скучай там одна.
Всё я смогу, только в миг тарарама, –
Вот бы ещё и стихи
были б без этого жуткого шрама
и деликатно тихи.
Я бы тогда помолился иконам,
свечку поставил за шар...
Да и не жил по жестоким законам
в логове душных клошар.

11.08.92

* * *

Когда на Арбате читаю стихи,
толпу собираю большую,
под томные вздохи, под чьи-то «хи-хи» –
огнём натуральным бушую.

Никто их не тянет на жуткий огонь,
здесь сам всяк в огонь попадает...
И скачут Пегасы, один только конь
на обе ноги припадает.

Не виден для всех он, но конь этот мой –
нелепый такой, несуразный...
И как он меня вновь потащит домой
от мира? А мир этот праздный.

А дом? Вся общага притихла в ночи,
на вахте опять не пускают...
И в окна соседям кричи не кричи,
верёвку они не спускают.

Опять по Черте[4] колдыбаем вдвоём,
два трезвых, смертельно усталых...
И что-то о женщинах хрипло поём,
в снегах утопая подталых.

Скорей бы метро повезло на завод,
ещё мне в литейке работать,
конвейера пильно-зубчатый развод
велит все откинуть заботы.

Ёк, смена! Теперь мне пора на Арбат,
Пегасы уже застоялись...
Меняю гул цеха на улиц набат, –
в литейке прилично размялись.

Плевать, что мои только строки плохи,
чужими стихами бушую!
Мой конь колченогий, мои все стихи
толпу не удержат большую.

18.04.2000 г.

* * *

Представь и ты, что на экране
нам крутят фильмы на двоих,
в которых мы стоим на кране,
я глажу Унжу[5] кос твоих.

Вон наш посёлок – подбородок,
та крыша двух общаг – глаза,
и брови из перегородок,
а эта крыша, как слеза...

Поверь, я сам могу часами
то в прошлом, то в грядущем быть...
Мы намечтаем его сами!
А прошлое – нельзя забыть.

Оно уходит незаметно,
как плёнка плавится в кино...
Пусть серий всех по дням несметно,
нам пересняться не дано.

27.09.91

* * *

Тогда, в семидесятых, «внук казачий»,
Чтоб оскорбить меня – кричали вслед,
Мол, да ещё там зэк какой-то зачал,
Такой вот бледно-бледный-выбляд-блед…
И дед просил, винясь, что как-то спьяну
Он разболтался, – ну, да шуткой, мол,
Воспринимай… И бил по фортепьяну,
Цедя: «Навесили мальцу клеймо…»
Вы не подумайте… По инструменту –
Игрушечному (память об отце),
Но отзывался тот под стать моменту
Блудливым эхом в дедовом лице.
Я рад за Вас теперь, Владимир Гусев,
Но что такое «генерал-майор»[6]?
Я почему-то шуткой берегуся
На нынешний какой-то пьяный ор,
Что наш народ сплошные все каз*а*ки,
Что не разбойники, а казак*и*,
Но вспоминаю детства автозаки, –
Откель тоскливо выли музаки.

07.11.2007 г.
(17-30 – 18-11, время московское)

* * *

Гудит в печной трубе седая вьюга,
а на плите ей вторит шпрот «Севрюга»,
на этикетке – Кандалакшенский завод.
Я эту банку покупал в столице –
отдал свои последние рублицы,
чтоб только вспомнить резкий вкус солёных вод.
Восьмидесятый год. Олимпиада.
Мы вырвались из мурманского ада,
где не было житья от коммунальных свар,
а тут жильё на станции красивой,
и мама вновь с улыбкою счастливой
мне наливает от ухи густой навар.
И я, пацан, уху преважно кушал,
магнитофон с Высоцким грустно слушал,
смотря на лик Высоцкого, судьбы изгиб...
Поев, махну с тоскою через балку
на суточную, может быть, рыбалку...
Родной отец ушёл, а названный погиб...
Вся жизнь моя проходит перед взором.
Мои стихи казались мне позором,
и я их прятал много, очень много лет...
Гудит в печной трубе седая вьюга,
ей пусто вторит бывший шпрот «Севрюга»
в моём желудке...
И ничего не вечно под луною...
Зачем о детстве я напрасно ною,
когда вернулся в дедов дом, как блудный внук...
На кладбище они, и дом холодный,
и я, былою памятью голодный,
делю и умножаю прошлую вину.
Один, в огромном доме, сел у печки,
смотрю, как полыхают все словечки,
и снова не ответить мне – зачем писал?
А где-то сыновья, уже большие,
меня уж не считать отцом решили,

и это будет правильно, ведь я бросал...
А для чего? За стихотворной строчкой?
Так это блажь духовной заморочки...
И я сойду с ума – будильника завод
окончен, будто время тоже встало,
а за окном всё снегом заметало –
такой искрящий белый нежный хоровод.

17.12.2000 г.

* * *

Был в жизни миг, когда и я влюбился.
До этого я только пригублял...
Я даже поначалу не врубился,
какую диву взглядом оскорблял.
Не смел дышать, от моего дыханья
несло полынью самосадный смрад,
а бабочка, уставши от порханья,
присела рядом... Несказанно рад,
заговорил зачем-то про пустое,
а мне бы сразу шурудить сачком...
Иль гусеницей время холостое
занять на вырост, и, крутясь волчком,
вино любви держать в такой посуде,
что испариться долго не могло...
С самим собой на страшном пересуде
отчаянье, как тень, на лоб легло.
Зачем ей пить прокисшее вино,
когда нектара рядом завались...
А электричка шла, и я в окно
смотрел, как мимо бабочки неслись.

25.11. 2000

* * *

Я приеду к тебе из последней
круговерти, срывая шаги,

только свет в захламлённой передней
понапрасну ночами не жги.

Знаю, как завывают завойны.[7]
Мы и стали чужие с тобой
в час, когда все гражданские войны
свой приход возвестили трубой.

Я тогда говорил о грустящем,
с грустью видел другие миры
в миг, когда на Ледовом хрустящем
отразились багрово костры.

Ну и пусть все, покамест, бастуют,
и не ходят в твой край поезда,
и прилавки тоскливо пустуют, –
это,
        милая,
                не навсегда!

Вот и я о любви, – в кой накалы!
Но припомню широкий залив,
где злосчастно подводные скалы
будто ссоры сереют в отлив.

Зная то, мы семейную лодку
перестроим с тобою вдвоём...
Я уже заприметил колодку,
что осилит любой водоём.

Я приеду, а мне бы с вокзала
в серебре заполярных ночей
чтоб сияние путь указало
до твоих светозарных очей.

21.11.91

Зоя Соснина
Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ МИР...

ЛАНДЫШИ

Подари мне ландыши, мой друг.
Крохотный букетик белоснежный.
И невзгоды я забуду вдруг,
Наслаждаясь ароматом нежным.
Ландыши возьму в ладони я,
Ряд жемчужин в изумрудной связке.
Шапочек узорные края
Ждут своих дюймовочек из сказки.
Подари мне ландыши, мой друг.
Хрупкие, как будто бы из снега.
Разольётся с запахом вокруг
Дней счастливых памятная нега.

Июль 1997 г.

ТРИ МУЗЫ

Возьму я альбом,
Акварельные кисти.
Но как нарисую
Сомненья и мысли?
И как написать
Небосвод этот синий?
Как сыплется с веток
Блёстками иней?
Вместить в полотно
Тихий рыбины всплеск,
На окнах рассветных –
Сиянье и блеск?
И как передать
Певчих птиц перекличку?

Мазком удержать ли
В полёте синичку?
А как рисовать
Ароматы соцветий,
Как втиснуть в мгновенья
Событья столетий?
Как кистью поведать
Восторженность чувств,
Сияние взгляда
И трепетность уст?
Бессильная кисть
Опустилась устало.
Сегодня перу
Вдохновенье настало.
А если и слово
Не сможет родиться,
В душе моей музыка
Будет царицей.

Март, 1996 г.

КЕДР

Стоит один на косогоре,
Черпая силу стылых недр,
Как Истина в неравном споре,
Как крепкий чёлн в бурлящем море,
Как миг восторга или горя,
Как однолюб – могучий кедр.
Растёт он ввысь, листая годы,
Ровесник века – в новый век.
Сплетая ветви с небосводом,
Как изваяние Свободы,
Встречая грудью непогоду,
Даруя тучам свой ночлег.
В ночи как страж, один во мраке,
Во весь свой богатырский рост.

Как Правда, прям, могуч и прост,
Касается вершиной звёзд,
Неугасимый жизни факел.

30 марта 1998 г.

РОДНАЯ СТОРОНА

Где в ясный синий день
Берёзовая роща
Сиреневую тень
Меж снежных звёзд
Полощет,
Скольжу я по лыжне.
А по холмистым склонам
Спешат навстречу мне
Берёзы, ели, клёны.
А на корявый пень,
Что шапку Мономаха
Напялил набекрень,
Уселась важно птаха.
На птице – чёрный фрак,
Крахмальная сорочка.
Спускается в овраг
От лыж двойная строчка.
Мне любо: на лыжне
Сегодня не одна я.
И душу лечит мне
Сторонушка родная.

4 февраля 1998 г.

Я ЛЮБЛЮ ЭТОТ МИР

Я люблю этот мир за восходы,
За рисунки на мёрзлом окне,
За полей изумрудные всходы,

За дожди, что подарены мне.
Отодвину оконную штору,
Занавешу вуалью из звёзд,
Из листвы, из невидимых взору
Меж ветвей прилепившихся гнёзд.
А вдали за темнеющей елью
Мне на шёлковой раме небес
Как художником, нежной пастелью
Обозначится дымчатый лес.
Я люблю горький привкус калины
И упрямую нежность ростков,
И дурманящий запах полыни,
И хрустальную стынь родников.
Жизнь люблю я за детскую шалость,
И за вечное слово «ЛЮБЛЮ».
Я хочу, чтоб свободно дышалось.
Пульс прекрасных мгновений ловлю.

Декабрь 1996 г.

Софья Петрова
Я ШЛА, НА ЛУНУ РОВНЯЯСЬ…

* * *

Мне улыбнулась роза,
В молочном тумане утра.
Ноги мокры от росы.

* * *

Ветви берёзы в серёжках,
Нежен и бел её стан.
Радость и тоска в груди.

* * *

Пчёлы летят устало,
В улей, с пыльцой на лапках.
Жизнь их проходит в цветах.

* * *

Рассвет несмелый забрезжил.
Прорезав унылое небо.
Закончилась ночи власть.

* * *

Я шла, на Луну ровняясь.
Но куда идти теперь?
Солнце над лесом.

* * *

Изумрудная капля дождя
Повисла на ветке.
В ней моё отражение.

* * *

Одинокий лист на дереве
Борется с ветром
Цепляясь за ветку.

* * *

Свой взор обратив назад,
Смотрю
И лишь хорошее вижу.

* * *

Если бы не было слив
Мне бы их так
Не хотелось…

* * *

Ты улетел за тридевять земель,
Лесной соловей.
Вернешься ли весной?

* * *

Листья опали,
Ветки в снегу.
Снегири, как красные ягоды.

* * *

«Давай собирайся домой!» –
Кричат перелётные птицы.
Я дома…

* * *

О, гордый мой кот!
Умеешь ты просить еду
Без униженья…

* * *

Пахнет смолой и хвоёй.
Ты пошёл под топор –
Никем не воспетый лес.

* * *

Капли дождя спать мешают.
Зачем ты льёшь осенний дождь?
Земля залита водой…

* * *

Ветер листья сорвал,
С ивы плакучей,
В путь по реке отправив.

* * *

Где ты заканчиваешься, дорога,
По которой я начинаю идти?
Горизонт в тумане.

* * *

Спрятал ухабы снег,
Скрыл дорогу разбитую.
Всё приукрасил вокруг.

Рецензии

Я не читаю рецензий на свои книги – я измеряю их длину.

Джозеф Конрад

Светлана Ананьева[1]

НОВАЯ КНИГА О ДОСТОЕВСКОМ

Достоевский был художником-лириком, который в особенности пишет о себе, для себя и от себя. Все его повести и романы – одна огненная река его собственных переживаний. Это сплошь признание сокровенного своей души. Это *первый* и основной момент в его творчестве. *Второй* – постоянное стремление *заразить*, убедить, потрясти читателя и исповедать перед ним свою веру.

А.В. Луначарский

Валентина Ивановна Габдуллина в своей новой монографии «”Блудные дети, двести лет не бывшие дома”: Евангельская притча в авторском дискурсе Ф.М. Достоевского» обратилась к актуальной проблеме современной литературоведческой науки – исследованию духовного содержания творческого наследия Ф.М. Достоевского с точки зрения форм воплощения авторского сознания. В литературоведении рубежа XX-XXI веков усилился интерес к духовному содержанию русской литературы, а интерес Достоевского к евангельской тематике неоднократно становился предметом исследования российских учёных, хотя ещё Н. Бердяев утверждал, что «искусство Достоевского всё – о глубочайшей духовной действительности». Идеал братской любви и человеческого единения – самая сильная сторона Достоевского (Р. Лаут). Более того, литературоведение рубежа XX-XXI веков выдвинуло идею об общем философском или мифологическом сюжете, в который выстраиваются все произведения Достоевского. В «организации авторской повествовательной стратегии в произведениях Достоевского, в первую очередь, – считает В.И. Габдуллина, – сказалось влияние притчи», что «связано, прежде всего, с пониманием Достоевским современного “развитого человека” как “блудного сына” – “скитальца в родной земле”, изображение духовной драмы которого вызвало интерес писателя к притчевому слову».

На особую связь истории жизни Достоевского и его творчества с евангельской притчей о блудном сыне впервые было обращено внимание ещё в конце XIX века. Поминовение в девятый день по кончине писателя состоялось в отмечаемую Церковью Неделю блудного сына. Достоевский в своих произведениях изображал прежде всего «судьбу русского скитальца и отщепенца» (Н. Бердяев). Поэтому повторяющиеся у Достоевского в повестях и романах ситуации и коллизии, восходящие к притче о блудном сыне, позволяют В.И. Габдуллиной рассматривать *мотив блудного сына* как сквозной в творчестве писателя. Автор монографии приводит цитаты из писем писателя об идеях будущего «Игрока» и «Идиота», которые позволяют ей проследить связь между первоначальным замыслом и его воплощением. Из письма С.А. Ивановой о замысле «Идиота»: «Главная мысль романа – изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете… На свете есть одно только положительное лицо – Христос…»

К притчевому состоянию мира тяготеет и картина мира, созданная Достоевским, с «её дуальной природой, характеризующейся постоянным противоборством сил добра и зла, Бога и дьявола, в центре которого оказывается человек определяющийся, искушаемый, находящийся в состоянии нравственного выбора».

Во второй главе рецензируемой монографии «Притча о блудном сыне: биографический и евангельский коды авторского дискурса Достоевского» В.И. Габдуллина обращает внимание на один из эпизодов творческого освоения Достоевским пушкинского опыта. Так, при сравнении исследователем из Барнаула некоторых фактов биографии Пушкина периода его Михайловской ссылки и «Семипалатинского эпизода» жизни Достоевского возникают любопытные биографические параллели, которые представляются неслучайными. Среди биографов Пушкина, обобщает В.И. Габдуллина, была популярна версия, согласно которой поэт избежал участи своих друзей-декабристов благодаря милости царя, заточившего его в Михайловском и избавившего от гораздо более тяжёлого наказания, сохранив тем самым его талант для России. Достоевским же самим

«создавался миф об особом снисходительном отношении к нему монарха в духе взаимоотношений Пушкина с царём, как они были представлены в анненковской биографии поэта».

Петербург Достоевского. Многие исследователи обращались к этой благодатной теме. Валентина Ивановна анализирует появление мотива блудного сына в изображении Петербурга, который нарисован как реально детализированное и в то же время мифологическое пространство, и как персонаж, наделённый ярко выраженным личностным началом. Петербург – и центр цивилизации, соединяющий Россию и Европу, и в то же время именно обстановка Петербургской жизни способствует появлению «мечтательности» у героев произведений Достоевского. Осенний Петербург в первом романе Достоевского противопоставлен деревенской жизни. Причём оппозицию Петербурга деревне и России Достоевский мог заметить ещё в «Евгении Онегине» А.С. Пушкина. Персонифицированный же образ Петербурга может быть, как считает В.И. Габдуллина, «помещён в один ряд с персонажами его художественных произведений этого периода (Голядкиным, Ефимовым и др.), стремящимися выйти за рамки, очерченные принятыми в обществе нормами морали и социальными отношениями, бунт которых принимает различные, порой уродливые формы».

Трагедию русской интеллигенции, порвавшей со своим Домом, Достоевский осмысливает в связи с трактовкой героя времени в произведениях писателей XIX века и даёт этому типу героя название *«русский бездомный скиталец»*. В этической системе Достоевского «бездомность» обозначает оторванность от народных корней. Главное – духовное скитальничество. Размышления о России и Европе в притчевой парадигме авторского дискурса приводят автора монографии к выводу о том, что в романах «Униженные и оскорблённые», «Игрок», «Бесы», «Подросток» Европа становится местом нравственного разврата и духовного опустошения. Американские мотивы среди мотивного комплекса «заграница» занимают в сюжетной организации романов русского писателя особое место. Америка становится местом крайнего отчуждения русского человека от «живой жизни», выступая в качестве эвфемизма понятию

«самоубийство». На страницах романа «Преступление и наказание» ситуация отъезда Свидригайлова в Америку интерпретируется как сознательный шаг в небытие. Америка для героев Достоевского всегда связана с жестом отчаяния и отречения от России.

Именно Достоевский в своих произведениях воплощает коллизию возрождения героя Сибирью, недописанную Гоголем. Сибирь у него – место покаяния и духовного возрождения через страдание. В.И. Габдуллина, корректно относящаяся к высказываниям и точкам зрения на ту или иную проблему, освещаемую её предшественниками – литературоведами и критиками, всё же не согласна с Ю. Лотманом по поводу его высказывания о том, что сюжет воскресения в «Записках из Мёртвого дома» отсутствует. В контексте высказываний Достоевского о Сибири понятие Америка приобретает в поздней публицистике писателя «духовную семантику возрождения посредством труда. Называя Сибирь “нашей Америкой”, Достоевский ассоциирует её с почвой, труд на которой может способствовать исцелению “русского бездомного скитальца” и возрождению России».

Таким образом, «в контексте притчевой стратегии авторского дискурса каждая из частей оппозиции Россия / Европа воплощает противоположные полюсы этического выбора. Россия ассоциируется с Домом, Европа – с чужбиной. В соответствии с евангельским императивом, с Россией (Домом) связываются надежды на духовное воскресение *русского бездомного скитальца*, в то время как Европа (чужбина) – место его духовной гибели».

В третьей главе «Романы Достоевского: притчевая стратегия авторского дискурса» проанализированы романы «Униженные и оскорблённые» (мотив «блудной дочери» в котором становится лейтмотивом), «Записки из подполья» (в которых пространственно-временная категория дороги переносится автором в мировоззренческий план, приобретая метафизическое значение; а траектория духовного движения героя приобретает циклические очертания: вначале уход от мира в свою скорлупу, в угол, в обособление, – в конце записок намечен выход

из обособления, возвращение к «*живой жизни*»). В романах «пятикнижия» жизненная траектория героя, ориентированная на притчу о блудном сыне, как примета притчевой стратегии авторского дискурса, с особенной наглядностью проявится в духовном пути Раскольникова и, в разной степени, в исканиях других героев Достоевского (Ипполита Терентьева, Версилова, Аркадия Долгорукова, Алёши, Дмитрия и Ивана Карамазовых). Герой романа «Игрок» проходит через искушения *женщиной, деньгами, азартной игрой*.

Вот как интересно дано восприятие дома у Достоевского: «Дом в произведениях Достоевского разрушается и распадается на пороги, углы, лестницы, а внутреннее пространство дома – комнаты превращаются в сцену, где разыгрываются скандалы и катастрофы». Это великолепно проиллюстрировано в спектакле «Бесы», идущем на сцене московского «Современника». Да и у самого писателя жизнь превращалась в скитания по квартирам. Поэтому бездомность в мире Достоевского – категория не только пространственная, но и нравственная. Она, приходит к верному замечанию Валентина Ивановна, «делает его героев психологически уязвимыми, духовно ущербными».

Игра – вторая жизнь человека, отграниченная от обыденной его жизни. Герой Достоевского погружается в реальность игры со случаем. Речь идёт далее о концентрическом пространстве игорного дома, напоминающем водоворот в течении реки; о символике красного и чёрного цветов и т.д. «Игрок», подчёркнуто в данном исследовании, – единственный роман Достоевского, действие которого разворачивается за границей. И лишь роман «Преступление и наказание» – единственное произведение Достоевского, в нарративе которого представлены все фазы архетипического сюжета блудного сына в его метафизическом срезе (от его отпадения от Дома Отца до духовного воскресения – возвращения к Богу в эпилоге) как результат притчевой стратегии авторского дискурса. Земные искушения героев романа «Идиот»: искушения деньгами, искушение женщиной, причём ситуация искушения высвечивает в каждом из героев их приверженность к «*идеалу Мадонны*» или «*идеалу*

содомскому», что в конечном счёте связано с самоопределением человека относительно признания или отрицания идеи Бога.

Мотив договора с дьяволом и его инвариант – мотив продажи души дьяволу обнаруживается в «Преступлении и наказании», «Идиоте», «Братьях Карамазовых», «Бесах», «Подростке».

Композиционно продумана и завершена четвёртая глава рецензируемой монографии барнаульского исследователя «"Автокомментарии" и "самоисследование": авторский дискурс в "Дневнике писателя"», в которой автор от авторской концепции личности писателя переходит к его диалогу с Л.Н. Толстым и проблеме ответственности художника, анализирует героя как выразителя идей автора (Левин и Толстой, Потугин и Тургенев, Достоевский и Зосима), раскрывает авторский дискурс в статьях о Жорж Санд и личность Некрасова в трактовке Достоевского. Завершается последняя глава анализом авторского дискурса в Речи Достоевского о Пушкине и интересным выводом о том, что в своём «разгадывании» «тайны Пушкина» Достоевский зашифровал формулу собственного творческого развития: «Не случайно Достоевский не опубликовал свою пушкинскую речь отдельной брошюрой и не ограничился её публикацией в "Московских ведомостях", а выпустил специальный "Пушкинский" номер "Дневника писателя", единственный в 1880 году, состоящий только из речи о Пушкине и предисловия и послесловия к ней, завершив таким образом интегрирование всех проблем своего единоличного издания вокруг идеи, лежащей в основе "Дневника писателя", – идеи писателя-пророка».

Это лишь первые впечатления от новой книги В.И. Габдуллиной, известного исследователя творчества Ф.М. Достоевского. Монографии «"Блудные дети, двести лет не бывшие дома": Евангельская притча в авторском дискурсе Ф.М. Достоевского» суждена долгая жизнь. Знакомство с ней будет полезно как широкому кругу читателей, так и научным работникам, студенческой молодёжи, всем, кому дорог великий русский писатель и кого интересует история русской литературы.

Ирина Маркова

О НАРОДНЫХ МИФАХ И СИМВОЛАХ ВРЕМЕНИ

(отклик на роман С. Василенко «Дурочка)

Казалось бы, творчество А. Солженицына и А. Рыбакова помогли русскому народу «отболеть» душой за все былые бесчинства сложной нашей истории, однако вновь и вновь возвращается душа русского человека к неизбывной своей боли.

И Светлана Василенко опять бередит память своим романом-житием «Дурочка», выбрав для сюжета смутные тридцатые годы и, проследив судьбу своей главной героини, заглядывает в последующие десятилетия.

А потому этот роман отозвался в сознании читателей как хлёсткая пощёчина за стыдные эпизоды, пережитые страной.

Шашки гражданской войны, равно и НЭП, НКВД, Великая Отечественная война и даже перестройка безжалостно полоснули судьбы многих людей России. «Всё смешалось в доме Облонских» – звучит как опереточная пародия на великое смятение, вздыбившее Россию…

Роман С. Василенко особо ценен оттого, что касается нарочито какого-то одного исторического периода и выразительными символами подчёркивает исторические факты. Например, описывая памятник Ленину, стоящий по колени среди тюльпанов, автор создаёт незабываемый образ – вождь по колени в крови, о чём кто только теперь не наслышан, и потому нет нужды описывать его, живого. Хватит и памятника среди алых цветов.

Чтобы помнили.

Чтобы не повторяли ошибок.

Персонажи в романе прорисованы так чётко, они так типичны, что превращаются в символы времени; Тракторина Петровна, которая правит жутким детским домом с изощрённым садизмом – тому свидетельство.

«Дурочка» – роман-фантасмагория. В нём сживаются и вра-

стают друг в друга народные мифы и реальности, напоминающие злой кошмар. Например, обыгрывается образ русалки – как известно, на Руси считалось, что в русалок превращаются девушки, утонувшие перед назначенной нежеланной свадьбой. С помощью мифов создаётся некий противовес народного начала привнесённой чуждой народу советской реальности.

Особо подчёркнут в романе общечеловеческий, нравственный контекст, причём опять же через яркие, впечатляющие образы: «младенец, плывущий в малиновой колыбели на плоту по течению реки», «сторож, который рубит дерево, на коем сидит ребёнок», «три плачущие девочки – Вера, Надежда, Любовь», «солнце, переливающееся в серебряных рыбках, от которого в глазах щекотно», страшная история, оканчивающаяся словами «отдай моё сердце, девочка». И множество других…

Множество в романе библейских и евангельских сюжетов-противопоставлений ужасающей реальности.

«Блаженны нищие духом» – читаем в «Святом Писании», но ведь главная героиня романа Ганна, в своём отсталом развитии, и есть именно «скудная разумом», а потому и «блаженная духом», в одиночку противостоящая прочим отрицательным персонажам.

Интересен метод, избранный автором: нравственно-мифологическая тема – как бы главный стержень повествования, пронзающий отрицанием всё, что происходит в той далёкой советской действительности.

Роман наводит на размышления.

Задумываюсь: когда и «кому на Руси жилось хорошо». В любой стране, при любом режиме и власти есть дурные стороны, вызывающие отрицание. Думается, в России процесс недовольства всегда справедлив и притом бесконечен. И суть романа в том, что только чистый и светлый человек способен изменить окружающий мир, лечить его, как Ганна лечит всех страждущих и порочных, с которыми сталкивает её жизнь. И всё же «блаженная» Ганна уйдёт, а мир останется больным, каким был и будет.

Роман «Дурочка» – полная противоположность литературе о «кремлёвских жёнах» и прочем гламуре.

Творчество С. Василенко ещё раз подсказывает, как страшно знать, что Россия продолжает жить, лелея свои наивные мечтания.

Август 2008г.

Константин Кешин
ЯВЛЕНИЕ ДОСТОЙНОЕ И ГОРДОЕ[1]

Вышла в свет коллективная монография «Литературно-художественный диалог». Это совместная работа Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова Комитета науки Министерства образования и науки РК и Института мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук.

В последние годы прежняя замкнутость науки о литературе, её многолетнее стремление рассматривать всё по отдельности постепенно перешли в иное качество: всё больше открытости, всё больше интенсивного обмена разнообразными, тщательно продуманными мнениями. Об огромном научно-исследовательском внимании к комплексу духовно-интеллектуальных проблем свидетельствуют международные конференции «Россия – Запад: диалог культур» (МГУ имени М.В. Ломоносова), «Восток – Запад: диалог культур» (Казахстанский национальный университет имени Аль-Фараби), недавно пришедшие к читателю сборники «Диалог культур» (Барнаул), «Литературная классика в диалоге культур» (Москва) и так далее.

Институт литературы и искусства имени Ауэзова находится на переднем крае аналитической работы в данном направлении. И здесь именно в последние годы укрепилось замечательное сотрудничество с Институтом мировой литературы имени Горького. В серии «Эпос народов Евразии» вышел солидный том, посвящённый лучшим образцам казахского романического эпоса «Козы-Корпеш и Баян-сулу. Кыз-Жибек» (Москва, 2003). Серьёзный интерес научной общественности многих стран вызвали совместные международные конференции «Духовное наследие

и современная культура: текстология, освоение, изучение» и «Пушкин – Абай и казахская литература», состоявшиеся в Алматы.

И вот теперь – только что сошедшая с типографического станка книга «Литературно-художественный диалог» (Алматы, 2008), где ведущей темой стали проблемы современной литературы и литературные течения Казахстана и России. Авторы, как сказано в аннотации, стремятся оценить перспективное и прогрессивное в казахско-европейских и казахско-русских литературных отношениях. Современный литературный процесс Казахстана и России рассматривается в монографии как часть мирового литературного процесса в контексте диалога культур.

Книгу предваряет обстоятельное предисловие директора Института литературы и искусства академика Сеита Каскабасова, особо отметившего евразийскую ментальность, присущую двум ведущим этносам страны – казахам и русским: широту души и открытость, доверчивость и неизменную конфессиональную и этническую толерантность. Сеит Аскарович разбирает проблемы дальнейшего обогащения многообразной палитры российско-казахстанских культурных связей.

Сразу скажу, что все статьи сборника «Литературно-художественный диалог» являют собою увлекательное чтение, нередко заставляющее по-новому отнестись к тому, что казалось незыблемым долгие годы. К примеру, я с удовольствием дважды перечитал статью «Пушкин и эпистолярный роман Абая» доктора филологических наук, заведующего отделом мировой литературы и международных связей Института литературы и искусства Шериаздана Елеукенова. Казахстанский учёный представил, на мой взгляд, неопровержимые доказательства того, что Абай не перевёл фрагменты пушкинского романа, а создал свободную версию любви Татьяны и Онегина, самостоятельное произведение. И этот духовный и творческий подвиг Абая более всего помог становлению современного казахского романа.

Эссе Герольда Бельгера, посвящённое гетевской «Ночной песне странника» и его переложениям, исполненным Лермонтовым и Абаем, давно стали хрестоматийными благодаря тончайшему лингвистическому и смысловому разбору. Новая работа Герольда

Карловича «Отзвуки» «присоединяет» к «Ночной песне странника» стихотворение «Счастливый ребёнок», к Иоганну Гете – Фридриха Шиллера. Автор «Отзвуков» пишет: «Абай, горячий поклонник Лермонтова, почувствовал поэтическую тягу к творениям своих немецких собратьев. Всё это не случайно. Философская доминанта творчества немецких и русского поэтов оказалась близка, более того, созвучна абаевской музе. Поэт степи чутко расслышал обертоны чужедальной музыки и переложил, воспроизвёл эту музыку на свой лад, сделав её понятной, родной казахскому мировосприятию. Явление достойное и гордое».

О символизме в казахской литературе на примере творческого наследия С. Торайгырова, М. Жумабаева, Б. Кулеева пишет доктор филологических наук Бейбут Мамраев. Немало ранее неизвестного и не освоенного современным литературоведением материала находим мы в статьях доктора филологических наук Маргариты Мадановой «Европейские источники по литературному творчеству М. Ауэзова», кандидата филологических наук Алмы Тусуповой «Уильям Фолкнер и Мухтар Ауэзов», научного сотрудника Института литературы и искусства Айнур Машаковой «Восприятие художественного наследия Абая Кунанбаева за рубежом».

Неплохо представлены в сборнике и авторы из Молдовы, России и Румынии. Статья известной молдавской писательницы Мирославы Метляевой посвящена ориентальным мотивам и темам в творчестве поэтов и графиков Бессарабии, румынская исследовательница Ливия Которча занялась сопоставлением прозы Гоголя и Хлебникова, назвав свой научный этюд «Непрерывность в срыве». Глубокое «погружение» в теоретическое пространство, острую критику отдельных взглядов на русскую литературную классику предпринял доктор филологических наук, заведующий отделом литератур народов Российской Федерации и СНГ ИМЛИ имени Горького Казбек Султанов в статье «Конфликт ценностей или ценность разнообразия? О литературной рецепции инонационального мира».

Обобщающий характер имеет подробная статья «Казахстанская пушкиниана» кандидата филологических наук, ведущего научного сотрудника Института литературы и искусства имени

Ауэзова Светланы Ананьевой. Надо сказать, что Светлана Викторовна не только старательно, но не пропуская даже крохотной репортёрской заметки, отслеживает все местные публикации на пушкинские темы, но и «громогласно» оповещает о них научную и писательскую общественность Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. Вот что мы можем прочесть в её статье: «Жизнь и творчество А.С. Пушкина, поэта ренессансного типа, по-прежнему приковывает к себе пристальное внимание современных исследователей, в книгах которых давно известные факты и эпизоды получают принципиально новое толкование и объяснение. Серьёзные, разножанровые книги казахских пушкинистов Н. Раевского, Н. Гринкевича, К. Гайворонского, К. Кешина введены в научный оборот, их цитируют исследователи творчества поэта».

Бесспорным и очень важным утверждением заканчивается предисловие Сеита Каскабасова, призывающее к продолжению столь необходимого сегодня культурного взаимодействия между народами: «Именно художественно-эстетическая культура является основой устойчивого духовного развития общества. Литература на современном этапе развивается ярко и интенсивно, включаясь в диалог культур. И этот замечательный диалог становится всё более явственнее, насыщеннее и весомее».

Наталья Елизарова
РУССКИЙ ИНТЕЛЛИГЕНТ В ПИДЖАКЕ И БЕЗ
(о книге Бориса Телкова «Жизнь одного пиджака»[1]*)*

Говорят, чтобы полюбить писателя, надо найти точки соприкосновения с его творчеством и собственным мировоззрением. В книге нижнетагильского прозаика Бориса Телкова «Жизнь одного пиджака» было нечто такое, что я сразу поняла – её автор мой кровный брат. Всё, испытанное им – мои личные впечатления.

Б. Телкову хорошо знакомы литературные «университеты» каждого начинающего автора; о них он повествует с подкупающей искренностью: «… Власти внимательно относились к писательскому труду, ибо хорошо знали, чем эта стихия обернётся, если дать ей свободу. Раз в год всех, более или менее серьёзно заявивших о себе в литературе молодых людей, собирали на безопасном расстоянии от города, на какой-нибудь захудалой базе отдыха… Этот литературный сходняк именовался помпезно – семинар молодых писателей. Все, перешагнувшие тридцатипятилетний рубеж, были уже учтены и классифицированы, как жуки на иглах. Неприятные сюрпризы вольнодумства ожидались только со стороны молодняка. Вели семинар местные литературные зубры, книгоиздатели, редактора толстых журналов. На каждый семинар выпадало несколько везунчиков, которым удавалось пробиться сквозь брюзжание маститых судей – их сочинения включались в план на издание книги. Менее счастливые попадали в газеты, журналы и “братские могилы” сборников. Были и страдальцы: после расправы они долго не могли найти дверь и только царапали крашенные стены дрожащими пальцами. Уже после окончания семинара несчастным выдавалось пособие по безработице – их хлопали по плечу, приговаривая при этом, что он не полная бездарь, не пустышка, потому как, попав сюда, уже прошёл предварительный творческий отбор. Ближе к вечеру пишущая вольница разбивалась на группы по интересам. Первая и самая малочисленная – литература, вторая – литература и вино, третья – литература, вино, любовь…»[2] В исповедальности автора нет эпатажа и бравады, к которым, зачастую, прибегают современные литераторы; в ней чувствуется горькая ирония, желание осмыслить пройденный жизненный этап, взглянуть на прошлое с расстояния прожитых лет, и ностальгия.

Борису Телкову известно тревожное ощущение томления, которое охватывает писателя при виде чистого листа бумаги, чувство предвкушения будущей работы, в котором могущество Творца одновременно соседствует с неуверенностью подмастерья, впервые получившему из рук мастера кисть и опасавшемуся не оправдать оказанное доверие, и ни с чем не сравнимая шагалов-

ская жажда полёта: «Хотелось засесть за что-то огромное, безмерное, как вязание свитера для слона. Уйти в роман, как медведь в спячку… Сюжет, продуманность действий вызывала в нём отвращение. Что-то в будущем романе должно быть от старинного искусства “дзуйхицу” – писания ни о чём, “следуя кисти”. Хотелось поведать о том, что приходит в голову – о серьёзном, о мелочах, нимало не заботясь об их сочетании. Поток мыслей, ощущений, воспоминаний…»[3]

Телков знает не понаслышке о сладостном восторге, испытанном при виде новорождённой книги, пахнущей дерматином и типографской краской: «Несмотря на безденежье, Колпаков был светел и тихо, скромно счастлив. Правую руку приятно тяжелил пакет со стопкой свежеотпечатанной бумаги – роман в сто восемьдесят семь страниц. Не раз бывало, что Колпаков после прогулки по рынку заваливал к кому-нибудь из друзей и за чашкой чая или рюмкой водки читал несколько страниц, пробуя роман на слух, при этом чмокая ушами на особо аппетитных местах. Подобную гордость испытывает молодая мамаша, горделиво и непринуждённо потрясывая перед родственниками мокрыми пелёнками»[4].

Б. Телкову не чужды внезапные приступы философствования, в которые все без исключения литераторы периодически впадают: «Если посмотреть на литературу глазами повара, то рассказ – это диковинное блюдо из ядовитой рыбы, где точное соблюдение – грамм в грамм – пропорций даёт великолепный вкус, а малейшее их нарушение превращает блюдо в смертельную отраву. Роман с кулинарной точки зрения – пицца, эдакое продуктовое ассорти, всего понемногу»[5].

Как уже было упомянуто выше, творческому стилю Бориса Телкова свойственна откровенность, некая обнажённая душевная открытость, и вместе с тем его произведения – это не портрет автора с натуры. Несмотря на присущий им психологизм, всё частное, автобиографическое в них намечено скупо, размыто, но именно через своих героев писатель передаёт то, что хотел бы сказать сам. Для читателя он будто облачился в мятый плащ и надвинул на глаза чёрную шляпу. «Он невидимый в толпе» наблюдатель.

Главным героем своих произведений автор сделал мужчину средних лет. Сорок – это тот возраст, когда эмоции и мысли достигают зрелости «спелого граната», когда внутренняя душевная стихия приобретает «давление забродившего багряного сока». Сорок – это возраст, когда скрипач, несмотря на обретённое мастерство и виртуозность выработанной техники, перестаёт играть по чужим нотам, и начинает слагать собственную музыку. Сорок – это начало эры Создателя… Или неудачника.

Для прозы Б. Телкова характерна реалистичность – в ней не ощущается никакой надуманности, искусственности сюжетов. Самым интересным в ней, как мне кажется, является оригинальный, свежий, неожиданный взгляд на повседневные и потому достаточно банальные жизненные ситуации: блеск и нищета обычного клетчатого пиджака (рассказ «Жизнь одного пиджака»), потаённые юношеские воспоминания, извлечённые из недр сознания смертью Жана Марэ (рассказ «Нос резинового дельфина»), бабьи посиделки на работе как гимн женскому тщеславию и зависти (рассказ «Вчерашний торт»), семейные будни, где поцелуй супругов – рефлекс (рассказ «Цветы из Эквадора»).

Язык прозы Бориса Телкова выразителен и метафоричен. В качестве примера приведу отрывок из рассказа «Шапка Мономаха»: «Редактор долго читал роман. Всё это время сочинитель не жил. Он коченел, как рыбацкая “малинка” в холодильнике. Был на сохранении. Лежал на диване до востребования… Лапушкин деликатно выждал все новогодние праздники, и лишь после этого возник в дверях редакции. Маленький, похожий на старого мудрого крыса редактор сидел один в холодном огромном кабинете и догрызал зачерствелый пряник. Прихлёбывал жидким конторским чаем. Увидев молча вопрошающего Лапушкина, он поднялся с кресла, стряхнул с брюк крошки и пожал писателю руку, ободряюще, но осторожно, как родственнику умершего. Лапушкин не стал спрашивать подробности. Он сам догадался, что его последний роман не жилец…»[6] Сила и прелесть авторской метафоры в элегантной простоте. Б. Телков не пытается щегольнуть перед

читателем изысканной вычурностью построенной фразы и выткать цветистый орнамент, служащий лишь украшением, декорацией, и не несущий никакой смысловой нагрузки. Метафора служит писателю своеобразным подстрочником, за которым угадываются не высказанные вслух мысли. В телевидении такой приём называется «двадцать шестым кадром».

Говоря о прозе Бориса Телкова, следует особо сказать о романе «Сшит колпак», который можно рассматривать как монолог, или диалог писателя с самим собой. Беря за основу теорию, что всякая мысль материальна и реальна для воплощения, нижнетагильский прозаик озадачивает и себя, и нас, читателей, неожиданным вопросом, который, мне думается, редко задают себе те, кто взялся за перо, а именно: что произойдёт, если литератор, «хладнокровно отстреливая букву за буквой, нимало не заботясь о том, как себя чувствуют люди, сдавленные построенным им сюжетом»[7], вдруг окажется один на один с придуманными им героями, в ситуации, смоделированной его собственным воображением? Причудливая писательская фантазия куда только не зашвыривает своих персонажей: в чеченскую мясорубку, на необитаемый остров, на встречу с внеземными цивилизациями, в кровожадные пасти вампиров… А, интересно, хотелось бы господам литераторам отправиться попутешествовать в выдуманные ими миры? Писательская фантазия услужливо выбивает табуреточку из-под ног бедолаги-героя (зачем с ним церемониться, ведь он всего лишь плод воображения?!), с садистским наслаждением срывает с кого-то одежду, с удовольствием наблюдает за кровавым фонтанчиком перерезанного горла… А вот если бы в один прекрасный день герой поменялся местами со своим отцом-создателем и пересел за пишущую машинку? Можно только догадываться, по каким лабиринтам погнал бы он своего бывшего хозяина!

Исходя из того, что писатель, в большинстве случаев, пишет о себе, Б. Телков полагает, что между ним и его главным героем «возникает связь более родственная – герой проживает жизнь автора сочинения, а писатель – пропускает все радости и страдания своего героя и часто умирает той же смертью, что

и его персонаж… В сущности, это двойник, тень, немыслимая в одиночестве»[8]. Своим двойником Борис Телков делает беллетриста Колпакова, который, в свою очередь, изобретает для очередного нового сочинения «человека не просто никому не нужного, но и лишнего, немного похожего на него самого», Каблукова, и, «расстреножив его от пут продуманного сюжета», выпускает «на раздольное пастбище чистого белого листа», дабы «понаблюдать за своим отпрыском на воле»[9]. Получается некий симбиоз – Телков-Колпаков-Каблуков, – иронизируя над которым, автор вспоминает известную скороговорку: «Сшит колпак, да не по-колпаковски, надо его переколпаковать и выколпаковать». Переколпаковать – значит, уложить героя на прокрустово ложе авторской фантазии; чем она изощрённей, тем заинтересованней читатель, в противном случае – «затяжной зевок и хлопок, как выстрел, навечно закрытой где-то в самом начале книги»[10]. На прокрустово ложе попадает романист Колпаков, и ему приходится пережить всё, что он уготовил для Каблукова: убийство при загадочных обстоятельствах, где он оказывается случайным свидетелем, преследования бандитов, мимолётные сексуальные интрижки. Итогом книги становится вопль романиста: «Не надо никого переколпачивать!» И Борис Телков очень явственно демонстрирует эмоциональную сопричастность своему персонажу. Но художественная литература живёт по иным законам – как говорится, колпак сшит.

И ещё хочу поделиться одним впечатлением. Оно касается непосредственно самого Бориса Телкова… Случается, что, читая книгу кого-то из современных авторов и наслаждаясь каждой написанной строчкой, при личной встрече с ним бываешь сильно разочарован его занудством, узостью взглядов, высокомерием, беспредельной убеждённостью в собственную непогрешимость. А бывает, наоборот: с удовольствием общаясь с прекрасным человеком, давишься его текстами, как зачерствелыми галетами… Борис Телков тот редкий экземпляр из числа писательской братии, кто совмещает личное обаяние с высококачественной прозой – уникальное свойство, не правда ли?

Евгений Асташкин
ПЫТЛИВОСТЬ УМА
На выход нового поэтического сборника Петра Кузнецова

Каждый раз, когда раскрываешь очередной поэтический сборник, сразу пытаешься определить, как выделяется автор «лица не общим выраженьем». Ищешь какие-то особенные детали, строфику, рифмовку, которых не было у других.

Просматривая новую поэтическую книгу кемеровского поэта Петра Кузнецова «Ama Fatum» («Возлюби судьбу»), я отчётливо увидел такие характерные особенности. Прежде всего бросилось в глаза обилие посвящений и эпиграфов, которыми иногда служат личные строки автора. Среди любимых стихотворцев, которых поэт охотно цитирует, имена Георгия Иванова и Евгения Винокурова. Творчество этих известных поэтов служит своеобразным катализатором для собственных изысков кемеровчанина, профессора медицинской академии, члена Союза российских писателей.

Книга разбита на циклы, которые П. Кузнецов озаглавил своеобразно: «Колодец памяти», «Уходит женщина», «Вечности великих», «Метаморфозы времени». Над всем творчеством довлеет философский прищур автора, его пытливое вглядывание в реалии сегодняшнего дня, сопоставление их с устоявшимися ценностями. Увы, это сопоставление часто получается не в пользу нашей злобе дня. Отсюда горькие строки:

Куда же бредёшь ты, Россия Святая,
На паперти Века себя истязая?!

Заметно, что поэт боится быть поглощённым суетой сует, единственное противопоставление которой – созидательное творчество и непрекращающееся духовное самосовершенствование. Даже простое неучастие в неблаговидных делах помогает сохранить душу. Недаром в одном стихотворении П. Кузнецов восклицает, что он «Не ломал души окриком: “Вольно!..”»

Миру современного чистогана поэт говорит решительное нет, ему милей приближённость к первозданной природе, её сказочности. Он признаётся, что:

…единственной тайной земной
В мире пластика, кожи, сафьяна
Мне казался горбун-водяной,
Рожи корчивший с косм океана!..

По охвату использованных в строках мифологем, звучных имён прошлого любой читатель книги увидит стремление автора к энциклопедичности. И ещё угадывается деятельная натура, берущая Судьбу в собственные руки, а не ищущая её в гороскопах.

Особняком стоит любовная лирика. Она тоже в основном минорна – от многочисленности утрат. В связи с этим приведу отрывок стихотворения, которое меня, что называется, сильно зацепило:

Я касался тебя рукой,
И глаза твои в свете лампы
Всё струили святой покой,
Растворяя земные штампы…

Ты лежала, а я сидел
На подножье твоей кровати –
Обнимать тебя я не смел,
В паспортах наших были печати…

…Странно вспомнить это сейчас –
На исходе почти… полвека!..
Всё же нежность я нашу спас –
Ведь любил я в тебе… Человека!

В шестом выпуске альманаха «Голоса Сибири» я также обнаружил имя Петра Кузнецова. Здесь он выступил с двумя венками полусонетов. Я частенько между делом заглядываю в «Поэтический словарь» Квятковского, но, честно говоря, о таком жанре даже не догадывался. Доводилось слышать о другом. В

Москве один поэт занимается циклопическими построениями в форме короны сонетов. А венков полусонетов я не встречал в печати. И вот сподобился.

Венок состоит из семи полусонетов, каждый из которых тоже заключает семь строк – четверостишие и трёхстишие. Приведём начало одного венка П. Кузнецова «Надмирный часовой»:

Распятый одиночеством минут
Я, как Христос, вам исцеляю нервы,
А жадный ветер впился в космы вербы –
Он, как палач, безжалостен и лют!..

Но под ногою муравьи снуют –
Проводники, таинственные шерпы,
И каждый камень им приют…

Благодаря этой публикации теперь я знаю, что такая традиция заложена ещё до революции, занимались венками полусонетов и в России, правда, очень редко, поэтому об этом мало кому известно.

Напоследок процитирую ещё одно четверостишие Петра Кузнецова из цикла «Вечности великих» («Из Эдуарда Скобелева»):

О, не казни себя за то, что жил,
Довольствуйся лишь тем, что совершил…
Ты всей душой стремился к созиданью!
Таким, как ты, – не надобно могил!..

2008

Ирина Маркова
ТАЛАНТ НЕ УМЕЕТ ЛГАТЬ
О рассказе Л. Начевой «Рассвет в Сухуми»[1]

Всегда и во всём бывает приятно получить более того, на что рассчитывал. В рассказе Любови Начевой «Рассвет в Сухуми» читатель с удивлением обнаружит современный образец классической литературы, в котором искусно создаётся

единый пространственно-временной хронотоп художественного произведения, служащий раскрытию основной идеи.

Сюжет незамысловат: замужняя женщина прилетает с ребёнком на отдых в Сухуми к своему любовнику, останавливается в пустующей квартире его отца.

Автор несколько отступает от канонов классики в том, что, рисуя образы главных персонажей, не начинает описание с их внешности, одежды, по которым читатель мог бы предугадать их характер или события, которые произойдут, как порой по описанию шляпки мы можем угадать, что героиня кокетка, или по описанию смуглой кожи, что герой либо труженик, либо злой, «тёмный» персонаж. Имя главной героини «Алла» тоже не наводит на размышления. Оно явно намеренно сделано «неговорящим», чтобы показать бесцветность жизни Аллы до встречи со своим возлюбленным. Но вот по имени мужчины «Давид» мы сразу можем угадать, что Алла его боготворит, ведь недаром многие грузинские цари носили это имя. События рассказа происходят в «сложные времена», когда продукты «исключительно по талонам». Подчёркивается, что в доме отца Давида, Георгия, Аллу и её ребёнка это не коснётся. Недаром автор выбирает имя Георгий. В легендах христианских и мусульманских народов это имя принадлежит святому – покровителю плодородия; читателю становится понятно, что союз Аллы и Давида благословляется и, собственно, для этого и введён персонаж «отец Давида».

Автор рисует романтическое и радостное настроение главных героев, наполняя художественное пространство «кремовыми розами с тонким ароматом», «приглушённым светом абажура», «цветными хрустальными бокалами», «морем». Цветок розы, как известно, является символом любви, а «цветовая гамма» любого художественного произведения всегда символична, наводит на размышления и служит раскрытию идеи произведения. Ничего не сказано о цвете абажура, но зато налицо расшифровка того, для чего он описан: «приглушённый свет создавал романтическое настроение». Иногда читатель чувствует, «вычитывает» настроение из контекста, как в случае с «цветным» хрусталём – мы переносим его краски на Аллину жизнь, которая вот-вот перестанет быть для неё бесцветной. «Море» же, вообще, символ, имеющий широкий

круг значений: и жизни, и бесконечности, и опасности, и непредсказуемости; связь с Давидом для Аллы, по-видимому, как купание в море: и бодряща, и непредсказуема финалом, и опасна, и пробуждает новые чувства. Но всё же автор выказывает и чуточку отрицательного отношения к поступкам главных героев, вводя в рассказ чёрный цвет: чёрное море, чёрная икра, чёрное кофе. Кроме того, такси с Аллой и Давидом едет «в ночь», вино они пьют «сухое», а не сладкое, «дуновение свежего тёплого ветра» останавливает героев, а не придаёт страсти, и розы не белые, что означало бы верность, не красные, что означало бы страсть, а «кремовые».

Для чего же «всё было»? На этот вопрос автор отвечает словами Давида: «Для бодрости, для бодрости, моя дорогая!», для «счастья рассвета», который окрасил сухую, бесцветную жизнь. Недаром действие происходит в Сухуми, что ассоциируется со словом «сухой». На название города как бы переноситься смысл Аллиной жизни без Давида. И даже ритм произведения меняется после этих слов Давида, становится «рубленым», бодрым.

Положительными сторонами рассказа можно считать и то, что автор использует художественные и страноведческо-культурные сравнения (Роден «Вечная весна», Италия – Мадонна), а также весьма примечательные стилистические приёмы:

– звукоподражание («”Цинандали” в цветные бокалы» – имитируется звон бокалов);

– аллитерация («В семье Аллы самым удобным месяцем для отдыха был Август. Самолёт…» – имитируются звуки садящихся в аэропорту самолётов);

– метонимия («ехать в ночь», «пристроить на плече» и др.);

– метафора («сухие нотки»);

– эпитет («колдовской напиток»), и др.

Текст не перегружен стилистическими приёмами, их использование оправдано и не мешает повествованию. Рассказ не «надуман», а написан исключительно благодаря таланту автора и творческому вдохновению; познакомившись с творчеством сибирского литератора Л. Начевой, ещё раз убеждаешься в правоте классика русской литературы Ивана Гончарова, который считал, что «талант имеет то драгоценное свойство, что он не умеет лгать».

Август 2008г.

Памятки истории

Желание нравиться своему веку часто бывает поводом к тому, чтобы не нравиться потомству.

Пьер Мариво

Сергей Папков
ЛЕНИНСКИЙ НЭП В ОБЛИКЕ ПРОИЗВОЛА
Как коммунисты вводили продналог в сибирской деревне

Выколачивание недоимок – род телесного наказания, применяемого в России, особенно в тех случаях, когда крестьянину из-за плохого урожая нечем заплатить подати.

М.Е. Салтыков-Щедрин, 1873 г.

В течение многих лет политика нэпа, инициатором которой принято считать Ленина, рисовалась в общественном сознании как важное отступление от «крайностей военного коммунизма», как линия своеобразного «либерализма», открывшего в советской России непродолжительную эпоху «гражданского мира» и «возрождения экономики». В этой части нашего сборника мы публикуем документы, представляющие ленинский нэп с совершенно иной стороны. Вниманию читателей предлагается удивительный отчёт, составленный прокурором Омской губернии в связи с расследованием массового насилия и бесчинств представителей большевистской власти на территории двух крупных регионов Сибири в ходе сбора продналога в первый период нэпа, в 1922 – начале 1923 г. Тут было бы уместно отметить, что 1921 год вообще не может считаться началом нэпа в Сибири, поскольку для сибирских крестьян, как наиболее крепких хозяев и стабильных поставщиков продовольствия, советская власть фактически продлила разверстку ещё на один год. Но и запоздалый переход к реальному нэпу, как свидетельствует публикуемый отчёт, не принёс каких-либо улучшений. Более того, он выразился в ещё большем нажиме на крестьян и в результате привёл к настоящей трагедии для сельского населения зерновых районов Сибири.

Начиная свой доклад о «нарушениях в продовольственной политике», его автор, прокурор Веселовский, делает множество оговорок, которые свидетельствуют прежде всего о его собственном

статусе: он всего лишь прокурор, служащий госаппарата, а не политработник и его функция очень скромная – расследовать лишь те случаи произвола продработников, которые уже получили огласку, но не касаться самой практики соблюдения законов со стороны властей. Поэтому прокурор несколько раз отмечает, что «многое ещё является не добытым» и что «весь материал составляет лишь половину установленных преступлений». Однако и тот объём сведений, который он счёл возможным включить в свой отчет, превращает его исследование в очень сильный обличительный документ. Доклад прокурора воспроизводит картину патологического произвола, сопровождавшего кампанию по сбору продналога в Славгородском и Татарском уездах Омской губернии. Разгул насилия, бессмысленного истребления имущества крестьян, истязание всех групп населения, включая беременных женщин, стариков и юношей, предстают в публикуемом документе как своего рода узаконенная система. Этих фактов прокурор обнаруживает так много, что заставляет его сделать вывод: в действиях продработников «не было никакой законности, царил полный произвол». Перечисляя наиболее ужасающие примеры бесчеловечного обращения с крестьянами, прокурор вынужден признать, что многие действия продкомиссаров и инспекторов напоминали операцию оккупационной армии на территории противника – «сборщики продналога» выставляли пулемёты, брали заложников, с помощью вооружённых отрядов окружали сёла и наводили «панический ужас». В соответствии с замыслом своего доклада, автор избегает сообщать о многих других скрытых деталях «продовольственной кампании» 1922-1923 гг. Некоторых её аспектов он касается лишь бегло, не раскрывая всей правды. Такова, например, информация о концлагерях для крестьян, не сумевших уплатить развёрстку или продналог в полном объёме. Составитель доклада упоминает только о концлагере в с. Каип в Славгородском уезде. Между тем, организация подобных концлагерей была одной из самых выразительных черт большевистской продовольственной политики начала 1920-х годов. Факты их существования, кроме с. Каип, только в одном Славгородском уезде документально установлены также в селах Хабары (современный Алтайский край), Чёрная Курья и Хорошее (ныне – Карасукский

район Новосибирской области) и в уездном г. Славгороде. Так, в январе 1922 г. в Славгородский концлагерь было одновременно помещено более 600 крестьян, «осуждённых за продналог». Эту массу людей использовали на черновых работах по запросам различных уездных организаций. В то же время администрация лагеря сообщала, что «положение с арестованными создается катастрофическое за отсутствием продовольствия, так как лагерь снят с госснабжения».[1] В марте 1922 г. в этом же лагере содержалось более 1 тыс. чел., из которых более половины были заражены тифом и другими эпидемическими болезнями, а ежедневная смертность составляла 4-5 чел.[2]

Почему большевикам потребовались такие меры? Откуда такая жестокость в отношении крестьян, когда официальная политика уже не допускала подобных действий? Объяснение этого вопроса заключено в том, какую роль играла Сибирь в качестве поставщика продовольствия для России и как эту роль оценивали большевики. В дореволюционный период ежегодный вывоз зерна из Сибири не превышал 25-30 млн. пудов.[3] Это позволяло крестьянству постепенно расширять возможности своего хозяйства, накапливать ресурсы для последующего роста. Но с приходом коммунистов положение деревни резко изменилось. Уже по продразвёрстке 1920 года большевики изъяли 63 млн. пудов хлеба, практически уничтожив все крестьянские запасы предыдущих лет. В мае 1923 г. руководители Сибири – члены Сиббюро ЦК ВКП(б) и Сибревкома (Косиор, Лашевич, Брыков и Павлуновский) – докладывали в ЦК ВКП(б), что «натурналог 1921 г. в связи с необходимостью снабжения хлебом голодающего Поволжья, был проведён при сильном переобложении, а следующий налог 1922 г. по тяжести обложения превзошёл предыдущий год. По налогу 1921 г. взято хлеба и зернофуража 17% валовой продукции, тогда как в 1922 г. – 21,4%... Помимо того, для выполнения налога в 1922 г. население вынуждено было, за неимением хлеба, сдать до 450 тыс. голов скота (в переводе на крупный), что составляет 16% всего наличного крупного и мелкого скота».[4] Ясно, что систематическое изъятие крестьянской продукции не могло осуществляться без применения насилия. Меры принуждения стали для большевиков

обычной практикой. Особенно суровый характер этих мер сказался в период продналоговой кампании 1922 года, когда собирать уже было нечего. Один из приказов Сибирского продовольственного комитета продработникам Славгородского уезда (№100) от 6 ноября 1922 г. отчётливо показывает, как распоряжения региональной власти спровоцировали волну насилия в отношении крестьян. В этом приказе низовым исполнителям ставилась задача:

«1. Немедленно произвести максимально жёсткий нажим на членов сельсоветов, волисполкомов, членов РКП(б) и добиться немедленного выполнения причитающегося с них налога.(…)

4. Для заключения арестованных организовать концентрационные лагеря, ввести в них строгий тюремный режим, тюремный паёк за счёт неплательщиков, запретить табак, всякие передачи, свидания. Организацию лагерей и их местонахождение возложить на упродком.

5. Арестованных из сёл направлять в места концентрации под конвоем, обязательно пешим порядком.

6. Одновременно проводить нажим на семьи арестованных, принуждая их к уплате налога полностью.(…)

8. Безоговорочно арестовывать районных членов сельсоветов, не выполнивших суточных заданий по выгонке подвод.

9. В месте нахождения штабов иметь сессию совнарсуда на предмет беспрерывного издания судебных приказов и исполнительных листов.(…)

13. В упорных сёлах до получения судебного приказа, в порядке меры пресечения, произвести опись имущества, наложив на него арест.(…)

15. Конфискованное имущество и скот проводить по целому ряду сёл соседних волостей».[5]

Помещаемый ниже доклад прокурора Омской губернии как раз и посвящён описанию фактов жестокости местных властей, которые были порождены изданием подобных приказов. Документ публикуется по первоисточнику, хранящемуся в Центре документации новейшей истории Омской области, в фонде 1, оп.4, д.78.

* * *

Секретарю [Омского] губкома тов. Баранову,
Предгубисполкома тов. Полюдову,
Губпрокурору тов. Мокееву

Зам. Губпрокурора и Председателя Особой Следственной Комиссии по делам о преступлениях, связанных с продналоговой кампанией по Славгородскому и Татарскому уездам[6]
Веселовского
от 1-го марта 1923 года

ДОКЛАД

В силу данного мне наказа и мандата от 8-го февраля 1923 г. Губкомом, Губисполкомом и Губпрокурором я выехал в качестве председателя Особой Следственной Комиссии, состоящей из пяти человек: меня, Беляева, Романова, Фишера и Михалаш для производства следствия о преступлениях, связанных с продкампанией по Славгородскому и Татарскому уездам.

При этом я должен оговориться, что один из важных представителей этой Комиссии тов. Беляев, как уполномоченный от Губкома, как выяснилось впоследствии, не выехал по болезни. Поскольку на тов. Беляева возлагалась одна из самых важных функций – политконтроль за работой Комиссии, который в данном случае осуществиться не мог – отсутствие тов. Беляева ставило меня в положение риска. Не зная ранее, что Комиссия из ответственных работников имела задание [применять] более осторожный подход к работе в районах уездов, чтобы не будировать население своим присутствием и только проводить работу по имеющимся у неё на руках материалами, я при выезде из Омска сразу же сообщил служебной запиской от 11-го февраля Губкому, а по прибытии в Славгород телеграфировал Губпрокурору. Не получив скорого ответа, я считал неудобным без дела находиться в уезде, поэтому договорился со Славгородским Укомом РКП[7] о

выделении своего представителя, который хотя бы номинально заменил тов. Беляева. (…) После этого вся комиссия в полном составе, с представителем Укома, выехала в южный район (село Ключи).

По приезде в Ключи пришлось приступить к работе, надо признаться, при весьма тяжёлых условиях, так как население не вполне верило в искренность предпринимаемых губернией мер и, кроме того, боялось последствий. Но хуже всего – Комиссия не могла подойти к делу следствия так, как это можно было бы при самом обыкновенном преступлении. Вместе с тем, отсутствие тов. Беляева как уполномоченного Губкома заставляло быть в несколько раз более осторожным, чтобы не влипнуть в какую-нибудь каверзу. Поэтому каждый шаг приходилось, что называется, семь раз отмерить, а потом уже отрезать. И я не скрываю, что при таких условиях, несмотря на массу добытых ценных материалов по преступлениям, многое ещё является не добытым.

Если выезд самой Комиссии имел значение для фиксирования некоторых криминалов со стороны продработников, то на население она не произвела ожидаемого впечатления из-за отсутствия лиц совершивших преступления, так как мужичок всегда любит видеть прежде всего дело. И если бы мы захватили лиц учинивших то или иное преступление и арестовали их, крестьянство поняло бы, что губерния не на шутку взялась за выучку головотяпов. А раз этого не было, у крестьян сложилось такое впечатление, что-де «приехали, попишут-попишут, да тем и кончится дело».

За те 20 дней, которые Комиссия провела в районах уездов, она добыла ценный материал. Однако при обычном следствии, которое затянулось бы на пару месяцев, конечно, можно было бы получить материал гораздо полнее и ценнее – чем дальше в лес, тем больше дров. Так и тут: начинаешь следствие в отношении одной оригинальности преступления, так за этой вещью показывается другая. Поэтому приходилось ограничиваться, если можно так выразиться, натурой имеющихся материалов в распоряжении Комиссии, а всё остальное передавать на месте прокурору уезда. Нелишним считаю остановиться на таких случаях, которые подтверждают моё заявление.

При личном моём разговоре с помощником старшего инспектора Кулундинской заготконторы[8] тов. БРЕУСОМ, последний

заявил: «Работа вашей Комиссии не установит много таких фактов, которые доказывали бы насколько [велика] была распущенность и головотяпство некоторых продработников. Например, – рассказывает он, – въезжаю я в село Вознесенку и вижу, что около одного дома собралась толпа человек 30. Подъехав ближе, спрашиваю:

– Что здесь за сборище?

Мне ответили:

– Сейчас начнём ломать дом.

– Почему и на каком основании? – спрашиваю опять.

Отвечают, что у этого крестьянина конфисковано всё движимое и недвижимое имущество, а поэтому дом должен быть сломан и вывезен в Кулундинскую Заготконтору.

Не успей я к этому времени, – говорит тов. БРЕУС, – дом был бы сломан и вывезен в Кулунду».

О ещё более оригинальных вещах рассказывал заведующий Кулундинской заготконторой гр-н ЛЬВОВ. «На территорию моей Заготконторы, – говорит он, – привозили всё, начиная с ломаных вилок, ложек, ножей, а также ломаные доски, битые горшки, разного рода чугуны, ящики, варёных кур, по два-три фунта древесного угля, по паре фунтов перьев и разного негодного тряпья, годный и негодный живой и мёртвый инвентарь». Одним словом, из разговоров с ним можно заключить, что Кулундинская Заготконтора в разгар продовольственной кампании была превращена в какую-то мусорную яму, куда сваливались всевозможные отбросы. И это происходило по непониманию советского законодательства или по глупости и сумасбродству продработников. На мой вопрос – неужели вы всё это принимали? – гр-н Львов вполне резонно заявил: «Как же не принимать, когда везут? И не только сдают, а просто бросают, говоря – бери, вот конфискованное – и всё!». На вопрос – составлялись ли какие-нибудь приёмочные акты? – он заявил, что таковых не составлялось. «Да и составлять было не с кем, так как нередко вещи привозились не тем лицом, у которого они конфисковались, а привозившие вообще не знали от кого и какие вещи были взяты. Причём какую-нибудь мелочь весом в несколько фунтов привозили на подводах и этим делали бесполезный разгон лошадей».

Из всего этого я вынес впечатление, что какова была сдача конфискованного имущества, таково и хранение его. Многие вещи

были просто свалены в кучу; очевидно, их не будут совершенно разбирать и им суждено сгнить. В кучу свалена не только никому не нужная мелочь, но и такие ценные вещи как сельскохозяйственный инвентарь, брошенный под открытым небом и заваленный снегом. Если до весны его не уберут, то при таянии снега ему угрожает полное разрушение. Видя такое положение, я обратил внимание Славгородского Укома. Последний меня заверил, что этот вопрос будет поставлен 22 февраля с.г. в заседании Уисполкома, постановлением коего намечается передача всего сельхозинвентаря в волкреском[9] для использования в предстоящую посевную кампанию.

Я здесь сознательно уклоняюсь от прямой темы моего доклада и лишь с той целью, чтобы больше к этим частностям не возвращаться. А теперь перехожу к основной теме своего доклада, связанной с прямыми заданиями Комиссии.

Выше я уже указывал, что Комиссия выехала прежде всего в южный район. Несмотря на все трудности, приходится констатировать полную разнузданность и безответственность в действиях и поступках многих продработников – действиях, заключающих в себе массу признаков уголовных преступлений. Тут можно наблюдать всё, что хотите в смысле нарушения законов, и ничего – в смысле их исполнения. Строго говоря, в их действиях не было никакой законности, царил, если можно так выразиться, полный произвол. Вот те главные преступления, которые я отмечу по пунктам:

1) пьянство, 2) физическое насилие, 3) истязания, 4) изнасилования женщин, 5) превышение власти, 6) дискредитация власти, 7) насильственное заключение под арест в холодные амбары, 8) умышленное уничтожение скота (в Татарском уезде, Купинская волость), 9) вымогательство самогона у налогоплательщиков и т.д.

Чтобы не быть голословным, сделаю несколько персональных указаний по каждому выставленному мною пункту преступления.

По первому пункту. Продинспекторы ТИМЕН и КОВРИГИН в селе Нижняя Суетка, той же волости Славгородского уезда, в пьяном виде затеяли на улице драку с местным милиционером. Пока драка продолжалась, собралась масса людей и с удовольствием наслаждалась таким состязанием представителей власти.

Там же инспектор Славгородского Упродкома в пьяном виде пытался изнасиловать двух женщин по фамилии Баклановы. Одной из них, которая сопротивлялась, нанёс удар по глазу, что удостоверено местным фельдшером. В посёлке Чикиринском Нижнесуетской волости продинспектор ТИМЕН напившись пьяным с милиционером РОЗЕН и гр-ном ЛЕЩЕНКО пытался изнасиловать в один и тот же вечер двух гражданок – Ничепуренко и Пироженко. И только потому, что на крики женщин собралась публика, ТИМЕНУ не удалось совершить преступление.

Пьянство было уделом немалого количества продработников. В Купинской волости Татарского уезда два уполномоченных Уопертройки[10] – КИРЮХИН и ПЕТЬКО – проделали то же самое, только с той разницей, что ещё вымогали самогон у налогоплательщиков.

По второму пункту. Эти же уполномоченные, КИРЮХИН и ПЕТЬКО, производили избиение налогоплательщиков (что установлено следственным материалом), не считаясь с тем кто попадал под руку – мужчина или женщина, старик, старуха или красноармеец.

По третьему пункту. Следственным материалом установлено, что в Ключевской волости Славгородского уезда имелись случаи пиления обухом шашки шеи налогоплательщиков, а равно избиения их. Но персонально установить, кем это производилось, не удалось, так как эти проделки допускались красноармейцами кавалерийского эскадрона под командой командира ВОЛЖСКОГО. Установить отдельных лиц этого безобразия возможно только при очной ставке всего отряда с потерпевшими. Из следственного материала можно заключить, что производилась своего рода экзекуция. Например, сажали в холодный амбар. Это имело место как в Славгородском, так и в Татарском уездах. В Татарском уезде с посаженных в холодный амбар снимали верхнюю одежду и в таком виде держали по двое суток. Люди неимоверно замерзали. В Славгородском уезде из холодного амбара выводили несколько человек за деревню и производили гонку до тех пор, пока не пропотеют, а потом заставляли пить холодную воду. А в случае отказа – лили эту воду за ворот.

По четвёртому пункту. Кроме указанных [случаев], изнасилования производились в Нижнесуетской и Ключевской волостях

Славгородского уезда. В концентрационном лагере (организован по секретному распоряжению Губпродкома в селе Каип) три армейца-ЧОНовца[11] – КНЯЗЕВ, АНШПУР и НЕХОТЕЕВ – по распоряжению начальника отряда комЧОН БЕРЕЖНЯКА взяли трёх заключённых женщин, находившихся в изоляции, и повели в штаб, где произвели изнасилование одной из них, а две другие женщины всячески сопротивлялись и потому избежали подобной участи. Причём акт самого изнасилования и попыток этого имели самый извращённый характер, что считаю неудобным занести в доклад, но что зафиксировано в материалах следствия. Такие же попытки изнасилования женщин – Марии Дерненковой и Марии Серяковой – имели место со стороны красноармейца Скрипкина, в отношении которого ведётся специальное следствие. При моём проезде через Купино следователь 2-го участка Татарского уезда Барбе заявил, что следствие закончено и будет составлено обвинительное заключение. Кроме того, имелась также попытка со стороны продинспектора ШУЛЬЦ изнасиловать двух дочерей Фёдора Калюжного, Марию и Дарью, из посёлка Весёлый Кут Купинской волости, Татарского уезда.

По пятому пункту о превышении власти. Если взглянуть в материалы имеющегося дела, картина будет ясна и никаких комментариев для этого не потребуется. В одном только Славгородском уезде было арестовано 5 тыс. с лишним налогоплательщиков и 179 должностных лиц. На всю эту массу арестованных было представлено утверждённых постановлений об аресте не более одной десятой, а остальные аресты производились без постановлений, а равно и невозможно было установить время и сроки этих арестов: они производились инспектурой самостоятельно, на основании постановления от 16/XI-1922 г. №20 Уопертройки.(…)

По шестому пункту. Все указанные обстоятельства правонарушений определённо подводит криминал, караемый 109 ст. Уголовного Кодекса. Поэтому стоит ли точно выражать, в чём заключается дискредитация Советской власти. Одни акты изнасилования при исполнении служебных обязанностей сами за себя говорят, что действия должностных лиц в этом направлении безусловно дискредитируют Советскую власть. Или случай драки двух продинспекторов с милиционером на улице, посреди деревни, где

любоваться прелестью боксёрского состязания представителей власти собралась масса публики.

По пункту седьмому. Сажали в холодный амбар не только мужчин, но и женщин в последнем периоде беременности. Две из них по освобождении из холодного амбара, одна – Наталья Петренко и вторая – Незненкова из Купинской волости, разрешились через несколько часов. Первая из них мучилась в амбаре и появились даже краски. Надо сказать, что с одной из этих [женщин] в амбаре снималась верхняя одежда и, будучи в последнем периоде беременности, она неимоверно прозябла, что угрожало не только её здоровью, но и ожидаемому ребёнку. Говорить о мужчинах совершенно не приходится: их сажали целыми десятками, били, снимали верхнюю одежду и по двое суток не выпускали оправляться. Кушать давали хлеба не более $^1/_2$ фунта и кружку воды.

По восьмому пункту. В посёлках Медяково, Весёлый Кут, Рождественка и Марьяновка Купинской волости КИРЮХИН и ПЕТЬКО под угрозами побоев принуждали крестьян, не считаясь с количеством у них скота, забивать последний в счёт продналога. Результаты работы КИРЮХИНА и ПЕТЬКО лучше всего характеризует составленный акт представителя ГубРКИ[12] тов. Романова (который при сём прилагается)[13], из которого видно, что в пос. Медяково осталось коров от одного года 40 голов, из числа коих дойных только 10. В уплату продналога забито 160 коров и 300 овец. Из этого же акта видно, что на весь посёлок в 100 дворов осталось 100 голов овец. Это положение подтверждается председателем сельсовета посёлка Весёлый Кут гр-ном Грищенко. В его показании от 17 декабря 1922 г. говорится, что в посёлке забито крупного и мелкого рогатого скота – 500 голов, из коих выброшено 500 единиц приплода. Многий скот находился в последнем периоде беременности и часть голов должна была через несколько дней принести приплод. Но этот скот забивался. Крестьяне с выброшенного приплода снимали шкуру и утилизовали на шапки и другие вещи. В известной степени такие поступки ещё можно объяснить бесхозяйственностью КИРЮХИНА и ПЕТЬКО. Однако по приезде в деревню они прежде всего требовали самогонки, или в другом случае – приехав в деревню Весёлый Кут, заявили: «Здесь хохлы ещё смеются, но вот через некоторое время начнётся стон, плач и скрежет зубов».

Надо сказать, что у ПЕТЬКО и КИРЮХИНА слова не расходились с делом. Около 10 часов вечера с 9 на 10 декабря 1922 г. они начали вызывать к себе в штаб налогоплательщиков и предлагать им к 7 часам утра уплатить все 100 процентов налога. Некоторых крестьян, заявлявших, что у них нет хлеба, избили; предлагали забивать скот в счёт продналога. Крестьяне недоумевали: «Имеется только одна корова, как же и эту последнюю забивать?» – Да, и эту последнюю забивать, – говорили они. Тех, кто заявлял о невозможности платить налог, угощали кулаками. Доставалось старикам и старухам. Например, гражданку Мицкевич из посёлка Медяково посадили в холодный амбар, сняли с неё верхнюю одежду. И как я уже указывал, в холодный амбар сажались без разбору вполне здоровые мужчины и старики, старухи, беременные женщины, а равно матери, у коих были грудные дети. Таких женщин держали в амбаре, не давая кормить своих детей, от этого дети голодали, а у матерей грубело молоко в грудях. А равно сажали в холодные амбары только что прибывших красноармейцев. Одним словом – всем горячо было.

Чтобы не быть голословным, укажу на некоторые случаи. Когда гражданка Денисенко Анастасия из посёлка Весёлый Кут сидела в амбаре, её грудной ребёнок оставался дома и его она не могла накормить. По заявлению зам. председателя сельсовета посёлка Медяково тов. Скрипко одним из арестованных был старик лет 60-ти, по фамилии Щербина. Просидев в амбаре, – говорит Скрипко, – старик простудился, заболел и через несколько дней умер. У оставшейся семьи из пяти детей (самому старшему было 12 лет) и слепой жены-старухи зарезали последнюю корову. Это было их единственное достояние, так как они больше никакого инвентаря – ни живого, ни мёртвого – не имели: что называется, бедняк в полном смысле. Для посева одной десятины он брал с весны семссуду и по снятию урожая сразу же таковую уплатил. Надо прямо сказать, отобрав последнюю корову, семью обрекли на верную смерть. Мне лично пришлось видеть его оставшуюся жену. Она пришла ко мне с жалобой одетая в разное отрепье и совершенно слепая, заливалась горькими слезами, говорила и просила нельзя ли как-то вернуть ей отнятую корову.

То же самое случилось и с другой вдовой того же посёлка – Лецкевич Акулиной, у которой зарезали последнюю корову и две

овцы из трёх. Эту женщину посадили в холодный амбар, сняв с неё верхнюю одежду, а предварительно нанесли ей один удар. Также при помощи семссуды эта вдова засевала в 1922 г. всего две десятины и по снятию урожая сразу же выплатила ссуду.

Не менее кошмарный случай имел место и с третьей семьёй, такой же вдовы, у которой тоже отобрали последнюю корову. Вдова вскоре умерла, оставив пятерых детей, и теперь дети брошены на произвол судьбы.

Возмутительный случай произошёл и с гр-ном посёлка Весёлый Кут Фёдором Дрыгайло. Вместе со всей своей семьёй он лежал больной тифом. В это время к нему приходят два красноармейца совместно с председателем сельсовета Гриценко и предлагают выполнить 100% продналога. Лежащий больной говорит: «Как же я могу выполнить? Вы видите, что я не могу встать с постели. Если уж это так спешно, то – вон, на дворе стоит моя скотина, берите её и режьте». В эту же ночь из штаба были присланы люди, которые забили имевшихся у него четырёх коров и восемь овец. При этом забой производился неопытными людьми, в силу чего из четырёх коровьих туш (несмотря на то, что четыре раза мыли и возили в Купинскую заготконтору), две не приняли и они лежат у Дрыгайло. Надо сказать, что забой последней скотины имел не случайный, а массовый характер, что видно из акта представителя ГубРКИ тов. Романова (при сём прилагается).

Все случаи подобных безобразий фиксировать не могу по чисто техническим соображениям и если останавливаюсь на некоторых лицах и случаях, то только потому, чтобы не быть голословным. Поэтому ограничусь ещё парой случаев и перейду к объективной оценке условий продработы и чинимых безобразий со стороны продработников.

Подобно указанному выше был арестован некий Калюжный Фёдор, старик 70-ти лет из посёлка Весёлый Кут Купинской волости, который заявил, что у него ничего нет: ни коровы, ни лошади и вообще никакого живого или мёртвого инвентаря. «Ввиду такого положения, – рассказывал он, – я сделал засев в одну десятину, но мне почему-то объект обложения был записан по спискам посева 1921 года, т.е. три десятины, а в удвоенном виде объект обложения числился в шесть десятин. В таком случае с меня причиталось

22,5 пуда продналога, а моя десятина дала всего два пуда. Поэтому вполне естественно, что уплатить налог урожаем снятого с одной десятины за шесть я не мог и за это меня посадили в холодный амбар, а после перегнали в Купино, где я также сидел в холодном помещении совместно с другими, человек 20. В продолжение двух суток нас не выпускали для естественных надобностей». Количество посева у гр-на Калюжного и факт содержания последнего в холодном амбаре удостоверяет председатель сельсовета Гриценко и секретарь того же совета Выходцев. В холодный амбар сажали и только что вернувшегося из Красной Армии Андрея Бобыря; ему также были нанесены побои. Одним словом, пощады никому не было, в разнузданности и в издевательстве не было предела.

Я задавал вопрос председателю сельсовета Гриценко: почему он сам принимал участие в этих безобразиях? На это он заявил: «Как же не принимать, когда Кирюхин и Петько приказывали красноармейцам, если я не буду исполнять их требования, бить меня прикладом. При этом, вынув револьверы, говорили красноармейцам: “Действуйте по-красноармейски!”». Я спрашивал секретаря сельсовета тов. Выходцева: «Кто вам дал право определения объектов обложения не по фактическому [посеву], как предусмотрено декретом о едином натуральном налоге?». Он заявил: «Как нам волость предписала, таков и был порядок исчисления объекта обложения». А последняя действовала, как мне удалось установить, на основании постановления Татарской Уопертройки от 6 октября 1922 г.

В этой части своего доклада я преднамеренно остановился больше всего на безобразиях чинимых в Татарском уезде, чтобы в дальнейшем сосредоточить всё внимание исключительно на Славгородском уезде. А потому заканчиваю о Татарском уезде, или точнее, о четырёх посёлках Купинской волости, из которых особенно тяжёлое впечатление оставили у меня Медяково и Весёлый Кут. Невольно представляется, что здесь была не умелая рука хозяйственника, а просто какое-то «мамаево побоище». От этих посёлков исходит дух пустыря, сельское хозяйство возможно в них восстановить при максимальной поддержке государства. Прилагаемый акт представителя ГубРКИ тов. Романова ярко характеризует

положение этих посёлков, а особенно это подтверждается председателем сельсовета пос. Весёлый Кут Гриценко в показаниях следователю выездной сессии ревтрибунала Покровскому от 17 декабря 1922 г. Из показаний видно, что под давлением КИРЮХИНА и ПЕТЬКО в их посёлке было забито 500 голов крупного и мелкого рогатого скота и выброшено из их утробы 500 штук приплода.

Из всего изложенного, но не всего описанного, что имеется в материалах следствия, можно ли представить себе более тяжёлую и кошмарную картину, которая явилась результатом продовольственной работы уполномоченных Татарского Упродкома КИРЮХИНА и ПЕТЬКО? И главное, всё это совершалось в тот момент, когда по Татарскому уезду уже было собрано 108% налога. Надо полагать, что их головотяпство добавило ничтожный процент, но само сельское хозяйство осталось трудно поправимым. Надо удивляться, как они не додумались выкинуть что-либо более кошмарное. Если в Вознесенке хотели ломать дом и вывезти в заготконтору, то тут оставалось просто поджечь дом, тогда картина безобразий была бы завершённой и эти два рьяных работника побили бы все рекорды.

Следует отметить, насколько разнузданно держали себя КИРЮХИН и ПЕТЬКО, когда арестовали Наталью Петренкову, стали сажать её в холодный амбар. Она заявляла, что находится в положении и скоро должна родить, но присутствовавшие здесь красноармейцы сказали: иди скорее родить в холодный амбар. И если бы не приехал из Купино её муж и не выручил её, она, наверное, разрешилась бы в амбаре, так как после освобождения из амбара она родила через 15 часов. После проделанной «работы» КИРЮХИН и ПЕТЬКО, выезжая из посёлка Медяково, со своими красноармейцами запели песню следующего содержания:

Сибирь наша хлебородна:
Хлеб отдала красным,
Сама сидит голодной.

Я уже говорил выше, что описать всё, что имело место, невозможно и можно закончить о том, что в этом районе, а точнее – в

четырёх посёлках, где работа проводилась под руководством КИРЮХИНА и ПЕТЬКО, отсутствовала всякая законность, а существовали личное право и произвол каждого. А так как всех, кто работал под их руководством установить очень трудно, самих КИРЮХИНА и ПЕТЬКО надлежит арестовать и содержать под стражей до суда, предъявив им обвинение по ст. ст. 106, 109, 114, 140, 157, 159, 160, 172, 194 и 197. Кроме того, надлежит немедленно арестовать и предать суду продинспектора Шмолинской волости Славгородского уезда ТИМЕНА, бывшего инструктора Славупродкома МИТРОФАНОВА, командира отряда КомЧОН БЕРЕЖНЯКА, красноармейцев этого отряда КНЯЗЕВА, АНШПУРА и НЕХОТЕЕВА за попытку изнасилования нескольких женщин, предъявив им обвинение по ст. 169 Уголовного Кодекса. (Необходимо оговориться, что МИТРОФАНОВ, ТИМЕН, милиционер РОЗЕН, уполномоченный Ключевского волисполкома ВАНЮТА и гр-н посёлка Чигиринского ЛЕЩЕНКО уже арестованы).

Кроме того, на основании ст. 15 и 16 Угол. Кодекса надлежит привлечь к ответственности по ст. 140, п.«а» ТИМЕНА и МИТРОФАНОВА, так как, являясь должностными лицами и покупая самогонку, способствовали рецидиву выгонки самогона. Поскольку эти действия совершались в момент исполнения служебных обязанностей, дискредитировали Советскую власть, а потому подлежат привлечению к ответственности и по ст. 109 УК.

Поскольку не удалось точно установить кем из армейцев кав. эскадрона командира ВОЛЖСКОГО производились истязания и лишение свободы крестьян, надлежит привлечь в порядке ст. 15 УК самого командира ВОЛЖСКОГО по ст. 109 и 159 УК. Кроме того, надлежит привлечь к ответственности по ст. 163 УК милиционера Нижнесуетской волости РОЗЕН, так как в момент попытки к изнасилованию продинспектором ТИМЕНОМ гр-нок села Чигиринского Нижнесуетской волости он оставил их в угрожающем для их жизни положении. Принимая во внимание его пьянство совместно с гр-ном ЛЕЩЕНКО из пос. Чигиринского и продинспектором ТИМЕНОМ, и что как должностное лицо он лично приобретал самогонку, этим поощрял винокурение, все трое на основании ст. 15 и 16 УК подлежат ответственности по ст. 140, п.«а» УК.

Кроме того, милиционера РОЗЕН и продинспекторов Нижнесуетской волости КОВРИГИНА и ТИМЕНА за пьянство и учинение драки между собой на улице в селе Нижняя Суетка, как дискредитирующих власть, надлежит привлечь к ответственности по ст. 109 УК.

Продинспектора КОВРИГИНА надлежит привлечь к ответственности на основании ст. 15 и 16 УК по ст. 169 УК, так как в момент попытки продинспектором МИТРОФАНОВЫМ изнасилования двух гр-нок Баклановых из села Нижняя Суетка не предпринял никаких мер к ограждению этих гр-нок, что мог бы сделать, так как МИТРОФАНОВ находился у него на квартире, а аресты Баклановых были проведены за неуплату продналога и поэтому всецело находились в ведении КОВРИГИНА.

Кроме того, в момент нанесения МИТРОФАНОВЫМ удара прикладом одной из дочерей Баклановой присутствовавший при этом КОВРИГИН никаких мер не предпринял. При своевременных мерах со стороны КОВРИГИНА можно было бы не допустить к осуществлению МИТРОФАНОВЫМ своих вожделений, а равно и нанесения побоев гр-нке Баклановой и её дочери.

Надлежит привлечь также уполномоченного по продналогу Ключевского волисполкома гр-на ВАНЮТУ по ст. 186 УК за расхищение конфискованного имущества.

В целях получения кредита от крестьянства[14] для Советской власти необходимо всех могущих быть обнаруженных преступников немедленно арестовать и привлечь к ответственности.

Приступая к исследованию методов продовольственной работы по Славгородскому уезду, надо сказать, что если рассматривать вопрос с точки зрения правовых гарантий, придётся констатировать массу случаев уголовно-наказуемых деяний. Но поскольку это меньше всего касалось нашей Комиссии, постольку вопрос об определении виновности и привлечения к ответственности того или иного лица или целого органа предоставляю другим. Поэтому своим докладом я берусь фиксировать только факты нарушения законов Центра и количество тех или иных преступлений. Это обстоятельство до известной степени может меня реабилитировать как завзятого обвинителя и просто поставить в положение человека, входящего в оценку всего содеянного в момент продовольственной работы по Славгородскому и Татарскому уездам. При этом хочу

оговориться, что каждое действие мы подводим под рамки законности, и в данном случае, как бы мы этого ни хотели, всё же придется констатировать наличие фактов, выходящих за пределы законности. А поскольку это так, то очевидно будем вынуждены каждого участника, учинившего то или другое нарушение закона, привлечь к надлежащей ответственности. Говоря таким языком, я надеюсь, что ни у кого не будет никаких поводов и права ругать меня за такую откровенность.(…)

Если мы остановимся на соблюдении законов, то постановление Славгородской Уопертройки от 7 ноября 1922 г. и на основании этого изданного приказа и предписание Славуопертройки командиру кавэскадрона ВОЛЖСКОМУ от 10 ноября 1922 г., нельзя признать законным, так как в указанном постановлении имеется прямое нарушение закона, выразившееся в том, что продработникам, в частности ВОЛЖСКОМУ, этими актами развязывались руки в его действиях.[15] Этим приказом определённо рекомендуется применить все меры вооружённого нажима к налогоплательщикам (кроме расстрела), обхват селений и собраний, набег ночью, военное положение, а также при въезде в село или поселок видеть перед собой врага, применять к нему все меры вооружённого нажима, взять его в ежовые рукавицы и навести панический ужас и т.д. и проч. Вся указанная терминология методов нажима никак не укладывается в понятия законов. Даже немыслимо допустить, чтобы заложенные меры в приказе можно было бы применить к мирным жителям деревни. Насколько известно, в горячую минуту военных действий при наступлении армии на неприятельскую местность не рекомендуется видеть в мирных жителях деревни своего врага и производить над ними каких-либо насилий. Говоря откровенно, настоящий приказ, разосланный 10 ноября 1922 г., в большой степени послужил безобразиям, которые имелись в Славгородском уезде. Мне пришлось говорить по этому поводу с помощником старшего инспектора Кулундинской заготконторы тов. БРЕУСОМ, как опытным военным человеком, бывшим в своё время командиром дивизиона в армии Будённого и командиром кавэскадрона на продфронте в Славгородском уезде 1921 года. Он заявил, что военный человек не мог иначе понять этот приказ как боевой, и командир кавэскадрона

ВОЛЖСКИЙ действовал в пределах этого приказа, считая безусловным его исполнение. Тов. БРЕУС заявил также, что если бы этот приказ провести в жизнь в полной мере, то картина могла получиться ещё печальнее, и ни ВОЛЖСКИЙ, ни его солдаты за последствия не могли отвечать, а пришлось бы отнести последствия всецело к автору этого приказа.

Издание такого приказа не может рассматриваться иначе как превышение власти, и виновные должны бы караться по ст. 106 Уголовного Кодекса и на основании ст.16 УК, кои могут быть предъявлены командиру ВОЛЖСКОМУ за учинённые его отрядом насилия.

Необходимо указать также на неточность предоставляемых мер воздействия на налогоплательщиков пунктом 5 приказа зам. Предсибпродкома от 5 ноября 1922 г. В нём предписывается железной рукой карать всех уклоняющихся от выполнения продналога. Как далеко могла эта рука распространяться, из приказа ничего не видно. Мыслился ли тут предел железного нажима в существующих законах или предоставлялось каждому продработнику понять так, как это будет для него удобным? Поэтому, подходя к расследованию преступлений имевших место в связи с продкампанией в Славгородском уезде, трудно установить, откуда получилось начало этого зла и кто в первую очередь и больше всего должен за это отвечать.[16]

Чинимые солдатами кавэскадрона безобразия имели массовый характер, поэтому отдельных виновников установить не удалось. И достичь что-либо в этом направлении можно было только при условии очной ставки всех потерпевших с эскадроном.

Я указывал выше, что трудно установить главного виновника тех безобразий, кои имели место в Славгородском уезде, так как внушение о применении жестоких мер к налогоплательщикам не ограничивалось вышеуказанными приказами, а наоборот, уполномоченный Губисполкома и Губкома ЗВЕРЕВ своим приказом от 22 ноября 1922 г. предлагает ВОЛЖСКОМУ использовать все меры военного нажима так, чтобы от этого не получилось бесхлебье. Что оставалось делать командиру ВОЛЖСКОМУ как не приступить к исполнению этих предписаний и навести требуемый панический ужас.

Помимо указанных предписаний отдельным товарищам давались аналогичные мандаты. Для характеристики приведу несколько выдержек из мандата, выданного 21 ноября 1922 г. Славгородским упродкомом заведующему инспекторским п/отделом Славупродкома СЕРЕБРЯКОВУ, выезжавшему в качестве уполномоченного по продналоговым делам в Бурлинский район, и подписанный ЗВЕРЕВЫМ, СТУПАКОМ и АЛЁШИНЫМ. Мандат состоит из 14-ти пунктов и содержит в себе целый букет всевозможных неограниченных прав СЕРЕБРЯКОВУ.(…)

Принимались ли какие-либо меры со стороны СЕРЕБРЯКОВА в пределах данного мандата, кроме тех, кои указаны в его докладе, Комиссия не выясняла. По его заявлению видно, что им производились только аресты и давались указания. В своём докладе он говорит, что арестовал 120 крестьян, разбив их на две группы, предварительно отобрав хлеб, табак и спички, держал голодными по двое суток и гонял их то в Хорошее, то в Песчанское, на расстояние 18-ти вёрст. Кроме того, СЕРЕБРЯКОВ подтверждает ещё то обстоятельство, что в Хорошенской и Песчанской волостях была применена контрольная цифра по посеву 1921 года. Поэтому, когда крестьянин сеял одну-две десятины, налог с него причитался до 300 пудов.(…)

…Продинспектор ЕМЕЛЬЯНОВИЧ был для себя бог и чёрт и никаких приказов, кроме своих, для него, очевидно, не существовало. Своим приказом №34 продинспектор ЕМЕЛЬЯНОВИЧ пошёл гораздо дальше, чем циркуляр Уопертройки. Пункт 5 его приказа обязывает все многолавки[17] не принимать хлеб от крестьян в товарообмен, у коих не имеется удостоверения от сельсовета о выполнении всех 100% продналога. Такое распоряжение равносильно, с одной стороны, закрытию рынка и свободного товарообмена между крестьянством и государственными и кооперативными организациями, с другой – вынуждал крестьян сбывать хлеб на сторону в руки спекулянтов. Но ещё более решительно ЕМЕЛЬЯНОВИЧ предпринимал незаконные меры (п. 7 и 8 его приказа), когда предлагал удесятерить военный нажим так, чтобы налогоплательщики трепетали и в них видели бы определённого врага. Он предлагал создать в сёлах военный режим и тюремный порядок, превратить районы, сёла и кварталы в лагерь со всеми тяжёлыми

последствиями. Одним словом, из этих пунктов пахнет осадным положением. В отношении арестованных ЕМЕЛЬЯНОВИЧ превзошёл всякие меры жестокости. Он приказывал заключённых держать под замком и выпускать по своим надобностям не более четырех раз в сутки, выдавать по $^1/_2$ фунта хлеба в сутки и кружку холодной воды. Одним словом, его приказ состоит из элементов головотяпства, превышения власти и истязаний, что карается по ст. 106 и 107 Уголовного Кодекса.

Чем дальше следишь за ходом продработы в Славгородском уезде, тем больше отыскивается интересных вещей. И если они не носят уголовный характер, то всё же не исключены своеобразной оригинальности и говорят о том, насколько ответработники не считаются с нормами закона, в особенности – продработники.

Возьмём такой случай. Славгородская Уопертройка 20 и 23 октября 1922 г. постановляет изъять во временное пользование у всех частных торговцев Славгородского рынка весы, которые могут взвешивать до 40 пудов груза. Изъятие поручается произвести начальнику милиции и зав. коммун. отделом. После этого Уопертройка постановляет изъять ключи – каких и для чего в постановлении не говорится. Такому наказанию подвергаются волости: Ключевская, Троицкая, Златополинская и Каипская. Или вот приказ Славгородской Уопертройки от 22 октября 1922 г., коим предлагается продинспектуре (…) составлять протоколы и независимо ни от каких обстоятельств предавать суду. Или – постановление Славгородской Уопертройки от 18 октября 1922 г. подвергает аресту в административном порядке на 15 суток с отстранением от должности предволисполкомов Ключевского и Вознесенской волостей, при этом оговаривается, что заключить под арест со строгой изоляцией.

Следует отметить и доклад от 29 декабря 1922 г. начальника военного отряда ФАДЕЕВА из села Знаменка. В докладе он указывает, что составленные им ударные группы ходят по дворам и отбирают в продналог последних коров. Уполномоченный губисполкома ЗВЕРЕВ не только не запретил ФАДЕЕВУ отбирать коров, но наоборот, наложил резолюцию, в которой предлагает безоговорочно выполнить налоговое задание во что бы то ни стало.(…)

Не лишена интереса и записка от 4 декабря 1922 г. ЗВЕРЕВА на имя командира эскадрона ВОЛЖСКОГО. В ней он пишет

ВОЛЖСКОМУ, что вверенный последнему эскадрон кавалерии за неплатёж налога якобы разгоняет похоронные процессии и совершает извращённые поступки с телами умерших и что-то ещё в этом роде. А также топтанье лошадьми неплательщиков и т.д. и проч. Дальше говорится в этой записке: прекратите и предотвратите, в дальнейшем подробно доносите. На это отношение командир ВОЛЖСКИЙ отвечает, что его отряд отлично понимает государственную боевую задачу в выполнении 100% налога и которую с честью выполняет и что всё то, что отмечено в записке ЗВЕРЕВА, есть ни на чём не основанная ложь. И этим исчерпывается поднятый ЗВЕРЕВЫМ вопрос. Так как ЗВЕРЕВ не проверил каким-либо другим путём циркулирующие весьма серьёзные слухи, зная хорошо, что в случае, если бы подтвердилось, что похоронные процессии разгоняются отрядом и что издеваются над мёртвыми телами, виновные должны быть привлечены к ответственности по ст. 125 Уголовного Кодекса.

Тоже самое происходит и с перепиской ЗВЕРЕВА с ФАДЕЕВЫМ от 4 декабря 1922 г., в которой ФАДЕЕВУ указывается, что будто бы красноармейцы его отряда избивают налогоплательщиков и что он, ЗВЕРЕВ предлагает расследовать и принять нужные меры.(…)

После отмеченных сногсшибательных приказов ЗВЕРЕВ от себя продолжает сыпать как из рога изобилия. Он пишет от 15 ноября 1922 г. на имя пом. старшего налогового инспектора, что тот должен выехать в район: «Делайте решительный нажим таким образом, чтобы материалы [о неплательщиках] непрерывно готовились, налог выполнялся, а неплательщик в панике дрожал. Введите суровый режим, всех арестованных выдерживайте на голодной норме и не пускайте их ни на какие свидания с семьей».

Или вот другое отношение (тоже без даты) на имя командира каввзвода ИГНАТЬЕВА, в котором говорится: «В директиве ясно одно: какое бы средство не пришлось пустить в ход, налог полностью надо взять. Ни мольба, ни просьбы, ни что не служит поводом к сложению [налога]. Всякие ходатайства – пустой звук». Дальше он предлагает применять твёрдый, жёсткий нажим – обхват сёл, закрытие дорог, окружение целых собраний в форме оцепления во время боя; чем жёстче и грубее будут меры такого

воздействия, тем меньше будут разорены через суд. Короче говоря, предлагается в средствах и методах не стеснять себя, действовать решительно, по-боевому. Порукой всему – директива ЦК нашей партии.(…)

Я полагаю, что достаточно остановился на распоряжениях ЗВЕРЕВА, и дальше о них говорить не буду, так как все они на один лад и об одном и том же говорят: «жать и жать», больше ничего.(…)

Отмечу ещё один документ. Это – [обращение] гр-на села Северского Ключевской волости САРАФАНОВА Никанора, который пишет в Славгородский отдел социального обеспечения: «Ввиду непосильного налога по урожаю 1921 года граждане выплатить не могут, за что их посчитали злостными неплательщиками, а ЕМЕЛЬЯНОВИЧ отдал распоряжение отобрать скот, безразлично какой бы то ни был, а также инвентарь, заколачивая дома и выгоняя из них семейства до малых детей. Дал распоряжение выгнанные семьи не пускать на квартиры. Скот угонялся в волость без всякого суда. Эти ужасы привели крестьян к катастрофическому состоянию».

Этот документ, если соответствует действительности, отражает какую-то инквизицию и, казалось бы, в данном случае надлежало бы проверить в порядке следствия. Но мы, в силу наказа, данного нашей Комиссии, этого сделать не могли, так как вся наша работа должна была ограничиться имеющимися у нас материалами, добытыми и изъятыми у органов дознания и следствия, а указанный документ был извлечён совершенно из других органов. Чтобы по нему вести следствие, требовалось согласие представителя Губкома, которого, к сожалению, в нашей Комиссии не было, почему этот документ может являться простым материалом, характеризующим положение на месте.(…)

Отмечу ещё характерный случай с телеграммой, составленной на имя Председателя ВЦИК тов. КАЛИНИНА гражданами села Утянка, той же волости, Славгородского уезда и подписанной гр-ном СОСНОВСКИМ, которая по каким-то роковым обстоятельствам не была принята на телеграфе. Зав. Политбюро[18] тов. БОЛОТНЫЙ в своих показаниях от 18 февраля 1923 г. говорит, что эту телеграмму получил от зав. отделом управления

ШАРГОРОДСКОГО. Тот принёс её к нему и спрашивал как поступить. БОЛОТНЫЙ разъяснил, чтобы последний указал гр-ну СОСНОВСКОМУ об ответственности за действительность сведений, изложенных в телеграмме. Пока ШАРГОРОДСКИЙ был у меня, гражданин СОСНОВСКИЙ куда-то скрылся, поэтому телеграмма была передана мне, я передал своему заместителю ЕФРЕМЕНКО, а последним была передана пом. прокурора по Славгородскому уезду тов. ЕВМИНУ.(…)

Характерен также документ Ключевского волисполкома на имя Славгородского Уисполкома от 3 декабря 1922 г., в котором говорится: «Ключевской волисполком вынужден довести до вашего сведения, что в районе Ключевской волости осуждено крестьян судебными приказами и приговорами – 161 человек с конфискацией всего имущества. Судебные приговоры и приказы приведены в исполнение. Всё имущество конфисковано, крестьяне со своими семьями выдворены из домов, дома заколочены. С учётом конфискованного имущества налога ещё 100% не выполнено. Описано имуществ по волости около 250 крестьян за неуплату налога. Причитается налога 462 475 пудов без промсбора и семссуды и недоимки 1921 года, а выполнено по ордерам 252 669 пудов, не считая конфискованного имущества. Ещё конфисковано две коммуны «Заря» и «Карл Маркс». Первая – по судебному приказу, вторая – по приговору. Приказы с приговорами приведены в исполнение продорганами. Просьба дать от вас какое-либо распоряжение или указание, так как масса семей просит волисполком, чтобы их снабдили квартирами или разрешили зайти в свои отчуждённые дома».

Другой документ Ключевского волисполкома в Славгородский Уисполком, основанный отчасти на отношении Петуховского сельсовета от 2/XII-22 г. и приказа ЕМЕЛЬЯНОВИЧА от 25 ноября 1922 г., в котором говорится: «По имеющимся сведениям от сельсоветов:

1) 2 декабря с/г прибыв в село Петухово инспектор ГРОМОВ за неуплату недоимки 1921 года посадил граждан в холодный амбар в ночь на 3 декабря с/г. Многие из них были бедняки, очень плохо одеты, в скверных кожаных сапогах. Была посажена также красноармейка с малым ребёнком на руках. Зам. предсовета

Гусевым Митрофаном было предупреждено тов. ГРОМОВУ, что при Петуховском сельсовете есть отдельные тёплые помещения, но ГРОМОВ на это внимания не обратил.

2) 2 декабря с/г в село Покровку прибыл кавалерийский эскадрон под командой ВОЛЖСКОГО. Были созваны все граждане. Командир ВОЛЖСКИЙ вывел население на площадь, оцепив таковое, выставил пулемёт. Заложив ленту и обнажив шашки, подал команду: “Руби!”. Отряд врезался в толпу, получилась полная паника. После этого многие женщины перепугались и заболели.

3) Приказом пом. старшего инспектора ЕМЕЛЬЯНОВИЧА была дана пеня на волость в 92 000 пудов и предложено немедленно внести в заготконтору. Ввиду этого крестьяне продали массу скота за бесценок, дабы не пойти под суд, а впоследствии эта пеня была отменена. Но проданную скотину не воротить, о чём и доводится до сведения Славуисполкома».(…)»

Ещё пару слов отмечу о Славгородском уезде из показаний предуисполкома тов. СТУПАК от 21 февраля с/г. В них окончательно характеризуется обстановка продработы по Славгородскому уезду. Тов. СТУПАК между прочим говорит, что (…) все принятые репрессивные меры в изданных приказах, в частности, данных полномочий командиру кавэскадрона ВОЛЖСКОМУ, вызывались упорством самого крестьянства, так как без указанных мер воздействия, преподанных приказами и распоряжениями всем продработникам, Уопертройка считала невозможным выполнить все 100%.(…)

На вопрос – на каком основании волпродинспекторам Уопертройка предоставила право в административном порядке на аресты на 7 суток налогоплательщиков? – тов. СТУПАК говорит, что это сделано по телеграфному распоряжению Предгубисполкома и Губпродкомиссара за №305/03 и 309/03. (…) (Само постановление Уопертройки от 16 ноября 1922 г. говорит просто: «Предоставить право волпродинспекторам производить аресты неплательщиков до 7 суток»).(…)

Что же касается установления тюремного режима для арестованных, с лишением табака, спичек и т.д. и с выдачей $^1/_2$ фунта хлеба в сутки вызывалось, как говорит СТУПАК, необходимостью воздействия.(…)

Далее тов. СТУПАК объясняет административные аресты в количестве 5 429 чел. налогоплательщиков и 719 человек должностных лиц, произведенные продработниками. Из них утверждена Упродкомом только часть арестов, а бо́льшая часть проходила без всякого утверждения постановлений и только потому, что продинспектура не сообщала о проводимых ею административных мерах.(…)

Заканчивая доклад, я должен сказать, что все обвинения выдвинутые против лиц, кои выставлены в докладе, являются доказанными следственными материалами, основаны на свидетельских показаниях и официальных документах. Не будет, однако, ошибкой сказать, что весь материал составляет лишь половину по количеству и по степени установленных преступлений.(…)

В начале продкампании мы кричали: «Прочь все формальности!» и считали, что каждый честный коммунист в основу своей работы не должен брать [формальности]. Теперь же обязанность каждого коммуниста, в том числе продовольственников, быть ближе к законности в своих действиях. Под словами «Долой формальности!» на местах поняли «Долой всякую законность», что и доказывается постановлениями Славгородской Уопертройки и Уполномоченного Губисполкома ЗВЕРЕВА.(…)

Я полагал бы, вместе с привлечением к ответственности некоторых лиц войти в рассмотрение вопроса о принятии мер к освобождению некоторых осуждённых, так как часть из них – очень старые, а у других осталось хозяйство на произвол судьбы. (…) Кроме того, для усиления сельского хозяйства необходимо было бы его снабжение, хотя бы на 50% выдаваемой семссуды безпроцентно, чем можно было бы заинтересовать крестьянство к расширению площади посева, а для некоторых бедняков сильно пострадавших от результатов продкампании, выдать отобранную скотину или соответствующим образом вознаградить за это и дать возможность приобрести таковую и заняться своим хозяйством.

Зам. Губпрокурора, председатель
Особой Следственной Комиссии Веселовский (*подпись*)

* * *

ВЕДОМОСТЬ
конфискованного имущества по Кулундинской и Славгородской заготконторам в кампании сбора продналога с 15 ноября 1922 г. по 20 февраля 1923 г.[19]

№ п/п	Наименование конфискованного имущества	Поступило	Из этого продано (или зарезано)
	Животные		
1	Лошади	1144	1048
2	Коровы	237	195
3	Телята	4	–
4	Овцы	339	313
5	Козы	2	–
6	Свиньи	25	24
7	Домашняя птица	165	62
	С/х инвентарь		
8	Плуги	187	35
9	Бороны	29	2
10	Сани	61	36
11	Брички и ходки	151	41
12	Лобогрейки	64	11
13	Веялки	26	5
14	Молотилки	14	1
15	Телеги	31	1
16	Конные грабли	43	5
17	Хомуты	97	43
	Домашние вещи		
18	Диваны	2	1
19	Столы	15	6
20	Скамейки и табуретки	9	8
21	Швейные машины	16	5
22	Самовары	16	9
23	Сепараторы	3	1
24	Кровати	1	–
25	Овчины	1058	6

Возможно, введение в доклад указанных актов представителя РКИ было бы не очень необходимым, но они требуются для того, чтобы составить [мнение] о тех скоплениях, кои получились в Кулундинской [и Славгородской] заготконторах и о том, что в Татарском уезде КИРЮХИНЫМ и ПЕТЬКО отобрана последняя скотина у некоторых граждан. Возможно, накопления этих заготконтор и состоят из тех крох, которые отняты у таких как слепая вдова Щедрина, оставшаяся с пятью детьми. Кроме того, эти акты очень хорошо характеризуют продовольственную тактику в смысле нажима по выполнению продналога. Чего только мы тут не видим, начиная от сельхозинвентаря и кончая костюмами, самоварами, швейными машинами и деревянными полками – всё конфисковывалось, ничему не было пощады, забиралось всё, что попадало под руку. Надо отметить, что эти накопления есть не меньшее преступление, как если бы в заготконторах оказалась недостача. Недостача объясняется хищением из государственного склада, а излишек нужно признать также хищением, но только у крестьянства. Поэтому, мне кажется, что заведующий заготконторой, имеющий такие накопления должен быть привлечен к ответственности.(…)

Зам. Губпрокурора, председатель
Особой Следственной Комиссии Веселовский (*подпись*)

Михаил Шмулёв
БАЛХАШ
(Из книги «Эпистолы в прошлое и настоящее»)

Мой двоюродный брат Василий Иванович проживал где-то около станции Лепсы, он работал в подхозе от Балхашского завода. В местном совете объяснили, что это на берегу озера Балхаш в 60 километрах от станции – места тут пустынные, селений нет, поэтому все знали окрестности.

Я отправился в путь, не думая, каким он станет для меня тяжким. У меня была обувь, но всё равно шагал я босиком. Если бы

дорога шла в наших краях, где селения через каждые десять километров, то проблем бы не было – сегодня или завтра, через день или два, а, может, и три, я бы легко преодолел эту дистанцию. Но на моём новом пути не оказалось ни одного села, посёлка или аула.

Безрассудства в то время у меня было больше, чем нужно. Казахстан – почти пустыня. Днём жара невыносимая, а ночью прохладно. Сколько километров прошагал – не знаю, но к вечеру меня догнала подвода, как раз направляющаяся к подхозу. Возница предложил:

– Садись да рассказывай, куда это ты идёшь?

Очевидно, подумал – паренёк по незнанию, а, может, по слабости ума собрался в такой путь. Всего-то я отмахал километров 20, а впереди ещё 40, как быть с ночёвкой? Что бы я делал один в поле? А волки! Безумный, не иначе...

Вскоре мы свернули с дороги и остановились на ночёвку в пустующем домике, специально построенном на средине пути для проезжающих. Где-то недалеко выли волки. Мне приходилось раньше слушать волчий вой, но такого ещё – ни разу. Это какая-то дикая симфония. Голоса были разные – выла целая стая. Лошади в загоне пугливо жались к домику, надеясь на защиту людей. Слава Богу – волки находились на другом берегу Лепсы.

– Что было бы с тобой, окажись ты один в поле? Они бы загрызли, растерзали бы тебя, – обратился ко мне мой спаситель.

На следующий день вечером мы подъехали к подсобному хозяйству. Тут выращивали овощи, а затем отправляли их баржами на стройку в посёлок Балхаш.

Дядя Николай – так звали возчика – сдал меня моему брату. Оказалось, они знали друг друга – он работал продавцом в магазинчике, торгующем продуктами.

Василий Иванович, конечно, страшно удивился, увидев меня, да ещё в таком виде. Грязный, немытый, в обносках, худой и сильно выросший за два года – с того времени, когда он меня видел последний раз. Сразу же дал конфет, печенья и отправил к себе домой. В обеденный перерыв всё подробно расспросил и тут же принял решение: вечером отходит очередная

баржа с овощами в Балхаш, и он договорится с водоливом (так называли на баржах капитана), чтобы взял меня с собой.

Я пробыл у брата несколько часов. И сразу понял, что для жены Василия Ивановича, Марии, я был нежелательным гостем. Она боялась нахлебников. У них когда-то жила моя сестра Лиза, а потом уехала в Балхаш с партией коров. Лиза работала дояркой. Получалось, что освободились от одной обузы – свалилась новая. Так, видимо, думала Мария.

Василий Иванович снарядил меня кой-какой одеждой и продуктами, и положил в карман 17 рублей. Другой брат отца, Алексей, проводил меня до баржи, попрощался, поручив попечение надо мной капитану.

На барже я познакомился с двенадцатилетней девочкой, которая отправлялась к своей сестре в Балхаш.

Отплытие состоялось ранним утром. Маленький, пыхтящий катерок вывел огромную баржу, полностью нагруженную свежими овощами, на простор озера. И мы поплыли.

Из моего нерадостного детства это плавание было самым ярким, светлым воспоминанием. Море – а размеры озера позволяли называть его морем, оно представлялось таковым особенно для меня, ранее плававшего только по книжным морям и океанам – было тихим, спокойным почти на всём пути. Лишь под конец путешествия нас захватил шторм. А так плавание было счастливым и радостным. Нас кормили из общего котла. Кок (повар) готовил такие обеды, которые я никогда ещё не пробовал. Особенно понравился борщ – такой, что его вкус запомнился на всю жизнь. Свежие овощи, молодая баранина, атмосфера доброжелательности делали своё доброе дело. Я охотно рассказывал о своих приключениях, и они казались яркими, живописными. Это сейчас всё потускнело, забылось, а тогда всё виделось, как на картине.

С девочкой я очень подружился, и мы даже условились в Балхаше встретиться. И действительно встретились – через четыре года. Но, увы, тёплой и доброй доверительности уже не было. Ей исполнилось 16, а мне 18, и я собирался служить в армии. Но и эта случайная дружба стала одним из самых светлых эпизодов моей юности...

Когда пристали к причалу, я, поблагодарив всех и попрощавшись, отправился в посёлок Коунрад, где жила сестра. К тому времени она вышла замуж за хорошего человека – Геннадия.

Восемнадцать километров были для меня пустейшим делом – и вот я в семье моей сестры. Понятное дело, были слёзы, охи и ахи. Как же это я сумел преодолеть такое пространство с одним рублём в картузе? Геннадий Терентьевич принял меня хорошо. Он работал на руднике десятником и зарабатывал неплохо. У них родился сын – Михаил.

Геннадий был в отпуске, и через день-другой решил, что поедет на родину – в Сибирь (тогда наши места назывались Западной Сибирью) и там всё расскажет про меня. Ведь никто из домашних и односельчан не знал, куда я исчез. Хотя, конечно, догадывались, что я укатил в Казахстан, где развернулись большие стройки. Многие уезжали, убегали из «колхозного рая» туда на заработки – навсегда и без всякого сожаления.

Я написал домой письмо, в котором всё объяснил и обещал никогда не забывать своих родных. Дома оставались мать и два брата – Григорий и Александр.

Таким образом, мой очередной «причал» оказался далёким от Сибири, манил к новым берегам и иной жизни.

В те годы подростки моего возраста работали и учились в школах, иногда в вечерних. Мне надо было закончить семилетку, поэтому я записался в вечернюю школу – в соседний посёлок за четыре километра. Одновременно поступил учеником в маркшейдерское бюро, с обязанностью носить треногу, нивелир и другие геодезические приборы.

Конечно, маркшейдером я не стал, не стал и чертёжником – почерк у меня никудышний, таким, между прочим, он и остался на всю жизнь. Говорят, есть графологи, определяющие судьбу человека по его почерку. Может, это и так. Почерк у меня – изломанный, не аккуратный, небрежный. Такова и судьба моя – изломанная: подъёмы и спады, виражи и закрутки, сжатие до упора, как у стальной пружины, и мгновенная «отдача», возвращение на исходные рубежи.

Прошёл год спокойной жизни, а потом мой зять Геннадий Терентьевич решил сменить место работы и переехать на другой

рудник, где, как говорили, заработки побольше – около города Талды-Курган, в Текели. Это очень далеко от Балхаша. И всё оказалось наоборот. Низкие заработки, неустроенное жильё, отсутствие элементарных удобств. Но главное, начались проблемы – я постоянно чувствовал себя нахлебником! А у меня в характере – желание быть самостоятельным и независимым. Плюс тяга к перемене. Я заявил сестре, что уезжаю от них в Алма-Ату, где можно одновременно работать и учиться, причём старался быть очень деликатным.

Сестра отговаривала меня, со слезами, убеждая, что в делах семейных, каких-то разногласиях не я причина. Но что делать, я принял решение и упорствовал в желании уехать. В общем, она проводила меня, и это был очередной побег в неизвестность.

И снова шпалы, колея железной дороги, тормозные площадки, базары и толчея людская.

Должен сказать, я никогда не был грешен в чём-то большом. Бог свидетель, я не крал кошельки, никогда не лазал по карманам. Одно дело – булка хлеба, кусок колбасы, арбуз или огурцы и совсем другое – кошелёк, деньги. Да, я просто был «колхозником», не умеющим ничего из воровского – того, чем обычно занимается мелкая шпана.

Мне уже исполнилось 15 лет, и я был крепким, нормально одетым парнем, внушающим доверие у работяг…

Алма-Ата…

По утрам у колхозного базара скапливались подводы с овощами и прочими товарами. Их нужно разгрузить и перенести к прилавкам, тут всегда находилась работа. Плата – всякая снедь, а то и небольшие деньги, которых хватало, чтобы хорошо пообедать.

Ночевал в парке, в пустующих киосках, а то и в сараях, если они были вне хозяйского глаза. Старался не попадаться в поле зрения милиции, работу искал по объявлениям. Раза два нанимался за мизерную мзду в сад – копать, полоть, убирать мусор.

Так прошло месяца два. Хорошей работы с общежитием, постелью и перспективой учёбы всё не попадалось. И такая

жизнь, после побывки в семье сестры, меня уже не могла устраивать. Появилась мысль – а почему бы не вернуться в Балхаш? На тамошних стройках существовали общежития и спрос на любую работу был всегда.

Задумано – сделано. Проблем с передвижением по железной дороге не было. Всё те же площадки, товарняки и станции. На пристани Бурлю-Тюбе я смело подошёл к капитану, рассказал придуманную историю и попросил за любую работу на пароходе перевезти меня в Балхаш. Капитан кивнул головой и предложил подгребать лопатой уголь поближе к кочегару, который бросал его в топку. Кормёжка – за счёт пароходной кухни. На пароходе «Фомин» я доплыл до пристани, называемой бухтой Бертыс.

Разыскал сестру. Они уже вернулись в Балхаш. Зять работал на строительстве обогатительной фабрики и получил комнату в бараке. Приняли меня без нареканий и упрёков. Однако я заявил, что буду жить отдельно. Так и получилось. Я устроился учеником газорезчика и поселился в общежитии. Плата, конечно, маленькая, ученическая, но и то хорошо.

Что представлял из себя, вначале посёлок, а затем – город Балхаш? Бараки, бараки – ни одного дома. Даже поселковый совет – средоточие советской власти – тоже в бараке. Они были семейные и холостяцкие, с одной кухонькой, похожей на тамбур, в которой размещалась уборщица со своим небогатым инвентарём. Койки впритык друг к другу, с небольшим проходом между ними. На стенах – тарелки (радио) и непременные плакаты, типа: «Выполним – перевыполним…», «Добьёмся…», «Будем бдительными…», «Ответим…»

Посёлки назывались: Социалистический, Метро, Аварийный и Новый город. Социалистический – сотни две бараков, несколько общественных уборных, кубовых и барачного типа дом культуры, один на все посёлки. И нигде ни одного деревца, никакой зелени. Бараки и песок.

Удивительное дело! Название Социалистический ни у кого не вызывало возражения. А надо бы спросить, если он называется «социалистический», то зачем менять капитализм на социализм? Неужели и там, впереди, в социалистическом «раю»

будут такие же бараки? К чему тогда революция, гражданская война, миллионы погибших, репрессированных? Правда, потом, через несколько лет, нашлась-таки умная голова из первых секретарей, которая определила такое название как профанацию, опошление социдеи, посёлок переименовали в Набережный.

А Новый город! Построили несколько четырёхэтажных домов и сразу же – Новый Город!

Посёлок Метро – это сотня бараков, обнесённых тремя рядами колючей проволоки, с вышками по углам, лаем собак и криками конвойных. Там находилась колония заключённых, одно из многочисленных отделений Карагандинских лагерей – Карлага. Карлаг располагался на территории нескольких областей, охватывая огромную площадь. Одно время я жил рядом и видел утром и вечером разводы заключённых, подконвойных. Было много зеков, работавших в цехах наравне с вольнонаёмными. Они имели право на свободное передвижение, но приходили и уходили только в общей колонне, работали без всякой оплаты, за скудную лагерную кормёжку. Тогда я не думал – не гадал, что через десять лет и сам попаду в такой лагерь, только сельскохозяйственный, но с теми же порядками и в том же качестве – зек. Воистину, справедливо изречение: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся».

На строительстве Нового города работали вольные и заключённые. С начала так называемого «стахановского движения» на кладке домов ставились рекорды: кто больше уложит кирпичей. Работы не прекращались и в сильные морозы, а с наступлением весны произошёл конфуз: четырёхэтажный дом, ещё не подведённый под крышу – рухнул. Да и как ему не разрушиться, если работали зимой на замерзающем растворе и в немыслимых темпах, на быстроту кладки, на рекорд. Ясное дело, всё свалили на вредительство, врагов народа, инженеров многих пересадили, а заключённым дали по второму сроку.

Жизнь в бараках была однообразной, расцвеченной лишь пьянками и драками. Выходные – дни сплошной пьянки. Мало кто мог удержаться от всеобщего стремления «повеселиться».

Годы жизни в таком бараке становились опасными – как бы не спиться. Я это понимал, но как можно воздержаться от «рабочего содружества», стать белой вороной?

Сестра и зять Геннадий предложили переселиться к ним. Они получили комнату в единственном двухэтажном доме возле лагеря заключённых и я, недолго думая, согласился. К тому времени я работал уже самостоятельно и получал зарплату бо́льшую, чем раньше. Комната, примерно 15 м^2, тогда вполне устраивала семью из четырёх человек. Кухня общая, туалет на улице, вода в колонке рядом с домом.

Тогда в моде были рабфаки, то есть вечерние или заочные школы, так называемые рабочие факультеты. Рабфак я закончил с горем пополам, ради «корочек». И поэтому всю жизнь чувствовал ущербность в образовании, которую старался компенсировать большой, огромной начитанностью. Читал запоем всё, что попадалось под руку, это была одержимость. Раскрою иногда книгу в 11 часов вечера и заканчиваю чтение в 6 утра. А через час нужно собираться на работу. В библиотеке центрального рабочего клуба я перечитал всё, что там было. И меня знали, как самого прилежного читателя, даже однажды на каком-то семинаре привели в пример.

То, что чтение не всегда приносит пользу, я определил намного позднее. Пустая, никчёмная книжка прочитана, но толку от неё – никакого. Первое поколение писателей соцреализма, вроде Панферова, Гладкова, Мариэтты Шагинян, поэтов Маяковского, Безыменского, Долматовского, Демьяна Бедного и им подобных больше всего повинно в засорении молодых голов. Сегодня я смог бы их читать только по приговору суда. А о сочинениях Ленина, Маркса и Энгельса и говорить нечего; в интерпретации советских идеологов ничего, кроме вреда, они не приносили.

Я убеждён: самообразованием можно добиться очень многого. Но если наставник агрессивно гнёт в свою сторону – религиозную или идеологическую – то молодому, незрелому уму трудно устоять, сознание часто начинает делать виражи в нежелательном направлении к абсурдному, нелепому, неразумному. Так появляются камикадзе, фанатики, коммунисты-догматики…

Кто-то из поэтов сказал: «сороковые – роковые» или «сороковые – штормовые». Я бы назвал их тревожными. Но какими были тридцатые? Наверное, «тридцатые – проклятые». Голод – да такой, что умирали миллионами… Сплошная коллективизация, раскулачивание, массовые репрессии, «присоединение» Западной Украины, Белоруссии, Прибалтики... Кровавая полоса прошла и на Балхаше. Советская власть, нет, какая там советская – коммунистическая, сталинская власть – огнём и мечом выжигала всё вокруг, всего опасаясь, всего остерегаясь, всюду находя врагов своих. Везде призывали к бдительности, к беспощадной борьбе с классовым врагом, причём «врагов» находили и внутри самой партии. А как было? Проголосовал против какой-нибудь резолюции на съезде, и всё – попал в списки «несогласных», а потом и в списки «врагов».

За эти кровавые годы в Балхаше верхушка власти менялась несколько раз. Первейший лозунг тех лет: «Дадим стране медь в сжатые сроки». Но назначенные даты проходили, а меди всё не было и не было. И тогда начинались поиски виновных.

Помню, чтобы ускорить получение первой меди, предлагался «ускоренный цикл» – брать руду только из богатых пластов, бедную же оставлять в завалах; трубы заводские строить не все, а лишь основные; теплоэлектростанцию пока не строить, можно обойтись ВЭС, то есть временной. А потом, когда начались процессы так называемых «троцкистов-бухаринцев», эти «времянки» новоявленным «врагам народа» в вину и поставили. «Малотрубная» идея приравнивалась к попыткам отравить население города дымом, газом, а ускорение пуска завода – как сознательное расходование денежных средств на временные сооружения, которые потом всё равно нужно менять на постоянные.

Страна жила под лозунгом: «Догнать и перегнать». Сталин призывал: «За 10-15 лет надо догнать передовые капиталистические страны, иначе нас сомнут». Отсюда рабфак – вместо высшего образования, а вместо «городов-садов» – города-бараки…

Продолжение следует…

Сибирские воспоминания

Внимание – вот материал, из которого сделана память,
а память – аккумулятор человеческого гения.

Джеймс Рассел Лоуэлл

Шимон Токаржевский
В СКИТАНИЯХ[1]

Героями этих повествований являются Поляки-каторжники и Поляки-поселенцы.

На фоне экзотической природы Сибири среди коренных жителей тех далёких краёв контрастно рисуются фигуры Поляков, таких чистых в своих помыслах, таких безмятежных, несмотря на многоликие беды, которые их одолевали, таких благородных в каждом порыве своих чувств.

Тот, кто писал эти страницы, Шимон Токаржевский, был участником конспирационных дел ксёндза Петра Щегиенного и тридцать семь лет своей жизни провёл в тюрьме, на каторге и на поселении.

В сороковых годах[2] был арестован во Львове, затем переведён в Варшавскую крепость и Модлин, после чего отбывал каторгу в Усть-Каменогорске и в Омске.

В шестидесятых годах был вновь арестован на Павиаке и опять попал в крепость, некоторое время пребывал в карательном учреждении в Кадаи в Нерчинском горном округе. Отбывал каторгу в Александровске над Амуром, жил в Иркутске – словом: как каторжник, а потом как поселенец, прошёл всю Сибирь от Урала до Благовещенска.

В этих принудительных путешествиях Шимон Токаржевский накопил много наблюдений, был свидетелем многих необычных происшествий или их непосредственных участником.

Эти избранные страницы из книги воспоминаний Шимона Токаржевского, несомненно, заинтересуют читателей, также, как ранее изданные его воспоминания и рассказы.

Издатели.

В бегах

В омской крепости среди двухсот шестидесяти четырёх каторжан разных народностей и племён, подвластных российскому скипетру, не учитывая и нас, *политических преступников*, было и огромное число бродяг.

Они в шутку говорили: «Чёрт сто пар лаптей сносил, пока со всех сторон сумел собрать нас в одну кучу».

Но среди этой ватаги совершенно разложившихся отбросов общества находились также люди неиспорченные, добрые, вызывающие сочувствие, которых только стечение несчастных обстоятельств повергло в омскую Геенну.

Нам, Полякам, особенно нравились наши сотоварищи-заключённые Кабардинцы. Мы жили с ними в одном каземате, по мере возможности пытаясь облегчать друг другу нашу тяжкую долю, ведь надо было долгие годы прожить в *остроге*. Особенно привлекательным нам казался один из кабардинцев, по имени Нурра-Шах-Нурра-Оглы.

Это был мужчина примерно двадцати двух лет, с благородными тонкими чертами бледного, сухощавого лица, оживлённого блеском чёрных прекрасных глаз.

Высокий, хорошего сложения, во всей его постати было что-то рыцарское.

……

Его родная усадьба находилась в той части Кавказа, что уже была подвластна Российской империи.

Несмотря на это, Нурра-Шах-Нурра-Оглы часто прокрадывался к вольным ещё горцам и вместе с ними нападал на посты и даже на обозы и маленькие крепости россиян. Во время одной такой вылазки, окружённый штыками, он попал в плен и был осуждён на бессрочные каторжные работы в омском *остроге*.

На удивление, довольно спокойно сносил он каторгу. Правда, держался на расстоянии от прочих сотоварищей, но притом со всеми был услужлив, предупредителен, охотно помогал тем, для которых назначенная работа оказывалась слишком изнурительной или непосильной.

Помогал он тем охотней, что был наделён истинно геркулесовой силой.

Эта его сила, а также отвага и всем импонирующее достоинство в обхождении снискали Нурре-Шах-Нурре-Оглы среди сотоварищей кличку «лев».

Обычно кавказские горцы, пойманные с оружием в руках, зачислялись в общую категорию преступников, причём их метили на лбу и щеках.

Вследствие какой-то счастливой ошибки, Нурра-Шах-Нурра-Оглы клеймения избежал.

Потому бандиты в омском остроге называли его *политиком*[3].

Но этим, по их понятиям, унизительным прозвищем Нурру называли только втихую и только между собой, поскольку Кабардинец малейшую шутку в свой адрес считал смертельным оскорблением и загорался неуёмным гневом.

Мы, Поляки, и он почти одновременно прибыли в омскую крепость, и сразу же познакомились.

Условия для знакомства были тем более благоприятными, что Нурра-Шах-Нурра-Оглы некоторые время находился в омском госпитале и уже хорошо понимал, и вообще довольно неплохо говорил по-русски.

А связи наши ещё более укрепились, когда мы, Поляки, упросили плац-майора Кривцева, чтобы нас с Кабардинцами поместили в один каземат. Во время работ на открытом пространстве Кабардинец Нурра бывал особенно спокойно и даже весело настроен.

Но когда казематы вечером запирались, Нурра хмурился и свои вечерние *намазы*[4] совершал с глубокой набожностью, голосом, полным боли, гнева и печальной жалобы…

В этих молитвах, в этом голосе, чувствовались все порывы сердца и притеснённой воли, вся его индивидуальность, измученная унижением и неволей каторжной жизни, чувствовалось, какие адские муки терпит человек в бурном расцвете сил и молодости, человек с живым, буйным и поэтичным воображением, привычный к безграничной свободе, к бескрайним просторам, к великолепной природе, неустанным и героическим боям за независимость своей родной земли.

Логически рассуждая, осуждённые на бессрочные тяжкие работы, а особенно принадлежащие к категории преступников, подобных нам, Полякам, и нашему приятелю Кабардинцу, не могли рассчитывать на полную амнистию и на возвращение в Отчизну.

И всё же… всё же… Нурра-Шах-Нурра-Оглы-Лев эти надежды постоянно лелеял в своём сердце, пламенно, беззаветно, – не позволял им угасать.

На чём основаны были эти надежды?

Чем он их подкреплял?

Нурра-Шах-Нурра-Оглы никогда и никому не поверял, ни нам, ни приятелям, ни землякам своим – Кабардинцам.

* * *

Солнце, как пламенный шар, горело на бледно-голубом небосводе, и огневые стрелы безжалостно пронзают каторжан, одни из коих рубят деревья, другие тут же пилят их и складывают в сажени дров; осенью дрова привезут в Омск для нужд стоящих там войск и для заключённых, содержащихся в *остроге*.

Короткое, но чрезвычайно жаркое сибирское лето в этом году уже ознаменовалось многими неделями зноя, засухи, ни разу не прерванной хотя бы мимолётным дождём.

Воды Иртыша сильно понизились.

Местами обнажились серые скалистые насыпи, что показались из глубины величественной реки, которая обычно плавно несла свои волны, а сейчас выглядела, порой, так, словно неким проклятьем обречена на неподвижность и гибель.

Около леса, на придорожье, солнце совершенно выжгло буйные, обычно вьющиеся здесь заросли.

Только местами, обсыпанные мелкими розовыми цветами, поникшие кусты тамариска привычно сопротивлялись страшному солнечному жару.

Угнетающая душу печаль глядела из каждого уголка, той, несмотря на солнечный огонь, зелёной околицы, где, помимо нас, работающих каторжников и конвойных солдат, не видно было ни одной живой души: ни человека, ни птицы, ни одного животного. Все существа куда-то попрятались. Казалось, что там, за Иртышем, где горизонт неуловимо соприкасается с киргизской степью, – там и есть конец света…

Плац-майор омской крепости, Василий Григорьевич Кривцев, ненавидел вообще всех каторжных, подлежащих его надзору и опёке, особой же ненавистью пылал к политическим преступникам, Кабардинцам и Полякам.

– Ах! Вы *бунтовщики*, вы *зачинщики*, если бы я мог… я бы вас, я бы…

Так он твердил при каждой возможности. Однако никогда вразумительно не говорил, что именно он бы с нами сделал, если бы только мог… Зато с истинно бесовской злобностью выискивал способы притеснять нас и издеваться над нами.

Одной такой и взаправду нечеловеческой выдумкой Василия Григорьевича Кривцева был приказ, именно во время этого страшного зноя, вырубать деревья на уже почти оголённой рубке, где, помимо мачтовых сосен, оставалось едва лишь несколько штук покрупнее. И при этой обессиливающей жаре неизбежно работа должна была идти не споро.

Поминутно из обессиленных рук выпадали топоры, выскальзывали пилы…

Поминутно кто-то из нас стонал, когда перехватывало дыхание в груди от атмосферы, пропитанной ароматами вянущих растений и сильным живичным запахом, исходящим от бора хвойных деревьев…

Опираясь на карабины, дремали конвойные.

Дремал также, обычно суровый к каторжанам, дозорный Иван Матвеич.

А из работающей братии раз за разом вырывались проклятия:

– Чтоб тебя чума Бендерская пришибла!

– Чтоб тебя турецкая сабля проткнула насквозь!

– А чтоб ты собственной слюной насмерть подавился!

Все эти «пожелания» были адресованы плац-майору Василию Григорьевичу Кривцеву.

Каторжник Газин, который троих маленьких детей, не из-за какой-либо выгоды, а просто ради собственного удовольствия, зарезал, приблизился к нам, Полякам (мы работали в тесной группе, возможно ближе друг к другу), похлопал меня по плечу и доверительно шепнул:

– А что бы нам вот так всей ватагой пойти служить к генералу Кукушкину[5]… Что скажете, господа *шляхта*, а?

– Всей ватагой – нет… Если вам охота, Газин, воля ваша… Позовите и других за компанию… А перед нами другая и слишком долгая дорога! – отказались мы, усмехаясь.

Стоявший поблизости Нурра-Шах-Нурра-Оглы слышал этот мой разговор с Газиным…

Дрогнул, поглядел на свои ноги, скованные кандалами…

Затем глаза его быстро и внимательно оглядели всю околицу…

Газин насмешливо посмотрел на меня, сплюнул через зубы и отошёл, бурча:

– Поляки! Политики! Мерзавцы!

В это время Нурра-Шах-Нурра-Оглы-Лев рубил на поленья огромную поваленную сосну, рубил с какой-то нечеловеческой силой, и поразительной яростью и размахом, так что аж щепки взлетали в воздух, – и из колоссального дерева вскоре только они одни и остались.

Отдохнув минуту, Кабардинец выпрямил свою крепкую, юную, выносливую фигуру.

Подошёл ко мне и сказал:

– Сегодня я убегу!

– Нурра! – шепнул я ему в ответ, не переставая работать, чтобы приглушить звук голоса. – Ты что, ошалел?... Убежать в белый день, с открытого поля?... Это же безумие, подстрелят тебя, как воробья.

– Не подстрелят!... Все спят… убегу!

– Подожди, Нурра! Ночью посоветуемся все вместе… подумаем, что и как сделать, чтобы облегчить тебе побег, чтоб тебя не поймали… И денег тебе надо взять хоть немного на дорогу… Сжалься, брат, над собой и над нами… Подожди хоть пару дней… Хотя бы только до завтра.

Но все мои просьбы и убеждения оказались тщетны.

Проект побега, неумолимо задуманный Нуррой с момента вступления в омскую крепость, конечно, уже был им тщательно обдуман со всех сторон, а в тот день дозрел до окончательного решения, неоспоримого и неодолимого.

И когда Нурра-Шах-Нурра-Оглы-Лев понял, что обстоятельства сложились соответственно и благоприятно, он уже не хотел больше ждать, не хотел откладывать даже хоть на один час…

Он порывисто обнял меня и прижал к себе изо всей силы.

Короткий горячий поцелуй запечатлел у меня на лбу, и шепнул:

– Попрощайся с братьями за меня и от меня.

Потом я едва успел сориентироваться, как Нурра-Шах-Нурра-Оглы исчез среди пней срубленных сосен, молниеносно, словно не касаясь земли, улепётывая в лес…

– Кабардинец удрал! – заорал Газин. По убеждению бродяг, отбывающих срок в омском остроге, донос не был ни преступлением, ни позором, не причинял никаких угрызений совести доносчику, хотя бы даже притворных.

Так что за Газиным несколько голосов завопили:

– Кабардинец сбежал!

И тут Газин поднял кандалы, которые оставил Нурра, потрясал ими и смеялся во всё горло:

– Перекусил эти «мелкозвоны», как *сайки*. И топор взял с собой. Гляди, какой умный! Прямо адъютант царский… Этот в *свете* справится!

Конвойные очнулись от безмятежной дремоты.

Крики и бесовский хохот разбудили также и дозорного Ивана Матвеевича.

Парой слов ему объяснили, что случилось…

Он тут же скомандовал:

– Пали!

По команде Ивана Матвеевича залп карабинных выстрелов грохнул в сторону беглеца.

Тот упал.

Но сразу же поднялся и по прыткости его движений было видно, что ни одна пуля в него не попала. Конвойные зарядили карабины и выстрелили повторно.

Тоже бесполезно, слава Богу!

Расстояние между убегающим Нуррой и нами всё больше увеличивалось.

Мы, Поляки, шептались между собой:

– Лишь бы он только добежал до леса… Там уже и погоня, и пули будут не так опасны для него.

И вдруг от пашни в долгой полосе, отделяющей порубку от бора, заблестели миллиарды мелких цветовых точек!

Они увеличиваются с каждой секундой и вспыхнули, как огненный смерч…

Мы пытаемся понять и объяснить себе это явление – вот уж вся пашня и межа под лесом, ближе и дальше придорожья, превратились в пламенное море, пылающее огневым жаром.

Видно, хозяин этой пашни, по сибирскому обычаю, подпалил высохшую траву, чтобы на следующий год обеспечить себе буйный, щедрый запас сена.

Иван Матвеевич просто ошалел от радости… Хлопает себя ладонями по бёдрам и хохочет адским смехом:

– Спечётся! Сгорит до уголька этот «помощник дьявола», убежать, видишь, ему захотелось… Так вот же тебе, «чёртово отродье»!

– *Ребята!* Три залпа одним за другим, чтоб ему повезло в пути, – скомандовал.

……

……

Дозорный Иван Матвеевич написал своему *начальству* наипрекраснейший рапорт, что *политический преступник* Кабардинец Нурра-Шах-Нурра-Оглы по прозвищу Лев полностью сгорел на пашне под лесом.

……

……

Поскольку этот факт ничем нельзя было ни подтвердить, ни опровергнуть, – рапорт Ивана Матвеевича власти признали как свершившийся и вполне правдоподобный.

Но было ли так на самом деле?

Сумел ли Нурра-Шах-Нурра-Оглы пробраться через это огненное море?

Или сгинул в нём?

Сумел ли благополучно преодолеть столько опасностей, грозивших ему в побеге?

Смог ли добраться до своей любимой Отчизны?...

Этого мы не узнали никогда.

[*Название главы отсутствует*][6]

Никогда ни одна мелодия не впечатлила меня так, как скрежет напильника, которым кузнец перепилил мои кандалы!...

Происходило это на кузне инженерных войск в крепости в Омске.

Желкин, экс-конокрад, недавно уволенный из карательных батальонов солдат, великан и силач, который без малейших усилий завязывал железные прутья, как шёлковые шнурки, распиливал мои кандалы очень умело, легко и осторожно, чтоб не покалечить мою обнажённую ногу, что нередко случается при подобных операциях.

Кандалы осуждённых на принудительные работы состояли из четырёх железных, толщиной в дюйм, обручей, соединённых друг с другом такой же толщины прутьями.

Такими кандалами сковывают ноги каторжника перед поступлением в острог.

Снимают их, только если осуждённый умер во время наказания, или когда вследствие амнистии, или после отбытия наказания, покидал тюрьму.

Счастливым каторжникам, в день 26 ноября 1855 года покидающим Геенну Омскую, после семилетнего пребывания в ней, был – я.

Желкин не медлил, когда работал. Дело выполнял хорошо и – быстро. Перепиленные оковы с моих ног, бренча, пали на кирпичный пол кузни.

Кузнец их поднял… взвесил на руке… буркнул по их поводу цветистое проклятье и, сплюнув сквозь зубы, вручил кандалы ефрейтору, который меня сопровождал.

Потом, «руки в боки», обернул ко мне своё загорелое потное, полнокровное, дружелюбно улыбающееся в эту минуту лицо, и сказал:

– А теперь учитесь, пожалуйста, ходить, *миленький* Шимон Себастьянович.

– Что? Что я должен делать?

– Учиться ходить, говорю вам, – повторил он с усмешкой. – Ну и *айда, маршируйте! Ра-аз, два-а!... Ра-аз! Два, три!*

Не соображая, что делаю, и для чего слушаюсь команды Желкина, начинаю маршировать из глубины кузни к дверям.

Марширую неверными шагами, будто скольжу по льду, или по сильно вощёному полу танцую мазурку. Несмотря на мои

усилия, мне трудно ходить прямо… невозможно держаться в равновесии.

У меня такое впечатление, будто земля колышется подо мной… Будто под моими ногами открывается пропасть… Будто я вдруг превратился в некую бестелесную сущность, лишённую веса…

Колени сгибаются подо мной, вытягиваю руки перед собой, ища какой-нибудь опоры, чтобы не упасть…

Ефрейтор Драженников кивает головой, задумчиво глядит на меня и кричит:

– Что, Семён Себастьянович… Ей-же! Ей! Что я вижу, вы…

Он, несомненно, намеревался сказать: вы пьяны, но Желкин участливо его прерывает:

– Шимон Себастьянович сегодня вышел из каторги на свободу, а воля… известное дело: ни к чему и горилка, человек и так, как пьяный.

Драженников поводит плечами.

– Ать! Сказал, что увидел!

Кузнец хмурым, недоброжелательным взглядом провожает ефрейтора, сплёвывает, а ко мне поворачивается с победным смешком:

– Ну что?... А?... Правда моя! Скоро вам потребуются *мелкозвоны*[7], не умеете ходить, двигать ногами не умеете.

– Научусь, правда, ходить и без *мелкозвонов!* – весело отвечаю я.

В кармане нахожу горсть мелкой медной монеты и хочу подарить её Желкину – но его сентенция о *воле* меня озадачила.

– Спасибо вам, Желкин, от души и от сердца вам спасибо, за то, что расковали мои кандалы, и за добрый совет.

Пожимаю рабочую, закопченную ладонь кузнеца и приглашаю его, чтобы он в ближайшее воскресенье меня посетил.

Добрый детина принимает приглашение очень приветливо и охотно. Расстаёмся с большой приязнью.

Выхожу из кузни…

За мной следует сильный протяжный баритон поющего Желкина:

Воля, ты, воля!
Зачем как дикая птица
От человека бежишь?...
Ой, воля! Милая воля!

……

В течение семи лет в омском *остроге* я жил как номер 154… В этот день ранним утром меня переименовали: я вновь стал человеком…

Мне хотелось в одиночестве насладиться этой своей метампсихозой[8].

Мне хотелось ещё раз пережить это ошеломительное впечатление, какое я испытал и запомнил, когда комендант омской крепости Алексей Фёдорович де Граве в своей канцелярии сообщил мне радостную вещь:

– Теперь вы свободны, господин Шимон Себастьянович. Желаю пану от всего сердца спокойной и свободной жизни, – сказал он, подав мне руку.

Мне хотелось, сняв кандалы, вжиться в правильную походку без свидетелей.

Потому, выйдя из кухни, вместо того, чтобы отправиться в Омск, как сперва надумал, я свернул в противоположную сторону, где царила полная тишина и полное безлюдие.

Погожий, морозный, короткий день северной осени близился к концу.

Ярко заходящее солнце зажгло миллиарды малюсеньких искорок, в кристалликах инея, покрывших ветви лесных деревьев, которые тянулись вдоль дороги, впечатляя своей таинственностью и величиной.

На замёрзшей поверхности Иртыша прозрачные куски льда мерцали и переливались всеми цветами радуги.

За другим берегом прекрасной реки тянулся огромный простор, однообразная плоскость, убелённая снежным покровом.

Это была степь, что тянулась на тысячу пятьсот вёрст непрерывной полосой, за которой в далёкой перспективе местами вились дымы из юрт кочующих киргизов, как лёгкие серые тучки.

Солнце поспешно добегало круг своего каждодневного пути… Лишь на прощание, послав на землю несколько меланхоличных

взглядов, полностью скрылось за занавесом пурпурных встрёпанных, щедро окаймлённых золотом, облаков.

Воспламенённый горизонт угасал… На бледно-голубом небосводе лишь местами гасли красные и фиолетовые полосы…

Но, наконец, исчезли и они. Сумрак унылой своей серостью сперва добрался до степи и реки, вдоль леса и дороги, а потом дотянулся и к облакам.

С севера подул морозный ветер, и, легко посвистывая, сметал и укладывал в стожки снег, блестящий множеством атомов бриллиантовой пыли. Притом, немилосердно хлестал и сёк мои щёки, и насквозь продувал мою куртку из лезгинского сукна, которое было такое твёрдое, что волк сломал бы зубы об него.

Снег хрустел под моими шагами. Клубы пара отмечали каждый мой выдох. Ничего! Морозных северных порывов я не ощущал, а бежал, окрылённый какой-то безбрежной силой, радуясь свободе и надеждам. Ибо перейти с каторги на поселение было, по крайней мере, первым шагом к возвращению в Отчизну.

И я дал волю радостным мыслям, которые – как быстрый поток! – стремительно летели… летели…

Из этих путаных мыслей, развихрённых мечтаний, из этих беспорядочных видений, пробудили меня отголоски чего-то, что всколыхнуло царившую здесь пустынную тишину.

Вдруг послышался конский топот, шелест санных полозьев по мёрзлому снегу, и унылый, словно плачущий звон *колокольчика* и тут же на дороге показалась тройка рысаков, запряжённых в большие, загружённые узлами, сани.

По сибирскому обычаю, рысаки спускались с холма на бешеном скаку.

По напряжению рук, по тому, как склонилась назад грузная фигура *ямщика*, видно было, что этот здоровенный детина всё-таки трудно, с огромным усилием, сдерживает размах этих огневых коней.

Перед этим летящим, как ураган, экипажем, я отскочил в сторону. Ноги, привыкшие к тяжести кандалов, теперь отвыкли от энергичных, резких движений. Тут сказался и недостаток ловкости: головой вниз я скатился в ров, который отделял лес от дороги.

Так я потерял сознание.

……

Когда я пришёл в себя, то лежал в тех самых санях, что послужили причиной происшествия, в которое я попал. Два человека старательно пытались вывести меня из обморока: *ямщик* натирал мне виски снегом, и во время этой спасительной процедуры взывал ко всем адским силам и ругался с изобретательностью, выдающей большой опыт в этом жанре.

Окутанный мехами путник ложечкой вливал мне в рот какое-то сильное ароматическое сердечное средство и вполголоса причитал по-польски:

– Муки Христовы! Спасите! Все святые покровители польской короны, заступитесь за нас!

Эти слова подействовали на меня лучше всякого живительного лекарства. Бодро сорвался я с мягких подушек, на которые меня уложили, и, схватив за руки путника, вскричал:

– Дорогой земляк! Прости, пожалуйста, хлопоты и испуг, которые я невольно тебе причинил.

Не ответив ни слова, путник сжал меня братским, горячим долгим объятьем…

После первых шумных порывов радости, путник, как оказалось, весьма сердечный, очень обеспокоился моим здоровьем.

– Не хлопочи о моём благополучии, добрый брат, – весело ответил я на его взволнованные вопросы, – я вовсе не деликатный паничек, и никакой не франт, что вернулся с пьянки. При этом моём полёте в ров я не потерпел никаких повреждений, потому что снег только сверху покрыт твёрдой мёрзлой скорлупой, а под ней – истинно пуховая перина.

Чувствую, кости у меня целы, и связки не повреждены, а лёгкое головокружение и шум в ушах, которые я сейчас ещё испытываю, наверное, скоро пройдут. Подвезёшь меня, брат, до Омска?

– Ну конечно же, разумеется, что я тебя не отпущу! – ответил путник, садясь в сани, в которых я уселся весьма удобно.

Ямщик вскочил на козлы, хватил вожжи, легко натянул их, чмокнул и закричал:

– Ху-у-у! Ха-а-а!

Рысаки тронулись по дороге, которая при благоприятных условиях должна была привести нас в город.

Если в эту эпоху в Сибири пребывал Поляк, интеллигентный, образованный, шляхтич, то это был, несомненно, политический преступник – экс-солдат или экс-каторжник.

Поляк, попавший в Сибирь в поисках хлеба насущного, богатства или карьеры, был особым, очень редким явлением.

– По какому делу ты оказался тут, брат?...

Это был первый вопрос, который задавали друг другу Поляки при первом знакомстве.

С таким же вопросом обратился ко мне мой новый знакомый Вендриховский.

Я рассказал ему вкратце мою Одиссею, изобилующую бедами и происшествиями.

Когда я кончил рассказывать, мы как раз въехали в город.

* * *

Я уговорил Адама Вендриховского оставить свой багаж, сани, ямщика и рысаков на заезжем дворе, а сам отправился бы со мной к Булгакам, где именно в этот вечер должна побывать вся омская Polonia.

Только перед домом губернатора Западной Сибири, перед домом коменданта крепости и прочими государственными учреждениями горели масляные фонари.

А в остальном – труды и стоимость освещения Омска во время моего пребывания в этом городе были преимущественно лунные.

Итак, из мрака освещённого мы попали в мрак лишь посеребрённый блеском полнолуния, и шли мы по длинной улице, застроенной двумя рядами одноэтажных деревянных усадеб.

Плохонькие это были домишки, сильно тронутые временем, которые отводились для жилья Полякам, интеллигентным поселенцам, поскольку поблизости не было ни отелей, ни *кабаков*, ни ресторанов, и никаких заведений в этом роде, потому что они размещались в других, лучше застроенных и гуще заселённых районах Омска.

Жители этих усадебок все знали друг друга, если не лично, то, по крайней мере, с виду. Так что мужчина, незнакомый и в дорогих мехах, очень заинтересовал жителей улицы, которые возвращались домой из города.

Все оборачивались и оглядывали нас.

Некоторые приближались и следили, куда мы идём.

Наиболее смелые, или более любопытные, останавливали Вендриховского, и спрашивали напрямик:

– Вы не тутошний? Не омский?

– Нет.

– Так, может, вы томский?

– И не томский.

– Так вы, наверное, *заморский человек*, из-за Байкала?[9]

– И тоже нет.

– Ей-же ей! Так откуда вы к нам приехали?

– Из мира, – отвечал Вендриховский, правда, очень невразумительно, зато очень любезно, тем более, что спрашивали, в основном, женщины.

Домик, в котором жили Булгаки, находился в самом конце улицы, которая здесь именно расширялась в виде странной полукруглой площадочки.

Через щели окон сочился свет, оставляя на снегу золотистые мигающие пятна, фантастически разбросанные по белому ковру, усеянному мелкими бриллиантиками снега.

У входной двери не было звонка или даже дверной ручки, которую заменяла староверская деревянная калитка.

Мы сильно её толкнули…

Она стукнула и заскрипела, громко и протяжно, после чего в сенях раздался топот сапог, что служили Прасковье, прибежавшей из глубин дома. Ждали мы недолго. Прасковья отодвинула засов, двери отворила настежь, и, пуская нас в сени, слабо освещённые фонарём, который свисал с потолка, приветствовала нас весёлым окриком:

– Гляди-ка, должен был прийти только один, пришли двое, и этот второй незнакомый!

– Этот незнакомый вместе со снегом упал с облаков в Омск и пришёл поприветствовать Прасковью, – пошутил я.

Девушка окинула Вендриховского любопытным взглядом, и, громко смеясь, убежала вглубь двора, хлопнув дверью.

Мы входим в *горницу*. Уютная, светлая, тёплая атмосфера охватывает нас от самого порога. В большом очаге камина с железным

колпаком бушует огонь из огромных сосновых поленьев, весело потрескивая, посылая на беленые стены комнаты подвижные пурпурные отблески и странные смещающиеся тени.

Посреди комнаты большой продолговатый стол, накрытый грубым белым полотном, на нём чайные приборы, посуда для скромного ужина и огромный тульский самовар, который ворчит и шипит.

В гостеприимном доме Булгаков в этот вечер собрались почти все братья-изгнанники, пребывающие сейчас в Омске.

Уселись около огня, слушая рассказы нашего Нестора: Себастьяна Адама Скарбека Мальчевского[10], подполковника четвёртого полка конных стрелков бывшего Войска Польского. Он воевал под победоносными знамёнами Наполеона и любил рассказывать о той мировой и так трагично закончившейся эпопее.

Рассказывал он выразительно, образно, красноречиво. Повествуя, старик сиял от счастья и воспоминаний.

Вспоминая про конец своей военной карьеры на родной своей земле, хмурился и тосковал…

Но – недолго!

О, нет! Хотя бы потому, что был оптимистом в высшей степени, неисправимым оптимистом от рождения, как, впрочем, и все мы, можно сказать, без исключения.

Тоску и печаль его сердца успокаивала надежда, как в известной песне:

Что не удалось сегодня,
Может назавтра сбыться…

Этой песней, обычно, заканчивал свои рассказы подполковник Себастьян Скарбек Мальчевский, и мы все пели её хором.

Весь наш кружок изгнанников и гостеприимные хозяева с искренней радостью встретили Адама Вендриховского.

Это был красивый, представительный мужчина с длинной светлой бородой и светлыми волосами, уже порядочно припорошенными сединой…

Его поведение, его движения, голос, всё – свидетельствовало, что это человек хорошо воспитанный и высоко образованный.

Изъяснялся он гладко, последовательно, интересно, по нашей просьбе рассказывая о своей биографии.

* * *

Благодаря стараниям богатых и влиятельных родственников, участники Союза Молодёжи братья Адам и Юлиуш Вендриховские за свою конспиративную деятельность были осуждены *всего лишь* на поселение в дальней части Сибири.

Им велено было бессрочно пребывать в Нижнеудинске, окружном городе в Восточной Сибири, а именно в Иркутской губернии.

Вообще-то, по сравнению с участью других политических преступников, братьям Вендриховским было не так уж плохо в Нижнеудинском, если где-нибудь на земном шаре вообще можно считать сносным бытование тех, кто вкушает горький хлеб изгнания и пребывает в постоянной тоске по родной земле, притом, что личная их свобода стеснена и ограничена различными запретами.

Во время бытования Вендриховских в Нижнеудинске, других Поляков там не было.

Не много, не мало, три тысячи жителей в Нижнеудинском состояли из войск и чиновников с семьями, людей с очень низким умственным развитием и вообще-то не слишком высоким нравственным уровнем.

Об утехах общественной жизни люди образованные и культурные здесь и мечтать не могли.

Вести из цивилизованного мира попадали сюда, часто с опозданием на целый год, через посредство купцов, владельцев рудников, уже действующих, или ещё только в стадии предпринимательства, с намерением начать эксплуатацию золотых, серебряных или железных приисков.

Горный Нижнеудинский округ обладал огромными минеральными богатствами, лишь малая часть которых была открыта, а большая – едва использовалась из-за плохого управления, неумения неспособных предпринимателей и из-за отсутствия рабочих рук.

Население Нижнеудинского округа составляли, в основном, кочующие поколения бурятов, которых ни за какие деньги не

удалось бы сманить на постоянное местожительство, тем более на тяжёлую работу в рудниках.

Биргал тоже был редкостью, которую отыскивали тщательно и высоко ценили, – пока он не получил задаток и не подписал договор, отдающий его душой и телом в руки предпринимателя, на более или менее долгий срок, оговоренный в условиях.

В конце зимы агенты владельцев рудников начинали вербовать кандидатов в *биргалы*.

Сильные молодые парни из отдалённых окрестностей, деревень и богом забытых уголков прибывали в Нижнеудинск с целью узнать об условиях и подписать контракт.

При конторах найма всегда размещался *кабак*, где днями и ночами заливались балалайки, гулящие непристойные песни, танцы – там были и неисчерпаемые бочонки горилки и миски, полные еды.

Горилкой и едой вербовщики бесплатно потчевали кандидатов в *биргалы*, а те были ослеплены угощениями, беспримерной щедростью, уважением, заманчивыми обещаниями, которым никогда не суждено сбыться, да и выполнение их было нереально…

То ли посулы были прельстительны, то ли агенты владельцев золотых приисков или других рудников прилагали все усилия, чтобы изобразить своих хозяев-предпринимателей, как наинадёжнейших защитников рабочих, ибо потребность в рабочих руках была больше, чем их наличие, но неизвестно откуда явился российский купец Алиберт и начал эксплуатацию графита на горе, которую так и назвали: *Гора Алиберта*.

Его агенты и вербовщики, направо и налево, на север и на юг, с энергией, превосходящей все возможности в обычных условиях, даже в другой, весьма цивилизованной, среде, находили-таки работников для графитных месторождений.

Там нужны были, конечно, работники, но прежде всего – люди с известным умственным развитием, то есть такие, какие могли бы работать в самой администрации рудников графита на Горе Алиберта.

Конечно, нелегко было из Европы в Сибирь сманить интеллигентов, а также, кто знает?... может, ещё труднее было привлечь в Сибирь людей образованных и порядочных, а также способных к канцелярской работе.

Таких можно было искать только среди политических преступников. И Поляки, без всяких усилий со своей стороны, сразу же привлекли внимание вербовщиков купца Алиберта.

Неоднократно Вендриховским удавалось своим внешним видом импонировать владельцам рудников в Нижнеудинске.

Неоднократно удавалось им оказывать местным жителям какие-нибудь важные услуги.

Честность Вендриховских, их открытость и порядочность, щепетильность в денежных делах, были известны повсюду и высоко ценились.

Так что какой-то из многочисленных агентов купца Алиберта обратился к ним: не хотели бы они поработать в канцеляриях новозаложенных графитовых рудников, как счётные работники и корреспонденты.

Вынужденная бездеятельность, монотонность и беспросветная жизнь среди чужих, в маленьком местечке смертельно надоела Вендриховским.

К тому же их денежные запасы, привезённые из дому, подходили к концу, так что они с радостью приняли предложение доходной работы, тем более, в среде, которая, по их представлениям и надеждам, состояла из людей, по своим понятиям и образованию более или менее близким к тем, с какими им приходилось общаться в своей Отчизне.

Алиберт выхлопотал в Петербурге для Адама и Юлиуша Вендриховских позволение перебраться на свои предприятия. Заверил начальство, что они не убегут, что по первому вызову властей явятся в указанное время и место, обязался назначить им высокое вознаграждение.

И братья Вендриховские охотно подписали условия с уполномоченным Алиберта, и совершенно осчастливленные таким оборотом дел, выехали из Нижнеудинска, оставив там самые лучшие воспоминания о себе, при весьма благосклонном и приязненном прощании с властями и местными жителями.

Все дороги, все замёрзшие реки, все артерии связи Нижнеудинска с рудниками Алиберта были забиты множеством саней, которые перевозили продукты: солонину, сухари, крупы, сушёную рыбу, муку, соль, масло, разного рода жиры и горилку.

Рудник графита находился на высоте двух тысяч метров.

Так что все виды транспорта, предназначенные для предприятия Алиберта, были заготовлены у подножья горы, и стояли в *балаганах*[11], специально для того построенных.

Пока снег не растаял и дороги по склонам горы не стали доступны для коней, продукты хранились в магазине, построенном на вершине Горы Алиберта. Такая доставка была затруднительна и затратна, что снизило львиную долю заработков у работников рудника и у администрации.

Вендриховские прибыли на Гору Алиберта сразу после открытия рудника.

Всё устроено было пока наскоро; всё было временно, не запланировано и задумано поспешно и непредусмотрительно.

Разместили их в клетушках, в маленьком домишке, построенном из неотёсанных брёвен, который трясся и колыхался при каждом порыве ветра.

Не было в этом помещении ни малейшей обстановки, даже для самых скромных потребностей.

Стол, табуреты, топчаны из нестроганных досок – вот и вся меблировка.

Но все недостатки возмещал чистый горный воздух и вид из окна на обрывистые склоны, поросшие хвойным лесом.

Братья Вендриховские приехали на рудники в марте.

И хотя с севера всё ещё веяли холодные ветры, хотя смеркалось рано, всё же уже чувствовалось, что природа просыпается и вырывается из оков зимы.

Деревья рьяно сбрасывали снег со своих мохнатых ветвей, которые зеленели всё ярче.

Огромный ледяной блок, который мешал войти братьям в их жилище, начинал трещать и понемногу таял в полуденные часы, когда солнце с высоты небесной синевы слало вниз свои лучистые поцелуи.

– После Нижнеудинской мертвечины, которая могла довести человека до безумия, как радует это беспрестанное движение, говор работающей толпы, эта жизнь, которая кипит вокруг, где, наверное, с первых дней творения до сих пор царила глухая пустота!

Так говорил брату молоденький Юлек Вендриховский, который безмерно радовался пребыванию на Горе Алиберта.

Вендриховским нисколько не надоедала работа, хотя они были ею буквально завалены.

Но именно такая занятость с короткими перерывами на отдых позволяла юношам забыть хоть ненадолго об их тяжкой личной судьбе, о тоске по своим, по Отчизне; а горный воздух укрепил их здоровье, их физические силы, а также поддержал их морально.

Лишь в одном они столкнулись с горьким разочарованием: в этой толпе людей они не обнаружили ни одной близкой души, ни одного пристойного товарища, с которым можно было бы обменяться впечатлениями, мыслями, взглядами, и провести время в праздничные дни и в часы короткого отдыха после работы.

Ближе всех к Вендриховским по своему образованию оказался Ларс Олден из Фаргаса в Финляндии.

Ларс Олден заложил рудник Алиберта. Отбирал и сортировал добытые образцы, сколки, таблички графита по их мягкости, для изготовления карандашей, для машинных смазок и для тиглей при расплавке золота и серебра.

Это была важная работа, требующая внимания, профессионализма, потому что ошибка в отборе образцов графита вела к большим потерям для владельца рудника.

Старый, опытный, мудрый финн вскоре справедливо оценил Вендриховских по их интеллектуальным и нравственным достоинствам, и именно их выбрал себе в помощники, раскрыл им тонкости своей профессии, хвалил за находчивость, за педантичную аккуратность в выполнении заданий, держал себя с ними приветливо, на равных, при каждой возможности выказывал им симпатию и уважение, но не был склонен к приятельским отношениям с ними. Они тоже не навязывались Олдену в друзья, учитывая своё положение.

Так что пришлось Вендриховским, как и до сих пор, довольствоваться обществом друг друга, и они постоянно отказывались от участия в крикливых и пьяных погулянках *приказчиков*, с которыми работали в конторе.

* * *

– Господа Поляки? Я спрашиваю, где же господа Поляки?

Этот вопрос задал мужчина, который вошёл, вернее, проскользнул в контору рудника на Горе Алиберта.

– Это наш шеф, Сергей Демьянович Истенев, вчера приехал прямо из Петербурга, как полномочный представитель владельца рудника, – приглушённым голосом сообщил братьям Ларс Олден.

В полотняной блузе, красной краской и толстыми кистями, он надписывал адреса на ящиках, гружёных графитом и готовых к отправке за Урал, в Европу.

Молодые люди прекратили свою работу и поспешили на вызов Сергея Демьяновича Истенева.

– Мы – те Поляки, которых вы вызывали, Сергей Демьянович.

Мы – братья Вендриховские, – представился Адам и оба поклонились вежливо, но с полным достоинством.

Истенев снял очки, старательно, медленно протирал их красным клетчатым платком; затем снова надел и долго, долго приглядывался к молодым людям, с нарочитым, грубоватым любопытством приглядывался, как будто к особым экзотическим животным, выставленным на показ в какой-нибудь ярмарочной будке.

Наконец, слегка наклонил голову, как бы приветствуя их, и сказал:

– Рад знакомству! Очень рад познакомиться с господами Поляками. Представьте, вы только представьте, я первый раз в жизни имею честь, ну, и удовольствие, большое удовольствие, встретиться с Поляками и разговаривать с Поляками… Рад был бы также что-нибудь узнать о Польше и Поляках, если вас, дорогие мои господа, это не затруднит.

– Нисколько, нисколько, – ответил Адам, – я готов рассказать пану о всех интересующих вас обстоятельствах в моей Отчизне, и сообщить любую необходимую вам информацию, Сергей Демьянович.

– Ну-с, ладно!... Похоже, в Польше заговоры против власти составляют все обыватели… вся шляхта… это правда?

– Кажется, да, – ответил старший Вендриховский, – и даже, можно сказать, довольно часто.

Толстые, мясистые губы Сергея Истенева, под коротко стрижеными щетинистыми усами искривились в сатанинско-ироническую улыбку.

– На самом деле так?... А я, Фома неверующий, хотел в том удостовериться. Согласитесь, не очень красиво постоянно составлять заговоры.

– Это зависит… зависит от многих… от разных обстоятельств… которые и приводят к такому… то, что в кодексе называется «смягчающие обстоятельства».

– Да! Да! – без воодушевления поддакивал Сергей Истенев, хитро усмехаясь и после долгого молчания продолжил:

– В Сибири, *слышал я*, сейчас много *политических преступников*, много польской шляхты.

– Действительно, многие Поляки приговорены сейчас к депортации в Сибирь…

– Вы, господа, тоже шляхта?

– Да.

– *Пожалованные в мужики*?[12]

– Да.

– Очень сожалею, господа, что с вами случилась такая неприятность, – иронически усмехнулся Истенев, – очень сожалею!

– Напрасно!

– Как это напрасно?... Шляхтичи, разжалованные в *мужики*, которых каждый может ударить палкой по своему хотению, – хорошенькая история! – с насмешливым сочувствием кивая головой, сказал Сергей Истенев… – Разве что вы, господа, имеете надежду добраться до права и вернуться в Польшу.

– Кто бы отрёкся от прельстительной надежды вернуться на Родину!

– Правда! Правда! Но скажи, пан, прошу покорно, скажи ты мне, вы не намереваетесь ли затеять какой-нибудь заговор здесь?

– То есть где? Тут? На Горе Алиберта?

– Нет! Нет! Но в Сибири вообще, я слышал, в крепостях множество шляхты…

– Согласитесь, что эти достаточно ограждены от возможности затевать заговоры.

– Ну-с, так! Те, в крепостях, согласен! Но ведь есть и другие. Я слышал, наши города и сёла просто роятся от Поляков-*поселенцев, политических преступников*, шляхтичей… Не замышляют ли такие же польские паны-шляхтичи устроить какой-нибудь заговор тут?...

– Конечно, нет! Какой смысл Полякам устраивать заговоры в Сибири! – живо и смело отпарировал Адам Вендриховский, не опуская глаз перед пронзительным взором Сергея Демьяновича Истенева.

И после долгого молчания сказал:

– Хотите ли вы ещё о чём-нибудь нас спросить, Сергей Демьянович?

Тот отрицательно покачал головой:

– Нет! То, что я узнал от пана, рассеяло мои опасения и на сегодня мне вполне достаточно.

– Тогда мы вернёмся к своим начатым работам, если позволите.

– Возвращайтесь, господа! Позволяем, а почему нет?... Позволяем. Потому что, как полномочный представитель купца Алиберта, я желаю всё делать в интересах моего хозяина, а, значит, хочу и должен следить, чтобы в наших рудниках и наших конторах все *рабочие* трудились возможно дольше, энергичнее и плодотворнее. *Здравствуйте, господа!*

Они раскланялись очень вежливо и изысканно, после чего поспешно удалились.

Ларс Олден, хотя и занятый подсчётом и подписыванием ящиков, слышал дословно весь разговор Сергея Демьяновича с Вендриховскими.

Когда они вошли, подавая Адаму кисть, Ларс сильно пожал ему руку, и, усмехаясь уголками губ, шепнул:

– Мерзкая, опасная минута; дорогие мои! умейте владеть собой!... Да поможет вам Бог и поддержит в вашей тяжёлой доле. Терпение и выдержка!

* * *

Сергей Демьянович Истенев, человек ещё не старый, но изнурённый распущенной жизнью, чрезвычайно нервный, циник, фанфарон, фантаст; у него даже был некоторый опыт научной

работы (хотя и очень бестолковый), была у него и некоторая приятность в общении с товарищами, однако в отношениях с подчинёнными он всегда бывал безгранично грубым и скандальным, не выбирал выражений и жестов в минуты *хандры* и приступов гнева.

Он относился к той группе россиян, которая без всякой логической причины, без всякого повода ненавидели Поляков, совсем не зная ни этого народа, ни его истории.

С первой минуты прибытия на Гору Алиберта, Истенев начал систематически и неустанно преследовать Вендриховских.

К этому имелась у него полная возможность, как у шефа администрации рудников и как у главного полномочного их управляющего.

Например, – он то рвал страницы, которые минутой ранее кому-нибудь из братьев велел написать; рвал, ругая стиль, почерк, неясное представление интересов.

То высмеивал *польские ударения*.

То давал им распоряжения и приказы, совершенно противоречащие друг другу или такие, которые потом сам же и отменял, как только Вендриховские брались за их выполнение.

То использовал их для работ, не входящих в их обязанности, или даже привлекал к собственному обслуживанию.

Говорил с ними всегда грубовато, множеством способов прижимая их всё больше, всё изощрённее, ими обоими пренебрегали, всё тяжелее становилась их зависимость.

Совет старого Ларса Олдена: «терпение и выдержка»! – всё более и более нужен был братьям Вендриховским.

Сергей Истенев охотно перевёл бы обоих братьев-поселенцев из конторы в рудник и нагрузил бы их самой тяжёлой и грязной работой, если бы не то, что Ларс Олден всякий раз решительно становился на их защиту:

– Эти молодые Поляки основа конторы, они – моя правая рука, и ни за что я не соглашусь потерять таких трудолюбивых способных и порядочных помощников. Скорей, сам оставлю Гору Алиберта.

Сергей Демьянович хорошо знал, что таких администраторов, как Олден, он мог бы найти хоть сотню, и уговорить, и нанять, но –

в Петербурге, а найти такого, как Олден, чтобы тот согласился поехать в Сибирь, – почти невозможно.

Поэтому, благодаря угрозе Олдена, который действительно был душой рудника, Юлиуш и Адам Вендриховские остались на своих должностях.

Но господин администратор своих намерений относительно их никак не изменил. Более того: защита Олдена ещё более разожгла его ненависть к Полякам вообще и к Вендриховским – особенно.

А несчастные изгнанники решили не упустить ни малейшей возможности вырваться из этого ада, который на Горе Алиберта устроил им враг Поляков, Сергей Демьянович Истенев. И, поскольку такой возможности не предвиделось, участь Вендриховских была невыносимой. Они старались, насколько удавалось, не попадаться на глаза своего преследователя, избегали встреч с ним и любого столкновения.

Когда не были заняты в конторе, прятались в своём домишке. В воскресные дни и в праздники исчезали в лесу, что рос на склоне горы, или над рекой Боготол, омывающей графитовые залежи в Алибертовом руднике.

Чем занимались Вендриховские во время таких вылазок?

Как и все мы, изгнанники, пребывающие на каторге, или на поселении, в каждую свободную минуту изучали карты Европы, и вместо существующей, рисовали новую, – хотя бы и на песке.

А ещё: вспоминали деяния прошлых веков нашей истории, пытаясь почерпнуть в ней опыт и поддержку в сегодняшнем нашем положении.

А ещё: рассказывали друг другу о своей деятельности на Родине… И во время таких рассказов ещё раз переживали уже пережитые однажды чувства и впечатления: пламенный энтузиазм и светлые надежды, которые угасли, как вечерняя заря… развеялись, как сон, от которого человек просыпается, попадая в ужасы действительности – заключение, этапы, принудительные работы, депортации, изгнание.

А ещё: собирали цветы и травы, чтобы их засушить и привезти на Родину, как память о пребывании в далёких краях.

А ещё: записывали впечатления, своё отношение к людям, с которыми их судьба мимолётно столкнула, и к окружающей природе.

……

Как-то во время такой воскресной вылазки в лес, среди нежной чуть голубоватой зелени, перед глазами Вендриховских мелькнуло нечто подвижное, ярко-красное.

Не успев ещё сообразить, что бы это могло быть, они увидели, что из лесной гущи появилась высокая женщина в шёлковом красном платье и белой шёлковой шали, накинутой на плечи.

Они безмерно удивились, потому что, если в этих краях им доводилось встречать женщин, то только – Буряток, в тройных кафтанах на меху, таких же накидках, в войлочных шапочках на голове, с безобразными, коричневыми, верблюжьими губами.

Перед этой европейской женщиной, которая встала перед ними на узкой дорожке, загораживая путь, Вендриховские остолбенели…

Женщина засмеялась, весело, непринуждённо…

– Ну, что дальше?... Вы меня боитесь, *господа*? – спросила она по-русски. – Может ли так быть, что вы меня не знаете?

– Жаль, очень жаль, – весело ответил Адам, – но не имели такой чести…

– Не жалейте! А то я вас сейчас же огорошу. Потому что я… хотя нет! Не скажу… угадайте, *господа*!

– Пани велит нам угадывать, – сказал Юлек, – но это напрасный труд! Лучше сразу назовите себя, если хотите. Если нет, – что ж, будьте здоровы!

– Ать! Не будь такой шустрый, дурачок!

– Дурачок! – возмущённо повторил парень. – О, пожалуйста! Лучше фамильярность, чем знакомство.

Этот всплеск недовольства Юлека Вендриховского очень понравился женщине. Она захлопала в ладоши и засмеялась:

– Смотри-ка! Какой обидчивый. Ну! Ну! Без гнева, без обид! Прошу прощения и заодно представлюсь: я – Шура…

– Шура? – спросил Юлек. – Это имя или кличка?

– Имя!

– Дивное имя! – иронично заметил парень. – Никогда в жизни не слышал такого.

– Потому что ещё мало жил на свете и много чего ещё не знаешь и не слышал, юнец! – отпарировала обиженная женщина.

Потом перестала хмуриться и сказала:

– Шура, Шурочка – значит, Олеся, а, вообще же, я: Александра Павловна, Сергея Демьяновича Истенева законная жена.

– Приятно познакомиться, пани.

– Приятность взаимная! – поклонилась Шурочка, живо добавив:

– А вам, *господа*, и представляться не надо, я вас знаю. Вы – *Поляки*, бунтовщики.

– Наши фамилии Вендриховские, – прервал её Адам, нахмурив брови, но вежливо кланяясь, – мы помощники Ларса Олдена. После тяжёлой, недельной работы в душной конторе рудника нам нужен отдых и прогулка на свежем воздухе… Мы ещё должны дойти до аймака бурятов в долине. Позвольте, пани, попрощаться.

– Не позволю! Не позволю! – рассмеялась женщина высоким и неприятным голосом, расправляя плечи, чтобы загородить им дорогу на узкой тропинке между двумя оврагами. – Не пущу вас. *Ей-же, ей!* Я хотела познакомиться с вами!

Братья вновь поклонились:

– Весьма благодарны!...

– *Ну-с!* Не за что! Не за что… Я уже не раз сама себе говорила: Шура Павловна! Ни к чему такое твоё хотение: эти Поляки каждое воскресенье, каждый праздник прячутся, как мыши, в какой-нибудь норке… Аж здесь вас отыскала, оказывается, вы прячетесь в лесу и гуляете… Вот и хорошо! теперь вместе гулять будем.

– Для нас это было бы и почётно, и приятно, – ответил Адам, – только что бы на то сказал Сергей Демьянович Истенев!

– Мой муж? Что с того? Вы думаете, я боюсь своего мужа?

– Нет, конечно, мы так не считаем, просто мы думаем, что вашему мужу было бы неприятно, что вы лишаете его своего присутствия… И если пани любит…

– Кого? Мужа? Люблю ли я его? Ах! Конечно, нет! *Надоедал* он мне немало. Сохрани, святой Николай Чудотворец!...

На минуту задумавшись, продолжила:

– В Петербурге, правда, – ко всем чертям! – ещё кое-как… Сергей Демьянович получал большую пенсию, *казённую*, а ещё большие доходы… Но что ж, если кто любит излишества, напитки, карты, гулянки с девчатами в роскошных *ресторанах*… *Ей-же, ей*, мало он тысяч рублей потратил на этих *дряней*… Ах! Душа у меня болит, как об этом подумаю… Часто корила его за это, а он смеётся: «Я люблю красивых девиц, а ты любишь красивых юнцов, – так что мы квиты»…

– А пани считает, что Сергей Демьянович имел основания так говорить? – усмехнулся Адам.

Она очень возмутилась:

– Конечно, не имел никаких оснований, хотя бы потому, что я денег на юнцов не тратила. Видите ли, пан, тут разница! Большая разница! Когда я сидела дома и нужно было и порядок соблюдать, и воевать со слугами, он в это время разыгрывал в городе из себя вельможу, миллионера… И после этих забав пришлось подавать в отставку, – как кирпич на голову…

– Это худо! – притворно посочувствовал младший Вендриховский.

– Конечно, худо! – вздохнула Шура. – Ах! Худо, жалко… Всю нашу красивую обстановку, чёрт бы их побрал, присвоили кредиторы. Мы переселились в одну комнату за городом. *Ей-же, ей*, не повезло нам в Петербурге!... Сергей Демьянович уже начал напиваться по *кабакам*. К счастью, появилась служба у Алиберта. *Ну-с*, и приехали мы сюда… Хоть тут мы и недавно живём, но мне уже до мозга костей *надоело* жить в пустыне. *Хандра! Хандра!* Нападает на меня днём, а в ночи рой всяких несусветных мыслей так и мечется у меня в голове… Я только и придумываю, как бы отсюда перво-наперво вырваться, если уж в Москву или в Петербург не удастся, так хотя бы в какой-нибудь губернский город.

Шура Павловна всё это рассказывала горячечно и поспешно, с напором, и мимикой, соответствующей голосу и содержанию этих признаний.

Втроём они уселись на полянку, поросшую густой и мягкой травой, словно ковёр из стриженого пушистого бархата.

После короткого молчания она продолжила свой рассказ:

– Правда, есть две дочери, россиянка и немка, её отец был лекарем в Петербурге. Была у него большая практика, пользовался уважением в богатых кругах, но состояние сколотить не сумел, умер молодым и ни копейки не оставил осиротевшим: жене и дочери. Но мы всё же остались в столице, сводили концы с концами, даже жили в достатке, принимали гостей… Так подвернулся претендент: Сергей Демьянович Истенев.

И так они полюбили друг друга и поженились.

Только любовь вскоре покинула их дом, улетела, как птица из клетки.

Дальше в своих откровениях Александра Павловна с полной откровенностью признаётся, что не равнодушна к «красивым юношам».

Обращение её всё более фамильярно.

Она придвинулась к Юлеку, хлопает его по плечам, щекочет под подбородком, пощипывает щёки, нежно гладит ладонью шелковистый блондинистый пушок над верхней губой.

Юлек, застыдившийся, смущённый, пытается избежать этих ласк, весьма однозначно высказывая Александре Павловне своё недовольство, в котором кто-либо более проницательный, чем госпожа Истенева, заподозрил бы отвращение.

– А вам, пан Юлиан, нравятся красивые женщинки? – цинично спрашивает Шура Павловна.

Юлек порывисто поднимается, распрямляет свою стройную крепкую фигуру, и серьёзно отвечает:

– На семнадцатом году жизни меня арестовали. Я долгое время пробыл в тюрьме. Целый год этапами шёл в Нижнеудинск… Так что не время и не место было заниматься «женщинками». А сейчас у меня нет на это времени, и я ещё меньше этого хочу. Лучше забыть об этом, Александра Павловна!

И отошёл, хмурый и разгневанный. Отходит и исчезает в чаще леса.

– Гляди-ка на него, юнец, дурачок, такой был тихий, как мышь под веником, а какую дал мне жёсткую отповедь! – говорит Истенева шутливым тоном и смеётся.

И чувствуется, что смех притворный, принуждённый, что «отповедь» совсем не пришлась ей по вкусу.

Сейчас она поворачивается к Адаму, который тоже сидит, как на раскалённых углях, а она всё болтает и болтает.

– Там приехали к нам какой-то *урядник, пристав, поп*… А я показала фигу им всем, чтобы познакомиться.

Адам молчал.

– Сейчас начнут в карты играть… Сергей Демьянович снова проиграет месячную пенсию, а то и ещё больше, – вздыхает Александра Павловна.

– Сергей Демьянович и здесь в карты играет? – спросил Адам Вендриховский лишь для того, чтобы выказать хоть какой-то интерес к разговору.

– Играет ли он в карты?... – вспыхнула Шура. – И ещё как! Двое суток не вставал бы от стола, если бы нашёл подходящих партнёров. И надо ли удивляться? Верно говорит пословица: «Чёрного кобеля не отмоешь до бела», и шулера от карт не отучишь.

Адам Вендриховский, наконец, теряет терпение. Болтовня этой женщины, циничной и навязчивой, раздражает его донельзя.

Он встаёт с травы и говорит:

– Уже вечереет. Над рекой носятся влажные облака, из лесу веет холодом. Вам, пани, надо возвращаться домой. Александра Павловна, вам надо идти, во избежание горячки, или даже воспаления лёгких, которое тут грозит неосторожным.

Шура мнётся и говорит, что ещё не уйдёт.

Клянётся, что здорова *как корова*, что не боится ни горячки, ни воспаления лёгких… И, наконец, искренне и прямо признаётся:

– Жаль мне с вами расставаться! Проводите меня домой, – заискивающе упрашивает она, кокетничая.

Вендриховский решительно отказывается.

– Простите, пани, Александра Павловна, – простите, что я не могу выполнить ваш милый приказ. Нам с братом сегодня ещё надо побывать в долине.

– Разве это обязательно? – настаивает Истенева. – Разве нельзя это отложить до следующего воскресенья?

– Это и обязательно, и отложить его нельзя до следующего воскресенья. Мы заказали у бурятов оленьи шкуры. Нам сообщили,

что они готовы. Мы должны их забрать, потому что давно их ожидаем. Они нам очень необходимы.

– Жаль! Очень жаль! – вздыхает Шура. – Прогулка с вами была бы такая *прелесть*, но раз нельзя, что поделаешь… До свидания! До приятного и скорого свидания! – кричит она, посылая Адаму воздушные поцелуи.

Потом накидывает шаль на голову, закутывается в неё и, волоча за собой шлейф красного платья, медленно направляется к руднику.

* * *

С тех пор, как Александра Павловна познакомилась с Вендриховскими, она постоянно искала встреч с Юлеком.

В обычные дни подкарауливала его на территории Алибертова предприятия.

В праздники искала и настигала его в лесу и даже в долине, в айматах кочующих бурятов.

Однако, несмотря на уловки Шуры, молодые люди всегда как-то исчезали у неё из поля зрения, благополучно и хитро избегая долгих встреч с навязчивой особой…

И, наконец, уже зимней порой, потеряв терпение и раздражённая неудачей своих замыслов, Шура как-то зашла в контору.

Приказчики вскочили с кресел, склоняясь чуть не до земли в поклоне перед женой своего начальника, и заискивающе спрашивали:

– Что *Превосходительство* прикажет?

«Превосходительство» высоко поднимает голову, красуется, как пава, не обращая внимания на *приказчиков*, и направляется прямо к креслу, в котором сидит её муж, и с наимилейшей своей улыбкой говорит:

– Сережа Демьянович, *голубчик*, ты не брал ключи от кладовой?

Истенев удивлённо глядит на свою усмехающуюся половину; ему очень хотелось бы одёрнуть её и спросить:

– Чего прилезла?

Но он не может сразу сориентироваться в ситуации, подстраивается под её тон и громко отвечает:

– Никаких ключей, Шура Павловна, *миленькая*, я не брал.

– Так куда же они *девались*? В доме их нет. Я уж их везде обыскалась… Не мыши же их уволокли в нору! Вспомни, Сережа, *голубчик*, может, ты их где спрятал?... Целая связка была на ремне. Самые необходимые!...

Александра Павловна ластится к мужу, щебечет, кокетничает, принимает позы наивной девочки, призывно усмехается, – тогда как её глаза, искрящиеся, любопытные, беспокойно оглядывают все уголки комнаты, всматриваются в анфиладу других комнат, упорно разыскивая Вендриховских.

Наконец, она их высмотрела.

Адам в последней комнате что-то вписывает в огромную книгу, Юлек подаёт Ларсу Олдену шестиугольные таблицы графита, которые тот считает, сперва внимательно осматривая, складывает в пирамидки.

Истенева не может совладать с радостью, что, наконец, ей удалось достигнуть цели своих долгих и неустанных поисков. Она отворачивается от мужа и спешит в комнату, где работают Вендриховские.

– Как поживаете, господа? И *любезный Юлек!* Наконец, я вас нашла! – кричит она, довольная «находкой», и хочет проникнуть в комнату.

Ларс заступает ей дорогу, вежливо снимает шапочку, которую носит постоянно, кланяется, и со своим архикомическим акцентом говорит:

– *Нельзя! Извините-с*, Александра Павловна, мы тут очень заняты.

– Я пришла вас проведать, *господа!*... Не хотите принять даму, это невежливо, это очень невежливо с вашей стороны!

– У нас нет времени принимать визиты, – учтиво, но решительно заявляет Ларс Олден, и захлопывает дверь перед госпожой Истеневой, энергично задвинув засов.

Шура сконфуженно уходит.

Сергей Истенев, который насмешливо наблюдал за ухищрениями своей половины, наконец, разражается хохотом, по поводу её конфуза и афронта, которым её встретил старый финн.

– Ну! Шурочка! Душа моя! Нашла ключи, а? Ту связку *самых* необходимых?... Нашла? – спрашивает Истенев, когда жена проходит около его кресла.

Шура, головой и плечами, делает жест неопределённого значения.

– *Дрянь!* – громко говорит Сергей Истенев, и опять хохочет. – Знаю, зачем ты сюда приволоклась… «Нет такой мыши, чтоб колокольчик на шею коту повесила», и ты, Шурочка, не найдёшь способа меня обмануть. – *Дрянь!* – повторяет он и сплёвывает.

* * *

– *Христос воскрес! Христос воскрес!* – этот окрик звучит на все лады в доме Сергея Демьяновича Истенева. По поводу пасхальных праздников все работники администрации Алибертовского графитного рудника собрались у своего шефа.

Александра Павловна одета в самое яркое из своих петербургских платьев и считает себя красавицей. Ведь так ей повторяют собравшиеся гости в доме её мужа Сергея Истенева. Повторяют хором и *в унисон*. А Шура больше всего верит похвалам, хотя зеркало должно бы её остеречь и предупредить, что всё неправда, всё издёвки, потому что у неё короткий, калмыцкий нос, крупное лицо, пятнистая кожа, волосы рыжие, а фигура – грузная, унаследованная, видимо, от отца-немца.

Но она вертится по комнате, как юла, раздаёт поцелуи направо и налево, и охотно принимает ответные.

Притом, неустанное внимание её направлено в сторону Юлека Вендриховского, который её избегает.

Приказчики давно уже всё поняли. Чтобы услужить и понравиться жене своего начальника, они окружают Юлека тесным кольцом, из которого бедный паренёк пробует вырваться.

Напрасно! Осадили его надёжно.

И тогда он предаётся свой судьбе…

Александра Павловна замечает положение Юлека, выгодное для её планов.

Как уж проскальзывает она в кружок *приказчиков*, которые скромно расступаются…

– *Христос воскрес!* – кричит Шура.

Целует Юлека, который с явной неохотой и явным отвращением легко прикасается губами к щеке Истеневой.

– Пан, вы от меня прячетесь! – говорит Шура приглушённым голосом, в котором слышатся обида и огорчение. – Пан ничего не ест и не пьёт… Пану скучно… А однако… А однако… Среди нас найдётся столько чувствительных сердец…

– Я не нуждаюсь в них, и этим счастлив, – нетерпеливо прерывает Юлиуш собеседницу, которая его безмерно раздражает, поскольку он чувствует, что делается смешон, и что может быть скомпрометирован.

– Я попробовал уже все совершенства кулинарии, которые пани приготовила для нас, и убедился, что Александра Павловна замечательная хозяйка… Поздравляю!...

– Премного благодарна, спасибо, большое, большое спасибо, – усмехается Шура, склоняясь перед Вендриховским в низком поклоне. – Вы попробовали блюда, мною изготовленные, *ладно!* А теперь попробуйте заграничный продукт.

И подаёт ему серебряный кубок, наполненный какой-то мятной ароматной жидкостью.

– Пей, пан! – приглашает Юлека. – Это редкий заграничный ликёр. Алиберт прислал Сереже одну бутылку. Я немножко отлила для вас. Пей, пан, за моё благополучие и за моё здоровье.

Она суёт ему в руку серебряный кубок с ароматной густой жидкостью, и всё более настойчиво требует:

– Пей, пан, за моё здоровье.

Чтобы отвязаться от нахальной бабы, Юлек одним духом выпил всё содержимое кубка.

– Вкусно?... Правда, вкусно, а?... – спрашивает женщина. – Ну-с, скажи, пан, вкусно?...

– Омерзительно! – встряхивается Юлек. – Отвратительно! Никогда в жизни ничего более противного не пил.

Шура пожимает плечами и удивляется:

– Вот и видно, что ты не знаешь толк в заграничных дорогих ликёрах. Но раз тебе не понравился подарок купца Алиберта, закуси калачом моего приготовления. Тесто я месила своими руками.

И подаёт ему калач с сыром.

И крепко стискивает его руку…

Наконец, уходит…

Потом шастает по комнате, держа в руке полотняный, цветной, вышитый рушник и попеременно использует его, как веер, носовой платок и полотенце, которым вытирает принесенные из кухни стаканы и тарелки.

Какой-то музыкальный гость заметил висящую на стене гитару.

Снимает её и извлекает из старого инструмента пару стонущих тонов.

Двое других гостей начинают тренькать на своих балалайках, а потом предлагают хозяйке дома – они охотно бы ей аккомпанировали, если бы она пожелала спеть.

Александра Павловна вздрогнула, отказываясь под предлогом, что охрипла, и не стала.

После долгих упрашиваний, уступает, однако, настойчивым просьбам присутствующих и садится посреди комнаты.

Около неё сидят гитарист и двое с балалайками.

Гости полукругом окружают Александру Павловну и музыкантов.

Шура вытягивает ноги, меланхолично смотрит на кончики своих туфель, будто ожидает найти в них поэтическое вдохновение, смахивает с них пыль всё тем же вышитым рушником, который таинственно складывает и разворачивает и, наконец, перекидывает его себе через плечо и…

Начинает модную в то время весьма распространённую в Сибири песню «О боевом офицере». Этот герой счастливо воевал и побеждал Галлов, которые напали на *матушку Россию*, но сам оказался в плену у своей красавицы-любовницы, которая посекла его на мелкие куски его же победоносной саблей… на могиле некоего храброго юноши.

Песня вызвала аплодисменты и общее восхищение. Присутствующие хлопают в ладоши, притоптывают и кричат, что песня *сердечная*, красивая, такая же красивая, как её исполнительница.

После этой арии Александра Павловна отдыхает.

Глубоко вздыхает, рушником вытирает пот со лба и поглядывает в сторону Юлиуша Вендриховского.

Тот как раз говорит брату:

– Все эти кушанья, алкоголь и этот визг меня одурили: я себя плохо чувствую. Ради Бога! Адасю! Бежим из этого адова предбанника!

Выходят.

Шура заступает им дорогу в дверях.

– Не попрощавшись с хозяйкой дома, господа? *Ну-с*, это очень нехорошо!

– *Христос воскрес!* – добавляет она, приближая щёку к устам Юлека.

– Христос воскрес только один раз, – жёстко ответил парень, резким движением оттолкнул от себя назойливую и бесстыдную женщину.

За Вендриховскими вышел и Ларс Олден.

Этого никто не задерживал…

Переступив через порог дома Истеневых, Ларс сплюнул и, зажигая свою короткую фарфоровую трубочку, буркнул:

– Жена Пентефрия[13]!

Притом, его худое, усталое, вспаханное тысячью морщин лицо дёргалось от издевательской усмешки.

……

……

Есть в Иркутской губернии далёкий уголок, это Селенгинская долина, с востока до юга открытая для солнечных ласк и улыбок, а с севера заслонённая полосой высоких гор, увенчанных синеватыми лесами.

Таинственный шёпот древней пущи долетает сюда издалека… издалека также чувствуется веяние, ароматное, как восточный бальзам, и живительное, как старое венгерское вино.

В Селенгинской долине особенно буйная и богатая растительность.

Тамошние луга пламенеют сказочной оргией цветов.

Растут там фиолетовые сибирские благоуханные ирисы, мелкие пахучки[14], огромные белые ромашки, величиной с астры, у подножия гор над ручьём полосой тянутся голубые кустики незабудок.

Над травами на стройных высоких стеблях колышутся бледно-жёлтые чаши цветка, похожего на наш коровяк или медвежье

ухо. Но в этом царстве флоры главенствует пламенно-алый цветок *жарок*, необыкновенно красивый, который в Сибири слывёт символом любви.

В гуще зелёных трав, которые колышутся волнами, как море, в Селенгинской долине высится деревянное строение тёмно-голубого цвета, выше всех хат в аймаке.

Можно бы подумать, старый польский деревенский костёл, только бы напрасно на нём искать крест… Вместо этого на вершине стоит прут из блестящего металла, с заострённым концом, который как бы вонзается в облака.

Внутри строение заполнено деревянными и каменными изображениями Будды. Стены обвешены картинами, представляющими Будду в его многочисленных обличьях.

В глуби строения стоит стол.

На нём три медных сосуда, предназначенных для жертв, состоящих из злаков, соли и кусочка жареной баранины.

Около стола, обращаясь к алтарю, лама ежедневно отправляет религиозный обряд, ибо это синеватое строение – есть пагода бурятов-буддистов, и такое должно находиться в каждом аймаке.[15] Буряты – племя монгольского происхождения и говорят на двух монгольских наречиях.

Одни признают шаманизм и они – диковаты, полны неукротимой похоти, а также кровожадных инстинктов – это кочевники.

Буряты-буддисты, наоборот, облагорожены влиянием культа, который осуждает всякую несправедливость и ненависть, который запрещает всяческие обманы и велит не обижать даже самое ничтожное живое творение.

Буряты-буддисты придерживаются старых мест жительств. Одно из таких как раз и есть аймак в Селенгинской долине.

Синеватые дома в Селенгинской долине видные, высокие, чистые.

Тот, который принадлежит вождю, *тайдзы*[16], стоит на обочине, отличаясь от других, как самый высокий, нарядный, просторный.

Дом начальника племени должен быть обширным, потому что здесь проходят собрания *шуленгов*[17], которых *тайдзы* призывает, когда требуется совет старшин в важных делах племени,

при разборке ссор, решений споров и торгов между жителями аймака.

……

После пасхального завтрака у Истеневых Юлек Вендриховский сразу же заболел.

А как раз, по случаю радостного рождения в царской семье, общая амнистия была дарована политическим преступникам той каторги, к которой оказались приписаны братья Вендриховские.

Они могли сразу же отправиться в обратный путь на Родину, если бы не то, что Юлек не вынес бы далёкого и утомительного пути.

А Адаму Вендриховскому рассказали, что больные сибиряки, очень часто, после долгого пребывания в Селенгинской долине, вновь обретали силы и здоровье.

Поэтому Адам увёз туда Юлека.

Остановились они в доме князя, где царили сердечность, гостеприимство, удобства, которых и ожидать невозможно было в этом селении, столь отдалённом от цивилизации.

Но, несмотря на прекрасный климат, несмотря на старание и опёку брата, и на лекарства, привезённые из Иркутска, состояние Юлека всё ухудшалось.

Интеллигентный, красивый, полный бодрости цветущий юноша превратился просто в скелет, полысел. Зубы у него расшатались, кожа потемнела, губы покрылись горячечными пузырями, мысли рассеивались – он угасал с каждым днём, а, вернее, даже с каждым часом.

……

Но что же так внезапно вызвало болезнь Юлека, болезнь, которая поразила и разрушила весь его организм? – Адам узнал это уже после смерти брата.

А случилось вот что: Сергей Истенев поручил одному из кочующих племён бурятов-шаманистов доставить себе дорогой мех, и как только его получил, отказался уплатить оговорённую цену.

А шаман этого племени прослышал, поскольку это была всем известная тайна, – что Истеневы живут между собой в постоянном состоянии войны.

И тогда шаман предложил Александре Павловне приготовить для неё настойку из разных трав, которая обладает особыми свойствами: пробуждает в мужчине пламенную страсть к той женщине, которая этим настоем его напоит.

Шура с восторгом приняла предложение и за эликсир шамана заплатила большие деньги.

Но шаман продал Шуре не любовный эликсир, а медленно действующий яд, надеясь, что она напоит им своего мужа, и тот умрёт, а шаман будет отомщён за совершённый Истеневым обман и воровство неоплаченного меха.

Шура же, считая, что добыла любовный напиток, напоила им Юлека, в которого была так безответно влюблена.

Так Юлек Вендриховский пал невинной жертвой мести бурята за обман Истенева, выпив тот самый заграничный ликёр, которым так потчевала его Шура и который был смертельным ядом, изготовленным шаманом для убийства Истенева, который, увы, уцелел.

Венчание в тюрьме

«Высылка из Вильно участников заговора Конарского, для осуждённых к высылке в Сибирь, на срок, утверждённый самим царём, назначена была на 22 марта 1839г.

Как невесту Томаша Булгака, меня тоже арестовали; но в тюрьме я пребывала недолго, потому что при скрупулёзнейшей работе следственной комиссии ничто не доказывало и даже не возникало никакого подозрения, что я действительно участвовала в каком-то заговоре.

По выходу из тюрьмы, с помощью моей дорогой матушки, я занялась приготовлением в дорогу, ибо я решила сопровождать Томаша в изгнание, – уже как его жена.

Виленский губернатор, князь Долгорукий, согласился, чтобы “Томаш Булгак перед выездом в Сибирь, повенчался со своей невестой, Терезой Вербицкой”, но с тем условием, что: “венчание состоится в тюрьме и тотчас же”.

Несмотря на это “тотчас же”, назначенный срок падал на Страстную неделю и потому требовалось получить особое разрешение церкви на венчание, в частности, от властей костёла.

Секретарь римско-католической консистории, Гикольд, к которому мы обратились с просьбой приказать ускорить неизбежные формальности, с большой горячностью, даже с энтузиазмом, помог нам в этом деле, столь важном для меня, поскольку решалась моя судьба и даже всё моё будущее.

Гикольда я поблагодарила, что он так облегчил течение дел. Он и сопровождал меня и мою мать к епископу, заранее предупредив, что епископ, наверняка, будет чинить препятствия в выдаче разрешения и станет отрицать действительность брака с осуждённым в Сибирь, ибо его Пасторская милость считает это своей обязанностью – однако всё же нет никакой уверенности, что он в разрешении откажет. Так что я следовала за Гикольдом с сильно бьющимся сердцем, и стала у двери апартаментов Виленского епископа.

Им был ксёндз Андрей Клагевич, который до 1831г. служил профессором теологии в Виленском Университете. Ближе узнав его, я убедилась, что ксёндз Клагевич был и щепетильным священнослужителем, и добрым Поляком, ибо он ценил жертвы, принесённые во имя Отчизны, хотя не скрывал, что не разделяет надежд и пыла молодёжи… Книжечка “Катехизис о почитании царя”, которую ошибочно приписывали ксёндзу Клагевичу, создала ему репутацию отступника от общенародного дела.

Итак, несмотря на успокаивающие заверения Гикольда, смущённая и дрожащая, стояла я перед тем, от кого зависело решение моей участи.

Епископ принял нас довольно благожелательно. Только один раз обратился к моей матушке, хорошо ли она подумала, какая судьба ожидает её дочь, если та выйдет замуж за человека, осуждённого на поселение в Сибирь.

Матушка ответила, что её дочь, будучи впервые помолвлена, сейчас лишь исполняет данное слово, и в том видит своё счастье, так что она, матушка, не имеет права мне запретить этот шаг, раз уж сама дала согласие на помолвку.

Епископ обернулся ко мне:

– Вы, высокочтимая панна, понимаете, как сложится ваша жизнь в изгнании, в далёких краях, вдали от своих, и наверняка в нужде?

– Я буду счастлива разделить участь моего мужа, всё, что ему придётся перенести, то и я перенести сумею, – ответила я.

– Так вам это, высокочтимая панна, кажется сейчас, когда вы, как я вижу, взволнованы и влюблены. Но когда горячая любовь остынет, вы можете пожалеть о теперешнем шаге, от которого впоследствии уже нельзя отречься. Бракосочетания по горячей любви доставляют нам немало бракоразводных дел.

– Я хорошо знаю своего жениха, – отвечаю, – и уверена, что никогда не пожалею о браке с ним.

Ксёндз-епископ покивал головой, а добропорядочный Гикольд переминался с ноги на ногу от нетерпения.

Епископ опять обратился к маме:

– Имеется ли у высокочтимой пани свидетельства соответствующих пробстов, что оба брачующихся – свободны?

– У меня нет таких свидетельств, но я обязуюсь доставить таковые Вашей Пасторской Милости.

– И ручаешься, высокочтимая пани, что между ними нет никаких родственных связей?

– Ручаюсь и могу привести нужные доказательства.

– Ну, тогда напиши, пан, – обратился он к Гикольду, – освобождение от церковных предписаний на имя ксёндза Менье, пробста костёла святого Яна, а тем временем расскажи ему обо всём, и пусть сразу же ответит этим паннам.

– Можешь ли, панна, принять сейчас святое причастие?

– Могу, я – натощак.

– Ну хорошо, венчание должно совершиться сейчас, потому что завтра Великий Четверг, сам Папа не мог бы дать разрешения, да я и так должен буду сообщить Святому Отцу и получить его согласие на это венчание, обусловленное особыми обстоятельствами… Высокочтимая панна не должна жить вместе с мужем аж до следующего Воскресенья.

– Ни в коем случае, – заверила матушка, – я не позволю ей остаться в тюремной камере. А завтра утром, может, даже этой ночью, он будет выслан.

Епископ склонил голову.

Я встала на колени, прося его благословения.

Он благословил меня и подал руку для целования, а потом ещё повторил свои советы и предостережения.

Во время последних слов епископа Гикольд, помня, что нет ни минуты лишнего времени, побежал в Консисторию по поводу освобождения церковных предписаний, и когда мы с матушкой спускались по ступеням епископского дома, он уже нёс епископу бумаги на подпись.

Благородный, бесценный Гикольд! Такое бескорыстие, такое горячее участие в затруднении незнакомой ему особы, какое же яркое свидетельство щедрости его души…

Ах! В то время вся наша молодёжь пылала патриотизмом и считала за высокую честь любую жертву во имя Отчизны и участие во всём, что с этим связано.

Такие чувства, тогда, как и сейчас[18], были проникнуты романтизмом… Но те, кто это отрицает, пусть заглянут в наше прошлое и пусть задумаются, чем был бы сегодня наш народ, если бы не имел Немцевичей, Бродзинских, Мицкевичей, Словацких, Красинских?... Если бы искры святой любви к Отчизне не разжигали в сердцах тогдашней молодёжи – Филареты, а в сердцах женщин – Танская?... – чем были бы мы?

Мы остались бы бессердечными, бездуховными скелетами народа. Нет! Даже и того меньше!... Мы были бы только прахом на кладбище истории…

С чувством несказанной радости и благодарности к Богу и людям, мы с матушкой пошли в костёл св. Яна.

Там меня уже ожидал ксёндз-декан Менье (который по случайно повторившимся обстоятельствам благословил меня на второй путь в Сибирь двадцатью пятью годами позднее в 1864г.). Он спрашивал меня недолго, и дал мне святое причастие, и сказал, что до пол-второго будет в костёле Базилианов, где помещалась тюрьма, и там нас повенчают.

Перед большим алтарём отправление святой мессы ещё не кончилось. После благословления я всей душой вознеслась к Богу в благодарственной молитве… Я будто поднялась над землёй… Мне казалось, что в сонме благословенных душ я сливаюсь с Предвечной Любовью, что одарила меня дражайшим сокровищем. Ибо: “кто устремится в погоне за роскошью, если

познал Великого Бога на небе, и любит достойного мужа на земле?”.

Однако недолго длилось мгновение моего восторга, мгновение вознесения духа над землёй, с её страданиями и бедами. Час близился. Ещё надо было уладить официальные формальности, не теряя времени обойти русских чиновников.

Сперва мы направились к штатскому губернатору, которым был тогда Йержи князь Долгорукий, потом к генералу Кветницкому. Весть о предстоящем венчании молодой образованной особы с поселенцем, который отправляется в Сибирь, заинтересовала всех российских чиновников.

Я стала объектом общего любопытства. И губернатор, и комендант были со мною безмерно любезны.

Губернатор, князь Долгорукий, был высокий, красивый мужчина. А жена его – некрасивая, горбатая карлица.

Оба вышли ко мне и сказали несколько приятных, приязненных слов. Князь меня заверил, что все официальные формальности уже улажены, а генерал-губернатор поставлен в известность, что епископ выдал разрешение на венчание.

Нам надо было также спешить к генералу Кветницкому.

Этот добропорядочный старец встретил меня на пороге, радостно восклицая по-российски:

– *Слава Богу!* Всё уже улажено. Я только что из церкви, где, как сказал мне князь генерал-губернатор, состоится ваше венчание, и поручил мне выдать нужное распоряжение. Я уже послал приказ к плац-майору, чтобы в зале, где заседает следственная комиссия, устроили алтарь, и чтобы позволено было присутствовать заключённым и тем городским жителям, что придут с вами.

Я сердечно поблагодарила доброго генерала. Он взял в руки богато оправленный образ Святейшей Богоматери Остробрамской, сказал:

– Это ваш, католический, образ. Так позвольте же мне благословить вас этим образом, как дочь.

Растроганная до слёз, я склонила голову, он перекрестил меня и сказал несколько торжественных слов благословения.

Когда я уже была почти на выходе, в дверях показалась госпожа Кветницкая. Генерал представил меня жене словами, полными сочувствия.

Она же, сквозь зубы, процедила по-российски:

– Вы, барышня, приносите большую жертву!

– По моему убеждению, никакая это не жертва, – ответила я, и, поклонившись, поспешно сбежала со ступенек.

А ведь надо было ещё подумать о подвенечном платье и о подружках.

Я поехала к моим великодушным, дорогим Ходзковым.

Доминик Ходзко, женатый на Цезарине Ревенской, выполнял в Вильно обязанности переводчика в так называемой “цивильной палате”. Писал также для периодических изданий, но преимущественно переводы с французского и немецкого. Он был высоко интеллигентным человеком с добрейшим на свете характером.

Во всё время заключения Томаша, у Ходзков я всегда находила сердечное сочувствие и утешение.

Узнав про мои заботы о платье, Цезаринка Ходзкова предложила мне своё, свадебное, и венок из померанцевых цветов. Платье не очень хорошо сидело на мне и было коротковато, но это меня не беспокоило.

В качестве “дружки” предложил себя шестнадцатилетний Казик Черноцкий, брат моей приятельницы Идалии.

Так, всё уладив, я поехала одеваться…

Дорогая матушка, закрепляя на мне миртовый веночек, орошённый её слезами, тишком вложила в мои волосы кусочек сахара, завёрнутый в бумагу.

Ведь золота у нас не было…

Во всю мою жизнь я действительно знала лишь усладу любви, но никогда не знала достатка. И мы с Томашем тоже никогда не стремились к богатству.

Благодарение Богу! Материнское благословение сполна осуществилось над нами.

… В коридоре первого этажа (в монастыре Базилианов, превращённом сейчас, как и в 1823 году, в тюрьму) меня уже ожидали плац-майор Богданович, плац-адъютант Валентинович, а также офицеры полка, несущие службу в тюрьме.

Все поприветствовали меня самым уважительным поклоном. Только Валентинович позволил себе замечание: “Тяжело, однако,

будет вам в Сибири. Здесь вы привыкли, чтобы работали на вас, а там вы должны будете обслуживать себя сами”.

Я, конечно, не вдавалась ни в какие препирательства с господином адъютантом Валентиновичем.

Молча мы с матушкой поспешили на второй этаж в камеру, которую Томаш занимал вместе с Дроздовским.

Дроздовский был весьма достойным молодым человеком. На следствии он никого не выдал. В тюрьме у него открылась грыжа и его пожелтевшее лицо выдавало сильную боль.

Несмотря на это, он силился сохранять доброе настроение и был для Томаша очень милым товарищем… По-братски принимал сердечное участие в наших судьбах…

Вместе с другими заключёнными, он получил разрешение присутствовать на нашей свадьбе…

Во всех комнатах, некогда занятых следственной комиссией, а потом военным судом, было уже полно заключённых, офицеров и особ, приехавших из города.

Среди последних оказались также пани Шнядецкая, сноха Андрея, урождённая Сулистровская, святая женщина, в полном смысле этого слова, в смысле христианской помощи, которую она оказывала самым горячим патриотам, всегда готовым на любые жертвы.

Пани Шнядецкая, вместо матери, благословила Томаша на женитьбу, одарив его медальоном с реликвиями св. Казимира, поскольку незадолго до этого было открыто надгробие, в котором хранились останки покровителя Литвы и оттуда извлекли частицу кости…

В зале направо от входа, на огромном столе, у которого во время следствий заседали члены комиссии, – устроен был алтарь.

Перед алтарём в обрядовой одежде нас уже ожидал деканксёндз Менье. Томаш и я встали перед ним, чтобы получить благословение священника на счастье всей жизни.

Мы стояли на том самом месте, где я – один раз, а Томаш – многократно были допрошены и замучены Трубецким в сопровождении издевательских усмешек всяких Варсанофьевых, Анисьевых и многих других.

И именно тут стояли мы рядом, в триумфе нашей любви, окружённые сочувствием даже наших преследователей…

И ещё так получилось, что когда священник соединил наши руки епитрахилью, из-за туч, которые с утра затянули горизонт, рассыпая снег, солнце вдруг пронизало их пелену снопом своих лучей и окружило нас светлым ореолом…

После брачного обряда, родственники и близкие знакомые поспешили в камеру Томаша, куда разрешили войти и нескольким заключённым, уже осуждённым, и которых должны были вывести.

В маленькой камере поместиться удалось немногим. Часть присутствующих, преимущественно заключённые, встали на корточки и поздравляли новобрачных.

Группа заключённых, кроме упомянутого Дроздовского, состояла из Гильдебранда, Гутовского и Людвига Орды. Терлецкий и ксёндз Трынковский на нашем венчании не присутствовали; других, как Козакевич Станислав, Брынк Ержи, Былевский Ян, Новицкий Наполеон, уже вывезли прошлой ночью.

В эту эпоху городские власти имели обыкновение вывозить политических преступников в Сибирь по ночам. Мне об этом сказал генерал Кветницкий, предупредив, что задержит у себя все бумаги до утра, чтобы я могла попрощаться с мужем.

В семь вечера офицер из стражи выпроводил всех наших гостей… Только мне и матушке позволил остаться ещё на пару часов.

Всё же в девятом часу тот же молодой поручик вошёл снова и с выражением искреннего сожаления, с поклоном, полным уважения, сообщил, что должен просить нас с матушкой покинуть помещение тюрьмы.

Я и Томаш стояли в одном уголке камеры.

Сюда доходил лишь слабый свет сальной свечи, стоящей на столике около кровати Томаша, где сидели матушка и Дроздовский.

Тот же молодой поручик оказался очень понятливым… Он скромно отошёл к двери и там ожидал, пока мы выйдем, всячески подчёркивая, что не слышит нашего разговора…

Тем не менее, надо было расставаться…

Я покинула камеру мужа, опечаленная, не зная, сумею ли увидеть его и проститься с ним утром… И вообще, встретимся ли мы когда-нибудь в этой жизни, поскольку не знала, на какой срок и в какую сторону Сибири повезут Томаша.

Эти неопределённости всё более меня беспокоили, тем более, что силы мои, моральные и физические, уже были исчерпаны, а тюремное окружение, хмурое, страшное, где казалось, что стены пропитаны слезами, где отовсюду слышалось эхо вздохов, стонов отчаяния, – всё это порождало самые мрачные предчувствия.

Конечно же, напряжение всех моих духовных и физических сил в этот день, столь переполненный впечатлениями и трудами, должно было найти выход.

Я впадала в какое-то удивительное состояние умопомрачения и полного физического бессилия…

С помощью матушки я переоделась, и едва дотянувшись до кровати, рухнула на постель, и объял меня сон, тяжёлый, крепкий, в какой обычно впадает человек после великих потрясений и сильнейших моральных испытаний.

В этом сне мысли мои блуждали по пленительным краям, где прошлое и будущее, мечта и действительность, сплетались в фантастические образы…

И в этом суровом сне, который всё же подкреплял, я блуждала всю эту зимнюю ночь.

Наутро, с рассветом, мама стояла около моей кровати и энергично будила меня, тряся за плечи и восклицая:

– Вставай, вставай, детка! Может, твоего мужа уже вывозят!

Я оделась в один миг.

Из предместья Погулянки, где мы жили, мы возможно быстрее едем в тюрьму.

И всю дорогу нас мучает неизвестность, не опоздали ли?...

Доезжая до Базилианских ворот, замечаем на улице, покрытой снегом, свежие следы саней.

– Ах! Может, уже выехали!...

Этот удручающий вопрос мы с матушкой задаём себе молча…

Каждая из нас, глядя друг на друга, просто не смеет задать его вслух.

Наконец, доехали до тюремного здания.

Господи, спасибо! Они ещё не выехали!...

На площади ещё стоят запряжённые сани…

Входим в коридор…

Здесь прохаживаются готовые в дорогу жандармы.

Не помню, как добежала до камеры Томаша.

Он как раз паковал свой узелок…

Как только мы вошли, учтивый Дроздовский взял это на себя…

Мама зашивала распоротую подушку Томаша…

Как же мне глубоко засела в памяти эта тяжкая минута…

Мне кажется, я вижу милую мамину голову, склонённую над работой…

Уста её дрожат, стараясь подавить слёзы…

Не менее взволнован и Дроздовский…

Бледный свет зимнего утра, попадающий в комнату через зарешёченное окно, делает ещё более бледным его молодое, а уже так постаревшее лицо, пожелтевшее от болезни, и уже облысевший лоб…

Дроздовский с волнением подаёт мне образок, на котором начертал несколько сердечных слов.

Томаш вооружился мужеством и старается всех ободрить…

От его ясного лица я тоже черпаю силы, чтобы воздержаться от слёз, о чём он горячо меня просил…

Он разговаривает так спокойно, будто собрался в недолгий путь, откуда вскоре вернётся домой…

В это время родственники осуждённых всё прибывают и прибывают в тюрьму…

В коридорах собралось множество людей, печальных, взволнованных.

Среди них мать каноника Трынковского[19], и жена Терлецкого.

Они просили Томаша, чтобы в дороге он опекал их. Особенно это требовалось канонику Трынковскому, который в тюрьме впал в меланхолию.

Но вот пробило одиннадцать часов…

В коридоре показался тюремный дозорный…

Он передаёт приказ вывозить осуждённых.

Томаш заклинает меня не плакать…

Итак, подавляю рыдания, что бурно рвутся из моей груди…

Матушка обнимает и со слезами благословляет зятя, которого уже никогда не суждено было ей увидеть на этой земле.

Бедная мама! В эту минуту она предчувствовала, что и с дочерью тоже расстаётся навсегда…

Мы выходим из камеры, идём с Томашем об руку…

За нами следует полицмейстер и плац-майор…

Как же сократилась сейчас эта дорога!

Ещё вчера эти коридоры казались бесконечно, бесконечно длинными…

А сейчас мы прошли их удивительно быстро…

Мы уже на пороге…

Уже выходим на площадь…

Площадь полна людей…

Женщины особенно стараются приблизиться к нам…

Некоторые машут платками издали…

Послышался стон, громкий, полный отчаяния…

Только я, глядя на Томаша, не выронила ни слезинки…

Он крепко сжимает мои руки…

Потом… с оглушительным бряцанием колокольчиков заезжают четверо саней, запряжённых тройками.

В каждые сани садятся по двое жандарма и один заключённый.

Так отъезжают и ксёндз Людвиг Трынковский, Терлецкий и Людвиг Орда…

Наконец, дошла очередь Томаша…

Я должна отпустить его руку.

Кланяется мне Людвиг Орда… На одно мгновение поворачиваю голову, чтобы ответить, но я опоздала…

Ах! Его уже нет… Санки исчезли за воротами тюрьмы…

Тут же моя мнимая энергия сдала: я разразилась громкими рыданиями, которые долгим эхом звучали в толпе, переполняющей площадь тюрьмы, и улицы за Острой Брамой, до самых рогаток.

Почти без чувств, матушка усадила меня в сани, которые медленно продвигаются по запруженным людьми улицам, а за нами, как за погребальным кортежем, тянется толпа всхлипывающих женщин.

Многим мужчинам тоже не удавалось справиться со своим горем.

Тем не менее, никто, наверное, не проливал таких горьких слёз, какие текли из глаз моей матушки.

Меня поддерживала надежда на встречу с любимым моим Томашем…

У моей матери никаких надежд не было…».

……

……

Ту барышню, которая в день Великой Среды венчалась в тюрьме, в монастыре Базилианов, в Вильно, то есть Терезу, урождённую Вьежбицкую-Булгак, я узнал во время моей первой каторги в Омске…

Какие связи объединяли нас, экс-каторжников и изгнанников, с домом семьи Булгак, лучше всего прояснят строки одного из писем пани Терезы.

Это письмо я получил во время второго моего изгнания в 1874г., и звучит оно так:

«Дорогие наши братья!

С той поры, как в 1857г. распалось наше братское кольцо, никогда уже и нигде для нас не появилось никакое другое подобное.

Мы встречали земляков, товарищей по несчастью, приятелей, даже из родственников, но таких братьев по духу, в которых объединялось всё, что нам было дорого, какими были: *ты*, почивший пан Юзеф, почивший пан Ксаверий, Антоний Левицкий и Миечеслав, мы никогда уже не встретили…».

В Омске тоже пани Тереза рассказывала нам о своей судьбе. Рассказывала красочно, связно, правдиво, впрочем, привожу ниже её слова:

«Через несколько месяцев после свадьбы я решила отправиться в Сибирь, чтоб соединиться с мужем, чтобы делить с ним изгнание и его участь.

Я знала о правиле, что жена, добровольно последовавшая за мужем в изгнание, подлежит тем же самым законам, что касаются

осуждённых, то есть она не может вернуться из добровольного изгнания, разве что при освобождении мужа через амнистию, или если муж умер.

Но это меня нисколько не останавливало.

Томаш был осуждён на выезд в “ближние местности Западной Сибири”, но эти “ближние местности”, как же далеки они были! Сколько сотен миль отделяло их от Литвы, от Вильно!...

Уж не говорю о трудностях, – неудобства такой дальней дороги через дикие места, при небольших деньгах, были очень велики.

Нелегко удалось мне отыскать Томаша – ох, нелегко, – после многих пустых сведений, после многих бесполезных поисков, наконец, я узнала, уже наверняка, что мой любимый муж пребывает в полудикой и пустынной местности, у подножья Алтая, в деревне Тисуль.

Какой же радостной была наша встреча!...

Одно объятие Томаша, отблеск счастья, просветливший его красивое обличье, как щедро вознаградили они меня за все трудности дороги и розысков, и за все, все неприятности, связанные с описанным выше.

В Тисуле мы жили, как колонисты в новооткрытых краях.

Мы посадили огород; Томаш получил кусочек земли для обработки.

И пока мой любимый полностью занят был работой на земле, я занималась домашним хозяйством. Готовила еду, стирала бельё, чинила нашу одежду. А поскольку наш домик, вернее, наша хата, была небольшой, тем более важно было содержать её в чистоте. И так, я начисто мыла полы, двери, окна…

При этих, таких простых, но очень нужных занятиях, время не казалось нам долгим – первый год изгнания прошёл быстро…

……

Потом Томаш нашёл работу при золотых приисках в Алтайских горах.

Вознаграждение, которое он получал, обеспечивало нам повседневно хлеб насущный…

Но как же тяжела была работа Томаша!

Он просыпался в третьем часу утра, а в долгие летние дни – ещё до рассвета, в два часа. Он наблюдал за работами, в жару, в

дождь, в мрачные и холодные дни всё время он проводил под открытым небом.

А я обучала детей местных богачей.

Работа моя тоже была нелёгкой – она намного превышала обговоренные сроки и часы.

Протестовать против придирок я не могла, чтобы не потерять заработок, который позволял мне делать заначки “на чёрный день” и на случай обратной дороги в Литву.

……

Но шли годы за годами, надежда на возвращение нас постоянно обманывала…

И, наконец, манифест по поводу вступления на трон царя Александра II в 1857г. открыл нам закрытую доселе для нас дорогу поближе к родной земле».

……

Буря шестидесятых годов, нависшая над Короной и Литвой, вновь сорвала Томаша Булгака и опять занесла далеко, далеко… прочь… в Сибирь…

И, разумеется, верная жена опять последовала за любимым мужем…

Сперва они пребывали уже в известном им по первому изгнанию Томске, затем в Цивильске и, наконец, в Казани.

Из этого города я и получил от пани Терезы письмо от 29 декабря 1868 года.

«…Наш кружок изгнанников состоит из нас двоих, из гродненского жителя Бера, доктора Швидерского из Вильно, Мельхиора Ваньковича (его брата вы, наверное, знали в Иркутске).

В прошлом году мы на пару месяцев переместились в Цивильск, мерзкое местечко. Мы оба болели, оба без гроша, и это был один из самых печальных периодов нашей жизни, столь обильно насыщенной печальными – нет! это я неверно сказала – горестными моментами. Горя и страданий судьба для нас не пожалела, но *ты* лучше знаешь, дорогой брат, что точно также, как и ты, мы всё всегда переносили, “если не в веселье, то хотя бы не в отчаянии”…

Мы ведём здесь образ жизни весьма однообразный. Живём преимущественно внутренней жизнью. Много читаем, и ещё больше размышляем… Ибо поразмыслить есть над чем…

Современная наука смело поднимает знамя материализма и старается взбудоражить старый уклад всей Европы, подрывая его основы, то есть Христианство. Можно себе представить, что такое настроение умов очень легко может увести к беде, убивая в сердцах веру в бессмертие человеческой души, в Справедливость, мудрость и Наивысшее Милосердие…

Может, когда-нибудь мы вновь будем жить вместе, во взаимной приязни находя ту панацею, которая лечит все болезни, пока добрый Ангел Смерти не упокоит нас навеки, открыв нам вход в высшие, лучшие, счастливые миры…».

* * *

Обстоятельства больше никогда не сложились так, чтобы нам удалось «жить вместе». Булгаки, вследствие амнистии 1874г., получили свободу, а мне права были возвращены, равно и свобода, только после манифеста 1883г.

Причём виделись мы не так часто, как бы нам этого хотелось, но неоднократно.

Память о достоинствах Терезы Булгак живёт в моём сердце, она всегда теплится и никогда не угаснет…

Спешу пояснить, что эти достоинства Терезы были чисто нравственного свойства.

Нас, каторжников и изгнанников, она сводила вместе в своём доме, делилась с нами сокровищами своих знаний, крепила в нас надежду, утешала в моменты падения духа и в иных бесконечных печалях, которые каждый из нас был обречён переживать в Сибири.

Тереза Булгак была необычайно образованна, обладала редким даром красноречия, изумляющей памятью и удивительно мягкой, ласковой манерой обхождения. Её овевало очарование свойственных ей черт – очарование, которое открывало перед ней людские сердца.

……

«Прекрасен декабрь моей жизни», – после пятидесяти лет брака говорила она 15 апреля 1889г., и вот что она мне написала:

«Дорогой наш брат Шимон!

С несказанно тёплым чувством читали мы Твоё сердечное письмо, в котором Ты желал нам “золотой свадьбы”. Мы верим, что душой Ты был с нами, Ты, который единственный нам остался из многочисленных некогда и столь тесно связанных сердцем братьев-изгнанников…

…Мы с Томашем пережили эту юбилейную дату нашей свадьбы, которую Бог в своём безмерном милосердии позволил отметить, сверх всяких ожиданий, в родном гнезде Томаша[20], при относительно бодрых ещё силах, в окружении внуков, правнуков и добрых приятелей.

Среди них был пан Казимир Чарноцкий, который вёл меня к венчанию в 1839г.

Согласись, не всем удаётся соединить свои “золотые” годы с дружбой…

По просьбе присутствующих, я перечитала описание нашей свадьбы в тюрьме, описание, которое у тебя имеется, дорогой наш брат.

На том, для нас, юбиляров, закончилось торжество, полное самых радостных впечатлений…».[21]

В Усть-Каменогорске

–Ты говоришь, Юзик, что он приедет?

– Сегодня вечером непременно.

– Откуда ты знаешь?

– От пани Бартошевич. В Сургут к нему был отправлен гонец с просьбой, чтобы он нас проведал.

– Ты говорил с пани Бартошевич?

– Говорил.

– Где? Когда?

– Адольф Грушецкий и я укладывали гравий перед домом Якублевичей и Елизавета Ефремовна прибежала сообщить нам эту радостную новость.

– Благородная душа! Дорогой наш «северный цветок».[22] Бог, нам на радость, наказал ему здесь расцвести!

Так, возвращаясь с работ в казематы Усть-Каменогорска, приглушённым голосом разговаривали между собой мы, Поляки-

каторжники: профессор Жоховский, Юзеф Богуславский, Бенедикт Косевич, Адольф Грушецкий и автор этих строк.

Уставшие после целого рабочего дня, с тяжёлыми кувалдами на плечах, волочились мы под надзором ефрейтора и четырёх конвойных с заряжёнными карабинами.

Стояла Великая Суббота по новому стилю. Сибирская весна, всё где-то задерживаясь, всё-таки медленно приближалась. В апреле деревья ещё были серые, скучные, без листьев, только за частоколом, окружающем крепость, на палисадах бледно зеленели тоненькие побеги травы.

Со стороны Запада весь небосклон золотился и рдел, как от отсвета преогромного пожара, отблески которого падали на околицы, на Иртыш и впадающую в него Ульбу, на Усть-Каменогорскую крепость и ближние местечки с тем же названием.

Даже наши двухцветные чудаковатые каторжные униформы казались вытканы из золота и пурпура.

Перед нами на дороге показался комендант крепости, малоросс Маценко.

Мы остановились. Солдаты салютовали оружием, ефрейтор стал во фрунт, Маценко дал приказ:

– В понедельник освободить Поляков от работы, у них другие пасхальные дни.

– *Слушаюсь, Ваше Превосходительство*! – ответил Алексей Руднев и салютовал своему начальнику.

А когда тот отвернулся и отошёл, мы тоже пошли поживее.

* * *

Когда на площади было ещё светло, в казематах уже царила полная темнота, которую слегка рассеивала свечка в фонаре, подвешенном к потолочной палке и постоянно колышущимся.

Несколько наших сотоварищей заключённых «бандитов» крутились около печей, выгребая *ухватом* железные горшки с заготовленной кашей, обильно политой каким-то тухлым жиром. На верёвках, растянутых под потолком, сохли лохмотья, которые в воскресенье выстирали себе «бандиты». Зловонная, удушающая атмосфера заполняла помещение. Легчайшее дуновение свежего воздуха не помогло бы, потому что двери были плотно закрыты и

не менее плотно задраены форточки маленьких, зарешёченных, очень высоко размещённых оконцев.

В другом малом каземате, который содержался уж совсем неряшливо, нельзя было вздохнуть. Здесь громоздилась, вместе со старым инвалидом, который служил надзирателем, целая ватага каторжников, размещённых в этом отделе *острога*.

Инвалид Осип Степанович Белорусин с первого знакомства благоволил нам и, по мере возможности, оказывал нам неоценимые услуги.

В обязанности дозорного входило и задраивание форточек, около которых собирались обычно каторжники в казематах.

В эту Великую Субботу мы упросили Осипа Степановича, чтобы форточки в нашем помещении он только прикрыл, так, чтобы, потянув за форточку, можно было открыть её вовнутрь.

Долго ругался дед, прежде чем решиться сделать то, что, на самом деле, в случае обнаружения, грозило бы ему обвинением в плохом исполнении обязанностей.

В конце концов, он поддался на наши просьбы, доверившись нашим обещаниям, что мы вовсе не собираемся сбежать, и не таим какое-либо намерение, которое доставило бы ему неприятности, а что отворим форточку, только чтобы проветрить помещение перед приездом ксёндза Юргелевича, который должен был прибыть в Усть-Каменогорск этой ночью, чтобы торжественно отправить для нас, Поляков, утреннюю службу в Воскресение Господне.

……

В сороковые и последующие годы ксёндз Юргелевич был неустрашимо деятельным душеспасителем для Поляков-изгнанников в Сибири. И во время самых суровых северных зим, и во время смертельной жары короткого сибирского лета, этот неуёмный священник находился в бесконечных странствиях. Если бы посчитать, сколько вёрст он прошёл пешком, сколько миль проехал на тарантасах, санях, верхом, или на оленях, в разных направлениях, получилась бы, несомненно, потрясающая, гигантская цифра.

С одного конца Сибири ксёндз Юргелевич передвигался в другой, и всегда был весел, лицо его неизменно светилось приятной

улыбкой, ясной, как утро, он утешал угнетённых, а падающих духом крепил надеждой:

– Ты, брат, маешься, что не увидишь больше Отчизны, – а я тебе говорю: байки! Мы вернёмся туда, все вернёмся, а если не мы сами, то наши души вернутся на землю предков.

* * *

Неприличные анекдоты, ссоры и проклятья сразу же прекратились, в душном каземате воцарилась тишина.

Фонарь колыхался на ржавых цепочках… Лампадка чадила, скворчала и, наконец, угасла…

Осип Степаныч очнулся от дрёмы, зажёг свечки, которые ежевечерне ставил перед образами святых, на цыпочках подошёл ко мне и шепнул:

– *Буран* нежданно двигается с севера, Шимон Себастьянович, не открывайте форточки широко, а то я зябну.

Сказал, и вернулся в свой уголок, улёгся на своё ложе и, укутавшись кожухом, тут же уснул и захрапел.

……

С наблюдательного пункта, который я занял на узком подоконнике, мой взор в эту ясную весеннюю ночь мог оглядеть обширные окрестности.

Далеко, на тёмной синеве небосвода, чётко рисовались длинные снежные линии вершин Алтая.

У подножья гор теснились старые хвойные боры, окутанные серебристой мглой.

Дорога начиналась в долине и широкой полосой вилась между борами и Иртышем с Ульбой.

В Усть-Каменогорске фонари гасли один за другим, а также и в крепости, жилищах, где жило начальство.

Городок и крепость медленно засыпали. Вокруг царила тишина, которую прерывали только тяжёлые, медленные, размеренные шаги сторожей.

Как и предупредил Осип Степанович, *буран* действительно приближался с севера, сперва очень тихо, легонько колыхая своим дыханием вершины деревьев, и едва замутив гладкое зеркало вод Иртыша, в которых отражался толстощёкий лунный шар.

Но, неизвестно почему, бурану осторожность наскучила, и он принялся за свой разрушительный разгул.

Сперва послышался свист и рычание, как труба, зовущая к бою, и сразу же все деревья посгибались, как бы придавленные откуда-то сверху огромной тяжестью. Треск сломанных веток сливался с завывающим свистом ветра, с шумом Иртыша и Ульбы, волны коих плескались и, как стеклянные столбы, уносились ввысь, как будто их толкала какая-то подземная вулканическая сила.

С грохотом огромные древние деревья падали, как карточные домики, валились строения. В крепости и в городке началось движение разбуженных ото сна испуганных людей.

Наша форточка сорвалась с навесов, и с лязгом упала на землю.

– Не приехал! – сказал я моим товарищам.

– И не приедет! – вздохнул профессор Жоховский.

– Однако, должен же был он где-то спрятаться от такого вихря, который всё рушит на пути. Ехать во время бурана – это рисковать жизнью.

* * *

Перед утром буран совсем успокоился. Его вой и рык притихли. Тучи, которые он нагнал со всех сторон света, остепенились, и, быстро гоняя и выталкивая друг друга, очистили чистое голубое небо.

По случаю торжественного праздника, нам, Полякам, позволено было выйти в палисад под конвоем только Осипа Степановича.

На дороге всё было пусто, также и на лугах, хотя обычно в праздничные дни там звенел говор веселящейся молодёжи.

Эта пустота, эта глушь навевали на нас тоску, беспокоили сердце…

……

Вдруг далеко, далеко… на Иртыше показалась маленькая чёрная точка.

Мы удручённо молчали.

Течением реки точка быстро приближалась к нам, а приближаясь, обретала конкретные формы маленькой лодки, рулевым

гребцом и единственным пассажиром которой был мужчина в плаще с пелериной, в шапке, не похожей на те, какие носят местные жители.

– Ксёндз Юргелевич! – в один голос закричали мы.

Да! Это был он.

Он встал в лодке, которая подскакивала на волнах, как косточка, которую подбрасывали своевольные руки, или начинала вертеться кругами над пучинами, подхваченная взволнованными волнами Иртыша.

Он пытался приблизиться к берегу, но всякий раз вздыбленные волны отталкивали его к средине реки.

Нам казалось, что ещё минута, и эта утлая скорлупа развалится, что в любую минуту её поглотит пучина бунтующей реки.

Глядя на эту борьбу человека с разыгравшейся стихией, я чувствовал, что жизнь меня покидает…

Все мы упали на колени и молились…

– Господи, в твоих руках все королевства и земные силы, – спаси его!

……

В конце концов, он прибился к берегу и выскочил на лёд.

– Привет, братья! – кричал он. – Буран этой ночью разворотил дороги, и превратил в пропасти и ущелья! Так что я не нашёл перевозчика… Потому так поздно приехал.

– Ничего, для святой Мессы ещё достаточно времени.

Порывисто снял он с себя плащ, промокший от брызг иртышских волн, снял шляпу и, глубоко вдохнув чистый воздух, запел:

Настал, наконец, весёлый тот день,
Которого каждый из нас так ждал.
В этот день Христос из мёртвых восстал,
Аллилуйя! Аллилуйя!

Один из нас понёс ящичек с дарами, другие несли плащ и шапку, и, напевая старопольскую песню, с нашим любимым священником среди нас, пошли к сараю, где устроили временную часовенку.

В этот миг солнце выглянуло из-за облаков и золотыми блёстками осыпало достойную постать ксёндза Юргелевича…

По-над реками, над городом и крепостью реял радостный гимн Воскресения из Мёртвых. Он реял над холмами и остановился, лишь столкнувшись со снежными вершинами Алтая…

Перевод с польского Мэри Кушниковой

Леонид Лопатин
ЖИТЬ ВО ЛЖИ
Советское образование и воспитание в пятидесятилетних наблюдениях школьника, студента, учителя, профессора
(Продолжение. Начало см. «ГС» №№5-7)[1]

Интеллигенция и псевдоинтеллигенция

Делая эти заметки, просмотрел свою публицистику 80-х – первой половины 90-х годов.[2] Оказалось, что центральными в них проходят две мысли: 1. Если интеллигенция не будет граждански активной, то неизбежно попятное движение общества к отжившей системе. 2. Все граждане СССР должны пройти покаяние за коммунизм, то есть а) осознать пагубность коммунизма, б) признать личный вклад в его строительстве, в) собственной практикой не допускать его реставрации.

Увы, интеллигенция не выполнила своей исторической миссии.

До сих пор не могу всесторонне ответить на вопрос, – почему наш брат, обществоведы, не ринулись в шахтёрское движение. Ведь мужикам «из погреба»[3] так не хватало знаний, которыми владела интеллигенция! (Хотя, есть ли у неё гуманитарные знания, а не идеология?) Уверен, объединившись с рабочим классом, интеллигенция сумела бы провести реформы менее болезненно, чем получилось. И не было бы нынешнего тоскливого возвращения страны к отжившей антидемократической политической системе. Но интеллигенция осталась на кухне, она лишь держала фигу в кармане, сначала на коммунистов, потом на демократов.

Что интеллигенцией движет? – Карьеризм или профессионализм? – Подобострастие к власть предержащим или гражданская честь? – Мелкость души или характер?

Думаю, всё дело в том, что советской власти удалось сформировать интеллигенцию «под себя». Постоянно репрессируемая интеллигенция стала прислужничать бюрократии, а не народу. На интеллигенцию советская власть и опиралась, рекрутируя в свои номенклатурные ряды наиболее преданных ей инженеров (особенно инженеров), учителей, врачей, учёных. И в решающие дни 1989-1991 годов интеллигенция не подвела советскую бюрократию. Она осталась ей верной. Интеллигенция помогла коммунистам сломать реформы и реформаторов. Исключительно прав писатель Юрий Нагибин в своей повести «Тьма в конце туннеля», когда писал: «Население в своей массе принадлежит к низам… Людей высшего качества ничтожно мало, они не образуют слоя, так, прозрачная плёнка».[4]

Именно с помощью интеллигенции[5] предприятий Ленинского и Рудничного районов г. Кемерово меня, помнится, «переиграли» партийные чиновники на выборах делегатов 28 съезда КПСС весной 1990 г.[6] Радовались, благополучно отчитались в обкоме. Но теперь-то ясно, что тот партийный съезд был последним шансом страны в проведении реформ по «мягкому» варианту. Если бы таких, как я, либералов на съезде оказалось достаточно, то они бы, возможно, реформировали КПСС. И не стояла бы она «насмерть» против частной собственности, рыночной экономики, свободы слова и прав человека.[7] В таком случае и «шоковой терапии» можно было бы избежать. И не было бы тогда народу так больно от неизбежных реформ. И, возможно, не проходили бы они по корявому варианту, захлебнувшись во второй половине 90-х годов. Так кто тогда проиграл – несостоявшиеся делегаты или всё общество?

Ах, как чиновники радовались в 1989-1991 гг., когда им удавалось в чём-то переиграть рабочие комитеты, дискредитировать их лидеров, обманув общественность, довести их уже в 1993 г. до самоликвидации. Наблюдая это, интеллигенция, в лучшем случае, стояла в стороне. Но чаще всего она содействовала чиновникам. А ведь рабочие комитеты, повторюсь, были единственными в истории России структурами эффективного контроля общества над властью. Чиновники выиграли. А вместе с «проигравшими» шахтёрами проиграла вся страна. Проиграла настолько, что развалилась.

Отпали Литва, Латвия, Эстония, Украина, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия.

В 50-е годы интеллигенция упустила свой первый шанс цивилизованного переустройства России. Хрущёвская оттепель захлебнулась из-за отсутствия гражданской активности народа и, прежде всего, интеллигенции. Через 40 лет (библейский срок) вновь открылся такой шанс. Но и он был упущен из-за лени интеллигенции, её человеческой трусости и гражданской тупости. Ждать ещё одно поколение? Упоминаемый философ Зубов относит это «ожидание» до 2080 г. Да и то при условии, что не будет реставрирован прежний политический режим с его иерархией приоритетов: государство – общество – человек, то есть телеги с квадратными колесами. Нужна цивилизованная последовательность приоритетов: человек, общество, государство.

Талантливый преподаватель психологии нашей кафедры Татьяна Михайловна Михайлова, стихи и ум которой восхищают окружающих, поэтически очень точно выразила причину провала либеральных реформ 90-х годов в поздравительном мне стихотворении: «Мой Бог! Как вкусно Вы живёте. / Вы весь в игре, всегда в полёте. / Вам всё всегда не всё равно. / Так самолёт летит в окно. / Отчаянный, смешной, отважный. / Забыв о том, что он бумажный…». Действительно, крылья российской демократии не смогли превратиться в металлические. Людей, способных это сделать, оказалось ничтожно мало. И их попытки отстоять демократию в 2000 годы выглядели лишь актом отчаяния, отваги и утопизма.

Конечно, коммунизм в его одиозном виде (массовые репрессии, геноцид против церкви, уничтожение собственников) не восстановим. Но не осуждённый мировым сообществом по аналогии с фашизмом, коммунизм будет рекрутировать в свои ряды неравнодушную молодежь, мешать позитивным эволюционным процессам в российском социуме.

Насколько глубоко засела коммунистическая идеология, можно судить по позиции преподавателей моей родной кафедры. Когда мы с дочерью обсуждаем рукописи своих очередных книг и статей, всегда наталкиваемся на жёсткую критику ряда коллег. Сколько, например, было выплеснуто отрицательных эмоций по

поводу нашей документальной книги «Коллективизация как национальная катастрофа». Ещё больший накал идеологических страстей разгорелся вокруг нашей книги «Антилиберализм и либерализм в Кузбассе»[8], в которой мы анализируем события 30-х годов и 90-х. А ведь многие преподаватели нашей кафедры прошли «школу бесед» с «кагэбэшниками», большие умницы, интереснейшие люди, отличные преподаватели. Что уж говорить о тех кафедрах, на которых не было ни малейшего дуновения гражданских ветров?!

Да, ладно бы идеологизированная история советского периода! Люди не хотят расстаться с клише в интерпретации и дореволюционного времени. В январе 2006 г. я сделал на кафедре теоретический доклад о мифах российской истории.[9] Общая тональность обсуждения – непринятие. Сначала я определил причины, вызвавшие эти мифы. Объяснил их: 1. Разработкой российской историографии в 17-19 вв. иностранцами, понаслышке знавших русских (история сквозь чужие очки); 2. Любовью русских аристократов к западным памфлетам о русских, превратившейся в «хороший тон» (с Петра 1) – воспитываемых с младенческих лет французскими гувернёрами; 3. Идеологизацией советской исторической науки в 20 в. Советский гражданин должен был впитать убеждение, что до 1917 г. истории-то и не было, было лишь сплошное «угнетение народа» да классовая борьба.

В 90-е годы мало что изменилось, так как историки партии (а это подавляющее большинство российских преподавателей и авторов книг о российской истории) не смогли преодолеть своих юношеских предубеждений о преимуществах социализма. Они формируют новое поколение «под себя».

В том кафедральном докладе я критиковал следующие устоявшиеся постулаты:

– Россияне – недотёпы и пропащие. И всё у нас – не «как у людей».

– Россия – страна неправильная и неудачная.

– Языческая культура – культура дикарей. Сохранение до сих пор элементов языческой культуры – свидетельство диковатости нации.

– Русские – извечные рабы и варвары. (Хотя первый юридический акт о намёке на закрепощение крестьян у нас возник лишь в 1497 г., когда Европа уже давным-давно была в крепостничестве).

– Пётр 1 определил прогресс России. (В действительности же петровские реформы – недостойный Ответ на Вызов истории. Пётр законсервировал феодализм).

– Русский народ – нищий народ, всегда влачил жалкое существование.

– Русский народ – вечно голодный народ. (В условиях изобилия природных ресурсов в это трудно поверить. Не подтверждают этого и этнографические наблюдения 19 века, сделанные А.Н. Энгельгардтом и С.В. Максимовым).[10]

– Будучи угнетённым, русский народ не ведал счастья жизни.

– Россия всегда отставала и догоняла другие страны. Не знала прав и свобод.

– Царская Россия – тюрьма народов. (Хотя к началу Мировой войны 1914 г. Россия была вторым, после США, государством, куда переселялись народы?)

– Терпимость и покорность русского народа. (Но не потому ли большевики проводили чудовищный террор, что этой покорности не было? Россияне более нетерпеливы. Нам подавай – всё, здесь и сейчас, и, как можно больше.)

– Военный коммунизм 1918-1921 считают вынужденной гражданской войной политикой. (В действительности же Гражданская война была вызвана большевистской реализацией марксистских догм).

– Россия проиграла холодную войну в 90-е годы. (В действительности в этой войне были разгромлены не страна, а несвобода, дефициты, коммунизм, гонка вооружения, нищета, соцсоревнование, соцреализм, КПСС, борьба с религией, шутовские выборы, кукольные депутаты, спецраспределители, стукачи, КГБ, радиоглушилки, стандартизации личной жизни, доставание, блаты, фальшь, ложь, осторожность в разговорах, двоемыслие, идиотизм партийной жизни и др.)

– Мирное избавление от коммунизма в 90-е годы преподносится как ужасное горе и величайшее поражение нации в противостоянии

с Западом. (В действительности мы переживаем возрождение после болезненного марксистско-ленинского эксперимента. Мир должен быть нам благодарен за штамм против марксистской социальной утопии).

– Индустриализация – доказательство преимущества социализма. (В её основе сверхэксплуатация, на которую ни одно капиталистическое государство не решилось.)

– Советская власть сделала народ образованным не в пример безграмотной царской России.

– СССР – борец за мир во всём мире. (Он был инициатором напряжённости, поскольку генеральной линией внешней политики провозглашалась «борьба с империалистическими странами»).

Эти мифы *вбивались* советским людям как единственное правильное представление о действительности. О какой же любви к Родине, к своей истории, патриотизме можно говорить, если подобные утверждения были призваны отвратить людей от своей истории, снизить национальное самосознание?! Что же с нами сделала советская пропаганда, если мы не любим сами себя? И когда говоришь людям, что мы сильнейшая нация, богатейшая страна с замечательнейшей культурой и историей, то наталкиваешься на стену негодования, отрицания и непонимания. И называют тебя «очернителем истории», не признавая, что очерняли нашу историю 70 лет советской власти.

Практика жизни

Излагая эти тезисы, я живо восстановил картину (картины) заседаний кафедры, где критиковались мои концепции понимания российской истории. Кто критиковал, чем аргументировал и пр. И, вдруг, кажется, понял, в чём причина сохранения большинством преподавателей обществоведов вузов преданности обветшалым установкам. Со мной, оказывается, были солидарны лишь те мои кафедральные коллеги, кто в 90-е годы окунулся в реальную политическую или экономическую жизнь.

Не критикует меня Наиля Темирджановна Леонтьева, работавшая в команде известного в России демократа А.В. Асланиди.[11]

Согласна с моими положениями Галина Васильевна Акименко, чьими усилиями практического психолога во многом и была обеспечена Асланиди победа на выборах в Совет Федерации в 1993 г. Потом она занялась успешным бизнесом (реклама). В иронические комментарии, кажется, поддержки облекает свои выступления Татьяна Михайловна Михайлова. Оставаясь на кафедре, она сделала немаленькую карьеру во властных органах.

Зато исключительно непримиримы ко многим моим заключениям два самых симпатичных мне человека на кафедре – Майя Ивановна Агибалова и Людмила Казимировна Николаева. Они – мои личные друзья. Занятия ведут – дай, Бог, каждому. Всегда честнейше выполняли преподавательские и общественные обязанности, вполне соответствовали уровню требований тогдашней науки. Однако политической деятельностью они никогда не занимались. Тематика их диссертаций (роль печати, роль атеизма) не предусматривала работу с архивными документами, носила скорее идеологический, чем научный характер. Потому я и делаю вывод, что слабое знание практической стороны политической жизни не позволяет моим вузовским коллегам дистанцироваться от идеологических догм, когда-то въевшихся не только в сознание, но и под кожу.

«Идеология – под кожу» это когда твоё сознание автоматически реагирует на нарушение идеологических штампов, и ты почти непроизвольно даёшь «отповедь отщепенцу». Хотя даже при небольшом интеллектуальном усилии нетрудно увидеть, что «отщепенец» может быть и прав. Выработке такого автоматизма способствовало то, что вузовские кафедры общественных наук до второй половины 60-х годов формировались преимущественно из бывших партийных и комсомольских работников. Например, кафедра истории КПСС мединститута, куда я пришёл в феврале 1969 г., более чем наполовину состояла именно из них: Г.А. Блинов – заведующий идеологическим отделом обкома КПСС; И.А. Лапшин – первый секретарь райкома КПСС; Е.С. Шальнева – работала в ЦК Латвийской компартии; З.В. Михайлова – секретарь обкома комсомола; А.П. Короткий – секретарь комсомола пединститута.

С того времени я запомнил, что свои слабые позиции критикующий будет скрывать за обвинениями в твоей якобы слабой научности. В 80-е годы появилось ещё одно характерное обвинение в адрес учёных, высказывающихся идеологически нестандартно. Их стали упрекать в публицистичности. Именно такие ярлыки и приклеивали к Гавриилу Попову, Юрию Афанасьеву, Отто Лацису и другим учёным, чьи публикации 80-х годов впервые стали раскрывать «белые пятна» советской истории. Для таких критиков доступность изложения до сих пор является непростительным для учёного пороком.

По их логике надо бы и произведения, скажем, философа И.А. Ильина отнести к «ненаучным», «публицистическим». Ведь как тот пишет! Его статьи без труда поймёт и кухарка. А ведь мысли в них глобальные. За доступность изложения будто бы к ненаучным надо бы отнести и ряд произведений Н.М. Булгакова. Почти все произведения П.Б. Струве. Не говоря, скажем, о В.О. Ключевском, Н.И. Костомарове, и особенно Л.Н. Гумилеве. Убеждён, что настоящий учёный должен заботиться о слоге своего изложения с тем, чтобы быть (без упрощенчества) доступным и студенту, и профессору, и пресловутой «кухарке».

Советские историки и философы привыкли к другому. Потому и читали наши статьи в научных сборниках только такие же специалисты. К чести российских философов, судя по журналу «Вопросы философии», они ещё в начале 90-х годов сумели преодолеть наукообразную заскорузлость своего слога. Иное дело историки. Весной 2006 г. получил очередную критическую публикацию томского профессора В.П. Андреева, в которой тот гневится на меня за мою «публицистичность» и «ненаучность». Профессор, видимо, не может простить мне две вещи: 1. либеральную направленность моих книг; 2. глубокую проработанность мною истории рабочего движения Кузбасса.

Почему в советское время господствовала псевдонаука в обществоведческой сфере? Прежде всего, потому, что настоящей науки ЦК КПСС допустить не мог по идеологическим соображениям. «Дай им волю», историки и философы быстро докопаются до нелицеприятных выводов о социалистической действительности. Даже по формальным установкам, задачи кафедр общественных

наук вузов ещё с 20-х годов концентрировались не столько на образовательных функциях, сколько на мировоззренческих. Потому и формировали их, в основном, из бывших профессиональных партийных работников. Мало что изменилось на кафедрах и в 60-80-е годы, когда их стали формировать уже из выпускников вузов. Хотя у этого поколения преподавателей было побольше знаний по сравнению с бывшими парторгами, но выйти за пределы «офлажкованного» круга удалось слишком немногим. Потому на наших научных конференциях настоящих научных дискуссий никогда не было. Было лишь заунывное зачитывание засушенных тезисов с целью их публикации, необходимой для кафедральной отчётности по науке.

Ещё Сталин приучал советских людей бороться не с идеями, а с их носителями. Потому-то борьба с разногласиями в партийных рядах и велась путём уничтожения действительных и мнимых оппонентов «линии ЦК ВКП(б)». Верность сталинизму мы сохранили фактически до конца существования СССР (а многие – до сих пор). Для иллюстрации приведу два примера из 1988 г. В тот год я слушал лекции в Институте повышения квалификации (ИПК) при МГУ им. М.В. Ломоносова. ИПК для обществоведов были в Ленинграде, Киеве, Ростове-на-Дону, Свердловске и Новосибирске. Но в Москве обучались лишь заведующие кафедрами общественных наук (истории КПСС, политэкономии, философии, научного коммунизма). По тогдашним понятиям – то был цвет обществоведческой науки, «золотой фонд партии».

Одну из лекций прочитал известный в стране философ Анатолий Павлович Бутенко. Он рассказал о противоречиях при социализме. В той лекции у него не было даже вывода о системном кризисе. Но и того нелицеприятного анализа оказалось для слушателей достаточно, чтобы они стали физически вытеснять его с трибуны. Некоторые из профессоров били себя по груди с орденскими колонками и говорили, что они воевали не за то, чтобы позволить какому-то… шельмовать социализм. Бутенко тщетно призывал их к содержательной дискуссии. Когда она не состоялась, вынуждено перечислил потрясающее количество орденов и медалей, полученных им самим в годы

войны, но которые, как он сказал, не имеют отношение к науке и аргументом служить не могут.

Похожая картина сложилась месяцем спустя при обсуждении тезисов к 19 Всесоюзной конференции КПСС, которая в те дни должна была состояться в Москве. На этот раз шло партийное собрание всех обществоведов МГУ (более 1000 чел.), в котором принимали участие и слушатели ИПК. Кто-то из молодых докторов философских наук университета выступил с критикой ряда догм марксизма, как первопричине складывающегося в СССР кризиса. На трибуну стали выходить разного возраста и разных учёных званий люди. Вместо аргументированного возражения, они стали хамски обзывать того философа. «Отповедь» их шла на грани цензурной лексики. Они требовали немедленно решить вопрос об его исключении из КПСС. Для 1988 г. такое наказание было очень значимо. Оно автоматически вело к увольнению с работы, отторжению от профессии, а совсем недавно – и к психбольнице. В том собрании конца 80-х я узнал многочисленные собрания трудящихся 20-30-х годов, на которых присутствующие требовали «осудить», «заклеймить», «расстрелять» «оппортунистического отщепенца», «врага народа», «фашистского гада», «троцкистской сволочи». А ведь это, повторюсь, выступал цвет обществоведческой науки столицы.

По почти формальному статусу преподаватели-обществоведы обязаны были участвовать в общественной работе института, города и области.[12] Но к настоящей политике нас, конечно же, не допускали. Да и не было её для граждан Советского Союза. Была лишь их обязанность «поддерживать политику партии и правительства». Поэтому многие из нас довольствовались лишь книжными знаниями, не очень-то представляя практическую сторону жизни. А когда её к началу 90-х годов вдруг узнали, то, ужаснувшись, отгородились от политики. Как отгораживается ребёнок подолом матери от непонятного события.

Знание на практике того, о чём ты говоришь на занятиях или в статьях, позволяет, например, историку определить правильную позицию в видении не только современности, но и прошлого. Такой историк реконструирует исторические события, ориентируясь на реалии жизни, а не на идеальные представления о них.

Как преподаватель, скажем, хирургии. Одно дело рассказывать студентам об операции, ориентируясь на методические указания или учебник, другое – привычно стоять за операционным столом и знать, как в действительности это оперативное вмешательство происходит. Мой коллега по академии заведующий кафедрой философии В.Д. Жуков как-то очень точно подметил, что можно быть преподавателем философии, но не быть философом.[13] Замечу, что точно также как быть преподавателем хирургии, но не быть хирургом. С историками – то же самое.[14]

Уверен, ни один из моих коллег не станет спорить с этим тезисом о важности знания практической стороны жизни. Но беда в том, что полноту этих знаний он часто ограничивает взглядом «из окна»: через газету, телеэкран, участие во властных совещаниях и т.п. Весьма был показателен в этом плане уже упомянутый профессор А.С. Сенявский, который фактически дал отрицательную рецензию моему научному докладу.[15] Заявив об ошибочности моего исходного тезиса о системном кризисе социализма, он аргументировал своё утверждение ссылкой на опыт социалистического Китая. При этом выяснилось, что китайский социализм он наблюдал в своей недавней поездке по этой стране. Туризм – это не изучение. Это лишь поверхностное впечатление. Как и то, что узнаешь из газет о собственной стране, «видя бой со стороны».

Мне же довелось участвовать в реальных политических событиях 80-90-х годов, по сути, мирового значения. Что и даёт мне возможность порой экстраполировать увиденное на прошлое и интерпретировать с учётом приобретенных ранее научных знаний.

Приведу характерный пример из собственной преподавательской практики. Когда-то я искренне не верил Временному правительству, вызвавшему в июне 1917 г. руководство большевистской партии в суд. Большевики обвинялись в том, что они получили от кайзеровского правительства деньги на революцию. Не верил я в те десятки миллионов немецких марок. Лишь говорил студентам о прекрасной пропагандистской и агитационной работе большевиков, добившихся за 5-6 месяцев радикального перенастроя людей в свою пользу. Но когда я сам стал заниматься

политикой, то увидел, какие громадные средства тратятся даже на пустячное распространение информации.[16] Вот тут-то я и стал задумываться – откуда у Ленина были средства на выпуск многотысячных тиражей газет, листовок. Откуда у него были деньги на проведение общественных форумов, поездок, забастовок и пр.? Мне уже не казался фальсификацией тот факт сговора Ленина с немцами. А потом, в 90-е годы, были опубликованы убедительные на сей счёт документы. Вопрос о немецких деньгах был, кажется, моей последней иллюзией относительно Ленина и гражданской порядочности его партии.

Знание практической жизни через собственное участие в политических или иных событиях и есть необходимое условие профессиональной работы теоретически подготовленного историка. Ну, и, конечно, его граждански распрямлённая спина. Советские историки были сосредоточены в основном на кафедрах истории КПСС. В силу своего служебного положения они должны были выполнять «дворцовые» функции, которые без угодливо согбенной спины не исполнишь. Распрямились ли эти спины? Не воспитали ли они в учениках поколение себе подобных?

Именно это приходит на ум, когда читаешь «Летопись села Кузбасса» изданную в 2001 г. историками, в основном, Кемеровского госуниверситета.[17] Даже в 21 веке они не постеснялись повторить идеологический маразм большевиков о злобных кулаках, мешавших жить трудовому крестьянству в 20-30-е годы. Что придёт на ум читателю из завтра, изучающего «Историю Кузбасса» под редакцией профессора Н.П. Шуранова? – не трудно представить.

Именно знание жизни и гражданская честность отличают книги историка и писателя Мэри Моисеевны Кушниковой. Современник, умиляющийся историей Автономной индустриальной колонией Кузбасс (АИК-Кузбасс), турист, посещающий музей этой колонии, не очень хочет читать Кушникову и Тогулева с их выводами о том, что АИК – великая международная авантюра. А для меня, как и для этих авторов, АИК-Кузбасс – это платоновский Чевенгур,[18] то есть строительство социализма в одном отдельном местечке. Как, впрочем, и всё строительство социализма в СССР было сплошным Чевенгуром.

Видимо, работа в музее «Томская писаница» позволила профессору Анатолию Михайловичу Кулемзину иметь вполне современные трактовки российской истории. Точно также как и нашему с ним учителю академику Анатолию Ивановичу Мартынову.

Возможно, я ошибаюсь, выдвигая знание политической и иной практики в качестве условия незаидеологизированности историка. Я ведь не знаю об этой стороне новосибирских профессоров: В.И. Шишкина, В.Л. Соскина, С.А. Красильникова, Т.Ф. Павловой, С.А. Папкова и др. Но характер их трудов очень созвучен моим. Также как и труды московских историков, считающихся почти классиками российской истории: Леонида Абрамовича Гордона, Виталия Семёновича Лельчука, Александра Анатольевича Данилова, с которыми имею честь быть лично знаком и входить в их круг общения.

Моё участие в политике и определило характер моих исторических трудов. Мне удалось избавиться от внутреннего саморедактора, самоцензора, который всегда останавливает полет творческой мысли. (Как сказала Мэри Моисеевна Кушникова: «У Пегаса не должно быть уздечки».)

Страх и свобода

Колоссальное значение имело то, что у меня пропал страх. Исчез животный страх перед таинственным КГБ. Как-то в декабре 1979 г. после лекции ко мне подошёл человек лет 35-ти, приподнял из верхнего кармана красную книжицу с тремя золотыми страшными буквами и сказал, что он майор КГБ. До этого мгновения я думал, что выражение «животный страх» происхождения звериного, животного. Но в тот момент у меня похолодел живот (или, наоборот, стал горячим), а сердце улетело куда-то ниже пяток. И понял я, что животный страх всё-таки от слова «живот», собственный живот. Потому-то слово «живот» и употребляется иной раз в смысле слова «жизнь».

Майор сказал, что я должен объяснить причины неправильных высказываний преподавателя нашей кафедры. Выяснилось, что преподаватель соседней кафедры (философии)[19] донесла в КГБ на преподавателя Л.П. Сергачева. Во время совместного юбилейного застолья двух кафедр он «неправильно» прокомментировал

тогдашний военный конфликт между социалистическим Китаем и социалистическим Вьетнамом.

Потом были многолетние объяснительные по поводу других преподавателей, за содержание занятий которых я должен отвечать как заведующий. Привыкнув к периодическим «собеседованиям», я уже не сильно робел перед кагэбэшниками. Научился (не без их молчаливо-одобрительного согласия) правильно объясняться за очередной «прокол» того или иного преподавателя. Я видел, что этим парням из КГБ и самим не очень по душе разборки о демократическом централизме или бюрократическом социализме, состоявшейся победе социализма или его извращении в СССР и т.п. Тогда-то у меня почти пропал страх перед «органами», которые приводили в дрожь поколение моих родителей. Неизвестность была, оказывается, страшнее.

Остался страх перед начальством. Не перед институтским. С 1980 г. я стал заведующим кафедрой, членом парткома, и сам – начальство. А вот перед обкомом и горкомом КПСС страх был в виде трепета, робости, боязни сделать «не так». Это была зависимость от власть предержащего, который мог накричать на тебя, выставить глупцом, унизить, лишить дела. Но к концу 80-х и это прошло. Сначала я увидел, что мои непосредственные начальники в отделе науки и учебных заведений в обкоме КПСС (Альберт Иванович Кожевников, Валерий Фёдорович Колесников, Юрий Николаевич Клещевский) не только вменяемые, но и приличные, интеллигентные люди, не позволявшие привычного для советского человека начальнического хамства.

Бывший заведующий этого отдела Владимир Иванович Овденко, став даже первым секретарём Кемеровского горкома партии,[20] оставался приятным в общении человеком. Секретарь по идеологии Кемеровского горкома Галина Ивановна Мальцева – очень властная, влиятельная, но обаятельная и интеллектуальная дама. Первый секретарь Кемеровского обкома КПСС Александр Григорьевич Мельников оказался самым интеллигентным за всю историю этого обкома первым секретарём. Хотя и дал команду бороться с рабочими комитетами.

Кратко описал самых властных людей, с кем общался, и понял – они же милые люди.[21] Перед кем же страх? Причём не боязнь, а

именно – страх. Это был трепет не перед конкретным лицом, а перед могущественной и беспощадной системой, перемоловшей миллионы жизней моих соотечественников.

Страх и обман были двумя столпами, на которых стоял социализм. Через обман добились искренней веры человека в будто бы прекрасную советскую действительность. Через обман сформировали в нём уверенность в наступлении светлого прекрасного будущего.

Пишу это с убеждённостью человека, прошедшего через этот обман и с трудом освободившегося от него. К сожалению, не для многих советских людей случилась удача такого высвобождения. Через веру религиозного типа идеология коммунистического обмана крепко зацепилась за сердца моих соотечественников, и держит их в плену иллюзий и мифов. Ох, как прав немецкий философ Фридрих А. Хайек, утверждавший: «В реальности социализм всегда сопряжён с тоталитаризмом. Коллективизм не оставляет места ни гуманистическому, ни либеральному подходу […] Для успешной работы тоталитарной машины одного принуждения недостаточно. Важно ещё, чтобы люди приняли общие цели как свои собственные».[22]

Моё освобождение от самообмана и страха не было одноактным делом. Но поскольку оно всё-таки случилось, постольку мне всегда хотелось помочь и другим освободиться сначала от страха, а потом от мифологического сознания и иллюзий. Благо в Кузбассе сложились для этого благоприятные условия. Кузбасс был первым регионом в стране, прорвавшимся к свободе слова. Именно – к свободе слова, а не к «гласности», как было в СССР, вплоть до падения социализма в августе 1991 г.

Ещё в 2000 г. было довольно затруднительно объяснить студентам значение слова «гласность», как дозволенной властями полуправде.[23] Обычно я использовал анекдот о муже, который говорил жене правду, одну только правду, ничего кроме правды, но… не всю. То есть, муж говорил жене правду о том, что он, скажем, задержался по пьянке; правду, что выпил лишнего; правду, что не заметил, как перестали ходить трамваи; правду, что пришлось заночевать не дома. Утаил он от жены лишь информацию о женщине, приютившей его на ночь. Но ведь именно

эта часть правды и была основным компроматом в его поведении.

Так и горбачевская гласность популярной критической телепрограммы «Прожектора перестройки» и других теле- радио- и газетных материалов времени «перестройки». Скажем, это правда, что в апреле 1989 г. в Тбилиси состоялся массовый митинг; это правда, что в толпе митингующих погибли люди; это правда, что военные оказались не профессиональны при охране митинга. Не сказали лишь «сущую малость», что именно военные сапёрными лопатками и умертвили людей, и что подобные репрессии против народа не случайность, а закономерность в действиях советской насквозь террористической власти.

С началом рабочего движения в июле 1989 г. кузбасские журналисты оказались на высоте своего профессионального долга. Кузбассовцам памятны репортажи с бунтующих площадей тележурналиста Александра Геннадьевича Колпакова[24], выдававшего в эфир полную правду о забастовке и забастовщиках, их требования и надежды, растерянность властей и твёрдую волю шахтёрских лидеров.[25] Правда, не многие понимают, что без директора телестудии Геннадия Михайловича Митякина такого могло и не быть. Это он дал «добро» на репортажи в стиле свободы слова, а не гласности. Это он взял «огонь на себя» обкома КПСС.

В декабре 1989 г. рабочие комитеты создали свою легально зарегистрированную газету, чуть позднее названную «Нашей газетой». Эта была единственная в Советском Союзе газета, которая открыто, а не из подполья или полуподполья, писала полную правду. Обком КПСС, спохватившись, пытался прикрыть газету. Но мощное шахтёрское движение было её защитой.[26] Со временем газета дошла до полумиллионного тиража, рассылалась по десяткам городов СССР. Но уже в 1992-93 г. газета потеряла читателей. Выходит газета до сих пор.

Под влиянием рабочего движения даже газета «Кузбасс» – властный официоз, в бытность редакторства А.В.Трутнева публиковала достаточно свободные материалы. В январе1990 г. она опубликовала мои предложения о реформировании КПСС.[27] По этим предложениям во многих партийных организациях прошли партийные дискуссии. Меня приглашали с выступлением

в крупные организации (химкомбинаты: «Азот», «Химпром», «Карболит», шахта «Ягуновская», разрез «Кедровский» и др.).

Но в связи с моим участием в шахтёрском движении и активной позицией на сессиях областного Совета депутатов, как одного из координаторов фракции «Демократический блок», по приказу обкома КПСС «Кузбасс» перестал принимать мои статьи.

Публиковаться стал в «Нашей газете», газете рабочего движения. До 1995 г. часто выступал по областному телевидению и особенно по радио. Но вскоре меня и здесь перестали принимать из-за несогласия с действиями М.Б. Кислюка – моего товарища по рабочему движению, ставшего в 1991 г. губернатором Кузбасса.[28]

В газете «Кузнецкий край» редактором был Е.А. Богданов. Евгений Анатольевич публиковал мои статьи, когда был редактором «Комсомольца Кузбасса», органа обкома ВЛКСМ. Летом 1990 г. он опубликовал мою информацию (без ссылки), в которой говорилось, что кузбасская делегация поехала на 28 съезд КПСС снимать М.С. Горбачева с поста Генерального секретаря. Сведения у меня были из трёх источников: 1. от депутата из Новокузнецка; 2. от коллеги по преподаванию истории КПСС из КузПИ, который всегда был в курсе всех околопартийных дел и интриг; 3. от моего брата Геннадия, работавшего тогда завотделом обкома КПСС. Случился большущий скандал.

Редактора вызвали «на ковер». Перед этим я ему посоветовал смело ссылаться на меня. Обком КПСС со мной ничего бы не сделал, так как я был, во-первых, участником рабочего движения (за мной стояли мощные рабочие комитеты), во-вторых, – депутатом облсовета. Хотя в то время редакторам было положено безропотно подчиняться партийным структурам, а не блюсти журналистскую честь, но Евгений Анатольевич принял удар на себя, не раскрыл свой источник. Ах, как тогда перепугались мои «источники», боясь, что я их «сдам». Скандал-то докатился до съезда. Делегатам пришлось выкручиваться перед самим Горбачевым. В начале 90-х гг. «Комсомолец Кузбасса» был переименован в «Кузнецкий край».

В 2002 г. у Богданова газету «Кузнецкий край» отобрали. Провели по экономическому сценарию, как и НТВ редактора Евгения Киселева. Богданов стал выпускать «Край». Это была един-

ственная оппозиционная газета. Журналисты вернулись в русло дореформаторского периода – работы на власть, но не на общество. Почему?

Думаю, тут проявился синдром дворовых крестьян, которые в 1861 г. получили волю, но умоляли барина взять их обратно в рабство.

Газета «Край» в 2002-2005 годах была единственным в Кузбассе свободным органом печати. Мне довелось публиковать в ней не менее тридцати своих статей, интервью, заметок. Фактически по каждой моей статье разворачивались дискуссии, иногда переходившие на страницы других газет. Считаю за удачу, что мне довелось участвовать и в финансовой поддержке этой газеты. К сожалению, в ноябре 2005 г. вышел её последний номер. Публиковаться мне стало негде. Евгений Анатольевич скончался в июне 2006 г. Светлая память этому российскому таланту и Гражданину!

С 2000 г. в России одно за одним захлопывались окошки свободы. Досадно, что процентов 80 моих соотечественников этим вовсе и не обеспокоены. Их объект беспокойства – зарплата, еда, собственное благополучие. И осуждать за это не берусь. Правда, за время глотка свободы они так и не поняли главного урока советской власти – сначала ликвидируется свобода, а потом пропадает колбаса и всякое благополучие. А для миллионов людей тогда пропала и собственная жизнь.

В царской России была невесть какая свобода. Но разделение властей существовало. Законодательная власть (Дума) свою линию держала. Суд не был на побегушках у чиновников, мафии или взяточников. Печать была достаточно свободной. Настолько свободной, что даже большевистские газеты выходили легально. Правда, газеты время от времени закрывались, но тут же выходили под другими названиями. И уж самое главное, соотечественников никто не убивал. Четыре тысячи казнённых в постреволюционные годы (после 1907 г.) «столыпинской реакции» уж никак не сопоставимы с десятками миллионов людей, убитых советской властью «за счастье народа»…

Продолжение следует…

Транскультурный собор

Учёный – это не тот, кто даёт правильные ответы, а тот, кто ставит правильные вопросы.

Клод Леви-Строс

Альберт Ковач

ОПЫТЫ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЭТИКИ

I. QUO VADIS HOMO?
От Адама и Иова до Фауста и Ивана Карамазова

Ряд названных в заглавии этой статьи знаменитых героев – персонажей мировой литературы не возник в результате умысла исследователя, но появился как плод сотворчества гениальных авторов разных эпох и литератур. Это акт и факт европейской и мировой культуры, воплощённый в самих текстах – в символах, художественно-философских мотивах и концептах. Доказать это легко – и трудно. Легко – поскольку факты очевидны, произведения говорят сами за себя. И трудно – потому, что на них наслоилась уйма ограничительных, уводящих в сторону интерпретаций.

В настоящем опыте – исследовании / размышлении о судьбе человека и о судьбах человеческой цивилизации – речь пойдёт о группе вопросов, связанных с основной проблемой онтологии: что такое человек, в чём его назначение на земле. При этом различаются и разрабатываются концепты первоначального – исходного или абсолютного – *архетипа* и исторического *архитипа*[1] (то есть сверхтипа), определяемого эпохой; думается, их использование позволит выдвинуть аргументированные положения в связи с рядом спорных аспектов в решении упомянутых выше вопросов – так, как они представлены в названных нами центральных художественных произведениях – шедеврах мировой литературы.

Напомню библейский текст о первочеловеке: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему, по подобию Нашему /.../ и сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Библия. Книга Бытия, гл. 1, ст. 26-27). Благословляя людей, Он повелел им владычествовать над животным миром, над всем созданным: «И увидел Бог всё, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Там же, ст. 31).

Для автора «Книги Иова» – как и для Гёте, и для Достоевского – решающее значение имеет характеристика / определение «по подобию Нашему», «по образу Божию». Этот божественный образ / лик человека вырастает в Библии и затем в творчестве названных авторов в колоссальный космический символ, становится эмблемой человека как такового и даже рода человеческого, поскольку человек-личность-творец в состоянии самоопределяться и изменяться – как часть мироздания, как «мыслящий тростник», сознающий себя и устремлённый к познанию мира.

Но всё это стало возможно лишь после того, как Адам и Ева вкусили плод от древа познания. Поместив человека в раю, Бог создал и порядок: человеку, пользующемуся всеми богатствами природы, Он заповедовал: «А от древа познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертию умрёшь» (2:17). Адаму и его жене Еве, созданной из его ребра, Господь Бог сказал: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло» (3:5). А после того, как они вкусили от запретного плода: «И сказал Господь Бог: Вот, Адам стал, как один из нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простёр он руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил, и не стал жить вечно /.../ И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» (3:22-23).

По традиции, изгнание из рая трактуется исключительно как грехопадение и наказание, хотя на самом деле фактический результат этого решения отнюдь не односторонне негативный: по сути, Бог простил человека, позаботился о нём, одев в шкуры, и, признав его право на рациональное сознание, дал ему *свободу* выбора между добром и злом и *труд* – как средство утверждения человеческой личности путём познания мира и творения добра.

В «Книге Бытия» сотворением человека и актом изгнания из рая завершается только первый и второй этапы созидания / рождения человека. Третий, завершающий этап протекает в «Книге Иова».

Известно, что этот библейский текст произвёл на Достоевского уже в детстве неизгладимое, на всю жизнь, впечатление, причём воспринимался им прежде всего как художественное произведение, шедевр мировой литературы (и философии, культуры

вообще). Подобную же исключительно высокую оценку дают этой книге и Мартин Лютер, Виктор Гюго, Томас Карлейль, Бердяев, Юнг, Шестов, Киркегор и многие другие.

В жанровом отношении «Книга Иова» представляет собой в высшей степени специфическую, синтетическую структуру. В ней доминирует, с одной стороны, эпика, повествование с лирическими акцентами – то есть жанровая структура поэмы, с другой стороны – драма, трагедия. Эти два структурные элемента равноправны в системе Книги, диалог здесь не подчинён повествованию, как это обычно имеет место в эпических произведениях.

В критике и историографии тематика «Книги Иова» определяется весьма разноречиво. Общее – и по сути общепринятое – определение темы мы находим в «Библейском справочнике» Геллея: «Книга Иова рассматривает смысл человеческих страданий. Весьма рано в истории своего существования человек встретился со странными трудностями и несправедливостями в своей жизни. Как мог добрый Бог сотворить такой мир, в котором так много необъяснимых страданий, а в особенности в жизни тех, которые менее всех других их заслуживают?». Здесь сразу же можно было бы вступить в полемику с традиционным теологическим истолкованием Г. Геллея, заметив, что речь идёт не о смысле страдания вообще, а исключительно – о *страдании без вины*.

Гете в своем «Фаусте» исходит прежде всего из библейского мифа о сотворении мира и человека – мифа, зародившегося в Книге Бытия, но воспринимаемого через «Евангелие от Иоанна» (вспомним его строки о возможных вариантах перевода первого стиха: «В начале было слово – в начале была мысль – в начале было дело...»). Однако немецкий писатель продолжает также и «Книгу Иова» – и не только в смысле сюжетного хода – данного Богом Сатане разрешения испытать / совратить человека (мотив, существовавший, вероятно, ещё до христианства), но и в плане основных мотивов: что такое человек, в чём смысл жизни, имеет ли человек право знать, судить, быть свободным. В «Фаусте» исходным пунктом является столкновение двух концепций: глобального приятия, глорификации мира и космического миропорядка и – такого же глобального их отрицания (с одной стороны – Господь и Архангелы, с другой – Мефистофель). Этот исходный конфликт и раскрывается сначала

как романтическое противопоставление мечты и действительности, мира идеального и реального. Фауст размышляет: «Я, названный подобием божества, / Возмнил себя и вправду богоравным». Но: «Какой я Бог! Я знаю облик свой. / Я червь слепой, я пасынок природы...»

Однако на самом деле Фауст – это универсальный человек своего времени, изучивший все схоластические науки – богословие, философию, право и медицину – и оставшийся недовольным плодами этих усилий разума. Перед тайной жизни и бесконечностью вселенной человек не то, чем его считает церковь... Приобщаясь Духу Земли, Фауст предчувствует, что интуитивное познание и сама деятельная жизнь откроют перед ним возможности, которые окажутся ему по силам: «И вот мне кажется, что сам я – Бог, / И вижу, символ мира разбирая, / Вселенную от края и до края». Он хочет прильнуть к бездонным ключам природы и, воображая «бурю деяний», восклицает: «О, деятельный гений бытия, / Прообраз мой!»

Не останавливаясь здесь детально на общей характеристике тематики, литературно-художественных и философских мотивов «Книги Иова» (тема непоколебимой веры и безвинного страдания, восстание против созданного Богом миропорядка, идентичность человека – идентичность Бога), попытаемся развернуть их более детально в рамках параллели не только с «Фаустом» Гёте, но и – особенно – с романом Достоевского «Братья Карамазовы», множеством нитей связанным с великим творением Гете.

Вот основные вехи переклички, случаи интертекстуальности:

I. АБСУРДНОЕ СТРАДАНИЕ НЕВИННЫХ

«Книга Иова»	«Братья Карамазовы»
Иова – праведного, ни в чём не виновного человека губит Сатана с одобрения Бога – проверка веры, эксперимент:	Иван: вековечные вопросы бытия; страдание невинных детей, их губят жестокие люди в земном, созданном и одобренном Богом мире.

Елифаз возражает Иову:

Вспомни же, погибал ли кто невинный, и где праведные бывали искореняемы? Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его (4:7-8).

То же говорит и Вилдад: *Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев* (8:20).

И опять Елифаз: *За то, что он простирал против Бога руку свою и противился Вседержителю* (15:25).

Иван: *...не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что всё, напротив, беспорядочный проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования – а я всё-таки захочу жить, и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю!* (ПССД в 30 томах, XIV, 209).

Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь за что любишь... (XIV, 209-210).

Ведь русские мальчишки /.../ о чём они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не верют, ну те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь один же чёрт выйдет, всё те же вопросы, только с другого конца (XIV, 213).

Христова любовь к людям есть в своём роде невозможное на земле чудо. Правда, Он Бог, но мы-то не боги (XIV, 216).

О молитве и о страдании: *Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слёзок ребёночка* (XIV, 220-221).

Что мне в том, что виновных нет, и что я это знаю, – мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя /.../ слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чём тут дети, скажи мне пожалуйста? (XIV, 222).

II. ПРОБЛЕМА ВЕРЫ И ИДЕАЛА, НЕПРИЯТИЕ МИРА, ВОССТАНИЕ И БУНТ

«Книга Иова»

Иов: непоколебимая вера и протест против Бога и миропорядка; раздвоение, готовность отказаться от жизни: *Погибни, день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: «зачался человек!»* (3:3)

Он бросил меня в грязь, я стал как прах и пепел /.../ Ты сделался жестоким ко мне, крепкою рукою враждуешь против меня (30: 19-21)

Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего... На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком? (3:3)

Отнимает ум у глав народа земли, и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути (12:24)

«Братья Карамазовы»

Иван: *Итак, принимаю Бога, и не только с охотой, но, мало того, принимаю и премудрость. Его, и цель Его, нам совершенно уж неизвестные /.../ Я не Бога не принимаю, пойми ты это, а мира, им созданного, мира-то божьего не принимаю и не могу согласиться принять* (XIV, 214).

О, Алёша, я не богохульствую! /.../ Не Бога я не принимаю, Алёша, я только билет ему почтительнейше возвращаю (XIV).

Великий Инквизитор: *Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками* (XIV, 233). *Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят перед такими чудами и неразрешёнными тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих* (XIV, 235).

III. ИСКОРЕНЕНИЕ ЗЛА НАСИЛИЕМ, ПЕРЕУСТРОЙСТВО МИРОПОРЯДКА, РАБСТВО И СВОБОДА

«Книга Иова»

Разрешение конфликта:

Иов: Зло, наряду с добром, лежит в основе мира, Бог разрешает его, теоретически – нужно применять насилие. Иов спасён – Бог опровергает мнение друзей:

Вам надлежало бы сказать: «Зачем мы преследуем его?» Как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправды, и знайте, что есть суд (!9:28-29)

Как сильны слова правды! Но что доказывают обличения ваши? (6:25)

Но я Вседержителю хотел бы говорить, и желал бы состязаться с Богом. А вы сплетчики лжи: все вы бесполезные врачи (13:3)

«Братья Карамазовы»

Ивану грозит потеря идеала. Раздвоение Ивана, преодоление кризиса:

Иван – Алёше: *Братишка ты мой, не тебя я хочу развратить и сдвинуть с твоего устоя, я, может быть, себя хотел бы исцелить тобою, – улыбнулся вдруг Иван совсем как маленький кроткий мальчик* (14, 215).

Я хотел заговорить о страдании человечества вообще, но лучше уж остановимся на страданиях одних детей… (XIV, 216).

Мальчик ранил любимую собаку помещика. Тот командует: *«Ату его!» вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребёнка в*

Разве я море или морское чудовище, что Ты поставил надо мною стражу? (7:12)

Заступись, поручись Сам за меня перед Собою! Иначе кто поручится за меня? (17:3)

И продолжал Иов возвышенную речь свою, и сказал: Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою (27:1-2)

О невинных: *Из общества изгоняют их кричат на них, как на воров /.../ Люди отверженные, люди без имени, отребье земли!* (27:5,8)

Вилдад: *тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль* (25:6)

Установим между собой рассуждение, и распознаем, что хорошо /.../ Итак, послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие (34:4,10).

Давно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для нас непостижимые (35:5).

Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла? Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и клочки /.../ Ну... что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алёшка!

– Расстрелять! – тихо проговорил Алёша (XIV, 221).

Великий Инквизитор: *Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие на веки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастья, – эти силы: чудо, тайна и авторитет* (XIV, 231-232).

Великий Инквизитор Христу: *Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нём думал. Он слаб и подл /... / они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю* (XIV, Ш).

Совет Великого Инквизитора: *Перед кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей* (XIV, 234).

Из диалога братьев:

– Ты может быть, сам масон! – вырвалось вдруг у Алёши /.../

ты объясняй мне: где был ты, когда Я полагал основание земли? скажи, если знаешь» (38:1-4).

Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? (39:26).

Взгляни на всех высокомерных, и унизь их, и сокруши нечестивых на местах их (40:7).

Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле. И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу феманитянину: «Говорит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов. Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овцов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву; и раб Мой Иов помолится за вас, ибо только лице его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов» (42:6-8).

– Я ведь тебе сказал: мне бы до тридцати лет дотянуть, а там – кубок об пол!

– А клейкие листочки, а дорогие могилы, а голубое небо, а любимая женщина! Как же жить-то будешь, чем любить-то их будешь?

– Вот что, Алёша, – проговорил Иван твёрдым голосом, – если в самом деле хватит меня на клейкие листочки, то любить их буду, лишь тебя вспоминая (XIV, 239-340).

Алёша заметил, *что брат Иван идёт как-то раскачиваясь, и что у него правое плечо, если сзади глядеть, кажется ниже левого /.../ Он почти бежал. Patep seraficus – это имя он откуда-то взял* (Алёша прав: имя взято из «Фауста» Гёте – А.К.) (XIV, 241).

Зосима: *Да не будет же его, иноки, да не будет истязания детей, восстаньте и проповедуйте сие скорее, скорее* (XIV, 286).

Чёрт: *Сколько, например, надо было погубить и опозорить честных репутаций, чтобы получить одного только праведного Иова, на котором так зло поддели во время оно!* (XV, 82).

Об Иване: *«Или восстанет в свете правды, или – погибнет*

в ненависти, мстя себе и всем за то, что послужил тому, во что не верит», – горько прибавил Алёша и опять помолился за Ивана (XV, 89).

Митя об Иване: *Он выздоровеет /.../ Брат сложения сильного. И я тоже надеюсь, что он выздоровеет, – тревожно заметил Алеша* (XV, 184-185).

Иван: *понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, ещё не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьёт себя в подлом месте, в темноте и холоде, крошечным своим кулачком надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слёзками «Боженьке», чтобы тот защитил его.*

О молитве и о страдании: *Без неё, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чёртово добро и зло, когда это столько стоит? Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слёзок ребёночка «боженьке». Я не говорю про страдания больших, те яблоко съели, и чёрт с ними, и пусть бы их всех чёрт взял, но эти, эти!* (ПССД в 30 томах, 14, 220-221).

Ассоциативно-контрастивное сопоставление двух сопоставленных текстов выявляет как общие, так и специфические литературные мотивы. Общими оказываются мотивы *невинного страдания*, идентификация *человеческого бытия, права на протест и на свободу* в противовес утверждению, что человек – это раб или червь. Однако своё неприятие миропорядка Иов сочетает с глубокой верой в Бога, в то время как Иван колеблется между верой и неверием. Вместе с тем Достоевский противопоставляет трезвому пониманию Иваном действительности религиозно-утопические представления Зосимы о земном рае.

Традиционное теологическое толкование исходит из того положения, что основной конфликт произведения лежит в сфере столкновения между Богом и Иовом, а в финале выступает примирение. Такая интерпретация не вовсе лишена основания. В этом духе замечательную, вдохновенную православную интерпретацию даёт в романе Зосима, вспоминающий перед смертью своё детское восприятие истории Иова в изложении церковной книги для чтения. К воспалённой, многокрасочной, потрясённой и потрясающей детской фантазии присоединяется не только восприятие умирающего старца – персонажа, но и подспудный голос самого автора – художника. На скрещении этих трёх различных восприятий возникает трактовка, в которой выделяется идея соприкосновения двух миров – мира земного и мира иного, потустороннего: *Но в этом и великое, что тут тайна, – что мимоидущий лик земной и вечная истина соприкоснулись тут вместе. Перед правдой земною совершается действие вечной правды. Тут творец, как и в первые дни творения, завершая каждый день похвалою: «Хорошо то, что я сотворил», смотрит на Иова и вновь хвалится созданием своим. И Иов, хваля Господа, служит не только Ему, но послужит и всему созданию Его в роды и роды и во веки веков, ибо к тому предназначен был. Господи, что это за книга и какие уроки! Что за книга это священное писание, какое чудо и какая сила, данные с нею человеку! Точно изваяние мира и человека и характеров человеческих, и названо всё и указано на веки веков* (XV, 265).

Говоря о горе Иова, о потерянных детях и о его же, казалось бы, невозможной любви к новым своим детям, Достоевский делает тонкое психологическое наблюдение: «Но можно, можно: старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую умилённую радость» (XV, 265).

Если для создания образа Зосимы писатель воспользовался ранними автобиографическими материалами, то материал «Книги Иова» вошёл в итоговый роман – в главы «Книги пятой, Pro и Contra» – как опыт целых десятилетий умудрённого жизнью великого художника и мыслителя. Известен его отзыв о новом – может быть, десятом или сотом – прочтении древнего шедевра, приведённый в одном из писем к жене: «Читаю “Книгу Иова”, и она приводит меня в болезненный восторг: бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача, и если б только не подлейшие примечания переводчика, то, может быть, я был бы счастлив. Эта книга, Аня, странно это – одна из первых, которая поразила меня в жизни. Я был ещё тогда почти младенцем!» (XXIX/2, 43).

В разговоре с Эккерманом Гёте с гордостью признавал своё обращение к «Книге Иова» – к мотиву полномочия, данного Богом Сатане («это – моё»). В самом деле: то, что в Библии – рамка, то в «Фаусте» – развёрнутое действие, хотя средняя часть этой идейно-философской драмы, посвящённой тайнам бытия, создаётся заново и по-новому – *en pandant*. И таким образом выстраивается ряд великих *архе- и архитипов:* Адам – Иов – Фауст – Иван Карамазов.

Даже виднейшие исследователи творчества русского романиста нередко отождествляли Ивана то с Великим Инквизитором (как будто не сам он – создатель этого персонажа, этого чудовищного монстра?), то с самим Чёртом (который – в виде фантастического двойника Ивана – и в самом деле «попутал» его и чуть не погубил), не говоря уже об отождествлениях с персонажами другого ряда – Свидригайловым, Смердяковым, Ставрогиным.

Подобно Франциску Ассизскому, отказавшемуся от своего отца, бездушного раба собственности, и Иван Карамазов имел право отказаться от своего родителя (но фактически – не отца) Фёдора

Павловича. Но он сделал больше: прибегнув к эксперименту, допустив теоретически правомерность убийства, он допустил отступление от заповеди «Не убий!». Однако это глубокое заблуждение возникло в результате развития только одной из его идей, преодолённой под императивом происшедшего отцеубийства, в то время как цель всех его размышлений состояла в решении «проклятых вопросов бытия».

Итак, герой Достоевского тождествен только самому себе. Можно сказать, что он – из серии, представленной Адамом, Иовом или Фаустом, но он не равен ни тому, ни другому, ни третьему, а представляет собой единственный и великий мировой образ. Адам является прежде всего представителем рода человеческого, первоначальным типом мужчины, как отчасти и Иов. Но этот последний есть уже и индивидуальность, обладающая своим особым, своеобразным внутренним миром, стоящая рядом с другими неповторимыми типами и характерами на звёздной орбите космоса. Фауст и Иван, – это личности, индивидуумы, и только как таковые символизируют весь род человеческий. Всё это определяется мифологическим, фантастическим измерением разбираемых произведений, которые и позволяют развернуть эти образы во всей их полноте и неповторимости. Героя Достоевского сравнивают – и противопоставляют – всем трём его предшественникам, но сопоставляют и с Мефистофелем.

Фауст Гёте восходит к определённому историческому архитипу, но приобретает и статус абсолютного архетипа. Фигура Ивана – настоящего «русского Фауста» – восходит к историческому архитипу молодого русского интеллигента, поднимающего «проклятые вопросы бытия», но далеко выходит за эти рамки, становясь в один ряд с творениями Гёте. В том же ряду могут быть рассмотрены и фигура Адама в «Трагедии человека» Имре Мадача или доктора Фаустуса из одноименного романа Томаса Манна, для которого Иван Карамазов становится архетипом.

Весь арсенал нашей интерпретации черпается исключительно из текстов названных великих произведений, в которых выявляются художественно-философские мотивы, их система и иерархия. Выясняется, что у Достоевского есть суверенные образы, поливалентные личности-характеры-типы и исторические архитипы; но

выясняется и то, что их нельзя механически накладывать на другие мировые образы-архетипы. Создавая эти образы, писатель использует столь характерные для него приёмы ассоциативно-контрастивного соположения персонажей, *чужое* у него «только» строительный материал для его фантазии, для его глубокой эстетической концепции.

Человеческая цивилизация и сегодня находится в невиданном кризисе, человеческая личность стоит под угрозой потери духовного измерения и свободы, всё больше понимается только как антропологическое, биопсихологическое существо, в то время как доминантными ценностями личности с точки зрения теоретического постмодернизма оказываются успех, деньги, первое место в конкуренции. В произведениях субкультуры прямо распространяются идеи насилия, убийства, животного секса вместо любви.

Думается, что внимательное современное прочтение названных четырёх великих книг человечества безапелляционно доказывает, что в их центре стоят одни и те же проблемы подлинно человеческого бытия, самой природы человека, смысла жизни и спасения цивилизации. В них утверждается добро, правда, прекрасное как *живая жизнь*, в них утверждается, что человек свободен, наделён прерогативой выбора, имеет право мыслить, протестовать и бороться со злом – во имя добра.

II. ЧЕХОВ ПО СТОПАМ ДОСТОЕВСКОГО

Современники Чехова уловили явные нити, связывающие его творчество с произведениями его далёких предшественников: с Пушкиным и Тургеневым – в поэтической прозе, с Гоголем и Щедриным – в общей сфере комического. Что же касается предшественников более близких по времени и по сути – Толстого, с которым Чехов был даже современником, и Достоевского, то здесь положение меняется. Если для первого случая исследователи уловили и рассмотрели наличие некоторых связей – будь то под знаком продолжения / наследования или под знаком отталкивания, то во втором случае подобные связи оставались долгое время скрытыми от их взгляда. Простое сближение имён

Чехова и Достоевского долгое время считалось неправомерным. Многие современники замечательного новеллиста и драматурга предпочитали ему – как «безыдейному объективисту» – страстного романиста, мужественно и открыто включившегося в обсуждение великих проблем человеческого бытия, «писателя идейного». Подобным образом рассматривали вопрос не только второстепенные, ныне забытые критики, но иногда – и замечательные творцы и художники. Так, поэт-символист Иннокентий Анненский в своей «Книге отражений» (1906) усматривает в «поэтизации смерти» в чеховской «Обыкновенной истории» регресс по отношению к Достоевскому.

В начале XX века, кажется, один только Дягилев робко поставил вопрос о близости между Чеховым и Достоевским, обнаружив и отметив известную общность их тематики.

Издатель журнала «Мир искусства» получил, однако, резкий отпор от Зинаиды Гиппиус, которая в статье «Ещё о пошлости» (1904) категорически возражала против сближения двух писателей, «несопоставимых» по силе таланта, «по росту».

Но не следует думать, что всё это происходило всегда под знаком абсолютизации только одной из двух творческих манер, пусть и гениальной. Другие критики – и писатели – попробовали исключить из истории литературы Достоевского – во имя Чехова, его совершенного искусства и несравненного стиля. Андрей Белый – несомненно, продолжатель Достоевского в своей психологической прозе, пронизанной мифологизмом и отмеченной глубоким проникновением в сознание и подсознание человека, – заявил в статье «Ибсен и Достоевский» (1903): «У Достоевского не было слуха. ...Величия ему недоставало».

Зато в статьях «А.П. Чехов» (1904) и «Вишневый сад» (1907) тот же А. Белый поднимает творчество своего современника на уровень эпохального явления, в котором осуществлён подлинный синтез реализма и символизма, ибо только у Чехова реализм естественно, без разрыва, переходит в символизм, становится прозрачным на уровне особой образности, на основе полного и естественного синтеза.

С первых десятилетий XX века и почти до наших дней литературное сознание регистрировало – как несомненный знак общности – только исключительную популярность обоих писателей в

русской и мировой литературе. Немногие дошедшие до нас высказывания Чехова о Достоевском, казалось бы, питают мнение, согласно которому первый был антиподом второго. Внимательный взгляд может, однако, отметить, что в отзывах Чехова звучит отрицательное отношение только к стилю и к некоторым религиозным идеям его предшественника; речь никогда не идёт о стиле Достоевского в широком смысле этого слова и тем менее – о сфере поэтики повествования.

Несомненно, прочно утвердившееся в литературном сознании мнение о полярности этих двух писателей основывается на сопоставлении ряда специфических черт их поэтики: широкая романная форма противоположна короткому жанру рассказа и повести, субъективность противостоит объективности, а исключительное – банальному... И всё же открытым остаётся вопрос: разве поэтика каждого из этих двух писателей покрывает только один из указанных полюсов? Нет ли и в этой сфере явных точек пересечения между двумя великими творцами, из которых один приходит в литературу буквально *вслед* за другим, как его непосредственный наследник в национальной и мировой литературе?

На протяжении десятилетий своеобразная художественная манера Достоевского не была понята и раскрыта критикой во всей её оригинальности. Не жива ли ещё и сегодня легенда о несовершенстве искусства писателя, об «отсутствии» у него стиля? Результаты исследований его поэтики, проведённых на высочайшем уровне в межвоенный период Л. Гроссманом, В. Комаровичем, А. Долининым, М. Бахтиным и продолженных в следующие десятилетия учёными, плодотворно использовавшими достижения структурализма, недостаточны для полного выяснения поставленной темы, но открывают для этого широкую перспективу. Отметим здесь один – но многозначительный – момент: сегодня справедливо говорится о том, что если Достоевский «пренебрегал стилем», то он делал это намеренно, что его «неопрятность» имела эстетическую функцию и столь типичные для него повторения, бесконечные колебания между утверждением и отрицанием оказываются не только средством выявления психологической правды, но и инструментом создания литературного мотива.

Проведение параллели между двумя писателями начало соблазнять исследователей лет десять тому назад. А. Потоцкая в

статье *Человек в художественном мире Достоевского и Чехова* рассматривает этот вопрос объективно, отмечая общие черты (тема маленького человека, интерес к психологии персонажей, раскрытие, с помощью контраста, крайних, «катастрофических» ситуаций) – как несколько «частных аспектов двух по сути своей полярных поэтик».

Оценивая инициативу исследовательницы, мы не можем всё же не заметить, что важнейшие точки пересечения / отталкивания между двумя писателями, лежащие в сфере создания литературного мотива и искусства повествования, не были ею отмечены, проблема не получила полного освещения в рамках сравнительной поэтики. В наши дни тема привлекает всё новых и новых исследователей. В этом контексте важно отметить работу М.П. Громова или доклад американского учёного Р.-Л. Джексона, прочитанный на Международном Симпозиуме по творчеству Достоевского в Бергамо (1980).

Выделение некоторых общих тем, таких как преступление, убийство, проституция, болезнь, а также указание на общность ряда приёмов психологического анализа и особенно – «катастрофических финалов» – можно считать тем приобретением, которое имеется на сегодняшний день в исследовании интересующей нас параллели. Отсюда можно пойти дальше, обратившись к сравнительному изучению общих для двух прозаиков *литературных мотивов*, при условии понимания этого концепта как некоего идейно-художественного единства, возникающего внутри целого и цельного произведения – в отличие от мотивов локально-предметных, вне текста лишённых конкретного эстетического значения.

Еще в студенческие годы Чехов написал рассказ под ироническим заглавием «Загадочная натура» (1883). Один из немногих, подписанных именем Антоши Чехонте, он был включён автором в сборник «Пёстрые рассказы» и затем в Собрание сочинений. В критике это произведение считается пародией на Достоевского. В самом деле, имя писателя, мотивы и герои его произведений упоминаются в нём неоднократно. Героиня рассказа, «хорошенькая дамочка», полулёжа на диване, обитом малиновым бархатом, в купе первого класса, рассказывает начинающему писателю о своих «муках» и «несчастьях»: «Я страдалица во вкусе

Достоевского» – объявляет она растроганно, элегически повествуя о плюсах и минусах своего замужества: она, чуть ли не пожертвовав собой, вышла замуж за нелюбимого человека, богатого и старого... Собеседник, молодой губернский чиновник особых поручений, публикующий «новэллы» из великосветской жизни, отвечает ей сочувственно, с видом испытующего психолога: «Чудная», – лепечет писатель, целуя руку около браслета, – в то время как она продолжает: «А борьба за кусок хлеба, сознание ничтожества... Ах, не заставляйте меня вспоминать! Мне нужно было самой пробивать себе путь... Уродливое институтское воспитание, чтение глупых романов, ошибки молодости, первая робкая любовь... А борьба со средой! Ужасно! А сомнения! А муки зарождающегося неверия в жизнь, в себя?.. Ах! вы писатель и знаете нас, женщин. Вы поймёте... К несчастью, я наделена широкой натурой... я ждала счастья, и какого! Я жаждала быть человеком! Да! Быть человеком – в этом я видела своё счастье!» (1, 29).

Как видим, героиня – не жертва среды, а сама – торжествующая среда. Если собрать воедино все заимствованные у Достоевского формулы и выражения, такие как *страдание, самопожертвование, широкая натура, несчастье,* то в свете финала станет ясно, что все они соотнесены не с творчеством Достоевского, а с сущностью характера героини, выявляют её лживость и пошлость. Вместе с тем в речи «загадочной натуры» собраны все реалии карикатурной, фаталистической теории среды, как она рисовалась, главным образом, в эпигонской и натуралистической литературе конца XIX века. Пародируя на поверхностном уровне стиля ложное восприятие произведений своего великого предшественника, на уровне общеэстетической концепции, обрисовки и интерпретации персонажа Чехов идёт как раз по пути, указанному Достоевским. Своеобразным сигналом этого можно считать восклицание героини о среде. О том же свидетельствует и финал рассказа.

Достоевский был первым великим романистом своего века, программно и решительно выступившим, самой поэтикой своих произведений, против преувеличений, заложенных в догматических механистических теориях социального или биологического детерминизма. Чехов, несомненно, идёт в этом отношении по его стопам. Но прежде чем показать это, необходимо остановиться

на некоторых важнейших положениях самой теории среды и на откликах на эту теорию, которые мы находим в метапоэтических высказываниях Достоевского, возникших как реакция на тенденцию к опошлению, доведению до абсурда правомерного по своей сути, исторического понимания человеческой личности Бальзаком и Стендалем, Гоголем, Диккенсом и Флобером, их идеи о пагубном влиянии общественной среды на судьбу человека.

Теория среды не была порочной *ab ovo.* В предисловии к роману Гюго «Собор парижской богоматери» Достоевский говорит – как об основной, важнейшей мысли всего искусства XIX столетия – о «восстановлении погибшего человека, задавленного несправедливостью среды и гнётом обстоятельств, застоем веков и общественных предрассудков». Эта мысль – оправдание униженных и всеми отринутых «парий общества» (XX, 28-29). Но тот же Достоевский был и первым художником, почуявшим опасность механического понимания этого концепта, которое может привести к отрицанию свободной воли и активности человеческой личности. В статье, которая так и называется «Среда», помещённой а «Дневнике писателя» за 1873 год, он энергично протестует против оправдания любого преступления именем так называемой теории среды, освобождающей человека от всякой ответственности. Правда, идеи свободы и человеческого достоинства подаются здесь в религиозной оболочке, а энергичный протест против общества ассоциируется с преступлением: оппонент автора – защитник теории среды – утверждает: «Так как общество гадко устроено, то нельзя из него выбиться без ножа в руках». Всё же, даже исходя из идеи всеобщей греховности, писатель ставит акцент на личной ответственности человека: «энергия, труд и борьба – вот чем перерабатывается среда. Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собственного достоинства» (XXI, 18). Не может быть смягчающих обстоятельств для злодея, жестоко обращающегося с ребёнком, и даже патриархальная отсталость не извиняет человека, который убивает свою жену.

Чехов идёт вслед за Достоевским, когда высмеивает комические и трагические последствия рабской подчинённости человека среде не только в «Загадочной натуре», но и во многих других своих произведениях. Так, в рассказе «Смерть чиновника» тема

звучит трагикомически. То же – в не менее известном рассказе того же 1883 года «Толстый и тонкий». В самом деле, разве «Толстый» или олицетворяемая им «среда» виноваты в поведении «Тонкого», когда он, узнав, что его школьный товарищ имеет крупный чин, вдруг переходит в обращении к нему на «Ваше превосходительство», буквально теряя при этом человеческий облик, человеческое достоинство? Нет. «Толстый» в этом конкретном случае не виноват, «виновата» душа «Тонкого» – но душа, загрязнённая чинопочитанием, униженная бедностью – что автор убедительно раскрывает с помощью локальных предметных мотивов *нагруженных чемоданов, дополнительных заработков* и т.п.

У Чехова есть и программные выступления против механического детерминизма. В комическом ключе он делает это в рассказе «Случай из судебной практики» (1883), где товарищ прокурора доказывает, что обвиняемый Шельмецов совершил кражу со взломом, а знаменитый адвокат, встающий на его защиту во имя модного «гуманизма и филантропии» («мы люди, господа присяжные заседатели, будем же судить по-человечески!») умудряется, при помощи сентиментальных ссылок на страдание жены и детей обвиняемого, склонить суд к оправдательному приговору. Приёмы «глубинного психологизма» и трогательные слова адвоката убедили зал, что Шельмецов не виноват: все полны милосердия, растроганы, дамы плачут. Но самое замечательное в том, что всеобщие слёзы заставляют растрогаться самого обвиняемого: «Виноват! – заговорил он, перебивая защитника. – Виноват! Сознаю свою вину! Украл и мошенства строил! Окаянный я человек! Деньги я из сундука взял, а шубу краденую велел свояченице спрятать... Каюсь! Во всём виноват!»

Явная амбивалентность финала, которая полностью вписывается в концепцию современного реализма, придаёт повествованию дополнительные акценты объективности, перенося характерный для Достоевского анализ «бездн сознания» в сферу парадоксов комического.

В другой сфере пассивность, плохо понятый детерминизм играет с героями злую шутку. В повести «Рассказ госпожи NN» (1887) вопрос о соотношении социальной среды и личной ответственности человека ставится уже не в комическом, а в проникновенно

драматическом ракурсе. Повествование от имени героини позволяет автору философски обосновать и художественно выявить, обнажить подлинный трагизм «обыкновенных» человеческих судеб.

В центре внимания писателя – фаталистически понимаемый детерминизм.

Сюжет повести строится на повторяющихся встречах героини, молодой и красивой дворянской девушки, с Петром Сергеевичем – интересным и приятным человеком скромного социального положения. В первой части рассказа – в воспоминаниях героини – звучит один из центральных литературных мотивов повести – мотив *возможного счастья*, любви, красоты, силы, движения, пластично воплощённый в локальных предметных мотивах *бури, запаха сена, дождевых капель на лице героини*, в том, что герой может смело шутить и «говорить глупости». Мотивы *беззаботности, знатности и богатства, отказа от борьбы* за осуществление любви и счастья остаются пока в тени, но они берут верх во второй части, начинающейся словами: «А потом что было? А потом – ничего». Так возникает, вырастая из предметного, центральный литературный мотив рассказа – мотив *стены*, социальной преграды, построенной из предрассудков, главный их которых – уверенность, что они незыблемы.

Первая встреча влюблённых происходит в деревне. Очарованный и счастливый, герой объясняется в любви; героиня, также зачарованная атмосферой, отдаётся своему чувству, хотя и не понимает его до конца. Иначе они чувствуют себя в городе: «И в городе Пётр Сергеич иногда говорил о любви, но выходило совсем не то, что в деревне. В городе мы сильнее чувствовали стену, которая была между нами: я знатна и богата, а он беден, он не дворянин даже, сын дьякона, исправлявший должность судебного следователя и только; оба мы – я по молодости лет, а он Бог знает почему, считали эту стену очень высокой и толстой, и он, бывая у нас в городе, натянуто улыбался и критиковал высший свет, и угрюмо молчал, когда при нём был кто-нибудь в гостиной. Нет такой стены, которой нельзя было бы пробить, – продолжает героиня, но герои современного романа, насколько я их знаю, слишком робки, вялы, ленивы и мнительны, и слишком скоро мирятся с мыслью, что они неудачники, что личная жизнь обманула их; вместо того, чтобы бороться, они

лишь критикуют, называя свет пошлым и забывая, что сама их критика мало помалу переходит в пошлость». (6, 385-6)

Легко выделяемая третья часть рассказа звучит как самостоятельное произведение – своеобразное стихотворение в прозе, начинающееся словами «Умер отец, я постарела...». Доминирующими, самостоятельными становятся здесь мотивы *пустыни, одиночества, возможного, но не осуществлённого счастья, прошедшего мимо жизни*. В финале, как в фокусе, собраны все символы ушедшей жизни: героиню больше не радует то, что она *знатна и богата*, а герой оказывается просто *робким неудачником*. Погибла жизнь, в камине потухает огонь, наступает царство неподвижности и небытия – сон... Чехов как бы говорит, что мысль о фатальности обстоятельств – это горькая, но не полная правда. Только борьба за счастье оправдывает звание человека. Разрушение стены, сопротивление враждебной человеку среде является единственно возможной формой достойного существования. Подобную, полную драматизма концепцию Чехов развивает и в таких рассказах, как «Сирена» (1887) или «Припадок» (1888).

Но писатель даёт и другие варианты решения проблемы. Антропологический тип лицемера, вбирая в себя всё чинопочитание и подхалимство, господствовавшие в русском обществе его времени, прямо воплощается в образе «Хамелеона» (1884). Как и у Достоевского, идея тиранства может поселиться у Чехова в сознании обыкновенного человека, усвоившего дух современных порядков – так возникает образ добровольного жандарма в рассказе «Унтер Пришибеев» (1885). Вместе с тем Чехов показывает – в более высоком, философском плане – и необходимость веры в человека, которая единственная может спасти общество и мир. Новеллист, несомненно, осознавал и постоянно помнил о том, что реализм XIX века, защищавший человека от попирающих его обстоятельств, основывался на такой полной, безграничной вере. Строя на этой идее широкий литературный мотив, он развивает его в «Рассказе старшего садовника» (1884). Многочисленные параллели с мыслями и образами Достоевского, связанными с этой темой, подтверждают и сам сюжет рассказа (где оправдательный приговор подозреваемому, почти пойманному преступнику рисуется как торжество *веры в человека*), и центральный

персонаж (замечательный, всеми почитаемый доктор, так напоминающий «общечеловека» Достоевского), и обобщающее заключение «посредника» повествователя – его бабушки, слова которой выражают общественное мнение («Убийцу отпустили на все четыре стороны, и ни одна душа не упрекнула судей в несправедливости. И Бог, говорила моя бабушка, за такую веру в человека простил грехи всем жителям городка. Он радуется, когда веруют, что человек – его образ и подобие, и скорбит, если, забывая о человеческом достоинстве, о людях судят хуже, чем о собаках»), и, наконец, рассуждение героя-рассказчика о вере в Бога, выше которой он ставит *веру в человека:* «...разве эта вера в человека сама по себе не выше всяких житейских соображений? Веровать в Бога нетрудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте! Эта вера доступна только тем немногим, кто понимает и чувствует Христа», и ниже: эта вера «ведь не остаётся мёртвой; она воспитывает в нас великодушные чувства и всегда побуждает любить и уважать каждого человека. Каждого! А это важно» (VIII, 386).

Чехов как бы откликается здесь не только на всё художественное творчество Достоевского, но и на его публицистику – на статью «Среда», на главу из «Дневника писателя» за 1877 год «Похороны „общечеловека"», наконец, на рассказ «Сон Смешного человека», герой которого восторженно утверждает: «...я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны, счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей». Причём – в духе своеобразной чеховской поэтики – восторженному безымянному герою Достоевского здесь как бы противопоставлен рассудительный, слегка педантичный, но добрый, оригинальный и думающий *старший садовник*.

И Достоевский, и Чехов возвестили XX веку о сложности человеческой натуры, первый как страстный идеолог, второй как объективный аналитик, но оба – как художники. Видя все пороки современного ему человека, но трезво глядя и на господствующее вокруг насилие и абсурд, оба писателя ставят диагноз миропорядку, враждебному человеческим ценностям, и мечтают о таком мире, где эти ценности смогут проявиться свободно и полно. Протестуя против

фатализма среды, Достоевский через голову натуралистов протягивает руку Чехову и новаторским течениям грядущих веков.

Среди литературных мотивов, связывающих творчество двух писателей и одновременно оттеняющих своеобразие каждого из них, несомненный интерес представляет мотив *тюрьмы-действительности*. Построенный на топосе *закрытого пространства*, с огромной силой выявляющего всю противоестественность положения человека, лишённого самого необходимого для жизни – свободы, в полный рост развёрнут в *Записках из Мёртвого дома* (1861) и в чеховском рассказе 1894 года *Палата номер шесть*.

Основным идейным выводом, сделанным Достоевским на каторге, было признание народа – вернее, определённой его части – самым здоровым, самым ценным элементом русского общества. носителем общественных идеалов. В народе, даже на каторге, вопреки мрачной, удушливой атмосфере, «под грубой корой – золото», поэтому картина тюрьмы превращается в своеобразный символ всего несправедливого общественного строя. Каторга – это естественное продолжение порядков, торжествующих на свободе, где угнетение бывает иногда ещё более страшным и жестоким: среди различных типов каторжан автор выделяет и таких, «которые нарочно делают преступление, только чтобы попасть в каторгу и тем избавиться от несравненно более каторжной жизни на воле» (IV,43).

Кроме этих реальных измерений, литературный мотив имеет у Достоевского ещё одну ипостась – мифологическую. Заглавие «Мёртвый дом» и концовка – последняя фраза: «Да, с Богом! Свобода, новая жизнь, воскресение из мёртвых... Экая славная минута!» – указывает на основу миропонимания романиста, на его основную идею: лишение свободы подобно смерти, заключение – это антипод жизни, это превращение действительности в мёртвое царство. Среди других ассоциаций, связанных с этой идеей, стоит упомянуть сравнение с адом, особенно широко развёрнутое в сцене бани.

В «Записках из Мёртвого дома» Достоевский поднял на недосягаемую художественную высоту монографический очерк и, почти не прибегая к публицистическим элементам стиля, создал единственное в своём роде исследование о загадках психологии,

натуре человека и природе страдания. В отличие от него, Чехов выделил монографический очерк и публицистику в отдельную этно-публицистическую книгу, «Остров Сахалин», и создал высоко художественно произведение на ту же тему – «Палата номер шесть», в которой расстояние между фактом действительности и вымыслом равно тому, какое мы находим в повести «Кроткая».

Читателя повести «Палата номер шесть» не должен сбивать с толку тот факт, что предметным носителем мотива является здесь не тюрьма, а больничная палата. Сам автор – рядом насыщенных символическим значением образов – символов приравнивает вторую к первой и обе соотносит с действительностью. В самом начале повести читаем о гвоздях *забора*, отделяющих палату от поля: «Эти гвозди, обращённые остриями кверху, и забор, и самый флигель, имеют тот особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек». А перед своим насильственным концом главный герой – «философ-стоик» Рагин наблюдает, уже из-за решётки «палаты»: «Недалеко от больничного забора, в ста саженях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесённый каменною стеною. Это была тюрьма. “Вот она действительность!” – подумал Андрей Ефимыч, и ему стало страшно. Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далёкий пламень в костопальном заводе».

Образ сторожа Никиты, теснящиеся на улице жандармы говорят о том же самом. Своеобразие и мощь трактовки мотива у обоих писателей – в раскрытии самых глубинных противоречий действительности, условий человеческого существования. Но мечта Достоевского о свободе более абстрактна, чем у автора страшной «Палаты»: в финале повести доктор Рагин, признавая ошибку всей своей жизненной философии, в отчаянии хватается за решётку, но она не поддаётся; Никита предупреждает его: «Не заводите беспорядков», а затем избивает, и от этих побоев доктор умирает.

Другой общий для двух писателей мотив, на который до сих пор не обращали внимания, – это мотив *будущего идеального общества*, которое воплощается у Достоевского в картине *золотого века*, а у Чехова в образе нового города – *города солнца*. Обе ипостаси мотива восходят к древнему мифу, развитому писателями средневековья и социалистами-утопистами начала XIX века.

В рассказе Достоевского «Сон смешного человека» (1878) современному обществу, в котором человек попадает под власть отчуждения и эгоизма, противопоставлена утопия, мир людей золотого века, живущих в братстве, не знающих слов «моё» и «твоё»... Этот мир разрушается из-за лжи, зависти, преступления, которые приносит им герой-повествователь, представитель современной цивилизации, и мы опять попадаем в условия европейского общества эпохи Достоевского. Картина золотого века призвана доказать возможность создания нового мира, основанного на всеобщем братстве и любви; именно в этом смысле Достоевский использует утопический образ-мотив золотого века, перекликаясь с Сен-Симоном («Золотой век, который слепое предание отыскивало в прошлом, – впереди нас»), но переосмысливает его, практически создавая новый образ-мотив.

Уже по самой своей структуре литературный мотив Достоевского отличается от мотивов его предшественников-утопистов, ибо у него мифологическая ипостась полностью подчинена реальной, причём последняя вбирает в себя всю историю человечества в перспективе современного общества, охваченного острым кризисом бытия, личности, культуры, при этом предполагая и возможность преодоления этого кризиса.

Подобно своим предшественникам, подвергая суровой критике общество, построенное на эгоистической собственности, лжи, насилии и рабстве, Достоевский, думается, первым в мировой литературе связывает этот мотив с мотивом отчуждения, освещая принципиальные философские и этические основы будущего общества и оставляя в стороне правовые и административные аспекты, которые главенствуют у большинства утопистов. В итоге Достоевский в полный голос заявляет о своей вере в человека и в возможность справедливого устройства будущего общества на основе этики, деятельной любви, правды и всеобщего братства.

Мотив города, повёрнутый Достоевским – в том числе и в романе «Братья Карамазовы» – к ипостаси счастливого будущего, в прозе Чехова широко развёрнут в виде *мечты* героев. В ярко оригинальной форме обе эти ипостаси мотива развёрнуты у Чехова, не только в упомянутом выше «Рассказе старшего садовника», но и в целом ряде произведений последнего периода. Так, в рассказе

«Невеста» (1904), в контексте таких повторяющихся мотивов, как *серая грешная жизнь, действительность-тюрьма, старый город, жизнь за счёт других*, возникает перспектива *будущего*, ради которого стоит *учиться, перевернуть жизнь*, вступить на широкую *дорогу свободы:* «Только просвещённые и святые люди интересны, только они и нужны, – говорит *странный, наивный*, но неудержимо привлекательный своими *прекрасными* во всей их *нелепости* идеями (и этим так напоминающий Князя Мышкина) “вечный студент” Саша. – Ведь чем больше будет таких людей, тем скорее настанет царствие божие на земле. От вашего города тогда мало по малу не останется камня на камне, – всё полетит вверх дном, всё изменится, точно по волшебству. И будут тогда здесь громадные, великолепнейшие дома, чудесные сады, фонтаны необыкновенные, замечательные люди... Но главное не это. Главное то, что толпы в нашем смысле, в каком она есть теперь, этого зла тогда не будет, потому что каждый человек будет веровать и каждый будет знать, для чего он живёт, и ни один не будет искать опоры в толпе» (IX, 438).

Думается, что и в связи с этим мотивом можно говорить не только о параллелизме, но и о генетической связи, о прямой перекличке / полемике Чехова с Достоевским.

Наконец, одним из важнейших литературных мотивов, связывающих творчество двух писателей и в то же время противопоставляющих их друг другу, является *мотив раздвоения*. Ярче всего структура и значение психологического раздвоения раскрывается у обоих писателей в общей для них ипостаси фантастического и мифа. В повести Чехова «Чёрный монах» (1884) описание заболевания главного героя, Коврина, внешне почти повторяет сценарий раздвоения, породившего диалог Ивана с Чёртом в «Братьях Карамазовых» – с тем различием, что здесь, распространяясь на всё произведение, оно превращается в главное средство раскрытия характера. Неожиданно близкие реминисценции подчёркивают тот факт, что Чехов относится к произведению своего предшественника, как к источнику. Подобно Достоевскому, он открыто говорит о болезни и переутомлении как об естественной причине галлюцинаций, его герой так же чётко осознает факт заболевания и бросает

в лицо своего двойника слова, подобные тем, которые бросает Чёрту Иван: «...ты призрак, галлюцинация»; «странно, что ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову... Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли», причём догадка Достоевского подробно развивается врачом Чеховым: «–Но ведь ты мираж, – проговорил Коврин. – Зачем же ты здесь и сидишь на одном месте? Это не вяжется с легендой. – Это всё равно, – ответил монах не сразу, тихим голосом, обращаясь к нему лицом. – Легенда, мираж и я – всё это продукт твоего возбуждённого воображения. Я – призрак».

Но, задумываясь о структуре и особенно о значении психологического раздвоения в каждом из описанных случаев, мы легко находим и черту, их разделяющую. Зарождающаяся болезнь, а отчасти и её причины сближают Коврина не только с Иваном Карамазовым, но и с Голядкиным. Но важно, что Чехов – по крайней мере на первый взгляд – решительно меняет знак двойника, из отрицательного превращая его в положительный. В образе Чёрного монаха отражается, судя по самосознанию героя, желание величия, славы, самопожертвования, что доставляет Коврину *радость*; этим Чёрный монах отличается от Чёрта, олицетворяющего нечистую половину души Ивана Карамазова и причиняющего ему крайние *страдания*. Однако постепенно обнаруживается, что прекрасные мечты, навеянные герою внутренним утешающим голосом протагониста, его уверения в том, что Коврин – Божий избранник, отдающий свою жизнь вечной правде, блестящей будущности человечества – всего лишь плоды его собственного пустого тщеславия. Так в характере протагониста и в центральном литературном мотиве «Чёрного монаха» вновь возникает отдалённая, но явственная перекличка с Достоевским, выявляющая на этот раз не только корни поэтики Чехова, но и всё своеобразие созданного им образа. В повести Чехова внешне благородный, но посредственный, по сути, человек, заболевший клинической болезнью – манией величия – эгоистически губит людей, связанных с ним судьбою. В центре внимания писателя – трагедия ложной, практически несостоятельной идеи о цели жизни, возникающей у человека из-за скуки, одиночества и недовольства собою. Потенцированная болезнью и её лечением (один из

центральных мотивов врача Чехова), она позволяет экстериоризировать скрытые черты, показать истинную суть характера героя.

Если не раздвоение, то двойственность вскрывается, настойчиво подчёркивается автором и в характере отца героини. Два человека живут не только в философе-учёном – «великом человеке» Коврине, но и в «обыкновенном» человеке Песоцком – практичном садоводе и отвлечённом мечтателе. Только у Коврина преобладает стремление к высокому, ведущее к отрыву от земного, человеческого – *нормального*, а у Песоцкого – земное, материальное, человеческое – *слишком человеческое*. Неспособный воплотить в жизнь свою мечту о сохранении сада, он мучается сам и мучает других. Описание сада тоже имеет по крайней мере две стороны; это роскошные цветы и – гусеницы, которых давят пальцами; воздух, красота – и прагматика: ровные ряды деревьев, отправка фруктов на продажу, отношение Песоцкого к «канальям» и «мерзавцам» работникам, его постоянный рефрен: «Перепортили, перемерзили, пересквернили, перепакостили!». Традиционный предметный *мотив сада* получает, таким образом, неожиданное, парадоксальное наполнение, символизируя не золотой век, как в других произведениях Чехова, а самоё жизнь – прекрасную, но в то же время и таинственную, непонятную, иногда страшную. Роскошный сад отца героини сам по себе не может дать счастья. Любая идея, как и любой цветущий, плодоносящий сад, должны служить людям действенно, практически. Ни прекрасный день, ни прекрасный сад как ценность нельзя ставить выше *верховной ценности – жизни*, как бы звучит вывод автора.

Так, используя разработанный уже Достоевским приём психологического раздвоения и создавая, на его основе, новый литературный мотив, Чехов раскрывает свой идейный мир, существенно отличающийся от мира его предшественника. Речь идёт, однако, не только о различных функциях мотивов – как предметного, так и литературного, – но и о двух несходных поэтических структурах. В отличие от глав «Великий инквизитор» и «Чёрт. Кошмар Ивана Фёдоровича» из романа Достоевского «Братья Карамазовы», в повести «Чёрный монах» философский план не выделяется в отчётливый самостоятельный пласт эпической структуры, а запрятан в более однородный природно-психологический пласт.

Если у Достоевского вопросы бытия решаются и абстрактно-теоретически, «идеологически», то у Чехова они ставятся только в формах жизни, в сфере онтологии. Здесь кроется одна из причин, порождающих ложное впечатление излишней субъективности у первого и предельной, «безыдейной» объективности у второго.

Отражение действительности и постановка вечных вопросов бытия в формах самой жизни – это марка, отличительный знак оригинальной художественной манеры Чехова, отличающейся лаконизмом – и пластичностью. Гармония стиля, полнота и «предметность» изображения атомизированного мира, выразительные скрытые символы определяют это единственное в своём роде искусство, разумеется, резко отличающееся от искусства Достоевского, у которого за повсеместной контрастностью письма и своеобразной субъективностью стиля скрывается другого рода объективность – объективность повествования.

Поэтика повествования – это сфера, в которой сближение двух писателей достигает своих кардинальных пунктов. Объективность – обновлённая, эпическая, постоянно подвергающаяся угрозе тенденциозности у Достоевского и приглушённая, завуалированная специфическим лиризмом у Чехова – характеризует, однако, прозу обоих авторов, позволяя вместе с тем уловить и имманентную оригинальность каждого из них. Как мы уже заметили выше, двух писателей долгое время считали антиподами именно на основании этой внешней полярной противоположности их стиля. В критике стало своего рода традицией характеризовать различие субъективной и объективной эпической повествовательной манеры, приводя высказывания двух писателей об их собственном искусстве. Но, вырванные из контекста, эти высказывания не всегда понимались адекватно. Игнорировался тот факт, что они относятся исключительно к сфере стиля в узком смысле этого слова – сфере, в которой два писателя и в самом деле резко расходятся. Но оставим сейчас в стороне вопросы стиля и обратимся к теоретическим высказываниям обоих писателей по вопросам поэтики – на этот раз сближающим их. В своём письме к брату от 1 февраля 1846 года Достоевский говорит, в связи с реакцией критики и читателей на его первый роман: «В публике нашей есть инстинкт, как во всякой толпе, но нет образованности. Не понимают, как

можно писать таким слогом. Во всём они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. А им и не в догад, что говорит Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и говорить не может». В письме к А.С. Суворину от 17 октября 1889 года Чехов следующими словами протестует против претензий к его повести «Скучная история»: «Если я преподношу Вам профессорские мысли, то верьте мне и не ищите в них чеховских мыслей. Покорно Вас благодарю». Случайны ли эти совпадения? На наш взгляд, отнюдь нет, так как в сфере эпического повествования Чехов – безусловный продолжатель Достоевского и, следуя ему, открывает новые формы.

Важное само по себе, изучение наследия Достоевского позволяет вместе с тем лучше понять искусство романа вообще и в особенности – романа XX века. За последние пятьдесят лет наибольшие успехи достоевсковедение сделало в сфере изучения форм повествования. Поэтика повествования стоит в центре важнейших работ о Достоевском, начиная с трудов В. Виноградова, который уже в середине 20 годов XX века чётко заговорил об «образе автора», о несобственно-прямой речи в языке персонажей Достоевского, то есть об инфильтрации слова автора в речь персонажа и наоборот, и М. Бахтина, выдвинувшего весьма плодотворную теорию полифонического романа, подчеркнувшую самостоятельность голосов персонажей и автора (что абсолютно верно на уровне сюжета, но лишь частично – на уровне общеэстетической концепции произведения), и вплоть до последних исследований – К. Буса, Д. Кирая, С. Бочарова, В. Шмида, Слабоданки Владив и других исследователей, выявивших и конкретно описавших эпические структуры романов русского писателя. Объективный характер чеховской новеллистики, который часто весьма поверхностно характеризовали как черту «чистого искусства», уходит своими корнями именно в такую повествовательную стратегию, наличие и функции которой в творчестве Достоевского долгое время заслонял, для поверхностного взгляда, характерный стиль романиста с его своеобразной субъективностью (но не автора, а персонажей!) и выделение философского материала в отдельный, самостоятельный пласт, нередко занимающий первый план в структуре его интеллектуального романа. Всё это долгое время

считали «нечистыми» элементами его эпического искусства. Сегодня вопрос ставится иначе. Богатства, накопленные в процессе исследования художественной манеры Достоевского, берут на вооружение и специалисты других областей литературоведения. Странно, однако, что этот факт не всегда признаётся ими открыто.

Несколько лет тому назад к проблеме форм повествования в чеховской прозе обратился автор книги «Поэтика Чехова» А. Чудаков.

Чутко и тонко анализируя искусство повествования Чехова, А. Чудаков описывает его с помощью терминов и концептов, порождённых изучением поэтики Достоевского. Правда, автор книги даже не упоминает об этом. Но объективно говоря, именно здесь – ключ к успеху его книги, столь убедительно раскрывающей путь великого новеллиста к объективности.

На основе детальной статистической обработки всего материала чеховской прозы с точки зрения повествовательных структур, исследователь приходит к весьма интересным и плодотворным выводам. Как и следовало ожидать, чеховское повествование более объективно в тех произведениях, в которых автор представляет нам мир не через своё собственное восприятие, а через восприятие безличного повествователя, прибегает к свидетельствам героев. Ещё более высокой степени объективности он достигает тогда, когда сочетает, в рамках повествования, голоса героев с описаниями, сделанными на основе наблюдений повествователя.

Интересно, что все эти наблюдения как бы отвечают и собственным высказываниям Чехова о его повествовательной манере. Новеллист не уставал повторять, что субъективность автора-повествователя разрушает пластичность образа; поэтому его художественная манера, его техника требуют прежде всего объективности. В письме к А.С. Суворину от 1 апреля 1890 года, делясь своими впечатлениями и переживаниями, связанными с процессом создания персонажей, он замечает: «...всё время должен говорить и думать в их тоне и чувствовать в их духе. Иначе, если я подбавлю субъективности, образы расплывутся, рассказ не будет так компактен, как надлежит быть всем коротеньким рассказам».

В соответствии с заключением А. Чудакова, в чеховской прозе мир вещей и предметов может быть показан сквозь призму любого

персонажа, второстепенного и даже эпизодического. Многочисленные и многообразные голоса идут из сферы сознания самых разных героев, создавая стилистический «налёт» изображаемой среды. Многоликий повествователь занимает место персонажей в качестве конкретного воспринимающего лица. Такая объективность достигается в первую очередь благодаря насыщению речи повествователя словом героя (но несобственно-прямая речь, лексикальные переклички в языке героя и повествователя и прочие подобные черты поэтики Достоевского были отмечены русскими формалистами и близким к ним В. Виноградовым ещё в 20 е годы, а затем, в последние десятилетия, раскрыты в десятках и сотнях специальных исследований), его внутренним монологом и диалогом (причём и здесь его предшественником – хотя и не единственным – оказывается Достоевский). Тем не менее, вывод исследователя гласит: «Главное – незыблемым остался основной принцип чеховского повествования, /.../ Чеховым в такой законченной и последовательной форме в русскую литературу введённый принцип изображения мира через конкретное воспринимающее сознание». Трудно понять, как исследователь мог забыть здесь Достоевского, тем более что в вышедшем недавно исследовании Э.Д. Полоцкой этот вопрос в принципе поставлен, хотя лишь в аспекте полифонии. Ведь как раз в свете сопоставления с творчеством его великого предшественника более явным представляется и новаторство Чехова, даже и в других конкретных аспектах.

Даже если эпическая объективность Достоевского не абсолютна (как правильно замечал Бахтин, неправомерно сводя, однако, роль автора к одному голосу, равноправному с голосами персонажей), то есть явление полифонии проявляется только на уровне сюжета, не касаясь высшего уровня эстетической концепции, всё же приумножение эпической объективности у романиста налицо. Конечно, различные формы повествования – так называемого объективного, в третьем лице, от имени всезнающего автора или от первого лица – героя (исповедь, переписка), свидетеля, фиктивного рассказчика – использовались и предшественниками Достоевского. Но он оказался великим мастером, который, сочетав огромное разнообразие форм преимущественно второй категории, перенёс акцент на отражение изображаемого мира в сознании героя, что –

парадоксально – привело к разрушению стены между читателем и изображаемой жизнью, то есть к большей степени объективности, и тем самым оказало огромное влияние на развитие жанра романа в мировой литературе.

Кроме эпической объективности повествования поэтику двух писателей сближает и высочайшая художественная функциональность исключительного и фантастического. Отвечая на обвинения в использовании слишком странных, необычных, «нетипичных» событий – преступлений, прелюбодеяний, болезней – Достоевский с возмущением указывает на то, что эти явления происходят ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Его ответ логичен с точки зрения его искусства. Чехов реже обращается к исключительному, но само банальное становится у него столь же сильным инструментом отстранения, важным элементом его поэтики. И как часто за банальным скрывается нечто исключительное с точки зрения человеческого существования! Как часто парадоксальность, даже абсурд повседневного появляется под знаком исключительного! Значит, и случайность не может быть «чистой», как это утверждает иногда критика. Если многие детали, образы кажутся случайными по отношению к характерам персонажей, они становятся глубоко значимыми для атмосферы, для общего эмоционального состояния мира. Иначе и не может быть. Чеховский образ, в высшей степени современный – ибо он сгущён, насыщен глубоким философско-этическим смыслом, и вытекающий отсюда лаконизм чеховского искусства добавляют существенные новые черты к традиции русской прозы XX века, идущей от Достоевского.

Перечитывая сегодня Достоевского и Чехова, мы каждый раз поражаемся актуальности их искусства, воспроизводящего – в двух столь различных художественных манерах – общие черты современного разорванного, атомизированного мира и за ним – антагонистические социальные противоречия этого мира, функционирующие – прямо или косвенно – вплоть до наших дней. Этому миру они противопоставляют подлинные ценности – красоту, достоинство, труд и сочувствие к ближнему, цветущий сад, новый город, уголок увиденного из тюрьмы голубого неба. Может быть, поэтому нас так потрясают сегодня провозглашённые ими

глубокие истины о человеке. Тудор Виану заметил: «современный человек обрёл, благодаря творчеству Достоевского, новое измерение своего самосознания». Чехов шёл – не только хронологически – вслед за этим титаном мировой литературы. Но кто может уверенно сказать – в свете цивилизации XX века, – что, в чём-то повторяя путь своего предшественника, он не стал во многих отношениях равен ему как художник или не превзошёл его в других?

III. БЛОК И ДОСТОЕВСКИЙ: СОЗВУЧИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ МОТИВОВ

На первый взгляд сближение этих двух имён кажется неоправданным, даже неправомерным: связь крупнейшего поэта-символиста с великим прозаиком XIX века представляется возможной лишь в плане постановки философских проблем, апофеоза трансцендентального, и никак не объемлет сферу поэтики. Что общего может иметь поэт-символист начала XX столетия с виднейшим реалистом века предыдущего? И, в конце концов, кто такой был этот Александр Блок – правда, переводившийся в своё время на румынский язык, но знакомый румынскому читателю лишь в самых общих чертах?

В самом деле, поэма Блока «Скифы» была напечатана в румынском переводе уже на следующий год после смерти поэта, в 1922 году; соавтор И. Дусчиана И. Буздуган перевёл в 1926 году и знаменитую драматическую эпопею «Двенадцать». В послевоенный период появилось несколько сборников блоковской лирики, подписанных поэтами и переводчиками Раду Боуряну, Виктором Тулбуре, М. Джентемировым; несколько блоковских стихотворений в собственном переводе включил в свою великолепную антологию мировой поэзии А.С. Баконски. Наконец, поэт Аурел Рэу, давший новую румынскую версию поэмы «Двенадцать», поместил имя Александра Блока в плеяду крупнейших представителей мировой литературы, ибо, по его утверждению, в творчестве русского поэта «религия, история, любовь, смерть – темы, наложившие свою печать на величайшие творения мировой литературы от Гомера до Шекспира и от Данте до Достоевского, – ставятся

вновь в оригинальном освещении, как подлинный поэтический диспут о сущности человеческого».

И всё же нельзя не согласиться с тем, что и сегодня румынский читатель прошёл ещё только самые первые шаги к творческому освоению наследия Блока: ему не хватает переводов, приближающихся по своему уровню к оригиналу, неизвестны целые циклы, определяющие для художественного мира русского поэта; не хватает и широких, адекватных критических статей и исследований.

Александр Блок – величайший русский поэт начала XX века, по фактуре своего стиха стоящий наравне с Пушкиным, – вошёл в литературу как символист, автор великолепного сборника «Стихи о Прекрасной Даме» (1901-1902); вскоре он становится, однако, подлинным рапсодом современной цивилизации – ада городской жизни, во многих своих аспектах враждебной подлинно человеческому, и – отчаянного, самосожигающего бунта русской интеллигенции, драматически искавшей пути к народу («И им / .../ будет сниться, / Что их «народ зовёт вперёд»). Все эти настроения пронизывают циклы «Распутья» (1902-1903), «Пузыри земли» (1904-1905), «Город» (1904-1908), «Снежная маска» (1907), «Возмездие» (1908-1913), «Родина» (1907-1916), «О чём поёт ветер» (1913) и наконец, поэму революции «Двенадцать» (1918).

В рамках педантически понимаемых литературных жанров, категорического противопоставления поэзии и прозы сравнение блоковского искусства с Достоевским кажется идущим против всех правил. Но ведь и в сфере прозы связь с Достоевским того или иного из его потомков в русле традиции-инновации долгое время считалась более чем «незаконной», причём каждый новый случай противоречил предыдущему. Так, и сегодня ещё немногие решаются утверждать, что Чехов является наследником Достоевского в русской прозе на стыке веков. С другой стороны, Леонид Андреев, открыто, даже шумно называвший себя его прямым наследником, в своём собственном творчестве, увлекаясь крайностями экспрессионизма и прибегая к абстрактно-схематической образности, отошёл слишком далеко от своего предшественника. Зато виднейший представитель русского символизма Андрей Белый, отказавшийся от Достоевского в своих статьях, следовал за ним как прозаик – в таких важных, значительных для русской

литературы начала XX века произведениях, как «Петербург», «Серебряный голубь» и пр. Отход Белого от своего предшественника – явление неизбежное для каждого крупного художника – не означал разрыва всех связующих нитей, будь то в плане стратегии повествования, использования художественных ресурсов мифологического или раскрытия психологии бездны. Так же точно «Мелкий бес» Фёдора Сологуба немыслим без традиции автора романов «Бесы» и «Братья Карамазовы», хотя между всеми этими произведениями имеются существеннейшие различия. В этом контексте Чехов представляется тем писателем, который наследует великому романисту в самом существенном – в своём обновлённом реализме, интегрирующем весь модернизм. Но – как мало был понят до сих пор характер этих связей – мы видели в первой части этой главы.

Но если даже в сфере прозы отношения с предшественником Достоевским каждого из его прямых последователей представляются поверхностному взгляду скрытыми, противоречивыми или парадоксальными, они оказываются определяющими для литературного процесса в целом, ибо несут в себе предпосылки новых, современных поэтик. В этом смысле важна и перекличка художественного наследия Достоевского с крупнейшими произведениями поэзии и драматургии символизма. Более того, если отвлечься от специфики жанров – и даже родов, анализ корреляции *восприятие-отказ*, связывающей творчество двух названных нами в заглавии писателей, окажется весьма плодотворным для более адекватного понимания судьбы художественного наследия Достоевского в русском литературном процессе.

Острое ощущение угрозы человеческому существованию в онтологическом мире цивилизации, первые знаки которого были уловлены и некоторыми русскими писателями XIX века, стало всеобщим в последующую эпоху. Как известно, Достоевский одним из первых заговорил об отчуждении человека в современном атомизированном мире и о трагедии этого отчуждения. Он показал тёмные, дьявольские омуты страстей и самосжигающий взлёт мыслящего человека к недосягаемой выси. Он заговорил о том, чем стала жить европейская интеллигенция на рубеже веков. В России его герои стали фактами действительности, материей духовной жизни.

Такой чуткий к проблемам существования и к судьбам человека художник, как Блок, просто уже по одному этому не мог пройти мимо наследия Достоевского. Но были, естественно, и другие связующие нити в рамках одной и той же национальной литературы, была связь поколений: дату смерти романиста (9.2.1881) отделяет от даты рождения поэта (28.11.1880) два с небольшим месяца.

Присутствие Достоевского в духовной жизни будущего поэта берёт свои истоки уже в эпохе его детства. По отцовской линии происходящий от немецкого врача, приехавшего в Россию ещё до петровской эпохи, Александр Блок провёл свои ранние годы в семье родителей матери. Его дед, Андрей Бекетов, известный ботаник, ректор петербургского университета и один из основателей высших бестужевских курсов, был, по словам внука, «чистокровным идеалистом», а его политические взгляды, в большой мере схожие со взглядами Салтыкова-Щедрина, отличались в основном либеральностью и неприятием мистицизма. Для большей части членов семейства Бекетовых Достоевский последних лет его жизни был «ретроградом». Описывая в своей неоконченной поэме «Возмездие» судьбу русского дворянского интеллигента сквозь призму целого ряда поколений и воспроизводя атмосферу салонов конца семидесятых годов XIX века, Блок вспоминает и автора «Бесов»:

На вечерах у Анны Вревской
Был общества отборный цвет.
Больной и грустный Достоевский
Ходил туда на склоне лет
Суровой жизни скрасить бремя,
Набраться сведений и сил
Для «Дневника». (Он в это время
С Победоносцевым дружил).
С простёртой дланью вдохновенно
Полонский здесь читал стихи.
Какой-то экс-министр смиренно
Здесь исповедовал грехи.
И ректор университета
Бывал ботаник здесь Бекетов

И многие профессора,
И слуги кисти и пера,
И также – слуги царской власти,
И недруги её отчасти...

Мимоходом замечу, что Достоевский дружил и с братьями Бекетовыми, особенно с Владимиром, который был и его однокашником по Инженерному училищу. Что же касается главы Синода Победоносцева, автор поэмы характеризует его далее как виднейшего поборника реакции, воплощая в образе-символе хищной птицы:

В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла
Победоносцев над Россией
Простёр совиные крыла
. . . . . .
Вращает хищник мутный взгляд,
Больные расправляя крылья...

Ясно, что в этом контексте упоминание о политическом жесте Достоевского (поддержание отношений с Победоносцевым: о дружбе в реальности речи не было), осуждённом прежде всего либералами («безмятежный» Тургенев недаром получает в поэме вполне положительную оценку), выдаёт и авторский голос. Но – и критика это уже давно отметила – позиция Блока носила всё же несколько иной, своеобразный характер. Поэт осуждал и либерализм, отдавая в тот период пальму первенства сильной, исключительной человеческой личности. Такая личность в поэме представлена молодым учёным, отцом лирического героя – исключительным, незаурядным человеком, обладающим «странностью печали», которая роднит его с Байроном, и «лишённым только *воли* этой...»:

Его отмечены черты
Печатью не совсем обычной.
Раз (он гостиной проходил)

Его заметил Достоевский.
«Кто сей красавец? – он спросил
Негромко, наклонившись к Вревской: –
Похож на Байрона». Словцо
Крылатое все подхватили,
. . . . . .
«Он – Байрон, значит – демон...»

Несомненно, либеральная оценка, определившая отношение молодого Блока к Достоевскому, помешала на первых порах его более глубокому восприятию творчества своего предшественника. Но, упоминая этот отголосок семейного предания как первую реакцию поэта на личность великого романиста, мы должны противопоставить ей последние слова Блока из статьи «Интеллигенция и революция» (1918), где великий романист поставлен рядом с другим «странным чудаком», Толстым: «Либерального “аблаката” описал Достоевский; Достоевского при жизни травили, а после смерти назвали “певцом униженных и оскорблённых”...» (VI, 15).

В приведённых выше отрывках из поэмы «Возмездие» мнение о Достоевском, бытовавшее в определённых, наиболее радикально настроенных кругах русского общества конца XIX века, отражает и личное восприятие поэта-символиста, даже если его творчество уже преодолело рамки этого течения, поднявшись над всеми **его** ограничениями благодаря сильному, оригинальному искусству, чуждому крайностей модернизма и открыто обращённому к актуальным проблемам эпохи и к вечным вопросам человеческого бытия. Но ясно, что на этой стадии своего развития поэт и драматург Блок не мог обойти в своём творчестве традиций великого русского романиста.

Личное отношение к Достоевскому имело глубокие корни в детстве Блока. Бабушка поэта, Елизавета Бекетова, была литератором, переводчиком десятков томов из Томаса Мура, Вальтера Скотта, Диккенса, Теккерея, Гюго, Флобера, Мопассана; она была лично знакома с многими писателями, среди которых Гоголь, Толстой, Ап. Майков, братья Достоевские, в журнале которых она сотрудничала. Бекетова переводила до 20 печатных листов в год, была исключительным, динамичным существом с оригинальным

жизнеощущением, её «образный язык – точный и смелый, обличавший казачью породу» – отметит позднее поэт в автобиографии 1915 года. Здесь же читаем: «Я берегу тот экземпляр английского романа, который собственноручно дал ей для перевода Ф.М. Достоевский. Перевод этот печатался во „Времени”».

Воздействие Достоевского на формирование творческой личности поэта, драматурга и эссеиста Блока осуществлялось на протяжении двух этапов. Первый из них охватывает период 1902-1903 годов, последовавший за дебютом, когда он прочитал – точнее, перечитал – все произведения романиста, сделав в своём «Дневнике» и переписке целый ряд заметок, размышлений и оценок. Второй этап опирается на новое, полное ознакомление с творчеством писателя летом 1905 года и – новыми заметками и размышлениями. Достоевский стал важным фактором духовного бытия поэта, формирования его мировоззрения и выработки собственной поэтики. В письме, написанном 13 июня 1903 года с германского курорта невесте и будущей жене Любови Менделеевой, Блок жалуется на глухую, удушливую атмосферу и продолжает: «Лучшее, что есть, я вычитываю из Достоевского, но так нельзя...»

В своей корреспонденции Блок прямо связывает поиски собственного пути в литературе с автором «Братьев Карамазовых» и «Подростка». В письме к отцу от 5 августа 1902 года он признаётся: «Вообще-то можно сказать, что мой реализм граничит, да и будет, по-видимому, граничить с фантастическим (“Подросток” Достоевского). “Такова уже черта моя”». И ниже, называя свою «природу» «беззаконной», уточняет: «потому что *испытывать* для меня всегда труднее, тяжелее, томительнее, “соннее” /.../ чем *созерцать*. Всё это, разумеется, не в первобытно-романтическом, а скорее в “реально-Достоевском” стиле, в котором созерцание углублено, а не порхает».

В Примечаниях к Собранию сочинений Александра Блока цитируется и письмо к Л.Д. Менделеевой, содержащее комментарии к стихотворению *Все сидели за круглым столом:* «Написал хорошие стихи... они совсем другого типа – из Достоевского»; «Что Ты скажешь про это? Это – не декадентство? Это не бесформенно. Это просто и бывает в жизни, на тех её окраинах, когда

Ставрогины кусают генералов за ухо» (1, 616). Далее, размышляя о том, где может быть напечатано такое стихотворение, и предполагая, что оно не будет принято Д. Мережковским, он заключает: «Но это “скорпионство”, и надо будет отдать Брюсову. Здесь не понравится».

Рассмотренная в целом параллель Блок-Достоевский выявляет постепенный отход первого из них от канонического символизма.

В поэтике Блока мыслимое или аффективное трансцендентальное, в том числе *вечно женственное* «Стихов о Прекрасной Даме», скоро уступает место маскам, мифам и символам, насыщенным реальностью предметного мира, а затем и самой социально-исторической действительности.

В этот период Блок занимает совершенно особые позиции по отношению к искусству Достоевского. Если для редактора журнала «Северные цветы» Вячеслава Иванова – представителя и видного теоретика русского символизма – метафизический трансцендентный план романов Достоевского представляет высший уровень структуры и конечную цель автора, подчиняя себе реальное как его проявление, Блок, устанавливая другие соотношения между планами, ощущает идеальное и реальное, добро и зло в плане земного, человеческого бытия. Он ближе к поэтике Достоевского и тогда, когда подчёркивает решающую роль интуитивного познания в искусстве, в то же время не противопоставляя его разуму, – даже если обращается при этом к современной науке психологии, доказавшей реальное существование суггестии в древних мифах, в магии и ритуалах. Допуская в искусстве, наряду с идеалом, субстанцию реального, а рядом с фантастическим банальное, Блок отходит от односторонней, хотя и глубоко суггестивной поэтики символизма даже дальше, чем Андрей Белый, выдвинувший идею синтеза символизма и реализма в прозе Чехова.

Несколько важнейших отправных точек для рассмотрения намеченной нами параллели даёт эссе Блока «Безвременье» (1906). Подлинно художественный прозаический текст, это эссе строится на ряде идей-мотивов-символов. На первом плане – *очаг,* символ счастливой, гармоничной семьи, какая появляется и у Достоевского в рождественской сказке «Мальчик у Христа на ёлке».

Воспроизводя праздничную семейную атмосферу, Блок продолжает: «Но и Достоевский уже предчувствовал иное: затыкая уши, торопясь закрыться руками в ужасе от того, что можно услышать и увидеть, он все-таки слышал быструю, крадущуюся поступь и видел близкое и отвратительное серое животное. Отсюда – его вечная торопливость, его надрывы, его “золотой век в кармане”. Нам уже не хочется этого Золотого века, – слишком он смахивает на сильную лекарственную дозу, которой доктор хочет предупредить страшный исход болезни. Но и лекарственная трава Золотого века не помогла; большое серое животное уже вползало в дверь, нюхало, осматривалось, и не успел доктор оглянуться, как оно уже стало заигрывать со всеми членами семьи, дружить с ними и заражать их. Скоро оно разлеглось у очага, как дома, заполнило интеллигентные квартиры, дома, улицы, города. Всё окуталось смрадной паутиной; и тогда стало ясно, как из добрых и чистых нравов русской семьи выросла необъятная серая паучиха скуки» (V, 66-67). Только писатели подняли голос против этой бестии, но их не услышали, а когда всё же продолжали кричать, их назвали «декадентами». Всё напрасно: паук рос, «благополучные» квартиры интеллигентов становились подобными «вечности» по Достоевскому – закопчённой деревенской бане с развешанной по углам паутиной, аду, посмертному небытию Свидригайлова.

За шумными эстетическими манифестами скрывалось сначала нечто здоровое – жажда полной прекрасной жизни, казалось ещё, что паук будет изгнан. Но декаденты сами были заражены его отравой. Люди, говорит далее автор, начали вести жизнь, чуждую подлинно человеческому, страсти исчезли и природа стала им чужой и непонятной. «Они стали посвящать всё своё время государственной службе – и перестали понимать искусство. Они утратили понемногу /.../ сначала Бога, потом мир, наконец – самих себя». Начали жить в «заранее вычерченном» искусственном узком кругу, который постепенно расширялся, разбухал, превращаясь в чудовище – паучиху, «а в теле паучихи сидит заживо съеденный ею нормальный человек» (V, 68).

Атмосфера и сюжетная парафраза рассказа «Мальчик у Христа на ёлке» воспроизведена Леонидом Андреевым в повести «Ангелочек» в новой перспективе: всесильная власть скуки достигает

своих крайних пределов; мальчика силой затаскивают на семейный праздник, но в этом «раю» «порядочного» семейства он находит лишь «лицемерную мисс, лживую красивую изолгавшуюся даму, бессмысленного лысого господина»: «всё было /.../ просто, мирно и скверно. Была *вечность*, баня с пауками по углам, тишина пошлости...». В повести «реалиста» Андреева эссеист открывает ноту, сближающую его с «проклятыми» декадентами. Блок приводит эротическую фразу Андреева о девочках, которые «смеялись, прижимая обе руки к груди, и перегибаясь» (перекликающуюся, добавим мы, со страшным сном Свидригайлова о лежащей в цветах маленькой девочке, на чьём лице вдруг возникает смех проститутки). Всё это вводит мотив безумия, непосредственно вырастающий из пошлости, из паучьего затишья. В заключение: «необозримый липкий паук поселился на месте святом и безмятежном, которое было символом Золотого века. Чистые нравы, покойные улыбки, тихие вечера – всё заткано паутиной, и самое время остановилось. Радость остыла, потухли очаги. Времени больше нет. Двери открыты на вьюжную площадь» (V, 70).

Но и «на площади» – в общественной жизни – тоже торжествует паучиха. Повсюду подозрительность, слежка; подавленные желания, боль. Появляются бродяги, «праздные бездомные шатуны» (напоминающие нам и Версилова, и Шатова и других героев Достоевского). Усталый всадник без конца движется по замкнутому кругу – на зов Ночной фиалки и огромной зелёной звезды...

Последняя часть эссе «Безвременье» посвящена русской литературе: «Передо мной вырастают два демона, ведущие под руки третьего – слепого и могучего, пребывающего под страхом вечной пытки. Это – Лермонтов, Гоголь и Достоевский» (V, 76). Третий, слепой демон достигает края земли, болот с чахлыми камышами: «Кто-то уверил его, что там будто бы находится столица России, что туда втянулись интересы империи, что оттуда правят её судьбами. Под стук извозчичьих дрожек, под визг фабричных гудков, в дыму торчащих из мглы труб, – слепец расхлёбывал вино петербургских туманов. Он был послан в мир на страдание и воплотился. Он мечтал о Боге, о России, о восстановлении мировой справедливости, о защите униженных и оскорблённых и о воплощении мечты своей. Он верил и ждал, чтобы рассвело. И

вот перед героем его, перед ему подобными действительно рассвело, на повороте тёмной лестницы, в глубине каменных ворот, самое страшное лицо, воплощение хаоса и небытия: лицо Парфёна Рогожина. Это был миг ослепительного счастья. И в тот же миг всё исчезло, крутясь как смерч. Пришла падучая /.../ Достоевскому снится и вечная гармония; проснувшись, он не обретает её, горит и сгорает» (V, 78-79).

Этот конечный вывод поэта кажется на первый взгляд парадоксальным. Для Блока два его современника, Зинаида Гиппиус и Фёдор Сологуб, о которых он говорит далее, ближе к Лермонтову и Гоголю, чем к Достоевскому: «От первых перешла к нам мудрость, от второго может быть только опыт его страдания». Такое трезвое, мрачное и в чём-то несправедливое заключение о творчестве Достоевского может быть понято, лишь если его поместить в определённые исторические условия, в определённую среду. В целом интерпретация Блока остаётся, однако, поистине эпохальной, ибо смысл и значение его доминантной идеи исходит из реального блоковского гуманизма, из соотношения искусство-действительность. Как мы помним, то же самое провозглашает в своём творчестве и Достоевский, и следование ему ощущается в поэзии Блока на каждом шагу.

Интерпретация, данная Блоком финалу романа «Идиот» с выявлением трагически-нигилистических аспектов, связанных с угрозой подпольного мира, отчаянием и отчуждением, идёт всё же извне. Анализ системы мотивов романа, как мы в этом убедились в одной из предыдущих глав, выявляет авторский голос, в соответствии с которым снедаемый страстями богач Рогожин – это двойной убийца, его поступок влечёт Мышкина в небытие, бросает его в ад болезни, а не в её «рай». «Отсутствие жестов», точнее, их парадоксальность и мгновение ауры на пороге приступа эпилепсии – это всего лишь контрапункты, освещающие бездны души героя, глубину его трагедии. Жизненный крах добрейшего, благороднейшего князя не снимает того, что мы о нём узнали, не исключает ни его доброй души, ни высокого идеала, но его трагическая ошибка, продиктованная христианским аскетизмом, вносит свою долю в роковой исход.

Чуткое, глубокое проникновение в творчество Достоевского не могло не породить скрытых или явных, положительных или отрицательных откликов в поэтическом творчестве Блока. Речь

идёт прежде всего об обращении поэта к отдельным мотивам – мифам, символам и эмблемам – Достоевского, о множестве тематических перекличек и стилистических реминисценций, сближающих творчество двух писателей.

Всё же, обращаясь к тематической перекличке – разумеется, красноречивой и самой по себе – хотелось бы выйти за рамки тематологии, с самого начала упомянув об оригинальности трактовки каждым из писателей «общих» для них тем. Считая недостаточным выделение таких общих тем или указания на характерные для обоих предметные и психологические мотивы, мы стремимся прежде всего к выявлению оригинальных эстетических значений – как по существу, так и с точки зрения их художественного выражения. В этом нам поможет концепт литературного мотива, который мы рассматриваем как вновь возникающее в каждом отдельном произведении идейно-художественное структурное единство, создаваемое на основе переосмысления, в свете оригинальной концепции автора, сущности повествовательно-событийного материала в эпике и драме, комплекса идей и чувств в лирике, посредством повторяющихся поэтических средств, в вышей степени обобщенной, часто символической образности. К категории мотивов иного рода – частных, локальных – относятся мотивы предметные и психологические, стилистические и мотивы-мысли. С точки зрения такого понимания литературного мотива мифы, символы, предметные образы, а также психологические и другие локальные мотивы рассматриваются как элементы, интегрированные в структуру целого в свете оригинальной эстетической концепции автора. При этом если принять точку зрения Д. Максимова, в соответствии с которой темы, сюжеты, мифы, символы являются в поэзии Блока своего рода интеграторами, то литературный мотив – который может совпасть с переосмысленным или вновь созданным мифом или символом, – это сверхинтегратор или, точнее, двигатель и цель самого процесса интегрирования.

В духе всего выше сказанного попробуем выделить несколько центральных литературных мотивов блоковской поэзии, перекликающихся с основными мотивами романов Достоевского; начнём с центрального среди них – мотива *отчуждения / раздвоения*.

Подобно симфонической увертюре, стихотворение «К Музе» из цикла «Страшный мир» вводит основные, ведущие темы всего

цикла. На основе острого морального кризиса – как знак гибели, попранного осмеянного счастья – возникает ипостась испытующей, демонической Музы:

И такая влекущая сила,
Что готов я твердить за молвой,
Будто ангелов ты низводила,
Соблазняя своей красотой...

Зла, добра ли? – ты вся не отсюда.
Мудрено про тебя говорят:
Для иных ты – и Муза, и чудо.
Для меня ты – мученье и ад.

Следующее стихотворение воссоздаёт городскую атмосферу: *Кругом – снега, трамваи, зданья, / А впереди – огни и мрак.* Однообразному *шуму и звону* города, *метели, мраку и пустоте* здесь противопоставлены составные внутреннего мира лирического я: *бред, поэзия и мрак.* Мотив прощения, возникая как просьба, обращённая к *ты* (Музы? Возлюбленной?): *Ты, знающая дальней цели Путеводительный маяк* – перерастает в тему *поэзии и Родины:*

Иль можешь лучше, не прощая,
Будить мои колокола,
Чтобы распутица ночная
От родины не увела?

В эти *жёлтые дни меж домами* (название следующего стихотворения цикла), на *безумном и дьявольском* балу, появляется другое *ты*, символизирующее контрастный – смертоносный – женский образ:

Ты меня обжигаешь глазами / И скрываешься в тёмный тупик /.../
И меня, наконец, уничтожит / Твой разящий, твой взор, твой кинжал!

Из хрустального тумана, из невиданного сна – в следующем стихотворении возникает *кабинет ресторана;* под *визг цыганского напева,* под *вопль скрипок* в *исчерченных зеркалах,* вместе с порывом ветра, появляется *дева,* и при встрече взглядов обозначается *жгуче-синий простор: Магдалина, Магдалина! Ветер веет из пустыни, / Раздувающий костёр.*

Несовместимость двух «половин» жизни – его, разрушенной страстями, и возвещаемой ею – светлой, «солнцем юга опалённой» – провоцируют жажду смерти:

Чтоб на ложе долгой ночи
Не хватило страстных сил!
Чтоб в пустынном вопле скрипок
Перепуганные очи
Смертный сумрак погасил.

Следующее стихотворение – точнее, небольшая поэма «Песнь ада» – в рукописи сопровождалась кратким комментарием, указывавшим, что первый стих *День догорал... – La giorno se n'andava* – взят из Данте («Ад», песнь II, 1) и уточнявшим, между прочим, что слово «инфернальность», употреблённое в стихотворении, использовал Достоевский. Раздвоение раскрывается здесь в своей традиционной форме, как выделение из авторского Я его злой половины, воплощённой в ультра-романтическом образе вампира. Мотив намечается в первых же строках:

День догорел на сфере той земли,
Где я искал путей и дней короче.
Там сумерки лиловые легли.

Меня там нет. Тропой подземной ночи
Схожу, скользя, уступом скользких скал.
Знакомый ад глядит в пустые очи.

Создаётся впечатление, что два Я, возникающие в двух сменяющих друг друга строфах, относятся к двум разным лицам, и

хотя непосредственно следующие затем две терцины сохраняют и амплифицируют эту атмосферу неясности:

Я на земле был брошен в яркий бал,
И в диком танце масок и обличий
Забыл любовь и дружбу потерял.

Где спутник мой? – О, где ты, Беатриче? –
Иду один, утратив правый путь,
В кругах подземных, как велит обычай.

Вскоре проясняющееся Я лирического героя *(И я, который пел когда-то нежно, / Отверженец, утративший права)* раздваивается буквально на глазах: в зеркале, отражающем это Я, появляется *юноша* с *чертами отцветшего лица,* и его монолог открывает путь новому раздвоению, в ходе которого лирический герой, обращаясь к своему отражению на *Ты,* раскрывает его – и свою – истинную сущность, роковую сущность вампира: *Узнай, я предан муке беспощадной / За то, что был на горестной земле / .../ С печатью преступленья на челе...* Страшное превращение, пережитое лирическим героем при появлении *чудесной жены – единственной, презирающей ласки,* рождает жуткую сцену, повторяющуюся многократно в *непонятном сне,* где зал *ресторана* и *далёкий мрак спальни,* напоминающие лирическому герою о *страшном мире,* превращаются в *ад.*

Далее цикл включает в себя всё новые и новые мотивы. Стихотворение «Демон» явно отправляется от Лермонтова и Врубеля, а в новом подцикле «Пляски смерти» вновь возникают реминисценции и из Достоевского. Герой первой «пляски» – мёртвый чиновник, *втирается* в общество, *скрывая для карьеры лязг костей.* «Мертвец весь день трудится над докладом», а после того как «присутствие кончается» – он, *виляя задом,* нашептывает сенатору *скабрёзный анекдот.* Ясно, что не только событийный ряд первых строф, но и сам словарь автора прямо отсылает нас к истории Голядкина. Следуют новые реминисценции из «Двойника» Достоевского; мало того, обновлённая формула фантастического, ещё более непосредственная, более прямая, чем у его предшественника, выдаёт и связь

стихотворения с рассказом «Бобок». На мгновение мелькает существенно иной, новый мотив: даже в этом лицемерном, развратном мире вдруг раздаётся странно человечный голос блоковского «двойника», вступающего в диалог с возлюбленной: «–Усталый друг, мне странно в этом зале – Усталый друг, могила холодна...» Но *яд привычно-светской злости* героя возвращает обоих в круг мертвецов: *В её ушах – нездешний, странный звон: / То кости лязгают о кости*.

В системе этих мотивов стихотворение «Двойник» – в самом заглавии которого обозначен соответствующий мотив – вносит новый акцент, новый поворот:

ДВОЙНИК

Однажды в октябрьском тумане
Я брёл, вспоминая напев,
(О, миг непродажных лобзаний!
О, ласки некупленных дев!)
И вот, в непроглядном тумане,
Возник позабытый напев.

И стала мне молодость сниться,
И ты, как живая, и ты...
И стал я мечтой уноситься
От ветра, дождя, темноты...
(Так ранняя молодость снится,
А то-то, вернёшься ли ты?)

Вдруг вижу – из ночи туманной,
Шатаясь, подходит ко мне
Стареющий юноша (странно,
Не снился ли мне он во сне?),
Выходит из ночи туманной
И прямо подходит ко мне.

И шепчет: «Устал я шататься,
Промозглым туманом дышать,

В чужих зеркалах отражаться
И женщин чужих целовать...»
И стало мне странным казаться.
Что я его встречу опять...

Вдруг – он улыбнулся нахально. –
И нет близ меня никого...
Знаком этот образ печальный.
И где-то я видел его...
Быть может, себя самого
Я встретил на глади зеркальной?

Октябрь 1909

Стихотворение не случайно повторяет в своём заглавии название ранней повести Достоевского: ночь, туман, зеркало, нахальная улыбка – всё отсылает к господину Голядкину-старшему, его мифическому и реальному двойнику. Мир подлинных человеческих ценностей здесь также держится на чистоте идеалов, хотя надежда на сохранение надежд и стремлений молодости – в отличие от того, что мы находим у большинства раздвоенных персонажей Достоевского – здесь ещё не утеряна окончательно. В этом смысл вопроса: *А ты-то, вернешься ли ты*? Характеристика двойника как *стареющего юноши* выявляет его противопоставление миру молодости, надежд, подлинных ценностей.

По существу, фантастика образа становится здесь прозрачной, превращаясь чуть ли не в чистую условность и получая чисто психологический характер – как это подчас происходит и у Достоевского, – в силу обнажения соответствующего приёма: *Быть может, себя самого / Я встретил на глади зеркальной?*

Мотив раздвоения как следствия столкновения между двумя взаимоисключающими тенденциями – бессилием, духовной пустотой с одной стороны и духовными ценностями с другой, как и оригинальные способы его воплощения, оказывается, таким образом, сферой пересечения творчества двух писателей. Остаётся лишь отметить особую черту поэтики раздвоения у Блока – черту, указывающую на исключительную оригинальность, новаторский

характер его искусства. Рискнём заявить, что речь здесь идёт даже о новой поэтике раздвоения. Для того, чтобы убедиться в этом, нужно вскрыть сложную структуру каждой из полярно противоположных друг другу сторон души обоих нарисованных здесь персонажей: лирического героя и его двойника. Является ли Двойник носителем тёмной, злой стороны натуры лирического героя (как это чаще всего случается у предшественников поэта в мировой литературе), а лирический герой – светлой стороной той же натуры? Или наоборот? Ни то, ни другое! Ибо в свою очередь оба они раздвоены.

Реальное положение лирического героя в момент повествования характеризуется тем, что он увязает в *непроходимом тумане*, в *тёмной ночи*. Этому состоянию моральной деградации противостоит мотив молодости, чистоты, мелькает образ любимой, как символ подлинного счастья, жажды идеала, робкой и жгучей мечты о возрождении. В свою очередь Двойник – *стареющий юноша* – осуждает, а не проповедует отчуждение, предательство: он *устал* от *сырого тумана*, он измучен отчуждением, предательством собственного Я, он больше не в *силах целовать чужих женщин, отражаться в чужих зеркалах*. Это категорическое осуждение зла, может быть, более необходимо для возрождения, чем утопия идеальной чистоты. С другой стороны, *у стареющего* юноши *нахальная* улыбка, он мрачен и зол.

Голядкин смотрится в одно единственное зеркало, его двойник однолинейно аморален; в стихотворении Блока как бы два поставленных друг против друга зеркала, или целая система зеркал, в которых две фигуры отражаются друг в друге постоянно, становясь, наконец, *одним*, что и отмечается в последних строках:

Быть может, себя самого
Я встретил на глади зеркальной?

От такой техники раздвоения один шаг до структуры, в которой двойник, представляющий силу зла, становится и носителем подлинных моральных ценностей, представителем доброго Я лирического героя. И Блок делает этот шаг. Он создаёт фигуру двойника, который символизирует не только злую, но и добрую,

даже идеальную половину души лирического героя, ибо – парадоксально – вместо того, чтобы стараться разрушить доброе Я поэта, стремится его спасти.

Не менее интересна и поэтика раздвоения в стихотворении «На страже» из подцикла «Снежная маска»:

Я – непокорный и свободный.
Я правлю вольною судьбой.
А Он – простёрт над бездной водной
С подъятой к небесам трубой.

Он видит все мои измены,
Он исчисляет все дела.
И за грядой туманной пены
Его труба всегда светла.

И, опустивши меч на струи,
Он не смежит упорный взор.
Он стережёт все поцелуи.
Паденья, клятвы и позор.

И Он потребует ответа,
Подъемля засветлевший меч.
И канет тёмная комета
В пучины новых тёмных встреч.

Структура раздвоения здесь близка к одному из вариантов Достоевского: сосуществование в духовном мире человека несовместимых тенденций, чувств и идей, грозит распадом личности. Идя – на этот раз до конца – по линии, намеченной в заглавном стихотворении цикла, поэт меняет своих лирических персонажей местами, наделяя «двойника» лирического героя – Ангела-хранителя – чертами лучшей половины его души, делая его носителем идеальной моральной ценности, и в этом смысле – спасителем (эмблемы трубы и меча отсылают к ангелу-хранителю).

Светлый образ *стражника* противостоит другой, тёмной стороне души лирического героя, постоянно преследуя его *измены*,

паденья, позор, призывая его к *ответу*. Суггестивный финал с его космическим и психологическим измерениями, объемлет это противостояние. Косвенно подобная ситуация подтверждается и атмосферой стихотворения *Настигнутый метелью* из того же цикла.

Переживающее процесс кризиса, стоящее на краю пропасти лирическое Я Блока всё же может, благодаря своему светлому началу, избежать гибели. Подстановка в рамках раздвоения на место худшей половины души – её лучшей половины (явление редкое, хотя и не единичное в мировой литературе) не меняет сущности мотива. Вместе с тем это и не чисто формальный ход. Он связан с неосознанной пока до конца установкой на возможность положительного исхода, и существование в духовном мире поэта *стражи* является гарантией в этом отношении. Такой модуляционный ход естественно вписывается в поэтику Блока: подобно волшебнику, он повелевает разными масками, высвобождает из глубин человеческого «я» самые различные «голоса». Интересно заметить в связи с этим, что Есенин – в этом отношении, несомненно, столь же последовательно идущий за Достоевским, как и за Блоком, – возвращается в поэме «Чёрный человек» к формуле, рисующей двойника как тёмную, запятнанную половину души лирического героя и по-иному использует предметные мотивы – например, зеркало.

В творчестве Блока раздвоение выступает в самых различных художественных формулах. В лирической драме «Балаганчик» автор прибегает к этому приёму естественно и свободно:

Иду, покорен участи строгой,
О, вейся, плащ, огневой проводник!
Но трое пойдут зловещей дорогой:
Ты – и я – и мой двойник!

Следует ремарка: «Исчезают в вихре плащей. Кажется, за ним вырвался из толпы кто-то третий, совершенно подобный влюблённому, весь – как гибкий язык чёрного пламени».

У Достоевского смысл раздвоения обнаруживается в объективной эпической структуре – в судьбе героя, в угрозе его существованию или даже в гибели. Поэт-лирик выявляет этот смысл в

драматической поэме прямо, от своего имени оценивая то явление, в тени которого остаётся повествователь-прозаик. Блок расширяет диапазон поэзии не только в плане тематики, но – завоёвывая для лирики новые, доселе «прозаические» области – и структурно. Пределы лирического рода он раздвигает за счёт эпики и драмы, причём нередко делает это за счёт приёма раздвоения: двойник вырастает из фантастического образа «Третьего», из «Ангела», из маски или из реально-психологической ипостаси души лирического героя. Всё это – достояние Блока. Всё это – завоевание его неповторимого искусства. Исследование соотношений, существующих между раздвоением с одной стороны и символическими приёмами масок, голосов, метафорических олицетворений – с другой – обещает, таким образом, богатые результаты. Здесь мы скажем лишь об одном подобном случае. Речь идёт о первой части триптиха «Осенняя любовь» из цикла «Фаина» (1906-1908):

Когда в листве сырой и ржавой
Рябины заалеет гроздь, –
Когда палач рукой костлявой
Вобьёт в ладонь последний гвоздь, –

Когда над рябью рек свинцовой,
В сырой и серой высоте,
Пред ликом родины суровой
Я закачаюсь на кресте, –

Тогда – просторно и далёко
Смотрю сквозь кровь предсмертных слёз
И вижу: по реке широкой
Ко мне плывёт в челне Христос.

В глазах – такие же надежды,
И то же рубище на нём.
И жалко смотрит из одежды
Ладонь, пробитая гвоздём.

Христос! Родной простор печален!
Изнемогаю на кресте!
И чёлн твой – будет ли причален
К моей распятой высоте?

Ясно, что приём раздвоения здесь не служит выявлению внутренних антагонистических противоречий лирического героя, а выражает другое состояние его души, цельное само по себе, но отражающее все страшные противоречия внешнего мира. По сути, здесь происходит воплощение и отождествление лирического Я с другим, эпическим по своей сути персонажем – Христом; лирический герой, пребывая в трагической ситуации, остаётся верен самому себе, как существо цельное, не разорванное и не раздвоенное. Фигура Двойника здесь – не маска, скрывающая *alter ego* поэта, а проекция – в новой ипостаси – его единого и единственного в своём роде лирического Я. Перед нами – образец характерного и для Достоевского приёма ассоциативно-контрастивного соположения персонажей.

Оригинальность Блока проявляется, естественно, не только в обращении к мотивам, общим у него с рядом его предшественников или современников. Сама система доминирующих литературных мотивов у него самобытна, как и способы интегрирования этих мотивов в структуру, со всеми их вариантами. Так, в знаменитом стихотворении «Ангел-хранитель» (1906) раздвоение объемлет уровень целого произведения. Заглавному образу стихотворения противостоит лирический герой, черты которого выявляются в ходе развёртывания поливалентного заглавного символа. Как и «Двойник», «Ангел-хранитель» построен как бы на взаимном отражении протагонистов – лирического героя и его Ангела-хранителя – в двух поставленных друг против друга зеркалах. Такое ощущение создаётся благодаря тому, что на уровне подструктуры – на уровне каждого взятого отдельно образа – также налицо раздвоение. Параллельные антитезы проходят через весь текст и реализуются на уровне отдельных строк при помощи формулы: *Люблю тебя... за то...* Этот сегмент повторяется как анафора в двенадцати строках, вбирающих в себя ряд внутренне контрастных друг другу образов: *Ангел-хранитель во мгле; светлая невеста – отнявшая тайну; свобода –*

тюрьма и т.п. Лирический герой вскрывает черты собственной противоречивости в косвенной автохарактеристике: *люблю... за то, что не можем согласно мы жить, / за то, что хочу и не смею убить*. За «гимном» действительности скрывается жалоба-признание: *И нежности ядом убита душа, / и эта рука не поднимет ножа...* Наконец, структура стихотворения обнажается, раскрывается пленарно благодаря прямой формулировке одной из его идей: *И двойственно нам приказание судьбы: Мы вольные души. Мы злые рабы!* – подготавливающей финал некрасовской тональности: *Воскреснем? Погибнем? Умрём?* – который едва скрывает, за оттенком проблематичности, ноту призыва.

В онтологическом плане добро и зло, свобода и рабство, героизм и низость души оказываются у Блока, как и у Достоевского, компонентами и полюсами действительности, основанной на острейших противоречиях; но в этическом плане поэт наделяет их дополнительными ценностями. Протест сближает Блока с Достоевским, постоянно звучащий – пусть и нерешительный, полный сомнений – призыв к социальному бунту отдаляет их друг от друга.

У Достоевского литературный мотив отчуждения раскрывается в ряде вариантов. В повести *Сон смешного человека* он оказывается подчинённым другому – мотиву – «золотого века» или «рая на земле», как возможного счастливого будущего человечества. В романе *Братья Карамазовы* отчуждение Ивана оказывается следствием гордыни и презрения к себе подобным, отсутствия в его мироощущении гуманизма «на деле». В сложном узле литературных мотивов отчуждение соприкасается в Книге пятой, «Pro и contra» и особенно в главе «Великий инквизитор» с мотивами апокалипсиса и будущего общества, построенного на вере или неверии.

В стихотворении Блока «Да. Так диктует вдохновенье» набор литературных мотивов напоминает широко известные, кульминационные в идейном отношении мотивы романа *Братья Карамазовы*. Правда, здесь другая оптика, обусловленная непосредственным, обаятельным Я поэта-лирика. Что-то очень близкое к тому, о чём говорит герой Достоевского в форме отрицания, лирический герой Блока утверждает. Сначала это «реальный гуманизм»:

Моя свободная мечта
Всё льнёт туда, где униженье,
Где грязь, и мрак, и нищета…

И ниже:

Ты видел ли детей в Париже
Иль нищих на мосту зимой?

Но Блок идет всё дальше, предчувствуя и призывая «реальную» бурю:

Пока великая гроза
Всё не смела в твоей отчизне, –
Дай гневу правому созреть,
Приготовляй к работе руки...

и даёт новый вариант отчуждённого индивидуума эпохи:

Не можешь – дай тоске и скуке
В тебе копиться и гореть...
Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет,
Пускай грядущего не видя,
Дням настоящим молвя: нет!

Здесь поэт вновь встречается со своим великим предшественником: ведь *тоска и скука*, неверие в будущее и в человека, как и противостоящее им по сути *нет* – их бесстрашное отрицание – это черты духовной структуры Ивана Карамазова.

Во всей своей полноте и силе основные мотивы романа «*Братья Карамазовы*» находят отклик в стихотворении «На смерть младенца» из цикла «Возмездие». Лирический герой, *печальный и свободный*, который смирялся и терпел *незабываемые обиды – хотя с угрозою сжималась / Доселе добрая*

рука, готов даже сейчас подавить свой гнев и молится маленькому гробу –

Но – быть коленопреклонённым,
Тебя благодарить, скорбя? –
Нет. Над младенцем, над блаженным,
Скорбеть я буду без Тебя.

В начале XX века мотив отчуждения распыляется, сливаясь с другими мотивами – такими как демонизм, раздвоение, апокалипсис, соединяя две резко противоположные друг другу сферы – фантастического и обыденного – в условиях жизни большого современного города.

Ряд откликов на творчество Достоевского в поэзии Блока связан с темой падшей женщины, которая в Евангелии и в апокрифических текстах является носительницей идеи спасения грешной души. Исходный момент стихотворения «Легенда» из цикла «Город» – латинская рукопись XVI века о спасении падшей девушки Ангелом Утренней Грозы. Стихотворение открывается звучанием локального мотива – мольбы к Господу о прощении. Затем следует:

На глухую улицу в полночь вышли
Весёлые девушки. Было – две.
Но Третий за ними – за ними следом
Мелькал неслышный, в луче фонаря.
Он был неведом... одной неведом:
Ей казалось... казалось, близка заря.

Вторая девушка – «в чёрном» – «бежала в ночь», бросив свою «белую» подругу –

И на улице мёртвой, пустынной остались...
Остались... Третий, она и ночь.

В первой части стихотворения литературный мотив развёртывается в традиционном плане мифа. Во второй части он появля-

ется в реальной ипостаси: на фоне современного города возникает мотив *любовного напитка – в красной пачке кредиток*... Обыденное тесно переплетается с фантастикой: *Подходили соседи / И шептались докучно, Дымно-сизый старик опёрся на костыль*, но *заря испугалась* и *в полях однозвучно / Хохотал Невидимка – и разбрасывал пыль*... В *огненном смерче* финала «девушка в белом» *крепко обнимает землю* – и мольба, открывающая стихотворение, услышана:

И откликнулось небо: среди пыли и давки
Появился архангел с убелённой рукой:
Всем казалось – он вышел из маленькой лавки,
И казалось, что был он – перепачкан мукой...

Но уж твердь разрывало. И земля отдыхала.
Под дождём умолкла песня дальних колес...
И толпа грохотала. И гроза хохотала.
Ангел белую девушку в дом свой унёс.

Подобное тесное, органичное переплетение планов реального и фантастического можно встретить до Блока лишь у Достоевского – особенно в романе *Братья Карамазовы*. Что же касается литературного мотива «Легенды», который можно определить как спасение – реабилитацию падшей женщины в мире современного города, то его мы встречаем у Некрасова с ударением на *спасении* (в стихотворении «Когда из мрака заблужденья...»), и у Достоевского, с ударением на *реабилитации* (в «Записках из подполья»); ибо сходный литературный мотив, развёрнутый в романе «Преступление и наказание», следует определить по-другому: как воплощение идеи самопожертвования ради близких, доходящего до крайних пределов страдания.

Литературный мотив бунта против Бога, создавшего «страшный мир», в котором смерть сможет сразить невинного ребенка, несомненно, восходит к аргументации Ивана Карамазова, подготовляющей поэму о Великом инквизиторе. В творчестве Блока периода кануна первой мировой войны и революции –

со всей остротой, открыто и чётко звучит не только констатация страшного, дьявольского характера современного мира, но и протест против социального строя, основанного на неравенстве и порабощении. Безусловно принимая вначале народный бунт, а затем и революцию, Блок оказывается в этом противником Достоевского. Но здесь же происходит и их новая встреча.

Мотив революции особенно полно звучит у Блока в финале поэмы «Двенадцать». Представляя солдат революции в свете фантастического «самой жизни», рисуя сцены, окрашенные кровью, насилием и смертью, он завершает поэму знаменитыми строками:

...Так идут державным шагом –
Позади – голодный пёс,
Впереди – с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Свежей россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз –
Впереди – Исус Христос.

Этот символический финал, который до наших дней подвергается бурному обсуждению и часто осуждению – за ограниченность раскрытой в нём идеологической позиции автора или – с другой, противоположной стороны – за неорганичное превращение Христа в революционера – на самом деле в высшей степени совершенен с художественной точки зрения и в высшей степени необходим для создания полной картины русской революции.

Фигура Христа, как известно, была глубоко укоренена в теориях утопического социализма, откуда проникла и в художественную литературу. Возник новый миф, который отделился от канонов официальной церкви, сближаясь скорее с ранним христианством первых веков нашей эры. В своём известном «Письме к Гоголю» (за чтение которого Достоевский был осуждён)

Белинский говорил о таком Христе – который «первым принёс человечеству идеи свободы, равенства, братства» как известно, в 30-40 годы XIX века критик не раз говорил обо всём этом с молодым романистом.

В среде русского крестьянства, которое до середины XIX века жило в основном в патриархальных общинах, в свою очередь, была укоренена идея «своего», особого Бога, соответствующего его представлениям о жизни и мире. Мечта о «рае на земле», звучащая в народной поэзии и в письмах крестьян, обращённым к поэтам и писателям, очень близка утопическим представлениям Достоевского о будущем. Блок уже теперь выделяет в крестьянстве и слои, одушевлённые революционными настроениями. В статье «Стихия и культура» (1909), приводя целый ряд разнородных цитат из крестьянской поэзии, Блок писал: «В дни приближения грозы сливаются обе эти песни; ясно до ужаса, что те, кто поёт про “литые ножики” и те, кто поёт про “святую любовь” – *не продадут друг друга*, потому что – стихия с ними, они – дети одной грозы; потому что – земля одна, “земля божья”, земля – достояние всего народа» (V, 359).

Литературовед Василий Базанов, опираясь на широкую аргументацию, развивает мысль, согласно которой включение фигуры Христа в финал поэмы «Двенадцать» – как, кстати, и в поэзию Есенина – делается в духе историзма, отражая революционные настроения и надежды значительной части народных слоёв. Здесь же говорится об отношениях Блока с группой революционно настроенных социалистов-утопистов из журнала «Новая земля», пропагандировавшего образ Христа, странствующего по Руси в облике крестьянского Бога. Это движение, сделавшее своим символом образ крестьянского Христа, шло против канонической церкви «с её серафимами и херувимами». Среди его описаний мы находим даже фрагмент, в котором говорится: «И впереди идёт Христос. Сёла...»

Процитированный нами выше финал поэмы «Двенадцать» насыщен глубокими теллурическими – и мифологическими – значениями. За идущими *державным шагом* солдатами революции следует *голодный пёс* – образ столь же выразительный,

как румынский *голодный волк;* дополнительные значения придаёт ему перекличка с «Фаустом» Гёте, где злой дух появляется вначале в облике пса. А в блоковском черновике рукописи «Двенадцать» мы находим и имя: Фауст.

Героическая фигура Христа пронизана чертами народного мировосприятия, воспроизводит его дух и стиль. Поднимая *кровавый флаг,* Христос, как легендарный идеальный герой, берёт на себя справедливое революционное мщение. Его шаг – *нежная надвьюжная* поступь, он *невидим* за вьюгой и *невредим для пули,* то есть представляет собой цель более общую и более высокую, чем временные задачи исторического момента. Следующие два стиха: *Свежей россыпью жемчужной, / В белом венчике из роз...* увенчивают голову героя ореолом чистоты и красоты – явный отголосок русского народного творчества. Параметры пространства, в которое помещён Христос – *за* вьюгой и *впереди* солдат – также указывают на него как на воплощение высшего идеала.

Несомненно, такая ипостась Христа таит в себе и нечто парадоксальное. Блок прекрасно чувствовал это. В своём дневнике он записал: «Религия – грязь (попы и пр.) Страшная мысль этих дней: не в том дело, что красногвардейцы “не достойны” Иисуса, который идёт с ними сейчас; а в том, что именно Он идёт с ними, а надо, чтобы шёл Другой» (VII, 326). По мнению поэта, этот Другой не возник ещё в представлении той народной массы, которая совершала в его поэме революцию, а выдумать его он не мог, ибо он признавал в своём искусстве только истину – в этом и заключается его подлинный модернизм. То, что показал Блок в финале поэмы, было неопровержимым фактом истории. А одновременное существование других, может быть, более «прогрессивных», фактов не противоречит этой истине, а подтверждает её.

Правдиво изображая те аспекты революции, которые были ему наиболее знакомы и близки, Блок отдалился от Достоевского. И всё же мотив революции тесно связан у него с мотивами *золотого века* и *рая на земле,* о которых мечтал и его предшественник. Так два великих классика русской литературы – два наших современника – Блок и Достоевский подают друг другу руку даже и тогда, когда расходятся в разные стороны.

Илья Левяш
ПО ТУ СТОРОНУ «СВЕТЛОГО» И «ТЁМНОГО» ХРИСТИАНСТВА

Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес, – что можешь сделать? Глубже преисподней, – что можешь узнать?

Иов 11: 7-8

Разве разделился Христос?

Павел 1 Кор 1: 13

Россия «требует другой мысли, другой формулы, чем мысли и формулы, выведенные Гизотом из истории христианского Запада».

А. Пушкин[1]

Авраама призвал Бог: а я сам призвал Бога… Вот вся разница.

В. Розанов

Каково отношение русского человека к Богу? Если он *религиозен*, то в какой форме и мере? Если он *не религиозен*, то почему? Анализ этих альтернатив возможен при условии не только широкой перспективы, но и ретроспективы русского культурно-религиозного и духовно-ментального генотипа. М. Брода констатирует, что православие является *основой* русской духовной идентичности, и это помещает Россию в *общехристианский* контекст. Более того, нередко акцентируемые отличия православия, католичества и протестантизма преувеличены и, тем не менее, – они реальны. В чём заключаются эти различия?

К. Леонтьев писал в этой связи: «Разница между православием и католичеством – велика со стороны догмата, канонических отношений, обрядности, а со стороны церковно-нравственного духа различия очень мало; различие главное здесь в том, что там

всё ясно, закончено, выработано до сухости; у нас не досказано, не доделано, уклончиво…»[2]. М. Брода декодирует сущностные, «последние основания» таких различий. «Свойственный духовности восточного христианства, более сильный, чем на Западе, элемент “эсхатологического” максимализма… выражает предчувствие и стремление к паруссии, ослабляет чувствительность к детерминациям, противоречиям или ограничениям воли и коллективной деятельности. Относительному укреплению подвергаются в это время не столько поиски способа обоснования в мире и путей его частичного, постепенного исправления, сколько… усилия, направленные скорее на поиск и даже создание возможностей выхода за рамки бренного мира».

Для православия, полагает Брода, характерно относительно более явно сохраненное *космическое* измерение, хотя Н. Струве подчёркивал, что не только православие, но и христианство вообще «есть религия целостного спасения не только человека, но и всего мира (новая земля, новое небо)»[3]. Брода считает, что «в сравнении с сильно ориентированным на историчность Западом, религиозность и самосознание которого вообще радикально утрачивают своё космологическое измерение, отходя от макроантропоморфического восприятия космоса, православие сохранило значительно больше содержаний, присутствовавших в древних, архаических и космических религиях: Натура, космос, их жизнь и ритмы – а также человеческая ответственность за них – сохраняют… свой сакральный характер… а обновление человека становится обновлением космоса». Действительно, по Бердяеву, «судьба микрокосма и макрокосма нераздельна, вместе они падают и поднимаются»[4].

Брода усматривает в этом феномене православно-русскую конкретизацию «универсального опыта и понимания собственного сообщества и отечественной территории как святой действительности, а точнее – “мировой души”, представляющего собой распространённую составляющую опыта sacrum, являющегося уделом многих разных личностей, народов, религий и культур». Но «почему именно в православной России сформировалась такая конкретизация данного универсального опыта, какие качества историко-религиозного контекста?». Почему, по Н. Бердяеву, Россия

«органически более христианская страна, чем Византия, …более способна вместить христианскую общественную правду. И потому идея Второго Рима перешла к Третьему Риму – России».

Автор «Русских вопросов…» видит две основные причины. *Первая* из них – *эпистемологического* характера. В отличие от западного, восточное христианство не отошло от циклической концепции и эсхатологического максимализма. Здесь укрепилось убеждение, что русское православие «есть единственное в мире истинное христианство, что другого чистого православия, кроме русского, нет и не будет»[5]. Такая мера близости православия к Царству Небесному, пишет Брода, привела к тому, что «русская ветвь византийско-славянской культуры характеризовалась идентичностью, определённой антропоцентризмом с особенной чувствительностью к социальной проблематике, переживаемой в эсхатологической и мессианистской плоскости». Поэтому отход от трансцендентного идеала, подобно обрушившейся на Византию каре, угрожает «концом мира» и требует покаяния.

Вторая причина – *историческая*. Волей объективных обстоятельств «…именно растущая в силу Москва (и поэтому Россия), а не другие государства православного мира, могла после падения Византии верить в свою миссию Третьего Рима. Ведь большая, чем у возможных конкурентов, политическая мощь, территориальная огромность и распространение своего влияния представляют собой не только следствие выполнения данной миссии, но также интегральный элемент её самой».

Апелляция к демистифицированным, «земным» корням концепции Третьего Рима вполне убедительна. В. Ключевский отмечал, что в процессе объединения «забытая идея о *национальном* и *политическом единстве* Русской земли воскресает… Вместе с расширением пространства действия московский государь начал усвоять своей власти и *более высокое значение*, чему много помог брак Иоанна с племянницей последнего византийского императора Софьей Палеолог… мысль о московском государе как национальном властителе всей Русской земли и мысль о нём как политическом и церковном преемнике византийских императоров… с конца XV века на его печатях появляется византийский герб – двухглавый орёл»[6].

Сущность этого процесса выходит далеко на рамки российского феномена. Определённость в проблему способна внести смыслообразующая оппозиция «*мессианизм – миссионерство*», идущая от Ф. Ницше и О. Шпенглера и основанная на различении культуры и цивилизации[7]. Русскому, как и всякому любому зрелому самосознанию, присуща потребность не только в самоидентификации, но и в «послании городу и миру», *культуротворческом мессианизме* – духовной экспансии с целью признания как адекватного, наиболее полного выражения культурных смыслов. «Народы, – писал Бердяев, – имеют свои миссии, своё призвание, но сознание миссианское не есть мессианское сознание… Мессианское сознание не есть националистическое сознание…, это – сознание универсальное», взаимоотношение между народами как *субъектами*. Если, писал Б. Шоу, у двоих есть два яблока, и они обменялись ими, у них остаётся по яблоку. Но если они обменялись идеями, то богаче вдвое.

Мессианизм – это экспансия свободного духа культур, который «веет, где хочет». В разнообразии, соперничестве и напряжённой воле к духовному лидерству – один из живительных источников поступательного развития и взаимообогащения культур. Это требует неустанной самокритичной рефлексии. «Не горделивое спасение мира, а служение своему призванию, не “мессианство”, а миссия, путь творческого покаяния, трудовой трезвенности, переоценка, перестройка всей жизни – вот путь России, наш общий путь»[8].

Любой культурный мессианизм, стремление быть «светом» для других народов обогащает всечеловеческие ценности и смыслы. Когда славянский мыслитель К. Кульман утверждал, что «свет возгорится с востока, и именно там, на востоке, будет образовано новое царство с новым народом»[9], то это была лишь идея вызревания «на Востоке» нового культурно-цивилизационного комплекса (КЦК), его первых мессианских упований. И отнюдь не Достоевского, а отвергнутого им «беса» характеризует шокирующая максима: «Но истина одна, а стало быть только единый из народов может иметь бога истинного, хотя бы остальные народы и имели особых и великих богов. Единый народ – “богоносец” – это русский народ»[10].

Народ-«богоносец» – это легко узнаваемая идеологема и ярко выраженная примета в судьбах не только конкретных людей, но и народов. Такое состояние З. Фрейд характеризует как архетипический индивидуально-групповой *эгоцентризм*. «У примитивных народов мы наблюдаем черты, которые могли бы быть приняты за проявления бреда величия, если бы встречались лишь в единичных случаях. Сюда относится громадная переоценка примитивными народами могущества их желаний и душевных движений, “всемогущество мысли”, вера в сверхъестественную силу слова, приёмы воздействия на внешний мир, составляющие “магию” и производящие впечатление... проведения в жизнь представлений о собственном величии и всемогуществе»[11].

Проблема в том, что смысловые ядра мессианизма с трудом отделимы от *идеократии*. «Между религией и идеологией действительно существует некоторое родство, но оно парадоксально... и религия, и идеология претендуют на полноту истины и соответственно исключают друг друга». Поэтому «идеология без культурного “крестового похода”... стала бы похожей на ветер, который не дует, или на реку, которая не течёт»[12]. Это реальная драма *перерождения* мессианизма, нетерпимого и агрессивного навязывания миру своих ценностей.

Такое отношение к миру, как к объекту аннексии или, говоря на языке realpolitik, интенция к «нулевой сумме» характерна для всех без исключения «осевых» культурно-цивилизационных комплексов. Имя ей – *цивилизационное миссионерство*, или основанная на идее превосходства и исключительности претензия «спасения мира» путём «цивилизаторской» экспансии и *гегемонии*. Ещё Тимур говорил, что «всё пространство мира не заслуживает того, чтобы в нём было больше одного правителя». Здесь – ab ovo (*лат.* от яйца) уже вялотекущего конфликта цивилизаций.

Очевидно, Христос соединял обе – мессианскую и миссионерскую – ипостаси. Он – мессианский *Учитель*: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» [Матв. 28: 19]. Вместе с тем Иисус – *миссионерский Судия*: он принёс не мир, а меч, и «Кто не со Мною, тот против Меня» [Матв. 12: 30].

Есть ли различия между этими ориентациями? Св. Павел толерантно обращается к Коринфской церкви: «...слышу, что когда

вы собираетесь в Церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть разномыслию между вами...» [1 Кор. 11, 18-19]. Он пишет, что «старался благовествовать не там, где *уже* было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании» [Рим. 15: 20]. Вместе с тем Павел видит свою миссию в том, чтобы «во имя Его покорять вере все народы... А тем, кто упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев» [Рим. 1:5; 2: 8]. И наконец, «Царствие Божие не в слове, а в силе» [1 Кор. 4: 20].

Отцам-основателям христианства была присуща аналогичная ментальность. Уже Августин Блаженный (IV-V в.в.) по-своему трактовал евангельскую притчу (от Луки) о пире, где было много званых, но мало избранных. Званые гости не пришли, ссылаясь на иные заботы. Господин поручил своему рабу собрать гостей, сказав ему: «И убеди внити» (войти). Но по латыни эти слова были переведены как *compelle intrare* – понудь войти. Августин опирался на эту формулу, призывая Церковь принуждать к вере. В 1179 г. на Лютеранском соборе было принято постановление «страхом казни побудить людей следовать духовному врачеванию». Один только свирепый глава инквизиции Торквемада сжёг на аутодафе более десяти тысяч жертв и принудил спасаться бегством восемьсот тысяч человек. Это был лишь аванс: уже в 1539 г. «великий инквизитор» И. Лойола заявил, что «небо закрыло нам путь в Землю Обетованную с той целью, чтобы отдать нам весь мир»[13].

С того времени христианский мир характеризует вначале откровенный, затем более латентный, но неизменный *прозелитизм*. В церковной терминологии его смысл трудноуловим, но он в равной мере неотступно беспокоит всех. Ещё недавно, в 1987 г. Папа Иоанн Павел II и Вселенский Патриарх Димитрий I сделали совместное уточнение: «Мы отвергаем любую форму прозелитизма, любую позицию, которая была бы или могла бы быть расценена как неуважение»[14]. Однако даже известные деятели Церкви затрудняются «нащупать тонкую грань между проповедью, миссионерством и прозелитизмом»[15]. Такое отношение к миру, как к *объекту*, характерно для всех без исключения «осевых» культур. Всеобщее, или всемирное, едино и неделимо, и до сих пор трансформировалось в тенденцию и нередко – в практику *принудительной*

всемирности. Как писал Е. Замятин в письме М. Волошину: «Никогда ничего хорошего из этого не выходит, когда небеса забывают своё место и пробуют устроиться на земле: одна слякоть»[16].

В христианстве отмеченные интенции из «прикровенной» фазы перешли в откровенную в великом *Расколе*[17]. Явление Христа народу – это феномен «сына Человеческого», *всечеловека*, для которого «нет ни еллина, ни иудея». Разделение «тела Христова» – Церкви на западное католичество и восточное православие – это грандиозная *ересь* в судьбах христианства. «Церковь, – писал Бердяев, – перестали понимать интегрально, как вселенский духовный организм, …как охристовленный космос». Католичество и православие – это *две ветви* христианства. Но оба направления – каждое по-своему – отрицают «теорию ветвей», возводя этимологию этих понятий в единственно верные, идентичные смыслы[18].

Католицизм (от *греч.* katholikos – всеобщий, всеохватывающий), как понятие («католический»), появляется около 150 г. после Р.Х. и свидетельствует о том, что, в противоположность другим толкованиям христианства, «повсюду» (*греч.* katholu) должны быть признаны исходящие от апостолов предания. Классическая формулировка этой точки зрения называет католическим то, «что признается повсюду, всегда и всеми»[19]. Особое внимание католицизм уделяет прочности и авторитету corpus mysticum (*лат.* таинственное тело) – Церкви как тела Христова и провозглашённого его наместником первосвященника Папы Римского, облечённого чрезвычайным даром непогрешимости в решении вопросов веры и церковного порядка для всей христианской вселенной.

Православие оспаривает такую миссию, апеллируя к субординации в первохристианстве. Изначально Христос, телесно уходя из земного мира, не слагал с себя попечения о Своей Церкви. Наоборот, Он определённо обещал апостолам: «И се, Я с вами во все дни до скончания века» [Матф. 28: 20]. Тем не менее, Рим утверждает, что Иисус Христос *поручил* земную Церковь своему наместнику апостолу Петру. От св. Петра, первого епископа на *римской* кафедре, должность Христова наместника со всеми её полномочиями преемственно переходит к римским папам. Однако в свете апостольского учения о единстве Христа – Главы с Его

Телом – Церковью становятся, в сущности, немыслимыми никакие рассуждения о каком-то *наместничестве* в Церкви[20]. По оценке Ф. Тютчева, «...догмат о папской непогрешимости – последняя, старческая, лебединая песнь Латинской церкви… Если протестантизм уничтожил центр христианский, который есть Церковь, в пользу Я человеческого, Я личного, то Рим поглотил этот христианский центр в самого себя, в своё Римское Я. Рим не отверг предания, а конфисковал его в свою пользу»[21].

В свою очередь, символ Православия в том, что оно идентифицирует себя с Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церковью. Православная церковь всегда исходила из универсализма, но после падения Византии он переродился в мировидение собственной уникальности – единственно истинного Право-славия. С культур-философских позиций католицизм и православие – это напряжённое притяжение-отталкивание смыслов *на грани симбиоза и конфликта* в пространстве *общехристианских* ценностей.

Отмеченные ценностные оппозиции католичества и православия хорошо известны. Однако одному из них, играющему роль латентного и крайне противоречивого фронтира, уделяется недостаточное внимание. Это специфический в обеих конфессиях *симбиоз христианства и разноликого язычества*. Оно не исчезло с принятием христианства и существенно воздействует на него в представлениях о Боге и мире как многообразия в *Единстве*. Фрейд писал, что западные христиане «плохо крещены... под тонкой штукатуркой христианства они остались тем, чем были их предки, потворствовавшие варварскому политеизму»[22].

Необходимо уточнить, что языческий генотип католицизма по преимуществу не «варварский» (разумея под «варварами» сокрушившие Рим племена), а *латинский*. На международной конференции «Пути и перепутья христианской Европы» в городе Ченстохова (2003) профессор Ягеллонского университета Я. Гоцковский отмечал, что «проблема соперничества за сильное, весомое и распространённое присутствие христианства в цивилизации Европы не прекращается с момента её рождения». Это принципиально верно в *культуротворческом* смысле: изначально и непреходяще христианство – это не данность, а *задача творения*

новых ценностей и смыслов, Вероятно, для Я. Гуцковского христианство – это скорее «несостоявшийся проект», если он утверждает, что оно – только «уклон цивилизации в Европе», и более того – «имеет смысл дискуссия об обоснованности названия цивилизации в Европе *латинской*».

Эта версия не беспочвенна, но она должна быть рассмотрена в контексте сути и соотношения культуры, цивилизации и варварства.

Во-первых, Европа – это не только география. В греческом и латинском вариантах это ещё далеко не Европа. Не говоря о греческих полисах-государствах малых пространств, Pax Romana фактически ещё не была Европой. Её ойкумена – Средиземноморский римленд, а сфера влияния «вечного города» на континентальный европейский хартленд была лишь экспедиционной[23]. Европа, как целостный культурно-цивилизационный комплекс, формируется на грани позднего средневековья и Нового времени.

Во-вторых, неправомерно подводить под единый интеграл греческую и римскую античность. Греция – это «*сверх-культура*» малых пространств, родина культуротворческого гения – первой в истории демократии, эстетических шедевров и философских прозрений. Рим – великий интерпретатор Греции. Греческий универсализм – культурный, римский – цивилизационный. «Латинство» – это имперская *сверхцивилизация* больших пространств, гомогенное пространство диктатуры, господство жёстких структур. В сравнении с ним даже империя Александра Македонского была более гетерогенной и культуротворческой. Захватив Персию в 331 г. до н.э., ученик Аристотеля «старался… не играть роль обыкновенного завоевателя во вновь основанном им государстве, но лишь слить в нём греческие и восточные элементы, устранить противоположности между Востоком и Западом, без притеснения какой-либо из сторон»[24].

В этом смысле, христианская цивилизация в Европе действительно более преемственно связана с *латинством* в жёсткой и централизованной структурно-организационной церковной форме, но христианская культура всё же восходит к *греческим* истокам. Мотив Вергилия-путеводителя – это одна из форм гения Данте, а истоки его пафоса – в гомеровском эпосе. В период противостояния

древней Руси экспансии с Запада и Востока Александр Невский утверждал, что «латинщики хуже татар», но к греческому наследию в России всегда было непреходяще сакральное отношение. А Западной Европой, отмечал И. Ильин, «искони владел Рим, – сначала языческий, потом католический, воспринявший основные традиции первого».

В-третьих, даже христианская культура Европы не может быть определена как «греческая», поскольку последняя не знала универсалистской идеи христианства – Единства в многообразии. В русской истории была воспринята по преимуществу не римская, а греческая традиция. «Греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, даёт нам особый национальный характер» (Пушкин). Рим никогда не отвечал нашему духу и нашему характеру. Его самоуверенная, властная и жестокая воля всегда отталкивала русскую совесть и русское сердце. А греческое вероисповедание мы, не искажая, восприняли настолько своеобразно, что о его «греческости» можно говорить «лишь в условном, историческом смысле»[25].

Православие также восприняло цивилизационный импульс от «латинства», прежде всего в *форме* концепции и практики «Третьего Рима». Но *родословная* православия в том, писал Розанов, что «…русские вслед за Византиею вошли как бы в тихий, недоступный волнениям и... оживлению затон, тогда как западноевропейские народы… вступили в океан необозримого движения, опасностей, поэзии, творчества и связанного с этим чёрным трудом неблагообразия. Разница между тишиной и движением, между созерцательностью и работою, между страдальческим терпением и активною борьбою со злом – вот что психологически и метафизически отделяет Православие от Католичества и Протестантства…(в) смертельной ненависти и к племенам западным… и к самому корню их особого существования – принципу жизни, акции, деятельности… Всё жизненное, живучее, преданное труду, надеющееся на людей и их свойства человеческие, – не только стёрто здесь, но вырвано с корнями».

Но узел рассматриваемой проблемы – в её христианской, и всё же *не сводимой* к специфике православия, системе ценностей. Розанов писал, что «существо “веры русской” (так называют иногда

православие; но “вера русская”, очевидно, шире этого церковного термина)…» таково, что парадоксальным образом именно земная, «по эту сторону», жизнь оказывается в *центре* русского мироощущения. Россия, утверждал Г. Федотов, «откликнулась христианству своим особым голосом». Этот голос – «язычество, притворившееся христианством, как у Толстого», в отличие от «христианства, притворившегося язычеством, как у Ницше» (Мережковский). По Розанову, «язычество – утро, христианство – вечер. Неужели не настанет утро, неужели это последний вечер?… Боль мира победила радость мира – вот христианство. И мечтается вернуться к радости. Вот тревоги язычества».

Смыслообразующий нерв не сводимой к православию «веры русской» схвачен афоризмом Розанова: «Авраама призвал Бог: а я сам призвал Бога… Вот вся разница». Эта формула релевантна и персоналистскому выбору Бога св. Павлом, и знаменитому принципу Лютера: «Я здесь стою и не могу иначе». Такой смысловой резонанс далеко не случаен. *Протестантизм* стал судьбоносной вехой на пути преодоления фундаментальных оппозиций не только петристского и паулинского течений в католицизме, но и православного Логоса, интенцией к *синтезу* между ними.

Для Лютера, писал Гегель, «Христос никоим образом не присутствует и не оказывается действительным лишь как нечто внешнее, но как духовное начало он вообще обретается лишь в примирении с богом, в вере и в приобщении. Эти два слова вообще выражают всё. Это… относится главным образом к учению о делах… Но вера не есть лишь уверенность в конечных вещах… Бездельничанье также перестало считаться чем-то святым; начали считать более достойным, чтобы зависимый человек сам делал себя независимым благодаря своей деятельности, благоразумию и прилежанию… С тех пор промышленность, ремесло стали нравственными»[26].

Лютер ставил целью не разрушение Церкви, как таковой, а *консервативно-реформаторский* замысел – возвращение к ортодоксальному, незамутненному первохристианству. Он признавал моральные принципы, основанные на разуме. Но Божественное предопределение неоспоримо, и идти к его познанию следует с Библией и верой. Исходя из этого, Лютер призвал к борьбе против

теократии, её права на опеку над совестью и верой. Бог и душа *непосредственно* связаны друг с другом, и «Бог не может и не хочет позволять господствовать над душой никому, разве лишь самому себе». «Поэтому, – писал Лютер, – никто не может меня спросить, должен ли он делать то или другое; но он сам может видеть и спросить свою совесть, во что ему верить и что делать».

Тем самым верующий человек освобождается от принудительной теократии и становится ответственной за себя христианской *личностью*. Такая личность вдохновляется духом ответственности за свою судьбу и, как показал М. Вебер, в этом смысловой стержень во многом создавшей капитализм *протестантской этики*. З. Бауман пишет, что «религиозность Реформации изначально была чревата гуманистическим антиклерикализмом… Должны существовать иные пути..., другие мосты в вечность, мосты, которые люди способны сконструировать, построить, описать и использовать»[27]. Протестантизм во многом решил проблему фронтира смысловых христианских оппозиций как «встречи» – синтеза общины и индивидов, ветхозаветных и евангелических смыслов, сакральной и «дешёвой» Церкви, элитарности и универсализма, дионисийской устрёмленности от «дольнего» к «горнему» миру.

В таком контексте проекция католического и протестантского христианства на Восток создавала *специфическую структуру* ценностей и смыслов, и они были обусловлены как устойчивыми сдвигами в среде русской элиты, так и в повседневности.

Известно, что император Павел предпринял попытку покончить с политической и духовной изоляцией России путём установления прерванной связи с родственной *католической* культурой. Он принял сан магистра Мальтийского ордена, но втайне вынашивал амбициозные планы дополнения титула российского императора саном вселенского католического Первосвященника. Российская элита не поддержала Павла, и он был убит. Однако католицизм, как вера, перестал быть ругательным словом в глазах просвещённой части русского общества. П. Чаадаев, призывавший к сближению с католической Европой, был объявлен по приказу Николая I сумасшедшим.

Протестантизм в России оказался более *органичным*. Вопреки ортодоксальному православию, приметы лютеранства заметны

во всей «посюсторонней» русской жизни. Убедительно подтверждает это уже русский «Домострой» – житейский канон XV-XVI в.в. Его составитель – выходец из торговой среды Новгорода, священник Сильвестр, считал труд Богоугодным деянием. Его надо исполнять усердно и во имя Божие.

В. Розанов усматривал в многочисленных ересях на Руси и их обширном проявлении в российском *Расколе* феномен более *ментальный*, чем оппозицию догматам церкви. «Раскол есть восхождение к идеалу, усиление к лучшему в том самом типе бытия и развития, в котором находимся мы на очень низкой ступени… староверы отличаются трудолюбием, трезвостью и тихими, миролюбивыми нравами… хозяева чрезвычайно дорожат ими как работниками …Духоборчество есть симптом, показывающий и отрицающий великую *пассивность* всех наших духовных состояний – пассивность, достигшую высокой ступени уже к концу московского периода нашей истории, но с тех пор всё увеличивающуюся. Не выносит этого душа человеческая». Символ веры раскольников: «Не в щепоти состоит дело, – а в житии».

Особенно значимым было такое близкое к протестантизму направление раскола, как *штундизм*. В этой связи характерно имевшее широкий резонанс в России конца XVII – начала XVIII в.в. судебное дело Дмитрия Тверитинова и его единомышленников. «Я сам церковь, всякий христианин находится в чину иерейства», – заявил он на суде. Его ученик Иван Максимов вторил ему: «Я не верую и Духу Святому… Не верую я и апостолам». Кульминацией стал вердикт Квирина Кульмана: «Все христианские слова – антихристы, слуги диавола, христианские дела суть истинные ученики Христовы»[28].

«Штунда, – писал Розанов, – это мечта “переработавшись в немца” стать если не “святою”…, то по крайней мере хорошо выметенной Русью, без вшей, без обмана и матерщины дома и на улице… С “метлой” и “без икон” Русь – это и есть штунда. Явление это огромно, неуловимо и повсеместно… Штунда – это всё, что делал Пётр Великий, к чему он усиливался, что он работал, и что ему виделось во сне… Если бы Пётр Великий знал тогда, что она есть или возможна, знал её образ и имя, он воскликнул бы: “...Это делайте и так верьте, это самое!”». Известно, что Пётр I

никогда не расставался с портретом Лютера. Такая симптоматичная деталь не замечена среди пионеров российского капитализма, но 60% из них были выходцами из старообрядческой среды.

По сути, под этим углом зрения С. Булгаков стремился эксплицировать социально-созидательный смысл православия. В нём не отвергается социальная и профессиональная деятельность, а «устанавливается особый образ аскетического приятия этого мира и его жизни, аскетического труда и творчества в нём». Такое видение *сближает* православие с протестантской этикой. «Протестантская идея о спасении действенной верой стоит ближе к Православию, нежели католическое meritum»[29]. Известно, что для старообрядческой культуры была характерна трудовая и предпринимательская традиция. Многие ведущие деловые династии принадлежали к старообрядцам – Рябушинские, Морозовы, Солдатенковы, Кокоревы. По некоторым данным, к старообрядцам принадлежало большинство торгово-промышленного сословия России.

Если протестантизм способен стать открытым пространством «встречи» католичества и православия, то иные их интенции, напротив, приводят к девальвации смысловых ядер основных ветвей христианства. Такова утилизация и политизация смысложизненного выбора в духе короля Генриха IV, который в целях овладения столицей Франции принял католичество только потому, что «Париж стоит мессы».

Очевидно, *политизация* христианства, жажда «кесаря» всуе глаголющих от имени Христа «в одной, отдельно взятой стране» – один из самых мощных генераторов ревизии смысла вопроса св. Павла: «Разве разделился Христос?». В таком направлении универсалистская тенденция заходит в тупик, вплоть до мутации естественных и пластичных фронтиров в искусственные и жёсткие *границы*. И всё же это генератор, но не источник феномена *национального* Христа. Его глубинный пласт – это, с одной стороны, *языческая* проекция культуры, по Цицерону, «покровительство дому и месту», а с другой – продукт *ментальности* крещённых, но *не просвещённых* (Лесков) народов.

Однако такая оценка не бесспорна. С точки зрения С. Булгакова, «можно говорить (вполне серьёзно и без тени всякого кощунства) не только о русском Христе, но и о греческом, об итальянском, о

германском… нам, русским, ближе и доступнее именно наш, русский Христос…»[30]. Альтернативную позицию занял Н. Бердяев: Суть в том, что «всякое смешение национализма с мессианизмом, всякое выдавание национализма за мессианизм порождается темнотой сознания и несёт в мир зло. Подмены всегда бывают злоносны. И необходимы строгие различения. Ибо частное не должно выдавать себя за всеобщее». И далее: «…немецкий Бог не есть христианский Бог, это – языческий бог, так же как и русский бог». По Г. Федотову, «нет более распространённого недоразумения среди нас, как смешение “православного” и “русского”. Православие – это вселенское, это для всех. Русское – только для нас»[31]. С точки зрения митрополита Сурожского Антония, «если мы начинаем говорить о русском, греческом или ином православии, мы теряем людей»[32].

В ходе эволюции перед лицом новых исторических вызовов национализм обнаруживает способность к превращению в свою относительную противоположность, которая лишь имитирует его фасад и скрывает глубокую *инверсию и мутацию* феномена. Этот процесс *обратен* тому, который прошло христианство, начиная с всечеловечества, затем разделившись на две, далее – на три известные ветви и, наконец, став национальной религией при номинальной роли наднациональных институтов и символов. Национализм отправляется от национального фактора лишь как исходного пункта и возвращается к нему для мимикрии совершенно иного содержания. Он способен парадоксально трансформироваться в *над*национальную идеологию и практику. В миссионерской ипостаси они порождают *ксенофобию*, или нетерпимость к иным культурам. Глубинный исток миссионерства – в мутации нормального, «эллинского» патриотизма в воинствующий, «римский» *национализм* и его перерастание в *шовинизм* и *расизм* – «национализм крупного рогатого скота» (Ницше). Его потребность в экспансии преобразуется в стратегию coge intrage (заставить войти) – грубого миссионерства. По оценке ле Гоффа, таковым было «...противоборство немцев и славян, при котором религиозные мотивы отступили на второй план, поскольку немцы без колебаний вступали в борьбу даже с теми соседями, которые приняли христианство»[33].

В Средневековье нация и национализм определялись не в этнических, а в религиозно-политических категориях. Так, в XVI в. в Англии в «Законах церковной политики» утверждалось, что «каждый, кто является членом общества, является членом англиканской церкви», т.е. протестантской, независимой от Рима церкви – оплота политического союза и империи.

Если империя имеет тоталитарный характер, она становится питательной почвой для *политической* «приватизации», точнее – *узурпации* Христа. Это рельефно выразилось в сталинской византийской политике. Г. Якунин писал: «Коварный тиран, чтобы заставить новорождённую Патриархию всегда помнить о её нелегитимности, и, следовательно, верой и правдой служить тоталитарному режиму, заклеймил её именованием “Русская православная церковь” вместо законно существовавшей Поместной Российской Православной Церкви. Заменив поместное название “Российская” национальным “Русская”, Сталин заронил в новообразованную церковную организацию зерно национализма, вызревшее сегодня в махровый шовинизм»[34]. Ныне в Православной Церкви 15 поместных и 3 автономные Церкви. Проблема не в том, что христианство испытывает влияние местных условий, а в подмене универсализма Христа «единственно верным» этно-Христом.

Противостояние этносов и наций «именем Христа», их способность превращать фронтиры коммуникаций между смыслами христианских универсалий в провинциальные тупики националистической бесовщины, – это наиболее очевидные и болезненные *симптомы* заблуждений христианской Европы. В XX-XXI в.в. миссионерство обретает мощный импульс под воздействием такого нового фактора, как *этнонациоренесанс*[35]. Как в своей мессианской, так и в миссионерской ипостасях национализм – не причина, а *тупик* христианского универсализма, фрейдовской «любви – ненависти» его основных культурно-цивилизационных ядер. Национализм – самая деструктивная ипостась в пространстве христианских Расколов.

Однако этнонациональная узурпация принципов и символов христианства и его конфессий – ещё не перигей девальвации Слова и Дела Христа. Своей предельной напряжённости этот процесс достигает в дискредитации *богоборчества*, его тенденциозном

выведении за скобки легитимного культурно-исторического процесса. Такие страсти – не уникально русские. «И Иов боролся с Богом. Без такого богоборчества нет богатой мистической жизни и свободного религиозного выбора».

Польский автор А. Валицкий отмечает, что даже исследователи, которые с симпатией относятся к возрождению русской религиозной философии, «не могут принять взгляда о её доминирующем значении во всей истории русской мысли… Попытки свести всю историю русской философии к религиозно-православному руслу могут только компрометировать чрезвычайно важное и нужное дело возрождения русской религиозной философии, восстановления её места в русской культуре и обеспечения её развития в будущем»[36]. Между тем, отмечает А. Звозников, «русская культура к началу XIX века сложилась как преимущественно секулярная; разумеется, принявшая и сохранившая все элементы христианства, но ушедшая в сторону от церковности и аскетической культуры. Она жила в атмосфере новоевропейского гуманизма; однако в ней оставалось *зерно сомнения* в его ценностях. Довольно рано возникло ощущение, что не только человек Просвещения, но и универсальный человек Ренессанса внутренне не цельны. С утратой сознания цельности утрачивается истинная свобода…»[37]

В таком контексте неизбежно обращение к *различным* традициям, но проблема в том, что они парадоксально сочетаются и противоречат сами себе не только в обыденном сознании, но и в духовном мире русских мыслителей. Это были не только «дни», а целая эпоха «сомнений, тягостных раздумий» русских мыслителей в смысловом пространстве между европейским Просвещением и традиционным православием. Исследователь этой проблемы Н. Севостьянова отмечает сущностный, не сводимый к окцидентализму, характер процесса: «Канун европеизации России, упразднение Петром I в 1721 г. патриаршества и введение Святейшего Синода означали для славянофильской морально-религиозной традиции коренную трансформацию ортодоксальной нравственности. Новизна Петровской реформы была не в западничестве, а в секуляризации»[38].

Для православного характера «святой Руси» самым серьёзным, даже в сравнении с засилием средневековой «татарщины», был

вызов европейского Просвещения, его рационализма и нигилистического отношения к вере. Декабрист В. Кюхельбекер поставил под сомнение благотворность новых веяний: «К чудесному во всех возникла страсть // Кричали: “Ад и небо бредни!” // Всё просвещалось, самые передни… // Теперь взгляните на своих детей, // ученики, поклонники Вольтера! // Конечно, суеверие не вера: // но где же, где хвалёный ваш успех? // Что ваша мудрость? И подумать смех»[39].

Новая духовная ситуация ставила в тупик даже Пушкина. Квинтэссенция его сомнений воплощена в максиме: «*Ум ищет божества, а сердце не находит*». Эта исповедальная антиномия требует конкретизации. Поэт не мог не вобрать в себя из глубины русской жизни христианское мировидение, и он, несомненно, высоко ценил культурно-историческую традицию православия. Однако из этого вовсе не следует, что Пушкин, как нередко пишут, «ощущал себя православным человеком». Достаточно проследить путь поэта от стихотворения «Безверие» (1817) до «Странника» (1835), чтобы убедиться, что он оставался *свободным* в своём выборе, и его духовный путь пролегал отнюдь не только к христианству[40]. Это был путь *синтеза* поздней античности (эпикуреизма, стоицизма), западноевропейского Ренессанса, путь, который требовал «встать в просвещенье с веком наравне», освоения и блестящего выражения новоевропейских гуманистических воззрений и идеалов.

Спекулятивно взвинчивая религиозность Пушкина, исследователи нередко соединяют понятия *христианство* и *воцерквлённость*. Известны сложные отношения поэта с Церковью, которые дали основание её ревнителям заключить, что «не следует праздновать столетие Пушкина, он ничего не сделал для церкви». Поэт ясно высказал своё отношение к ней не только всей своей светской жизнью, но и в письме к. П.А. Вяземскому: «У нас везде царствует одна православная церковь»[41]. Он искал не Церкви, а, подобно Гераклиту, человека… В таком ключе его роль исчерпывающе выразил Н. Чернышевский: «Он пробудил в нас сознанье о самих себе»[42].

М. Лермонтов писал о своей любви к отчизне, «но странною любовью! // Не победит её рассудок мой». Его рассудок тоже

искал божества, но обрёл иное. В. Белинский писал о «демонском полёте» и «с небом гордой вражде» поэта. Главное в том, что «поэзия Лермонтова растёт на почве беспощадного разума и гордо отрицает предание»[43]. Д. Мережковский в книге «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» назвал русского Демона «подлинно гордым человеком… со святым кощунством, святым богоборчеством»[44]. В лермонтовском «демоническом» ключе И. Тургенев писал: «Я предпочитаю Прометея, предпочитаю Сатану, тип возмущения и индивидуальности. Какой бы я ни был атом, я сам себе владыка; я хочу истины, а не спасения; я чаю его от своего ума, а не от благодати»[45].

С точки зрения философа русского зарубежья Н. Ульянова, П. Чаадаев занимает особое место в когорте русских богоборцев. Он считал Новый завет устаревшим, а к принятию христианства на Руси относился иронично: «Если князь и его дружина, говорил народ, находит это учение хорошим и мудрым, наверное, это так и есть, и бежал окунуться в воды Днепра». Почему же, вопрошал мыслитель, даже осенённые «святой идеей», мы «не осознали нашего назначения в этом мире»[46]. Великий скептик вызывал у К. Леонтьева «…подозрение в панибратских отношениях с Богом… всегда в курсе идей и намерений Бога; он знает, например, почему Господь не выметет из пространства этот мир, возмутившихся тварей, или зачем Он наделил их страшной силой, именуемой свободой»[47]. Это уже не демонстративное отсутствие интереса к Богу, как у Лапласа, но уже латентное неприятие его провиденциальной роли, стремление свести постижение российских и мировых судеб с трансцендентного уровня на имманентный.

Тем не менее, русская эпопея поиска Божества требует внимания к феномену, который определяется как *философско-религиозный ренессанс* последней четверти XIX-первой половины XX в.в. У его истоков – творчество В. Соловьёва, которого М. Брода определяет как признанного лидера этого направления русской мысли. «Замыслом Соловьева… было предложение тотальной реинтеграции, охватывающей все плоскости существования и деятельности человека, а также соединяющей его с Богом и в Боге» (Брода).

Однако мыслителя выдает уже *сослагательное* наклонение, с каким он трактует происхождение христианства («если даже

признавать, что христианское откровение упало прямо с неба…»). Он более озабочен его судьбой в «посюстороннем» мире. *Имманентный* ракурс анализа приводит Соловьева к тому, что «уже очень рано исторические проявления и деятельность христианских начал в человеческом мире не вполне соответствуют самой сущности этих начал. Вступив в борьбу с древним языческим миром, христианство в этой борьбе очень недолго держало себя так, как должно было держать в силу нравственного принципа, данного в Евангелии, именно принципа любить врага своего и делать добро ненавидящим». Уже с IV века «противохристианское» отношение христиан к язычникам выразилось в преследованиях, не менее свирепых, чем те, которые до этого язычники обрушивали на христиан. В итоге «христианство, которое по существу своему должно быть абсолютным всепримиряющим началом, в своём историческом проявлении приняло характер исключительности», и смерть античной культуры «была насильственной, и последние удары были нанесены ей мстительной рукой вождей христианской церкви». Печальнее всего то, что, «когда языческий мир исчез с исторической сцены, вражда и борьба продолжались в среде самого христианства между так называемыми ересями и ортодоксией»[48].

Тем не менее, В. Соловьев не был ни «еретиком», ни тем более – ортодоксом. По сути, он верил в то, что Н. Лосский позднее назовёт *светлым*, идеальным христианством Всеединого и его вселенской любви, в противовес *тёмному* конфессиональному христианству, больше похожему на ветхозаветного Бога – «ревнивца и мстителя». Мыслитель молился и причащался как в православной, так и в католической Церквях.

Классическая модель, «зеркало» амбивалентного отношения русского народа к религии – мировоззрение и жизнь Л. Толстого. Его искание Божества основывалось на том, «вера есть знание смысла человеческой жизни… Без веры нельзя жить»[49]. Такая вера достигается в основанной на историческом опыте деятельной устремлённости человека «расколдовать» мир и свободно самоутвердиться в нём. Устремлённый к свободе раб – сам себе мессия. «Движение к добру человечества совершается не мучителями, а мучениками. Как огонь не может потушить огня, так зло

не может потушить зла. Только добро, встречая зло и не заражаясь им, побеждает зло»[50].

Толстой сомневается не в христианском Слове, а в праведности творимого *от его имени* дела. «Каким образом христиане – люди, в которых вложено отвращение к убийству, могли совершить злодейства? Вот единственный, вечный вопрос истории!». Грандиозная *подмена смысла* веры мирскими заботами, неспособность удержаться на её высоте является для писателя индикатором стихийного *неверия*. «Никакие рассуждения не могли убедить меня в истинности их веры. Только действия, которые бы показали, что у них есть смысл жизни такой, при котором страшная мне нищета, болезнь, смерть – не страшны им, могли бы убедить меня. А таких действий я не видел… Я видел такие действия, напротив, между людьми нашего круга, между самими неверующими». И Толстой пишет Николаю II не как императору, а как *брату во Христе*: «Любезный брат! Ваши советники говорят Вам, что… русскому народу свойственно... православие и самодержавие... Но ведь это двойная неправда»[51].

Искание *светлого* христианства Ф. Достоевским – если не лейтмотив (таковым был человек), то одна из самых напряжённых тем в его творчестве. Любой ортодокс согласится, что Бог вмещает в себя всё, в том числе и своё творение – человека. У русского Еклессиаста – *наоборот*: «Христианство есть доказательство того, что в человеке может вместиться Бог. Это величайшая идея и величайшая слава человека, до которой он мог достигнуть»[52]. Это не внешний, трансцендентный Бог, который творит и «вмещает» человека, а внутренний, *имманентный* Бог. Он – не данность, а задача. «Да, настоящим русским вопросы о том: есть ли бог и есть ли бессмертие… – конечно, первые вопросы…», – констатирует мыслитель[53]. Это вопросы Кириллова в «Бесах»: «Я мучаюсь из-за Бога всю жизнь», Дмитрия Карамазова: «А меня Бог мучит. А что, как его нет?». «Главный вопрос… мучает меня, сознательно или неосознанно, всю мою жизнь: существование Бога»[54]. Источник этого вопроса – «Дух жизни, как говорит Писание, “реки воды живой”… Искание бога…»[55].

Такое искание – легитимное и неотъемлемое право на него – это «...полная свобода вероисповеданий и свобода совести» – таков «дух

настоящего христианства. Уверуй свободно – вот наша формула. Не сошёл Господь с креста, чтоб насильно уверить внешним чудом, а хотел именно свободы совести. Вот дух народа и христианства!». Сам Достоевский незадолго до смерти писал, что сделал свой выбор. Констатируя, что «в Европе такой силы атеистических *выражений* нет *и не было*», как в России, он резюмировал: «…не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое *горнило сомнений* моя *осанна* пришла»[56].

С точки зрения Достоевского, потребность человеческой природы в том, что «…и отрекшиеся от христианства и бунтующие против него в существе своём сами того же самого Христова облика суть, таковыми же и остались, ибо до сих пор ни мудрость их, ни жар сердца их не в силах были создать иного высшего образца человеку и достоинству его, как образ, указанный древле Христом». Но мыслитель разделяет оппозицию Церкви, потому что «Церковь как бы в параличе, и это уже давно»[57].

Отмечая такую самоидентификацию мыслителя, всё же невозможно пренебречь его идентификацией современниками и «последующими». Уже В. Розанов писал К. Леонтьеву: «Соловьев, почти тотчас после... трёх речей в пользу Достоевского, ...написал мне письмо, в котором есть следующее, весьма злое место о... Фёдоре Михайловиче: “Достоевский горячо верил в существование религии и нередко рассматривал её сквозь подзорную трубу, как отдалённый предмет, но стать на действительно религиозную почву никогда не умел”».

После революции русский философ Б.П. Вышеславцев издал в Берлине книгу «Русская стихия у Достоевского», в которой писал: «Теперь, когда русская стихия разбушевалась и грозит затопить весь мир, мы должны сказать о нём (Достоевском), что он был действительно ясновидцем, показавшим нечто самое реальное и самое глубокое в русской действительности, её скрытые подземные силы, которые должны были прорваться наружу, изумляя все народы, и прежде всего самих русских… Коренной признак этой стихии – её *исконная обезбоженность*, жизнь не Богом, не против Бога, а *вне* Бога, жизнь на основе принципов …дохристианского, природно-языческого начала». Приведя эти слова, В. Кантор отмечает: «Избытка христианства… Достоевский не

видит в России. Россия, по его утверждению, обезбоженная страна, которой правят бесы»[58].

Заслуживают внимания наблюдения и выводы А. Звозникова. Он констатирует, что романы Достоевского переполнены цитатами и сюжетами из Евангелия. Казалось бы, эти цитаты должны были свидетельствовать о вере самого писателя. Но так ли это? Правильнее было бы говорить, что это лишь свидетельства его *интереса* к христианской вере, но не проявления личной веры писателя. В романах столько же веры, сколько неверия, едва ли правильнее будет сказать, что неверие в нём явлено в большей мере, чем вера. Сфера атеизма в пространстве романов Достоевского шире сферы, вовлечённой в христианство.

Идеальное (*светлое*) христианство – религия любви, благостного отношения ко всякому человеку и ко всему миру представлены такими медиаторами-персонажами, как Зосима, Алёша Карамазов. А *тёмное* христианство – византийско-русское православие, утверждающее ортодоксальное понимание христианской веры, прежде всего как «страха Божьего», и неукоснительное следование традиции святых отцов и Церкви, «смирение ума», «послушание учению Церкви» – у Достоевского представлено лишь в монашеской среде.

К. Леонтьев, критик религиозных взглядов у Достоевского и Л. Толстого был представителем и защитником *тёмного* православия. Он писал В. Розанову, что, когда прочёл знаменитую речь Достоевского при открытии памятника Пушкину в Москве, лейтмотивом которой была «гармония», он «ужасно удивился и огорчился». Он считал автора речи «*настоящим* православным», а настоящее православие даже права (по учению и предсказанию евангельскому и апостольскому) не имеет ждать «всепримирения», «всепрощения», «вселюбви» и вообще *моральной* гармонии…». Розанов в комментарии к этому письму заметил, что речь Достоевского, как и «любящие» рассказы Толстого, «вызвали одну из самых блестящих и мрачных брошюр Леонтьева *Наши новые христиане*… Но уже если “изменой христианству” показалась “любовь” названных писателей, призыв к “братолюбию”, то чем бы могло показаться, *в отношении к христианству*, “алкивиадство”, “красивые страсти” самого К.Н. Леонтьева? Тут, в эти годы

и в этих брошюрах, в сущности начался глубокий религиозный водоворот христианства. Стержнем его был вопрос: что есть сердцевина в христианстве: нравственность, братолюбие или некая мистика…?»[59]. Тем не менее, правомерно отмечает А. Звозников, многое в Леонтьеве «было созвучно неприятию Достоевским “женевских идей”, или добродетельной любви без Христа»[60].

Творческая способность перейти рубикон, отделяющий секулярный мир от христианства, остаётся самой трудной проблемой. Персонажи А. Чехова говорят: «Легко… любить Бога, сомневаться в котором не хватает мозга», «…религии у меня теперь нет», «Я человек неверующий», «Я давно растерял свою веру». «Веровать в бога нетрудно, – писал Чехов. – В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте! Эта вера доступна тем немногим, кто понимает и чувствует Христа»[61]. В одном из писем 1890 г. выразил своё понимание и чувствование Христа: «Понять, что Вы имеете в виду какую-то мудрёную, высшую нравственность, я не могу, так как нет ни высших, ни низших, ни средних нравственностей, а есть только одна, а именно та, которая *дана нам* во время оно Иисуса Христа и которая теперь мне, Вам… мешает красть, оскорблять, лгать и проч.»[62] Но английский литературовед Р. Хингли утверждает, что «было бы трудно отыскать во всех литературных произведениях Чехова какие-либо указания о его отношении к религии. Он признавал православную церковь как часть русской жизни… Тем не менее, собственные взгляды Чехова были полностью свободны от какого бы то ни было религиозного элемента»[63].

Напротив, пора отделить зерна от плевел и в версии «воинствующего атеизма» русских революционных демократов. А. Герцен в работе «С того берега» вопрошал: «Объясните мне, пожалуйста, отчего верить в бога смешно, а верить в человечество – не смешно; верить в царство небесное – глупо, а верить в земные утопии – умно?»[64]. «По-вашему, – писал Белинский Гоголю, – русский народ – самый религиозный в мире: ложь! Основа религиозности есть пиетизм, благоговение, страх божий. А русский человек ...говорит об образе: годится – молиться, не годится – горшки покрывать. Приглядитесь пристальнее, и вы увидите, что по натуре своей это глубоко атеистический народ… у него слишком

много для этого здравого смысла, ясности и положительного в уме; и вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в будущем». В этом русле звучит критика Белинским православной церкви, которая «…всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма». Но совершенно иной смысл его вопроса: «Но Христа-то зачем Вы примешали тут? Что Вы нашли общего между ним и какой-нибудь, а тем более православною церковью?»[65].

Нежелание отождествлять Христа и церковь далеко не случайно. «Я сам по опыту знаю, – писал Чернышевский Некрасову, – что убеждения не составляют ещё всего в жизни; потребности сердца существуют…». В «некрасовском стане» даже философский материализм сочетался с исповеданием христианского идеала. «Бог угнетённых, Бог скорбящих», по Некрасову, или – что схоже – тютчевский русский Христос неизменно жил в их душах… Некрасову поклонялась, в частности, народническая молодёжь, а вот что рассказывает о первых народниках современник: «Я видел не раз, как молодежь, отправлявшаяся уже в народ, …читала Евангелие и горько рыдала над ним». И Некрасов постоянно говорил о любви, «великом деле любви»… как проходили похороны Некрасова, собравшие тысячи и тысячи тогдашней «безбожной молодёжи»? …был соблюдён православный ритуал церковного отпевания…, люди все восемь вёрст до кладбища, в жестокий мороз, несли на руках гроб Некрасова, а толпа… «всю дорогу – хором человек в двести – пела “Святый, Боже”…». А ведь там была со своими венками и «Земля и воля»[66].

Итак, постулат М. Броды о том, что православие является *основой* русской духовной идентичности, и это помещает Россию в *общехристианский* контекст, достаточно проблематичен. Нельзя не видеть, что он в русле более широкой и смыслоёмкой проблемы, которую можно определить как охватывающую весь христианский мир дилемму – «*пост- или неохристианство*». Этот ракурс заслуживает специального рассмотрения и далеко идущих обобщений.

Действительная драма христианства развёртывается в бурно меняющемся современном мире. Вызовы Хроноса крайне противоречивы и тревожны. В начале XXI в. в мире проживало 2 миллиарда

христиан. Из них – 560 миллионов в Европе. В 2050 г. белые (неиспанского происхождения) христиане составят 1/5 из христиан в мире. Но уже в 2025 г. будет 2,6 млрд. христиан, а Европа с 555 миллионами христиан опустится на *третье* место. В 2000 г. в мире было 1.056 миллиона католиков, из них в Европе – 286. Прогноз количества католиков на 2025 г. в мире – 1363 млн., в Европе – 276 млн.[67]. Согласно Ф. Дженкинсу, в России в 2000 г. – 90 млн. христиан, в 2025 г. – 85, в 2050 г. – 80. В Германии соответственно – 58, 61, 57 [68].

Глубинный исток *постхристианизации* глубоко и афористически емко выразил Ф. Достоевский. В смене полюсов в отношениях между sacrum и profanum место Богочеловека заступает «Человекобог. В этом разница»[69]. Триумф человекобога – это «…новая жизнь, новый человек, всё новое… Тогда историю будут делить на две части: от гориллы до уничтожения бога и от уничтожения бога до… – До гориллы? – До перемены земли и человека физически. Будет богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства»[70]. Один из самых искренних религиозных мыслителей В. Розанов констатировал наступление ***пост***христианского «заката Европы»: «В европейском (всём – в том числе и русском) человечестве образовались колоссальные пустоты от былого христианства; и в эти пустоты проваливается всё: троны, классы, сословия, труд, богатство. Все гибнут, всё гибнет»[71].

Отмеченный А. Герценом «дилетантизм в науке» ярко проявляется в том, что она горделиво приписывает себе сомнительную заслугу такого системного кризиса. В действительности его глубинные истоки подобны вирусам: они живут в организме и лишь «беспокоят» его до тех пор, пока обстоятельства не превращают их в смертельную угрозу. Такими вирусами христианство было чревато изначально, и по причинам – один весомей другого.

Во-первых, христианский идеал «горнего» человека настолько высок и жертвен, что *абсолютно* противопоставлен «дольнему», условно говоря, Мария – Марфе, не говоря о «разбойниках». Царство Христа – «не от мира сего». Богочеловек требует духовного служения, вплоть до *максималистской* интерпретации любви к ближнему. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца

своего и матери, и жёны и детей, и братьев и сестёр, и притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Доходит до того, что Иисус говорит одному человеку: «Иди за мной!». «Господи, – отвечает он, – позволь мне прежде войти и похоронить отца моего». Но Учитель неумолим: «Предоставь мёртвым погребать своих мертвецов. Следуй за Мной и благовествуй Царство Божие». Английский писатель Г. Честертон в биографии подвижника христианской веры Франциска Ассизского отмечает, что «святой Франциск любил не человечество, а людей, не христианство, а Христа… он любил лицо, не идею». В этом – несомненная любовь к Христу не как к символу, «идее», а как к конкретному человеку, «лицу». Но почему же сам Иисус требует служения именно символу, равнодушному к нормальным, хотя, возможно, и не возвышенным привязанностям и обязательствам людей?

Между тем, писал В. Розанов, «основой русского мира всегда была Семья, Род, Дом. Христианство же утверждало иное: “И враги человеку – домашние его” (Мф. 10: 36). Вся русская литература – от Пушкина (не исключая и Гоголя, не обретшего Дома) до Толстого – утверждала ценность Семьи, Дома, Рода, единственную “аристократическую форму жизни” (Розанов) – семью и тем самым утверждала превосходство Рода и Семьи как важнейшего нравственного начала над христианской догмой… в художественном мире Л. Толстого… “мысль семейная” станет главной во всех его романах». Это «любовь к Роду, к Родине…»[72].

Во-вторых, в христианском мире давно не умолкает, колеблясь от ропота до протеста – голос о неблагополучии между Словом Христа – его Царствии «не от мира сего» и делами от его имени в «мире сем». «Постарайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа», научал св. Павел [К евреям 12: 14]. Однако Церковь далеко не всегда следует этому императиву. Об этом диссонансе свидетельствует тысячелетний опыт. И не трансцендентный, а *имманентный* – опыт далёкого от гармонии соотношения духа Христова и corpus mysticum – тела Христова, как определяет себя Церковь. Уже Данте вопрошал: «Не видишь ты, что церковь, взяв обузу // мирских забот, под бременем двух дел / упала в грязь, / на срам себе и грузу?… Христос в своем наместнике пленен»[73]. В последнее время в Испании всё

чаще повторяют фразу из второй части романа Сервантеса «Дон Кихот», в котором герой говорит оруженосцу: «Мы наткнулись на Церковь, друг Санчо». Это была реакция писателя на то, что Католическая Церковь внесла первую часть «Дон Кихота» в список запретных книг – Index lidrorum prohibitorum. В России также констатировали «пленение русской церкви» государством, и в итоге – «Церковь как бы в параличе, и это уже давно»[74].

В-третьих, в Новое время одно государство за другим, становясь *секулярным*, лишило христианскую Церковь монопольной поддержки и предоставило её выбор свободе совести гражданина. Это означает способность христианства владеть умами и душами людей без политической опоры, чисто духовным образом. В современном обществе, погружённом в эконом-центризм, поглощённом гедонизмом и увлекаемом призраками постмодерна, достигать такой цели все труднее.

Новым своеобразным тестом зрелости христианства является его отношение к т.н. «*исламскому фактору*». Оставляя за скобками внешнеполитический аспект проблемы, вычленим культурно-цивилизационные аспекты *иммиграции*, в основном, с арабо-мусульманского Юга.

Приём, оказываемый иммигрантам, во многом зависит от господствующих в принимающей стране представлений относительно собственной самоидентификации. В широком смысле можно вычленить *две модели*. На одном конце – *ассимиляция*: идея о том, что иммигранты должны постоянно вживаться в новую ситуацию, пока не станут неотличимыми от «коренных» жителей. Например, Франция всегда стремилась к тому, чтобы ассимилировать иммигрантов, сделать из них «французов» – главным образом с помощью системы образования. На другом конце – *мультикультурализм*, т.е. поликультурность, терпимость к этно-конфессиональному разнообразию и взаимодействие разноэтнических культур в пределах локальной / региональной культуры и даже их поддержка с тем, чтобы представители разных этносов толерантно сосуществовали и образовывали пусть гетерогенное, но *стабильное* общество.

На практике большинство стран прибегает к обеим моделям одновременно, хотя в последние годы склоняется к *мультикультуральной* модели. Однако её осуществление вызывает множество

проблем – национальных и расовых, религиозных и языковых, политических и образовательных. Мультикультурализм всё более обнаруживает не только свой позитивный потенциал – способность к воспроизводству этнокультурной идентичности, но и свою *амбивалентность*. Для иммиграции мультикультурализм приемлем тактически, предоставляя условия и время для самосохранения и адаптации, но стратегически – это *тупик*, поскольку «со своим уставом в чужой монастырь не ходят».

В норме обретение культурной идентичности происходит на основе смысловой ориентации и опоры на ядра своих *культурных* ареалов. Однако всё более напряженная миграционная реальность многих миллионов людей «пользы» – их вынужденное решение или добровольный выбор в направлении более зрелых *цивилизационных* ядер, и прежде всего христианской Европы. *Открытый* характер новой Европы обостряет ситуацию в пространстве фронтира с «иноверным» мультикультурализмом. Второй Ватиканский собор провозгласил переход к диалогу не только с инославными (прежде всего, с православными), но и с *иноверными* (декларация «Nostra aetate»), но такой диалог предполагает минимизацию мультикультурализма пределами культурной автономии и совместной ответственности за судьбу христианства.

Отмеченные факторы обусловили *двуединую задачу* христианства – потребность в его обновлении (неохристианство) и строительстве мостов с секулярной культурой. С точки зрения известного богослова, проф. Сергиевского Института в Париже Оливье Клемана, дефицит плодоносности христианства объясняется «третьей смертью Бога» (после Голгофы и эпохи Просвещения), ибо «секуляризация устраняет определённый тип христианского присутствия – тип господства, авторитарной унификации под эгидой единой навязанной идеологии. Но есть и другой способ присутствия – взаимность с секулярным обществом, пророческое партнёрство». Митрополит Пергамский Иоанн отмечает, что «сегодня мы переживаем конец исторической культуры, сформированной Просвещением. Евангелие должно быть предложено в качестве альтернативы этой культуре... Полностью воспринимая условия человеческого существования, Бог в Лице Христа повелевает своей Церкви всегда открывать Ему путь в любую культуру...

Не существует ни одной расы или культуры, которым Он был бы чужд»[75].

Практический гуманизм – это поприще и смысл *союза* христианства с секулярной культурой. Но резюме Пилата: *Ecce homo* – остаётся *открытой* проблемой. Она пронизывает вопрошания и ответы архиепископа Парижского, кардинала Ж.-М. Люстижа: «Злоключения *свободы* побуждают вновь спросить вместе с Псалмом 8: “Что есть человек?”. Злоключения *равенства* заставляют вновь спросить вместе с учениками Христа: “Кто должен почитаться большим?” (Лука 22: 24). Злоключения *братства* вновь делают актуальным вопрос собеседника Иисуса: “Кто мой ближний?” ...Европа должна сделать для себя вопросом чести её устройство на основе прав человека. Но недостаточно ссылаться на эти права: их нужно осуществить на практике, а значит, делать выбор на основе определенной иерархии ценностей... Поставить в центр культуры трансцендентность личности... Уважение к каждому и солидарность со всеми, начиная с самых слабых... Европейское *искусство жизни* должно быть открыто всем и быть совместимым с глубокими устремлениями каждого»[76].

Исходное и «сквозное» условие *нео*христианизации – творческая способность Церкви к *самоочищению*. Девизом Церкви должны стать слова Э. Левинаса: «Человек, поистине заслуживающий этого имени в его европейском смысле, унаследованном от греков и Библии, есть существо, считающее святость абсолютной и неопровержимой ценностью»[77]. Для христианина святость – это прежде всего *искупление грехов*. Во время литургии празднования 2000-летия христианства Иоанн Павел II заявил: «Один из элементов Великого Юбилея состоит в том, что я определил его как очищение памяти. Как преемник апостола Петра в этом году милосердия я попросил Церковь встать на колени и попросить прощения за прошлые и нынешние грехи своих детей. Мы прощаем и просим прощения». Папа молился за то, чтобы «покаяние за грехи... открыло путь к примирению и общению всех христиан». По его указанию Международной теологической комиссией был составлен список прегрешений Церкви: религиозные войны, крестовые походы и костры инквизиции, церковные расколы, «презрение, акты враждебности и умолчания» по отношению к евреям,

насильственная евангелизация Америки, дискриминация женщин, некоторых рас и наций, проявления социальной и экономической несправедливости, отход от самого духа Евангелия[78].

Магистральный путь очищения и возрождения христианства – это прежде всего путь преодоления его тысячелетнего Раскола, возвращение к универсуму Единого. Испытанный способ такой реинтеграции – *экуменизм*. Его философия сформулирована уже у эллинско-христианских истоков европейской культуры. Марк Аврелий исходил из того, что «целое будет извращено, если ты хоть в чём-нибудь нарушишь согласие и связь как частей его, так и причин»[79]. Послание апостола Павла к Галатам гласит, что «нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3: 28). Хотя, может быть, более адекватную форму этот императив имеет в заповеди любви (Мф. 22: 37-39), поскольку там нет прямых указаний на принадлежность равных по достоинству людей к единой общине верующих. «У нас одна отчизна – вечный град», – писал Данте. По И. Канту, «есть только одна (истинная) религия, но могут быть различные виды веры… Для многих церквей, отделившихся друг от друга в силу особенностей их веры, всё-таки может существовать одна и та же истинная религия. Поэтому уместнее… говорить: это человек той или иной… веры, чем говорить, что он исповедует ту или иную религию»[80].

Н. Бердяев также считал экуменизм одной из центральных проблем. Прошло два тысячелетия, с горечью констатировал мыслитель, но в христианстве не решена «проблема религиозного человеческого общения и соединения». «Русской вере» всегда было тесно в узкоконфессиональных рамках. «Евангелие, – писал Гоголь, – является священным для всех христиан, католиков, лютеран… Мы разные, малороссы и россияне, нам нужна одна поэзия, спокойная и сильная… нетленная поэзия правды, добра, красоты… Россия и Малороссия – это близнецы, которые дополняют один другого, и одинаково сильные братья. Отдать преимущество одним перед другим невозможно... Тот, кто сегодня пишет, должен думать не о расколе, а о других вещах; он должен прежде всего служить Тому, кто подарил нам бессмертное человеческое слово»[81].

Позиция Л. Толстого близка В. Соловьеву, который видел в христианстве «религию универсальную, всемирно-историческую, которую никак нельзя приспособить к какому-нибудь особенному культурно-историческому типу»[82]. Религиозная правда Толстого была *универсалистской*. В «Обращении к духовенству» (1902) он подчеркивал: «Для нас истинная религия есть христианство в тех положениях его, в которых они сходятся с основными положениями брахматизма, конфуцианства, таотизма, еврейства, буддизма, магометанства»[83]. Христианство – «истинная религия» только в тех положениях, которые по смыслу совпадают с основными положениями других «осевых» религий. Став экуменической *совестью* мира, Толстой был отлучён от церкви. По оценке В. Розанова, «они не понимали друг друга… И разошлись: до проклятия с одной стороны (отлучение Толстого от Церкви), до полного пренебрежения – с другой (отношение Толстого к Церкви)»[84].

Эстафету экуменического движения подхватил выдающийся православный богослов Г. Флоровский. Он входил в состав т.н. «комитета 14» по созданию Всемирного Совета Церквей. Его первая ассамблея состоялась в Амстердаме в 1948 г., где были представлены 147 церквей из 44 стран. Флоровский был одним из лидеров форума. Но православные иерархи писали Сталину о вреде экуменизма. В 60-х г.г. экуменическая идея была популярной, потому что Православной Церкви была тактически необходима поддержка других церквей. Но даже после Сталина, когда состоялся Всемирный парламент всех конфессий, включая нехристианские церкви (1983, Прага), православные иерархи отказались от участия в нём на том основании, что там присутствовали представители «языческих» конфессий.

Таково наследие процесса христианской *самоидентификации* современной России. На *поверхности* событий «возвращение блудного сына», или реанимация во Христе, представляется очевидным фактом. Однако насколько можно доверять статистическим данным? Незадолго до коллапса СССР, в 1985 г. Институт научного атеизма РАН сообщил, что только 11% населения не преодолело религии, а уже в 1992 г. Аналитический Центр при Президенте РФ триумфально сообщил: опять же лишь 11% населения отмечает, что «религия в личной жизни не имеет никакого

значения». Воистину, «чудны дела твои, Господи». Поднимает голову замешанный на великорусском шовинизме православный *фундаментализм*. Один из его известных адептов А. Дугин даже официальную Церковь обвиняет в предательстве национальных святынь, в отречении от провиденциальной миссии. По его версии, ещё на Соборе 1666-1667 г.г. «официальная Церковь формально анафемствовала эсхатологическое учение о Москве – Третьем Риме», а в петровские времена «официальное богословие повторяло католико-протестантские учения, общий дух был вполне отступническим»[85].

И это лишь радикальное крыло преобладающей *тенденции*. Патриарх Алексий II в статье «Мир на перепутье», выступая за национальную самоидентификацию в терминах веры, этноса и культуры, недвусмысленно обозначил *неевропейский* выбор своей Церкви и в некотором смысле своего народа (если учитывать его религиозно-культурные «корни»). Верой в данном случае является не христианство вообще, а православие как национальная религия; этносом – «россияне» (православные, мусульмане, буддисты, т.е. приверженцы и наследники «традиционных религий»); «культурой» же – некое российское великодержавное имперское целое[86].

На Всемирном русском народном соборе ортодоксальная позиция была несколько смягчена в резолюции «Декларация о правах и достоинстве человека». В ней говорится, что человек как образ Божий имеет особую ценность, но есть ценности, которые стоят не ниже прав человека. Различие в антропологических подходах светского и религиозного взглядов на мир столь серьёзно, что неизбежен аксиологический конфликт[87].

В таком ракурсе «Европа кончается там, где начинается православие», и с этих позиций России в Европе места нет. Однако, пожалуй, самым крупным оппонентом идеи и практики Большой Европы, включая Россию, является американский культур-политолог С. Хантингтон. Его лейтмотив – отрицание существования *обще*европейской цивилизации. Знак равенства ставится между Западной Европой и западной цивилизацией, которая в принципе идентифицируется с христианством. После распада СССР определяющим фактором стал *культурный раскол* Европы между

западным христианством, с одной стороны, и православием и исламом – с другой. Россия – это иная, *славянско-православная* цивилизация, которая стоит вне Европы и в принципе враждебна ей. Православная Россия *вне* европейской системы координат обречена на дурную бесконечность напряжённости в отношениях с Католической Церковью.

Между тем ВЦИОМ (Всероссийский Центр изучения общественного мнения) сообщил о достаточно широкой конфессиональной *толерантности* населения страны. 49% респондентов не согласны с тем, что православные в России должны иметь законные преимущества перед атеистами и людьми других вероисповеданий... 27% – противоположного мнения... Не имеют определённого мнения 14%[88]. Во второй половине 90-х г.г. в Москве более $^1/_3$ религиозных объединений составляли протестантские, немногим более $^1/_2$ – православные и 1,4% – католические объединения[89]. Москва всё менее становится конфессиональным ристалищем и более – фронтиром межконфессионального взаимодействия.

Явно различное представительство Католической и Протестантской Церквей в России воспроизводит последствия смысловых разночтений между ними, неодинаковую степень интенции к синтезу. Это вопрос их компетенции. Однако «по эту сторону» их отношений с Православной Церковью ясно, что искренняя и последовательная поддержка *европейского вектора* новой России могла бы сыграть ключевую роль в ценностно-смысловой консолидации «Церквей-сестёр». Такую убеждённость разделяют все те, которые, по словам Иоанна Павла II, полагают, что христианскую культуру творили мученики не только на Западе, но и в России, и единая и неделимая Европа может свободно дышать только «двумя лёгкими».

В конечном счёте, это уже проблема «яйца и курицы». С одной стороны, дурная бесконечность несостоявшихся визитов Папы Римского в Россию свидетельствует о *неготовности* к диалогу. **К сожалению, она характерна не только для Православной Церкви. «**Очевидно, когда официальные представители разных конфессий пытаются говорить друг с другом с *идеологических* позиций и доказывают свою абсолютную правду, игнорируя правду

оппонента, то разговор идёт на разных языках... Приходится с сожалением констатировать: экуменический диалог сегодня не достигает цели; средства, которые при этом употребляются, так или иначе неизбежно связаны с прозелитизмом, приводящим в свою очередь к “экспансии”. И хотя всякое местничество здесь неоправданно (ведь “каноническая территория” Бога – вся Земля), межконфессиональных перегородок становится всё больше, они превращаются в подобие лабиринта; ...идёт самое настоящее размежевание — вместо столь необходимой для России интеграции с христианской Европой»[90].

Неразрешённая, эта проблема во многом определяет духовную ситуацию начала XXI столетия, и это дало основания режиссёру фильма «Сердце ангела» А. Паркеру вложить в уста символического Чёрта горькие слова: «В мире достаточно религий, чтобы люди ненавидели друг друга, и недостаточно, чтобы они возлюбили друг друга».

Однако всегда были и набирают силу тенденции, которые характеризуют возможные *перспективы* не только христианского мира, но и всех «осевых» религий. С наступлением нового миллениума, в юбилейном 2000 г. Папа Римский Иоанн Павел II предложил лидерам христианства, иудаизма и ислама встретиться у горы Синай, где, согласно Ветхому Завету, Бог явился Моисею и дал ему десять заповедей. Папа сказал: «Ветер, который и сегодня дует с Синая, несёт нам непрестанный призыв к диалогу между последователями трёх великих монотеистических религий в их служении на благо семьи человеческой»[91]. Пока этот призыв остается гласом вопиющего. Масштабы и глубина раскола в пределах христианского мира и за его пределами ещё не свидетельствуют о «смерти» экуменического Бога, но напоминают существо средневекового художника П. Клея – птицу с устремлённым вперёд туловищем и повёрнутой назад головой. На вопрос св. Павла: «Разве разделился Христос?» – императивно необходим *альтернативный* ответ. Современная христианская идея не сводима к правде той или иной ветви Христовой веры и толерантна к нехристианским конфессиям. Культуру творит *любой свободный* дух. Исход в том, что христианство должно радикально обновиться, вновь стать смысложизненным для современного

человека *нео*христианством. «Добудьте бога трудом; вся суть в этом… трудом добудьте»[92].

Принципиальная новизна ситуации в том, что задача неохристианизации развёртывается в условиях *глобализации* мира, и в этом необратимом процессе – вызов всему христианскому миру. Он не сможет ни сохранить свою аутентичность, ни обновиться в традиционном режиме *монологических* мессианских / миссионерских концепций и практики и требует диалогического мышления, созидания *коммуникационной модели диалога* христианских конфессий. Отказываясь признать и уважать иную правду, носители собственной правды провоцируют экспансию других, более могущественных КЦК. Напротив, пишет английский мыслитель И. Берлин, «члены одной культуры… могут понять (entrare, по выражению Вико) ценности, идеалы, формы жизни людей другой культуры или общества, даже отдалённых во времени и пространстве… Хотя эти ценности отличны от наших, мы способны увидеть в них такие ценности и цели жизни, реализация которых может позволить людям жить полноценной человеческой жизнью»[93].

Неоценимую услугу в этом процессе может сыграть реанимация и обновление классической концепции «двух истин». В этой связи заслуживает поддержки мысль М. Броды о том, что действительной *альтернативой* как воинствующему атеизму, так и радикальному фундаментализму может стать «именно концепция Леонтьева… Предпосылкой обнаружения отдалённых горизонтов леонтьевской перспективы должен быть… сознательный выход за пределы мифологического по сути – в любой форме: славянофильской идеи *соборности*, модернистского Эсхатона, коммунистического единства или совершенно эмансипированного и либерализированного общества – принципа coincidentia oppositorum, чёткое отделение sacrum от profanum, истории от эсхатологии, социологии от историософии, политики от сотериологии».

Однако эта концепция требует ценностно-смысловой трансформации, и в русле *неохристианизации* хотелось бы высказать некоторые «интегральные» соображения, возможные как modus vivendi. Речь пойдёт не о Боге, как онтологической реальности в

сознании верующих, а об идее Бога, которая вполне поддаётся рационализации.

Идея Бога – это идея именно *единого* Бога, а не богов, о которых можно писать с маленькой буквы уже в силу их множества и очевидного подобия человеку, и не только ему. Об этом – ироническое замечание Гете: «Оберон хоть без рогов, // всё же черт в итоге. // Как и все в конце концов // греческие боги»[94]. Идея Бога по определению, уже в силу *бесконечности* её смысла, не только для повседневного, но и самого умудрённого и возвышенного сознания, это всегда *открытая* проблема. «Между “есть Бог” и “нет Бога” лежит целое громадное поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец»[95].

Изначально принципиальная сложность идеи Бога уже в том, что это идея *Абсолюта*, «бесконечной суммы бесконечных совершенств» (Р. Луцций). У него нет ab ovo, как в мифе, и он для верующих – не только единый и безмерный Творец всего сущего, но и *самое сущее*. Бог – это ***summum bonum*** (*лат.* высшее благо). В этом смысле у религии и её центральной идеи Бога отношения «любви – ненависти» с Эросом и Танатосом. Гегель обратил внимание на латинское слово ***lig-are*** – связывать, которое лежит в основе античного понятия «религия». Эрос аналогичен религии (лат. ***religate*** – объединять), по первосмыслу как «вос-связь» распавшегося, разъединённого.

Сверхзадача глубокой и всесторонней ассимиляции мифа по плечу только *монотеистическим* религиям. Чем объясняется назревшая потребность в них, повсеместный переход культурных народов к вере в единого Бога? Этот вопрос требует постижения практически *универсальной* потребности развитого человека в идее Бога. Перефразируя марксовский афоризм: «Разум бывает всегда, но не всегда в разумной форме», можно утверждать, что Бог есть всегда, но не сводим к разумной форме. Вопрос – в интерпретации этого парадокса.

Отношение человека к Богу всегда было и остается альтернативным – либо *внешним*, прагматическим, либо *внутренним*, экзистенциальным.

Самая распространенная версия заключается в вере в Бога как религии *рабов*. В пользу этой версии существуют достаточно

серьёзные свидетельства. Иудаизм и христианство возникли как вера порабощённого племени, и «Христос победил потому, что потерпел поражение Спартак» (Т. Моммзен). Отсюда вердикт: «Богом назвали то, что ослабляет, учит слабости… Тот, кто не умеет подчинить вещи своей воле, старается… придать им какой-нибудь смысл, …верит, что в них уже есть воля»[96]. Однако уже в поздней Римской империи христианство стало официальной религией *власть имущих*. Это обесценивает её версию, как «рабской» религии, и требует переосмысления в более широком *социальном* контексте. С рациональной точки зрения, идея Бога «полезна». В таком ракурсе не лишено резона суждение, что единобожие не случайно возникло вместе с усилением социальной борьбы и потребностью в идеологической санкции политической и экономической *власти*.

Не случайно политическая власть обретала сакральный характер как Богоданная, вплоть до изобретения родословных от богов, и монархия рассматривалась как легитимно данная «Божьей милостью». Всегда была и мотивация социальной *иерархии*. Известно, что вольнодумец Вольтер «бил и жёг» церковь, «как молния» (Герцен), однако утверждал, что если Бога и нет, но у вас хотя бы дюжина крепостных, то его следует *выдумать*. Мало того, в своём завещании он велел высечь на надгробии такие слова: «Богу – от Вольтера». Трудно сказать, чего здесь больше – раскаяния или иронии.

Вслед за Вольтером один из персонажей Ф. Достоевского полагает, что «бог есть только гипотеза… но признаю, что он нужен, для порядка… для мирового порядка и т.д. и если бы его не было, то надо бы его выдумать»[97]. В этих словах, в сущности, вся аргументация т.н. «научного атеизма» против религии, её одномерное видение как «опиума для народа».

Эта ипостась проблемы неотступно беспокоила А. Чехова. Его типичный персонаж, «интеллигентный человек имеет право не верить в сверхъестественное, но он обязан скрывать это неверие, чтобы не производить соблазна и не поколебать в людях веры». Его кредо: «веровать в бога не умно, но религия должна быть охраняема, так как для народа необходимо сдерживающее начало, иначе он не будет работать»[98].

Экзистенциальная глубина религиозной веры, как и оппозиции ей, гораздо глубже социального пласта. На этом уровне обусловленность идеи Бога двуедина. С одной стороны, это неустранимость иррационального в деятельности человека, с другой – потребность в определённой иерархии и доверии к *сакральному* авторитету. В архаичных и локализованных общностях человек ещё не обладал развитым абстрактным мышлением, довольствовался фрагментами сущего. Отсюда – еще *партикулярный* бог, точнее, пантеон богов. Последующее усложнение культуры и цивилизации, прежде всего постижение и освоение универсальных связей, обострение противоречий человека с внешним миром и в мире «наедине с собой», утрата самодостаточного локального бытия и нарастание нередко бурных межцивилизационных контактов, в конечном счёте, трагическое переживание *всечеловеческой судьбы*, – все эти факторы вызвали потребность в мощном абстрагировании, воссоздании целостности распадающейся картины мира.

Поиск такой суперсложной целостности предполагает её «сухой остаток» или «святую простоту». *Целостность* – существенный признак развитого сознания, которое всё существующее возводит *к сущему – единому Началу* и в этом контексте рассматривает всё многообразие проблем человека. Исторически первое имя такого начала – *Бог*. «*Искание* бога» Достоевским и его персонажами не нуждается в рациональном обосновании. Известен библейский парадокс: когда Сатана возводит Христа на высокие стены и предлагает ему бесстрашно броситься вниз (ибо, если он Сын Божий, то будет спасён), то Христос, который затем сотворит «много чудес», не устрашится Голгофы и воскреснет, на этот раз отказывается от дьявольского искушения. Почему? Ответ прозрачен: *смысл* идеи Бога – не в доказательствах, а в *вере* в него. «Чудо – веры лучшее дитя, – писал Гете. – …Этому надо верить, потому что не вяжется с разумом; что после погребения он воскрес – достоверно, ибо невозможно»[99].

Бог есть, если он *есть в нас*. Сам Христос говорит об этом так: «Не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своём и в доме своём. И не совершил там многих чудес по неверию их» [Матф. 57: 58]. По Гёте, «Бог, обитающий в груди моей, // влияет

только на моё сознанье. // На внешний мир, на общий ход вещей // не простирается его влиянье»[100]. Таков был и Бог М. Цветаевой: «Что бы ни пели нам попы, // что смерть есть жизнь и жизнь есть смерть, // Бог – слишком Бог, червь – слишком червь. // На труп и призрак – неделим! // Не отдадим тебя за дым // кадил, цветы могил. // И если где-нибудь ты *есть* – // Так – в нас».

Такое видение – продукт становления и эволюции *всечеловеческой* культуры. Перед человеком, выходящим из архаического общества, впервые встали проблемы несоответствия между сущим и должным, неполнотой его индивидуальной жизни и уникальностью *рода* Человек в космическом универсуме. Это время постижения должного, стремления преодолеть неполноту существования, ориентации человека на идеализированный образ «ни еллина, ни иудея» – человека *вообще*, единого и бессмертного человечества. Бог – воплощённый *идеал / смысл* жизни, символ разрешения противоречия между нашим ограниченным бытием и универсальной способностью рода «Человек» к совершенствованию.

По существу, в идее Бога воплощена модель Божественного, *идеального* человека. Н. Бердяев писал, что его, в отличие от теологического искания Бога Л. Толстым, его «мучит не столько тема Бога, сколько тема о человеке и его судьбе, его мучит загадка человеческого духа… Поистине вопрос о Боге – человеческий вопрос. Вопрос же о человеке – божественный вопрос, и, может быть, тайна Божья лучше раскрывается через тайну человеческую… следует быть поменьше теологом и побольше антропологом». Бог, заключает мыслитель, «есть абсолютный человек»[101].

Человек – квинтэссенция отношения не только к Божественному Абсолюту, но и *человека к человеку*. «–Как служить духам предков и божествам? Конфуций: Ты ещё не знаешь, как служить людям. Разве ты можешь знать, как нужно служить духам? – Как следует людям относиться к богам и демонам? – Никак. Люди ещё не научились относиться друг к другу»[102]. «Чем я должен быть для другого, тем Бог является для меня» (М. Бахтин)[103]. Перефразируя А. Камю («Если нет нас, нет и меня»), можно утверждать, что если нет *нас*, нет и идеи Бога. Его искание – это свидетельство глубокого доверия человека к подобным ему посредством

сакральной медиации – *веры, надежды и любви* к абсолютному человеку – Богу.

Такой верой пронизано парадоксальное отношение к христианству Ф. Ницше-«антихриста». Если «Бог умер», это приговор не *вере* как таковой, и об этом свидетельствует вера мыслителя в христианскую перспективу Европы: «Мы... – *добрые европейцы*, наследники Европы, богатые, перегруженные, но и обременённые чрезмерным долгом наследники тысячелетий европейского духа: ...мы вышли из-под опеки христианства и чужды ему, именно потому, что мы выросли из него и что наши предки были самыми беспощадно честными христианами христианства. Мы – делаем то же. Но во имя чего? ...Скрытое *да* в нас сильнее, чем любые *нет* и *может быть*, которыми вы больны вместе с вашим веком; и когда вам придётся пуститься по морям, ...то и вас вынудит к этому – *вера*!»[104].

Лео Бутнару
ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ И ПРОБЛЕМА СЛОВОТВОРЧЕСТВА В ЕВРОПЕЙСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Предполагая тройственную природу слова – звуковую, рациональную и – внимание! – судьбоносную, Хлебников мог бы уподобить эту «троицу» неким ущельям невозможного, в которых он сам считал себя неутомимым путником, не отказываясь от обаяния нового, неизвестного, пока что – непроизнесённого, ради которого, так или иначе, он приступил к завораживающему, гипнотизирующему и, одновременно, изысканному созиданию слов. Словотворчество как ломающая все препоны логотехнология. (В драматургической сверхповести «Зангези» главный действующий персонаж, одалживающий своё имя некоему лицу, говорит в определённый момент: «Я его голова / Словарь только слово Эля». А в другой плоскости текста возникает и определение: **Раум**, непосредственный вид разума / рационального, «не знающий границ, преград, лучистый, сияющий ум. Речь его – рар(ре)чь»).

Косвенно, такое возникновение идей и такая одержимость характерны и для некоторых румынских авторов.

Например, живя и трудясь в бурлящем пространстве европейской авангардистской литературы, Тристан Тцара в какой-то мере родственен Велимиру Хлебникову, который, в свою очередь, можно предположить, не был чужд общеконтинентальному веянию эстетических волнений начала прошлого века.

Таким образом, поэт и теоретик, отправившийся из Румынии в Германию, жил в своём искусстве, как отмечает Марсель Раймон, порывом мятежной юности, навязчивой идеей катастрофы, акцентируясь на собственном дискурсе, как и его северный собрат, и являясь в определённом смысле пророком. Как и у Хлебникова, тексты Тцары свидетельствуют о появлении лингвистического множества созданных им необычных созвучий, которые «постоянно намечают словесную алхимию, частично основанную на тонких модуляциях или брутальной дисгармонии гласных и согласных».

Оба поэта заняты поисками атавистических, примитивных, элементарных лингвистических корней. Однако поэтичных самих по себе, способных побудить к новым метафорическим перспективам. Тцара говорил: «Под каждым камнем скрывается ***гнездо слов*** (курсив *Л.Б.*), а сущность мира сформирована от их стремительного вращения», именно то, что при переводе эссе Хлебникова «О современной поэзии» заставило меня читать-перечитывать с возрастающим вниманием, начиная с первой и второй фразы следующий текст: «Слово живёт двойной жизнью. То оно просто, как растение, плодит ***друзу звучных камней*** (курсив мой, *Л.Б.*), соседних ему, и тогда начало звука живёт самовитой жизнью, а доля разума, названная словом, стоит в тени, или же слово идёт на службу разуму». Я разместил рядом «камни» Тцары и Хлебникова, «найденные-идентифицированные-собранные» примерно в один и тот же период (1916-1919), понимая, что они как раз тот очевидный, в некоторой степени, конструктивный материал модернизации литературы, которая с такой силой разразилась в Европе в начале прошлого столетия. И ещё одна аналогия: увлечённость, так сказать, вращением в лингвистике является характерной для обоих поэтов, потому что к тем же самым

субстанциям, образованным от стремительного вращения слов у Тцары, относятся и лингвистические составляющие, которые дают возможность Хлебникову констатировать, что: «***В*** на всех языках значит вращение одной точки кругом другой или по целому кругу другой или по части его», а ***К*** «значит отсутствие движения, покой сети ***n*** точек, сохранение ими взаимного положения; конец движения».

С другой же стороны исследования и оценки, было бы оправданно задать себе вопрос, не является ли в какой-то степени экспрессивно-ассоциативный образ «камень-слово» одним из предпочтений в первые десятилетия XX века, знакомым многим поэтам, независимо от их школ и направлений.

При всём при том, давайте посмотрим, куда это нас приводит: а путь лежит к… Алексею Матеевичу, к румынскому поэту-классику из Бессарабии, получившему образование в России; мы приближаемся к его знаменитому «ожерелью из редких камней / В богатейшем наследии», дистиху из нынешнего Гимна Республики Молдова, стихам, созданным именно в тот же период (1917) с «гнездом слов», находящимся под любым камнем у Тцары, и Хлебниковским словом, которое «плодит друзу звучных камней».

Ещё в ранней юности Велимир Хлебников задался целью реактуализации фольклорных архетипов, включая и относящиеся к языческой проторечи, возрождённых особой экспрессией, выделяющихся не многозначностью, а многоголосием слов, как, например, в знаменитом уникальном стихотворении «О рассмейтесь, смехачи!». Используя языковые средства народной речи и, так или иначе, …непопулярной среди других собратьев, исследуя её углубленные древнейшие пласты, поэт-учёный-философ перемещает их, обогащает их с небывалой доселе изобретательностью, создавая архаико-неологистично-инновационным способом сотни «радиационных» понятий из одного и того же корня или одни из других, проецируя их как бы по ту сторону времени и пространства, поясняя на конкретных примерах собственную убеждённость в том, что будущее бросает свою тень на речь. В одной из его поэм возникает образ ***Каинов молчания*** («Идут слова молчаний Каинов»), под которым подразумеваются неологизмы, с чьим появлением исчезают глухонемые пласты языка. И, возможно, эти каины носят

модифицированный «заряд» от негатива к позитиву, и именно они освобождают слово, которое, как говорит поэт, «Это бог, завывающий в клетке».

Разумеется, подобная проблематика и увлечённость были (или уже существовали) затронуты и в других литературных пространствах, порождая считающиеся необходимыми дискуссии и, значит, благотворные для вспышки новой энергии и движущих сил в эстетическом климате вообще и в литературном – в частности.

В своём трактате «Поэзия» Бенедетто Кроче говорит о Викторе Гюго и Габриэле Д'Анунцио как бы в отдельности о каждом, «искатель и творец слов», для того, чтобы потом вернуться с разъяснением, далеко не «в ладу» с тем, что сказанно уже: «Создание слов – это довольствование в сотворении новых слов или в поиске редких слов характеризует художников искусства ради искусства, а не поэтов, ибо последние, в итоге, постоянно обновляют слова, не замечая этого: так как им кажутся вполне достаточными уже имеющиеся в обычной речи (какая непоследовательность! Так как, с другой стороны, тот же Кроче делает радикальное различие между обычной речью и поэтической. – *Л.Б.*), именно потому, что разнообразно используя их, они могут обрести всё, что им необходимо. Это то, о чём говорил Мопассан (было бы важнее сказанное корифеем стиля, Флобером. – *Л.Б.*), который ничего не хотел слышать о художественном письме, о редкой или богатой речи, довольствуясь узким количеством слов, которые он ставил на их место в разнообразно сконструированные фразы в музыкальном ритме.

До Мопассана такая же мысль, в которой правде отводится столько же места, сколько и иллюзии, появляется в значительном «Дискурсе об естественной поэзии и поэтическом языке» у Расина-сына, прекрасном знатоке поэзии: «Не слава выдумывать слова, слава фривольная и лёгкая, является целью хороших писателей; они стремятся только к славе введения новых оборотов речи. Вот что в принципе преследовали наши великие поэты и таким образом, облагораживая наш поэтический стиль, усовершенствовали в то же время и язык. Искусству определять слова на их место, что является искусством хорошего письма, невозможно обучить по грамматикам: гений – вот название этому дару».

Примечание, которое напрашивается прямо на заключительную фразу пассажа, состоит в том, что именно словотворцы (*создатели слов*, как говорится в переведённом тексте) были теми, кто меньше всего считались с грамматическими окоченелостями, иногда и впрямь стерильными. Следует понять по этой фразе «правда имеет столько же места, сколько и иллюзия», что в названной проблеме Кроче, кажется, представляет себя в промежуточной позиции (или в какой-то неопределённой…), но «тотализаторное» чувство склоняет его больше к Мопассану, чем к Гюго (которого Леметр назвал королём слов) и Флоберу, или даже Аполлинеру, который в 1930 году, когда итальянский исследователь опубликовал свой трактат «Поэзия», уже обрёл статус классика современной французской литературы и который, если был бы жив, безоговорочно представил бы себя на стороне словотворцев.

Идея трансрационального языка (заумный язык) могла стать, казалось бы, и базовым «притоком» более поздних программ, основанных (насколько это возможно) на технических вариантах какого-либо единого языка, какой-либо лингвистики и какой-либо общей семиотики как науки о знаках любого типа. В этой сфере Хлебников опередил Деррида, который также стремился открыть логоцентрический фундамент точно такой же надежды желания, связанной с универсальным языком, нацеленным на единственную версию (из многих возможных, всё же) утверждения и абсолютного способа говорить (общаться), что пользовалось бы тем же фонетически-алфавитным письмом. Вообще, неолингвистические интересы, трансрациональный язык, словотворчество, неомифология, как дискурс, «поддерживают» повседневное общение постмодернистскими дискурсами, диалогом, в котором «обе стороны» и оба… времени понимают и поддерживают мир как текстуальную реальность (и возможно – почему нет? – ирреальность), а пространство – как «единую книгу» социокультурных сообщений (текстов). Хлебниковская концепция универсума основывалась / складывалась, насколько это возможно в человеческой субъективной сфере, на литературе, собственно говоря (поэзии, прозе, драматургии, эссе), переплетённой с философией языка, историей, мифом, футурологией, существенная экспрессия которой состоит именно в той / этой «Единой книге», находящейся в

извечном процессе пополнения, переписывания, вариативности своих компонентов. В этом универсальном контексте. Позднее Деррида скажет, что: «не существует ничего, что было бы за пределами текста».

Начиная с этих предпосылок, необходимо выделить идею, что, по Хлебникову, диалог между культурами и, разумеется, литературами означает, прежде всего, посыл и пояснение (перевод, разъяснение) понятий и образов в сфере интерсубъективизации сообщений любого порядка. И здесь присутствовал бы неомифологизм в обработке и предварительном изучении культуры, поэзии и поэтики, литературы и искусств вообще, потому что в том, что касается кон***текстуальной*** реальности (или: текста как реальности, космичности), тогда, в авангардизме, как и ныне, в постмодернизме, миф остаётся (оставался) существовать как одна из самых плодотворных и адекватных (другим текстам!) форм, сохраняя в себе способность давать толчок новым решениям в создании новых художественных идей.

Рационально-метафорическое, полифонически-побудительное брожение этой идеи отмечается во многих эссе и поразительной изобретательности и непредсказуемости «выявления» интуиции, а также относительно чётких концептуально-теоретических раскладок, из которых можно вывести «обобщённого» (или… множественного) последователя Платона, Спинозы, Канта, Ницше и т.д., некоторые из принципов которых прошли сквозь призму (или которые, возможно, и создали эту… призму!) того, что было названо «будетлеанизмом». Во многом, будетлеанизм попадает в самую точку примечания Георге Ускэтеску, теоретика румынского происхождения, утвердившегося в европейском плане, по которому «через сложности и муки новаторские опыты века существовали, возможно, в единственной перманентности: в футуризме». Потому что, если все остальные опыты и тенденции авангардизма того периода «были использованы или продолжаются в эпигонской деятельности некоторых имитаторов или в обезличенных возвратах, футуризм создает, взамен, …возможно единственное постоянство, красную нить, тонкую и, в то же время, прочную, в обширном авангардистском распространении».

Но для того, чтобы более детально разобраться в некоторых идеях и принципах В. Хлебникова, который, как колдовство и

заклинания, иногда применял самые странные «свободные комбинации, вроде игры голоса по ту сторону слов, собственно говоря» («Ио на цолк, ио на цолк, / Копоцамо, миногамо, пинцо, пинцо, пинцо!»; «Шагадам, магадам, выкадам. – Чух, чух, чух / Чух»), обратимся к эссе А.Е. Баконского, большого румынского поэта и теоретика, который, с другой стороны, в изданной им знаменитой «Панораме всемирной современной поэзии» (1972), куда он включил и шестерых великих русских поэтов (Блока, Есенина, Хлебникова, Маяковского, Мандельштама, Пастернака), и в «Очерке о феноменологии поэтики» (1968), обращающимся к общеподобным случаям и к связям специфически однонаправлений редукции, когда: «Поэт располагает речь в онтологическом пространстве и направляет редукцию своей разоблачительной функции в сторону первоначальной примитивной речи (Ursprache), потому что только таким образом она может стать “материей” для поэзии. Слово должно потерять в самой большой степени ценность своего текущего условного значения для обрисовки элементов реального и вернуться таким образом к своему первичному значению для построения реальности, открывая и перемещая её в экзистенциальном плане. Это первичное слово, следовательно, является предтечей речи, которая становится возможной, как отмечает Хайдеггер, только благодаря предшествованию поэзии».

А вышеприведённые примеры, извлечённые из поэмы Хлебникова «Ночь в Галиции», происходят из того же просодического стихотворческого пространства, в котором располагаются, скажем, стихи из «Великого тилипика» Христиана Моргенштерна (даю их в переводе на румынский язык Нины Касиян, т.к. не владею немецким языком): «Кулитаркэ, Палагунэ… / Керемие-цирикук: / Мачи, лачи; цэрнэкунэ: / Апуд, хапуд, цук»), текст, который по примечанию Умберто Эко (эссе «Lector in fabula») представляет из себя чисто линейную манифестацию, которой не может соответствовать ни одно актуализированное содержание, поскольку автор не обратился ни к одному из существующих кодов (исключим из простых мотивов явный ореол «литературности», на которые рассчитаны эти стихи и на которые рассчитывает автор; исключим не потому, что она не представляет собой возможного содержания, а потому, что туманная неточность содержания не

позволяет нам в этом случае говорить о тексте, хотя можно говорить каким-то образом о сообщении, переданном в коммуникативных целях). Последующий текст из «Тото-Вака» Тристана Тцары: «Катанги те киви / киви / ка ранги те мохо / мохо…» кажется «совершенно» похожим на первый. Говоря теоретически, он мог или ему следовало бы иметь содержание, потому что создаётся впечатление, что он относится к поэзии маори. Во всяком случае, он, вероятно, был передан в тех же целях, что и первый текст. Если каким-то образом внетекстуальное раскрытие Тцары относится, обманным приёмом, к глобальному тексту (так, как заглавие может считаться частью произведения), тогда к переносному смыслу прибавились бы другие условия экзотизма.

Безусловно, что и тексты подобного рода, как и глосолагические тексты, чьё содержание игнорирует даже сам их выразитель, могут быть подвергнуты фонетической (речевой) интерпретации и могут разразиться многочисленными элементарными ассоциациями фоно-символической природы.

Так как лингвистико-поэтические элементы типа: «Бобэ*о*би пелись губы, / Вэ*эо*ми пелись взоры» и т.д. являются псевдозвукоподражаниями, которые могут казаться преднамеренно искусственными или действительно странными, однако которые Хлебников видел в качестве составляющих элементов какого-то чистого языка, относящегося к предъязыку и трансрациональному. Они тяготеют к образной речи, называемой и речью в себе, с семантикой отличной в своём роде от, собственно говоря, семантики «реального» языка. Это семантика воображаемого, внутренних и межобъектных взаимосвязей и проявлений.

Обратим особое внимание, что Хлебников не писал поэм на базе чистой речи, а всегда у него абстрактные элементы комбинировались в структурах «естественного» языка, связи подобного типа поэт сравнивал так, как если бы он сравнивал эвклидову геометрию с геометрией Лобачевского.

Таким образом, он подчиняет речь трансцендентальности. Однако в более «радикальных» поэмах автор становится актёром речи, её мимом, а не поэтом в прямом смысле. Он модифицирует, предлагает творчески возможные принципы, вмешиваясь непосредственно в структуры и процессы, существующие в языке, преследуя не

столько имплантацию некоторых новых познавательных приобретений, сколько апробируя абстрактно-эстетические эффекты. Таким образом, происходит попытка формулировки некоторых общих принципов, отличных от так называемых «классических», создания, «введения» и приёмов языковых средств не столько в простые ситуации общения, сколько в более специфические художественные герметики. То есть, без обязательного почтения к принципам «сохранения формы для смыслового значения и смыслового значения для определённой формы».

В некоторых случаях (сверхповесть «Зангези» предоставляет ещё больше примеров), речь, возможно, идёт о сознательном лингвистическом агностицизме, понятым и воспринятым как таковой, но применяемым из чисто художественных соображений. Некоторые из примеров генеративной семантики, созданные одним архаизированным дуновением воли, ведут скорее всего к абстрактно-символическому, чем к абстрактно-семантическому, когда слова отрекаются от анекдотичности смысла, что часто случается в художественном авангардизме.

Перевод Мирославы Метляевой
(член СП Молдовы и Румынии)

Ливия Которча
ОТ ФУТУРИЗМА К ПОСТМОДЕРНИЗМУ
(А. Кручёных, «Слово о подвигах Гоголя»)

Трудно сказать, кто из футуристов, всегда готовых к новациям, более дерзкий – Владимир Маяковский или Алексей Кручёных. О дерзости Маяковского и о поэтических завоеваниях этой дерзости говорилось много и в досоветский и в советский период. Но надо признаться, что обаятельная личность автора «Облака в штанах» сыграла немаловажную роль в утверждении того внимания, которым он неизменно пользуется со стороны таких крупных исследователей поэтики, как В. Жирмунский и Р. Якобсон. В значительной мере тем же самым можно объяснить и оценку поэзии Маяковского его великими современниками –

Анной Ахматовой, Борисом Пастернаком и Мариной Цветаевой. Чтобы понять силу обаяния этого поэта, актёра и художника, достаточно сказать, что при встречах с публикой, в которых и он и А.Кручёных, «неадекватно» одетые, бросали в зал неприличные слова, графины с водой или другие предметы, ему всё прощалось, в то время как хулиганство оставалось почти исключительно атрибутом для характеристики Кручёных. Последний – великий пропагандист и практик футуризма, но и не малозначительный его теоретик – был весьма мало симпатичной личностью, о чём сам с иронией признаётся в «Стихах к Борису Пастернаку»: *Лезу с размаху, /Дерзец-нахал /Алёша-ша...* [1]

Хотя Кручёных принадлежат серьёзные теоретические тексты по поэтическому языку, зауми и соотношению реальности и искусства, как и по истории русского футуризма [2], кажется, его воспринимали и продолжают воспринимать, во всяком случае в России, как второстепенного или третьестепенного представителя авангарда. Более объективные западные исследователи, среди которых и русские эмигранты Р. Якобсон, В. Марков и Н. Харджиев занимаются не классификацией, а фактическим изданием и изучением документов русского футуризма и всего наследия Кручёных. Так, недавно оно дополнилось неизданными до сих пор произведениями, помещёнными в одном из американских университетских изданий исследовательницей Н. Гурьяновой. [3]

К богатому наследию надо прибавить незаурядную человеческую и творческую биографию Кручёных. В ней, как сигнал для нас, сверкает огонёк его дружбы с Хлебниковым, который не только сотрудничал с поэтом-теоретиком, но и высоко ценил его до своих последних дней.

Кручёных, которому пришлось надолго пережить своих сотоварищей футуристов, оставил нам ценные страницы об истоках футуризма в России и о значительных моментах из жизни его крупных представителей – Хлебникова, Маяковского или Филонова. Ко всему этому прибавим, что непосредственно после смерти Хлебникова, в 1922-ом году, он начал выпускать сохранённые им неизданные поэмы и прозу своего друга и что он же, позднее, составил почти полную библиографию публикаций русского футуризма. Этот поступок писателя, владевшего богатым архивом

по русскому футуризму, значительно облегчил труд исследователей этого явления.

Не следует забывать и постоянной связи Кручёных, выходца из Украины, с гением – духом этой земли и постоянным вдохновителем футуризма, с Гоголем. Рассматривая все эти аспекты, мы замечаем, что Кручёных всегда движется от крайности к крайности – факт, который затрудняет его восприятие и рождает недоверие к его поэтическому таланту. Соглашаясь в том, что он совершенно несравним с Хлебниковым и с Маяковским в отношении поэтического таланта, особенно лирического, всё же обращаем внимание на то, что ему принадлежат по меньшей мере два произведения, которые выделяются в русской литературе своей несомненной оригинальностью. Это пьеса 1913 года «Победа над солнцем» и поэма 1942-1944 гг. «Слово о подвигах Гоголя». Если пьеса, поставленная на сцене зимой 1913 года, подтвердила тем самым полную победу футуризма не только в русской литературе, но и в русской культуре, то поэма, написанная через три десятилетия, рекомендует Кручёных как неизвестного во время её публикации подлинного зачинателя постмодернизма в русской литературе.

Об этом новом течении и о роли Кручёных в нём говорит Н. Харджиев в своей работе «Полемическое имя»: «Великий футурист оказался первее самых первых соотечественников постмодернистов». [4]

Сам Кручёных осознавал новизну своей поэмы и её значение для перемены эстетической парадигмы в русской культуре; поэтому он неоднократно читал её перед публикой, последний раз – 21-го февраля 1966 года, по случаю своей восьмидесятой годовщины. В повторных чтениях этой поэмы перед профессиональной аудиторией мы ощущаем намерение поэта-футуриста довести до сведения молодых писателей шестидесятых и семидесятых годов XX века, составляющих, по мнению М. Эпштейна и И.С. Скоропановой [5], первую волну русского поставангарда или постмодернизма, что их манера была уже найдена им в начале сороковых годов, если не раньше. Дело в том, что не только он сам, но и молодые постмодернисты работали в то время в полной маргинальности, потому что официальная русская литература советского

периода имела другие принципы и цели. Так что сегодня исследователям литературы остаётся ещё обнаружить немало тех невидимых нитей, которые органически связывают авангард и постмодернизм. Наряду с указанными выше авторами, немало открывает и анализирует в этой области и Н. Гурьянова, издатель и комментатор творчества Кручёных, в книге «Из литературного наследия Кручёных», которая вышла в Америке в 1999-ом году. Принимая то, что сказала Нина Гурьянова о поэме «Слово о подвигах Гоголя» в комментариях к этой книге, и особенно её мнение о связи Кручёных с палимпсестом постмодерна, мы оттеняем *текстовой* анализ и переносим акцент нашего комментария с исторического и стилистического аспекта к образно-семантическому и формальному.

В своём анализе мы оспариваем мнение Харджиева, что Кручёных подошёл к новой манере письма с намерением осмеять русскую классическую литературу – мнение, относящее исследователя авангарда к сторонникам постмодернизма вообще. Мы считаем, что смысл посыла автора «Слова о подвигах Гоголя» сложнее и что он связан также с программной декларацией об «обновлении традиции», предложенной футуристами ещё в первое десятилетие двадцатого века. Первый аспект этой связи, который приоткрывает нам чтение поэмы, – это возврат Кручёных к традиционным формам и идеологемам древнерусской литературы – к «слову» и «подвигу», и соответственно – к «герою» эксплицитно, к «житию» и «святому» имплицитно. Также мы считаем отнюдь не случайным тот факт, что, наряду с вышеуказанными формами и идеологемами древнерусской литературы, моделью обновления становится для Крученых Н.В. Гоголь – с его вариантами «поэмы» и его деконструктивно-конструктивной манерой воссоздания образа мира и литературного текста. Собственно говоря, исключительное значение личности Гоголя и его творчества для всех футуристов и для самого Кручёных становится для него позднее импульсом к поискам новой формы, которая сложилась бы как новый вариант «хвалебного слова» о подвиге писателя, но и как «житие» в новые негероические времена.

Итак, как и в случае Хлебникова, отношения Кручёных с Гоголем сложны и плодотворны для его творчества. Эти отношения

постоянны. Вначале они как бы не отличаются от подхода Хлебникова к великому классику, который предоставил обоим футуристам формулу творчества «игра в аду». Но с течением времени (для Хлебникова – начиная с 1914 года) каждый из этих двух авторов по-своему реализует восприятие гоголевского наследия. О хлебниковском восприятии мы писали уже в работе «Непрерывность в срыве. Гоголь и Хлебников», опубликованной в Румынии и в России. Что же касается Кручёных, можно сказать, что, вероятно, к писательским мотивам его постоянного возврата к Гоголю прибавляются также собственно человеческие и этнические соображения. Футурист – уроженец Украины, и как таковой он черпает из модели украинского мировосприятия, культуры юмора и формальной дерзости не только через Гоголя но и, так сказать, прямо из источника.

Как мы уже знаем, на протяжении 1912-1913 годов Гоголь с его повестями «Пропавшая грамота», «Майская ночь» и «Вий» даёт Хлебникову и Кручёных, которые пишут вместе поэмы «Игра в аду» и «Мирсонца» или эссе «Слово как таковое», многочисленные примеры для понимания «заумного языка» и для восприятия «мира навыворот». После этого общего их эксперимента Хлебников строит свои отношения с великим предшественником на доминанте поиска «уравнения души Гоголя» как уравнения своего собственного авторского «я», в то время как Кручёных начинает нащупывать формулу постмодернистского письма. Совершает он это с помощью коллажа прямых цитат и пересказа гоголевских произведений в книжке 1913-1914 г. «Чорт и речетворцы». Здесь текст Кручёных предлагается как гибридная форма, располагающаяся на границе литературы и литературоведения. В нём ясна тенденция футуриста итожить накопления всего творчества Гоголя путём скрещивания образа и литературно-критического понятия, но и создания образов-мифологем «Гоголь» и «гоголевский мир». Замечаем ещё, как признак новизны, тот факт, что материалом построения этого текста становится цитата – не как реминисценция или подтверждение собственной позиции читателя и аналитика, а в качестве своего рода знака для выражения особого апокалипсического мировоззрения. Воспроизводя с помощью цитат гоголевское мировосприятие и комментируя его,

данное произведение Кручёных становится выражением нового жизнеощущения. Об этом новом жизнеощущении, которое выявилось уже в начале двадцатого века, говорил и Николай Бердяев в своем эссе 1914-1917г. «Кризис искусства», уточняя, что для выражения такого нового чувства искусству нужен приём отхода, отслоения от зримой, кажущейся поверхности мира. Но модель этого метода предлагал всем своим творчеством и Гоголь, который в своей «Авторской исповеди» писал, что «мир в дороге, а не у пристани, не на ночлеге, не на временной станции или отдыхе. Всё чего-то ищет, а ищет уже не вне, а внутри себя…, всё ждёт какого-то стройнейшего порядка». [6]

Эта гоголевская модель мира и творчества, которая предлагается в варианте «игра в аду», становится для Кручёных определяющим признаком настоящего художника. Конкретизируя эту мысль в период 1940-1942 годов, он пишет стихотворения «Муза», «Анне Ахматовой» или «Пускай смелей встречаются цитаты», в которых перечисление имен в литературном семантическом контексте и употребление цитаты как первичного поэтического материала предлагаются в качестве основных приёмов построения искомого «стройнейшего порядка»: *Лихие казни, чад, смола и жупел – / Всегда моё любимое оружье. / То знали Маяковский, Велимир, / Кромешный Гоголь, Гамлет, Пушкин...* или: *Пускай смелей встречаются цитаты, / абзацы кстати и некстати, – / у нас сегодня / карнавал и праздник. / Пусть сгинут разом супостаты / и критики-кастраты / навек, / чтоб мир не знал муры, / заботы и боязни*». [7]

Как можно видеть, в обеих цитатах литературоведческая интенция автора проскальзывает из-под текста, но она ещё более явна в целом цикле «Стихов Борису Пастернаку» 1942 года. Этот цикл построен из крайне разных материалов, но его композиция содержит признаки единого корпуса, среди которых выделяются традиционные композиционные элементы «обычной» поэмы – «вступ» и «заключение». В «Стихах Борису Пастернаку» ещё чувствуется присутствие авторского «Я», которое сохраняет много лично кручёновского, биографического, потому что «пересказ» пастернаковских стихов, их мотивов и истории их восприятия тесно сочетается с довольно подробными данными из истории

дружбы двух поэтов, длившейся несколько лет. На основе всего этого получается как бы образ исторического настоящего, особенно литературного настоящего, где персонажами выступают сам Кручёных, Пастернак, Анна Ахматова, Н. Асеев и другие литературные деятели эпохи. Но тот факт, что здесь же особо выделяется секвенция, посвящённая Достоевскому и его женским персонажам, внушает мысль, что значение цикла шире и глубже литературоведческого уровня. Через имена женских персонажей Достоевского – «гаданием», как говорит автор, – отмечается «первое рождение Незнакомки» в русской литературе. [8]

Этим признанием автора вскрывается онтологический смысл не только стихотворения «Борис, ты помнишь», но и всего цикла. Поддержанная гаданием на «именах и судьбах», т.е. перечислением собственных имён персонажей романов Достоевского и поиском их поэтической этимологии в соотнесении с «Незнакомкой» Блока [9], в конечном счёте эта тематическая линия привлекает в текст следующей части цикла блоковский поэтический мотив «скука загородных дач». Именно этот мотив становится семантическим ключом к «дублетам-дурачкам» [10] Гоголя и других русских авторов, но и поводом для тематического внесения в текст образа Гоголя наряду с образом Блока и Достоевского – как авторов, которые ощущали и выражали трагическое превращение мира царственности – «королева» – в мир хаоса и падения – «девка гулящая» или «скука».

В том же 1943-ом году Крученых начинает работать над циклом стихотворений о Гоголе, который завершает лишь в 1966 году. По мере написания нового цикла происходят глубокие и значительные формальные и структурно-текстовые завоевания, которые рекомендуют новый цикл именно как первое крупное постмодернистское произведение. В этом произведении самые разнообразные новые приёмы диктуются самой попыткой расшифровать фактуру и бытование гоголевского текста в свете его конечного смысла и в связи с парадигматическим значением самой биографии автора «Мёртвых душ». Естественным образом, присутствие «Я» в поэтическом дискурсе нового цикла ослабевает, так что он тяготеет к максимальной деперсонализации и децентрализации. Зато в нём – и это тоже заявляет уже о постмодернистском

письме – усиливается интонационное напряжение, которое совершается не за счёт единства образа «Я», а за счёт распыления этого единства и за счёт построения образа Гоголя-человека и писателя-пророка на одной семантической доминанте.

Неожиданное совмещение двух противоположных процессов реализуется выбором формы «Слова» в варианте «хвалы», но и «повествования о...» – как это случается в «Слове о полку Игореве». Первым признаком этой формальной ориентации является заглавие поэмы о Гоголе, повторяющее словесную и ритмическую структуру заглавия древнерусской поэмы-эпоса. В то же время хвалебная ориентировка дискурса высказывается в выраженном в заглавии цикла намерении говорить-рассказывать-повествовать-рассуждать не просто о деяниях, но «о подвигах Гоголя». В связи с этой трудной, почти невозможной задачей – воскресить «слово» в его старых значениях в негероические времена – Кручёных высказывается не раз. Его подруга О.Ф. Ситницкая записала одно из этих высказываний, которое крайне интересует нас: «Мудрость Гоголя, до сих пор непонятно, в чём она? Кто её поймёт, сам будет писать как Гоголь». [11]

Отметим здесь, с одной стороны, убеждение Кручёных, что «письмо» и «смысл» неотделимы и, с другой стороны, что воспроизведение письма, т.е. воскрешение генетических жанровых знаков, влечёт за собой понимание его значения, и не наоборот. А главное, автор цикла говорит нам, что «подвиги» Гоголя открываются не только в его поэтическом творчестве, но и в его жизненной «мудрости»; в записи 1945 года на полях рукописи поэмы автор равняет создателя «Мёртвых душ» с Гомером и с великими пророками Святых Книг: «Он Илиада, он и Гомер, но он же и Библия укр(аинская) (…) и всё знал, весь быт...» [12]

Кручёных, в свою очередь, знал, что эта гоголевская мудрость – особого рода, апокалипсическая. Об апокалипсической сущности своей мудрости говорил сам Гоголь, который хотел ударить по струнам людских душ с «неведомой силой» и который в «Заметках к 1-ой части “Мертвых душ”» писал: «Проходит страшная мгла жизни и ещё глубокая скрыта в том тайна. Не ужасное ли это явление? Жизнь бунтующая, праздная – не страшно ли великое она явление…» [13]

Тайна жизни для Гоголя «строгая», и эту строгость внушает ей, как он говорит в «Авторской исповеди», «сокровеннейшая небесная музыка». [14]

Чтобы постичь эту тайну жизни и её музыку, чтобы уловить признаки прохождения и зарождения мира, Гоголь выбрал, как это нам говорят заглавие романа «Мёртвые души» и многочисленные авторские отступления в нём, не только одиночество и затворничество, но и странствование по доступным и по недоступным пространствам: по выси, по земле и по преисподней. Путь слышания, видения и моделирования Гоголем слышанного и виденного – это отрицание верой, а не отрицание против веры, изречение неизрекаемого, т.е. изречение о том, как, не зная сам об этом, человек лишил самого себя и всякую вещь мира смысла отражения Божественного, тем самым превратив себя и вещь в сосуд для чёрта-дьявола. Эту ситуацию синтезирует Кручёных в выражении «игра в аду», которое, как мы видели, встречается в начале его творческой деятельности и которое сопровождает его потом постоянно, когда идёт речь о сущности творческого, особенно писательского дела, парадигмой которого становится для него Гоголь. [15]

Поэма делится на две части: 1.«Слово о подвигах Гоголя» и 2. «Арабески из Гоголя». Эта композиционная структура конкретизируется различно в каждой из двух частей. В первой части кажется, что структурным синтаксическим принципом является «пересказ» произведений Гоголя в порядке их появления и в соответствии с двумя тематическими доминантами: ярмарочный и миргородский мир провинции и чиновничий городской мир. Во второй части наблюдаем синтаксический принцип перечисления образов или семантических узлов творчества Гоголя: «кобыла», «голодный бурсак», «парикмахер», «майор Ковалёв» – к которым прибавляется «молодой чумак, носач». В обеих ситуациях структура обуславливается не развитием сюжета или персонажа, как это бывает в обыкновенной поэме, а конфигурацией образа мира вообще через образ мира Гоголя, его творчества и его биографии. Все эти составляющие взаимопроникаются и взаимоотражаются в свободной, коллажной структуре для построения сверхобраза создателя, в конечном счете – для диалога с

единственным эпиграфом, присутствующим в поэме. Это цитата из профессора С. Венгерова: «Гоголь не видел и не знал России», которая расположена не в начале цикла, как это было бы нормально, а в начале последнего фрагмента его второй части, озаглавленной «Камера чудес».

Отношение двух частей определяется ответом на утверждение Венгерова, ответом, который оформляется по всеобщим законам художественного творчества как «нарратив», рассказ со всеми свойствами и признаками беллетризированного повествования. Получается, таким образом, жанр, близкий метапоэтическому жанру, который, между прочим, можно заметить и в стихотворении «Темы с вариациями», написанном Пастернаком в 1918-ом году. Взаимоотношение между рассказом, нарративом и жизнью становится у Пастернака и особенно у Кручёных выражением особой формы существования человека как особого модуса бытия. Порождение и существование данной наррации предопределяется и поддерживается речью, дискурсом. При этом автор как бы пытается внушить читателю мысль о том, что якобы без дискурса человека быть не может, но следует подчеркнуть, что речь здесь идёт о дискурсе, связанном со Словом Бога – аспект, который опять говорит о приближении Кручёных к постмодернизму. Коллаж, который действует и в первой, и во второй части поэмы, способствует постоянному порождению текста и созданию пространства интенсивной интертекстуальности. Он же отмечает ослабление событийного или реального времени и усиление времени и пространства дискурса, которые постоянно зарождаются и изменяют восприятие читателя. Так, с самого начала предлагается архитектоника с разрушенной связью частей, как знак самого поэтического кода Гоголя. Но у Кручёных такая архитектоника ломанности не прилагается для получения комического и абсурдного эффекта или как приём чисто пародического обнажения гоголевской поэтики. В конечном счете, это – особая форма пересказа чужого литературного текста, в которой всякий знак строится как симулякр и согласуется с вечным возвращением и обновлением, отрицая этим бывший футуристический принцип «слово как таковое».

Гоголь как персонаж «наррации» появляется ещё в начале поэмы с атрибутом «носа», который в равной мере характеризует его как человека и как автора творчества, стоящего под знаком этого образа, представляющего собой доминанту абсурда и построенного на основе ощущения действительности необыкновенной тонкостью нюха. Такое положение позволяет слову «нос» стать знаком маски Гоголя, но и создавать ситуации освоения действительности нюхом, полностью равным «зрению /.../ во всех его проявлениях – физическом, дискурсивном и символическом: “Чутконосый колдун Гоголь / зельем слов / споил своих прихожан / до последнего вздоха. / С вершины Орлиной горы / унюхал, как на ладони, /полынные поля, сонные плавни Украины, / под ними – огонь и сера”». [16]

Трёхмерная реальность: высшая, дивная или божественная («вершина Орлиной горы»), земная или серединная («полынные поля») и подземная или адская («огонь и сера») – с ослепительной ясностью открывается перед носом-глазом Гоголя, который своей необыкновенной чуткостью в начале поэмы отождествляется с колдунами его собственных украинских повестей, «пересказанных» Кручёных именно под знаком образа «Гоголь-колдун». В том же начале «Слова» игра слов «красная свитка» из «Сорочинской ярмарки» и «свиток» из «Апокалипсиса» Иоанна, включает в текст тему конца мира и его обновления прямым писательским показом зла-чёрта, который вошёл во все предметы серединного ярмарочного мира и оттуда смеётся над всем и над всеми, похищая свет и устанавливая повсюду туман-ложь-пустоту. Духом колдуна Гоголя перевёртывается универсум так, что адское дно выходит на белый свет и хождение писателя и человека по миру становится хождением по адским ужасам и пыткам: «Колдун всех закрутил верёвочкой, / небо скатал в красную свитку – / рынок не взвидел свету, / одни / свиные / рыла, / перепуга хрюк. / Хлопнула крышкой душная ночь – / кубарем всякая нечисть и страхи». [17]

В серединном мире, который, как и у Хлебникова, определяется как мир «рынок», только подвигом можно победить тьму-пустоту, и по этой линии Кручёных вносит образ Гоголя в семантический ряд, построенный именами всех запорожцев, «чумаков», которые «потрясли землю / громом сабель / и гопака!» [18]

Их подвиг основан на чувстве жертвенности во имя матери – земли и отца – небесного голоса, и это чувство черпает свою силу в жертве Христа – человека. Так получается, что не только «ужас – дыбом по всему свету», но и «слава – дыбом по всему свету! – / полковнику Тарасу Бульбе, / бившемуся за родину и веру, / острому взору / до последней минуты» [19] звучит в интонационной доминанте представления образа мира – рынка. В тексте Кручёных этот образ в движении, потому что мир стал для него самоорганизующимся хаосом, в котором в свои права вступала процессуальная гетерогенная множественность: «По пыльным шляхам-тики-тик – / скука-квашня с прутом плашмя. // Сонь… чумаки с солью / еле-еле… / Солнце в шубе – ни шагу. / (…) В мареве цоб-цобе / нарочитою крошкою – Мир-город. / Посредине – неиссушимая лужа / Щетинам вчуже уютно. / На плетнях – несвежими наволочками – сплетни / в обнимку с кротьими хвостиками. / (…) Ивану Бекешичу уже нет отдушины – / неподачки нищим – ерики щёк. / Надо ночью на воздух / третий сарай. Красный петух в кармане – / хрюшки со страхом хором «Фигаро» / ГУСАК – / ПОГУБИТЕЛЬ РИМ-ГОРОДА». [20]

Как мы видим, подобное построение образа мира – мотив для использования гибридно-цитатного языка, анаграмм (Рим-город = Миргород, ТьмуТаракань = Тмутаракань, Аксарап = Параска, Рахим Керап = парикмахер), новых именных и звуковых фигур, но и укрупнённых, обобщённых образов, которые встречаются на каждом шагу в обеих частях поэмы. Но такие образы, как «колдун», МИР-ГОРОД, РИМ-ГОРОД, Иван Бекешич, «нечисть и смрядь» или ГУСАК мерцают в тексте Кручёных и не фиксируются в плоть текста, как это бывает, например, с типологическим образом реалистической литературы или с гиперболическими фигурами романтизма. Такая ситуация мотивирована не только тем, что мир Гоголя подвергается здесь анализу со стороны авторского голоса, но и, преимущественно, тем, что пустота мира-рынка, будь то гоголевский мир провинции или чиновничий петербургский мир, чревата катастрофами, сулит приключения. Словом, пустота мира с её вариантами – «скука», «сонь», «сплетни» – становится знаком завладевшего миром дьявола, воплощающего принцип случайности.

Критика начала двадцатого века в её символическом и формальном варианте отметила и подчеркнула, что случайность оспаривает в гоголевском мире линейный детерминизм. В свою очередь замечая это явление, Кручёных использует его для развития в своей поэме того смысла, по которому игра случайностей, как в мире так и в тексте Гоголя, рождает плюралистическую множественность становления, хаос как действие «чорта», «чудила нашармачка», «враля», «вертихвоста» или «тарабумбия принца». В основном, это действие сводится к следующему: «кража» света и воцарение ситуации «всё не то, чем кажется», «тот и не тот» или «небопад» как установление угрюмой злой бесконечности. В этой бесконечности вещи утрачивают своё назначение быть нужными человеку, существуют как бы сами по себе и выстраиваются в одну цепь с вещами-обломками, с частями живого организма или с людьми, превращёнными в вещи. Так открывается простор для широкого символического использования вещных имен: свитка, бекеша, лужа, рыло, нос и т.д., которые строят настоящую мифопоэтическую этимологию в тексте Кручёных. Наряду с этим, такие же вещные имена становятся знаками динамики, т.е. нисхождения в хаотический беспорядок мира и преисподней, иногда действуя как точки, которые отмечают ломанность нарративной линии и ритма, по которой движется кручёновский текст: «Тот и не тот… / Напялил на пустые плечи / сахарные колпаки, / нашлептал носы. / (...,) И – / двери напролёт – / новый небопад. / Затрещиной электричество! / Свистунов с Держимордой – / кубарем тумбами под-ноги, / Ляпкин-Тяпкин подавился Земляникой, / бубнами-лбами / Петрушки Бобчинский с Добчинским». [21]

Как мы замечаем, в построении образа серединного мира преобладает приём перечисления, накопления имен и деталей, которые содействуют передвижению из зоны воображаемого, смехотворного и юмористического в семантическое поле символического и апокалипсического. Вся «серная смрядь», которая, вместе с гоголевскими образами, наводняет мир и воцаряет «день без числа и без имени», «нуль», при звуке «трубы архангела» спешит исчезнуть, уйти в «Тьму-Таракань», в «глубину преисподней», «в тараканью щель», оставляя место для «воскресения» мира и для начала нового времени: «Кончились помещики, / недвижимость,

рыжики, / Шпонька, старосветские картины, – / моль на медведях, скуки истома, / загробные погребцы (…) Воскресшие души!» [22] или: «Грохотом горы и руды / трещат сухожилья… / Потом для миргорян / блестит новое рождество / и весеннее / воскресение». [23]

В построении повторяемого несколько раз образа обновления мира в «Слове» на первый план выступает «потребность в этике», которую мы столько раз встречаем в высказываниях Гоголя из «Авторской исповеди», в отступлениях романа «Мертвые души» или в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Эта потребность становится центром образа Гоголя и внутренней мотивацией его эволюции – от «колдуна», через «запорожца» к «пророку» и «лыцарю»-«монаху». На уровне дискурса такая же потребность в этике выступает поводом для перехода от чисто нарративной интонации «выставления на вид (…) русских элементов» и «внутренности России» к хвалебной и иногда патетической интонации жития и панегирика «подвига» Гоголя: «На битву мы сюда призваны; праздновать же победу будем *там*. А потому ни на миг мы не должны позабывать, что вышли на битву и нечего тут выбирать, где поменьше опасностей». [24]

Этическое чувство Гоголя придаёт слову *битва* не только значение *боя*, но и значение *очищения от людского* затворничеством, т.е. опыт отказа от опыта. «Как монах разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем чтобы ни о чём другом не помышлять, кроме труда своего» [25] – пишет Гоголь в «Авторской исповеди», продолжая эти слова мыслью о том, что свой труд он понимает как дар, который он может предоставить своей стране. В этом понимании своего долга и труда Гоголь встречается с Тарасом Бульбой и его сыном Остапом, которые совершили подвиг самопожертвования за правду и за веру православную. Эта связь отмечается в тексте и на словесном уровне, в образе «лыцаря пера», как называет Кручёных автора «Мёртвых душ». Этот образ строится как продолжение и развитие выражения Тараса Бульбы «честь лыцарская не велит», в семантическом поле служения Богу-Правде. Отсюда сцены из святых книг в «Слове»: сцена распятия Остапа, сцены «конца мира сего» и сцены Воскресения, в которых явна интертекстуальность с библейскими «сценами» и выражениями:

«Слава сыну его – рыцарю Остапу /в плену умученному пыткой. / Предсмертное на колесе: / – Отец мой, слышишь ли ты меня, – / И тут, будто с неба, в ответ: / – Слышу!» или: «Оскалом хохота конь / на всем скаку, – / схватить горбуна / и сбросить / в безвыходную бездну, / в лязгающие ртища / его родни – / грызут мертвячки мертвяка, / и лишь, вросший в землю, не дотянется великанище-мертвец / Иуда-Петро». [26]

Гоголь готов был стать маргинальным для того, чтобы быть способным оспаривать авторитет и власть во всех их проявлениях и защищать Бога в человеке. Поэтому он переосмыслил себя и человека в виде души, а не личности. По той же причине акт самоуничтожения означает для него как писателя и человека полную победу души. В душе человека даётся настоящая битва между добром и злом, между чистотой и «нечистью», а у писателя Гоголя, по его признанию, «сочинения связались тесно с делом души». [27]

Кручёных не забывает это, когда строит образ Гоголя в своей поэме. Так, очерчивая фигуру – душу Гоголя человека и писателя, он повторяет синтагмы «пороги», «очерствления», «пытки» и «воскресения». Свой смех над миром в «Вечерах» и даже в более поздних произведениях, своя постоянная игра в мир и с миром – «всех перечёртил» – да и само творчество своё, с точки зрения божественной истины и правды, Гоголь считает грехом; другой его атрибут – праздное – у него отнесён к делам дьявола, вступившего «уже без маски в мир». [28]

Признание такого «греха» заставляет его пожертвовать своим телом – творчеством, что сказывается в сжигании рукописи второго тома «Мёртвых душ» и вступлением в религиозный и творческий кризис после 1842 года. Муки совести становятся в «Слове» Кручёных составляющими «подвига» его персонажа: «Тут Гоголь, / пальцы кусая, сердце нараспашку, / на покаяниях окосев от бессонницы, / вопрошал о самом страшном, / пытая / собственную судьбу». [29]

В ряд адских мучений писателя становится и восприятие и осмысление красоты. Не раз Гоголь говорил о своём ужасе перед телесной красотой, чреватой дьявольской силой перевёртывания не только внешнего мира, но и души. Повесть «Вий» с наибольшей

ясностью говорит об этом переживании Гоголем красоты мира с ужасом – в согласии с ранним христианством, которое отвергало телесную красоту во имя души. Кручёных пересоздаёт ситуацию именно этой повести, чтобы воссоздать образ мучений Гоголя-писателя и верующего человека опосредовано: «И помчался бурсак / – очумелый рысак – / на дне моря узрел русалочьи теса / лазурные руки. / (…) Ох, не могу! – / Разогнула дугу, / разметала косу – /обнажённые белые руки / заместо крючьев. // Видит – страшна краса, /видит – плачут глаза, – / тут и стукнул Хому столбняк / лес замаячил чёрною тучей» [30] и непосредственно – в трагическом тупике, перед которым оказался Гоголь в момент своего личного кризиса: «Кроткая или злая? / Небесная или подземная? / Тут Гоголь, пальцы кусая, / сердце нараспашку». [31]

В этом образе личность рассыпается на фрагменты, разрываясь между сферами реального, воображаемого и символического. Так, литературная и человеческая физиономия Гоголя создаётся осколками биографической канвы, некоторыми подробностями портрета, биографии, как и пересказом его произведений, перечислением ситуаций, персонажей, имён и словесных конструкций. Среди портретных знаков преобладают слова и выражения, говорящие физически и символически о своеобразии его физиономии, сосредоточенной будто бы в носе: «чутконосый», «востроносый», «носач», «насос».

Сведение образа Гоголя к телесной детали привлекает, через выраженный атрибут «стройный» и через подразумеваемый атрибут «острый», в его семантическое поле и другие физические детали или предметы, отличающиеся «тонкостью»: «На римском стадионе / из стада заезжих чудищ / (…) один лишь // человек, / с гибкою тростью, / стройный улыбарь – любовник / Гоголь – синьорчо – кавалер». [32]

Проекция этих портретных элементов на фоне чужого пространства (Флоренция, Рим) обращает реальное их биографическое значение в значение вымысла, где писатель выступает как персонаж с собственным словом подчёркнуто старого склада: «Среди палат Флоренции / молодой чумак, носач, / в синем фраке, / засохлыми глазами, / рыбьим студнем / застыл на камне. / –

О, тоска, тоска! / Последнесть дней моих / у мачехи – чужбины. / О, тройка-Русь! / Поглоти меня / в просторы полей!..» [33]

В том же плане вымысла образ Гоголя воссоздается через его восприятие этим чужим пространством в атрибутах, говорящих о «рыцарстве», странности и иллюзорности его присутствия: «синьорчо-кавалер». Такие признаки опять связывают его образ с образом Тараса Бульбы, представителя «лыцарства». Благодаря атрибутам тонкости, возвышенности, почти иллюзорности своего тела и предметов, которыми он пользуется, Гоголь оказывается принадлежащим и не принадлежащим реальному миру. Совершая подвиг раскрытия правды серединного мира и наставления его на настоящую веру: «Был он кормчий и пророк / звонкой веры ковалёк» [34], после завершения странствий по миру, после вынесения пытки и самоуничтожения, он может пережить «вознесение», как писано в «Апокалипсисе» Святого Иоанна Теолога. Вознесение или воскресение Гоголя – человека и автора «дивинной комедии», включается в общую божественную комедию и в воскресение мира через десятый фрагмент первой части поэмы, озаглавленный «Вознесение Гоголя». Этому фрагменту соответствует, как отражение-переиздание, последний фрагмент второй части, называющийся «Камера чудес». Оба фрагмента построены как похвальные речи, но каждая из них имеет свой стиль. Так, указанный фрагмент первой части, «Вознесение Гоголя», свидетельствует о преобладании стилистической и стихотворной фольклорной доминанты, точнее, народной украинской песни бандуриста, с которым в предшествующих фрагментах писатель не раз отождествлялся. Этот отпечаток народного видения объясняет известную фамилиарность подхода к образу автора «Мёртвых душ», обрисованного словами и образами народного представления: «Чайка перед бурей, / кигитка-киги! / Со старой бандурой / Запорожец-хихи! / Охват глазом – / чертям вызов – /вишнёвые хутора! / Без передыху / гремит фантазия / превыше Вия, / резвей сумасшедшего / экзекутора-короля». [35]

Такой же диалог с народной песней ведёт к использованию Кручёных народной перспективы восприятия Гоголя преимущественно как рассказчика, т.е. как устного сказителя, функции

которого не аннулируются появлением в конце фрагмента наименования «писака», включённого в контекст смешанной народной и культурной речи церковного оттенка: «В дивинной комедии / всех перечортил / подвёл под аминь, / тихий писака / лыцарь пера». [36]

Второе похвальное слово Гоголю заключает не только вторую часть поэмы, но и всю поэму в целом, подытоживая жизнь и поэтику писателя через их отзвук не только в русском народе, но и во всём мире. Кручёных имитирует здесь сами «проскоки» Гоголя путешественника, «впрыгивает» в реальность мира гоголевского текста, с которым вступает в творческое взаимодействие и создает особое пространство, которое мгновенно то стирается, то расширяется силой фантазии. Поэтому эта часть и называется «Камера чудес»: входя в неё, можешь встретить и принять всевозможные странности и превращения обычного, знакомого тебе мира. Приобрести такую силу Гоголь смог не через колдовство, от которого освободился пыткой и вознесением, а монашеством и очищением в одиночестве. Поэтому это похвальное слово строится преимущественно на основе образа «монаха» и всего того, что, как ризома, вырастает из этого образа: «Нелюдим, смехотвор, затворник, / не выезжая из комнаты, / сидя на кушетке, / неукротимою опарою, / вёртким проскоком / обогнал всех путешественников / Вскрыл России преисподнюю» [37]

И здесь замечается смешение стилей, на этот раз описательного и несколько драматического литературного стиля и литературоведческого стиля. В последнем стиле испытываются афористические определения писательской личности Гоголя собственными именами из точных наук, которые в соединении с двумя основными приёмами поэтики автора «Мёртвых душ» – гипербола и сон – подчёркивают парадоксальность и «ненормативность» этой поэтики: «с высоким спокойствием / Пифагор гиперболы, / Эдиссон снов / взял планету на испуг». [38]

Этот апофеоз определения Гоголя писателя соседствует с ироническими признаками его личности: «Мокроворона, штафирка, / хламидник и щёголь», воспроизводя сложность самого гоголевского стиля, но и двоякость сущности описываемого

образа и творчества, к которой сопричастен сам Кручёных и его текст.

Мозаическая лепка биографических, тематических и речевых отрезков, склеивание разных семантических цепей в «Слове о подвигах Гоголя», «бумерангом букв», как определяет Кручёных гоголевскую манеру воссоздания «мира с конца» и построения текста, зарождающегося как бы из самого себя, т.е. приёмом возвращения и повторения направляет внимание и к самому автору поэмы. Его образ выявляется как образ строителя текста, первая задача которого, по выражению Кручёных, это «Гоголя зарифмачить». [39]

Чтение поэмы убеждает нас в том, что это действие предполагает не только превращение прозаического текста в стихотворный, но и создание нового текста, как рифму к гоголевскому тексту. Как всякая рифма, новый кручёновский текст повторяет текст предшественника, но лишь частично, ибо его значение определяется не только значением отражённого текста предшественника, но и игровым контекстом новой литературы, которой принадлежит «Слово». Эта литература ведёт до предела творческую игру, пользуясь ею во всех отношениях: это игра с текстом, игра в текст и даже создание текстовой ситуации соавторства с автором пересозданного текста. Именно этот жест предельно сложной игры становится одной из составляющих образа автора в поэме Кручёных. О своей ипостазе автора-игрока говорит Кручёных в своём стихотворении 1945-го года «Игрок. Поэма игры (Маяковскому)», откуда мы и процитируем стихи, перечисляющие некоторые элементы игры, которые нас интересуют в контексте нашего анализа: «Игрок! / Нутром / узнай / коварный ритм – / и напролом, / рискни, / громи / усталый / мир / Вокзал, рулетка, кутерьма – / Там Достоевский / брюки проиграл (…) Себя нашёл ты сразу, / шёл напрямик, / не соблазнялся / мелочью / ни разу, / рвал банк, / на карту смело – / весь лимит!» [40]

Темы интуиции, диссонанса и деконструкции объявляются здесь осью поэтики Кручёных, которая блестяще реализуется в «Слове о подвигах Гоголя». Тут игровой принцип становится не только основой построения текста поэмы, но и инструментом

самопознания – благодаря отождествлению автора с Гоголем как писателем-игроком. Это почти слияние двух писателей не исключает и взгляда со стороны, хоть и сочувственного, на судьбу того же Гоголя. Может быть, эта ситуация объясняет внесение в первую часть поэмы молитвы, произнесенной авторским голосом и построенной из осколков творчества и жизни Гоголя, внушающих ужас: «Господи боже мой, / не дай испить мне, / в печке сжигая мыслей остаток, / безумия короля Нищирипопа, / адской мести Акакия Акакиевича, / зем-ле-со-тря-се-ни-я – / взмахи мостовых, / разверстых глазищ Вия, / агонию Гоголя / на смертном огне! / К Новому году, / мимо звёздного контракта, / трубы архангела, / хочу принять собственное крещение / в снегу / и в вине!» [41]

Мы считаем, что здесь максимально сконцентрирована интонационная сила кручёновской поэмы, сила, которая и индивидуализирует образ её автора, хотя этот образ, как и образ Гоголя, строится мерцающе, по принципу маски-симулякра. Наряду с игрой всякого рода и на всяком уровне, которая совершается в «Слове», молитвенный фрагмент способствует рождению динамической и непредсказуемой модели эзотерического существования как образа жизни. В пространстве жизни, как она была прожита и представлена Гоголем и переиздана поэмой Кручёных, рождение, крещение, пытка, смерть и воскресение становятся необходимыми порогами для выявления «четвертой, высшей единицы», о которой говорит Кручёных в своей работе 1914-го года «Новые пути слова». Наряду с ощущением, представлением и понятием, эта единица должна была стать у Кручёных свидетелем мистического чувства или ощущения сверхестества. В то же время она должна стать импульсом для потребности выйти из простого витализма авангарда и для поиска связи между этикой и эстетикой. Хотя кажется, что подчёркнутое обращение в поэме к духовной проблематике мотивировано лишь образом Гоголя человека и писателя, нетрудно заметить, что оно характеризует само поведение автора поэмы и его стратегию обеспечения – по принципу негатива – коммуникации с читателем атеистической советской эпохи.

Анастасия Романова

«ДНЕВНИК» МИРЧИ ЭЛИАДЕ: К ВОПРОСУ О ХРОНОТОПЕ В МЕМУАРНОЙ ПРОЗЕ[1]

Исследователями давно замечено, что литературные произведения «пронизаны временными и пространственными представлениями, бесконечно многообразными и глубоко значимыми. Здесь наличествуют образы времени биографического (детство, юность, зрелость, старость), исторического (характеристики смены эпох и поколений, крупнейших событий в жизни общества), космического (представление о вечности и вселенской истории), календарного (смена времён года, будней и праздников), суточного (день и ночь, утро и вечер), а также представления о движении и неподвижности, о соотнесённости прошлого, настоящего и будущего» [Холизев 202, 248 – цит. по: Ананьева 2006]. То есть, создавая мир произведения, писатель «структурирует его, помещая в определённом времени и в пространстве» [Чернец 1999, 200 – цит. по: Ананьева 2006].

Стремясь осмыслить художественный мир произведений с точки зрения пространственно-временной структуры, литературоведы и критики всё чаще обращаются к понятию хронотопа. О хронотопе как обозначении типологических пространственно-временных моделей писал в своих трудах М.М. Бахтин. Хронотоп Бахтин определяет как существенную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно освоенных в литературе. «В литературно-художественном хронотопе имеет место слияние пространственных и временных примет в осмысленном и конкретном целом. Время здесь сгущается, уплотняется, становится художественно-зримым; пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, и пространство осмысливается и измеряется временем» [Бахтин 1975].

Современные исследователи в основном пишут о трансформации хронотопа, о его функциях в художественном дискурсе, организации художественного времени; в этом ключе написаны

работы Лотмана Ю.М., Топорова В.Н., Успенского Б.А. и др. [Ананьева 2006].

В художественном произведении реальные пространство и время преобразуются в соответствии с идеей художника, его «переживанием» пространства и времени, отношением к действительности. В пределах одного произведения и в пределах творчества одного автора мы наблюдаем множество хронотопов и сложные, специфические для данного произведения или автора взаимоотношения между ними. Именно анализ хронотопа позволяет раскрыть особенности мировоззрения писателя, систему его художественных ценностей.

Дневник как жанр с документальной основой не предполагает возможностей для построения эксперимента с пространством и временем; и то, и другое диктуется *реальностью*. Однако работа по изучению мемуаров румынского учёного и писателя Мирчи Элиаде изменила подобную точку зрения.

В прошлом году праздновалось 100-летие со дня рождения румынского учёного с мировым именем. Последовавшая волна публикаций раскрывала читателям разные стороны его таланта – таланта научного исследователя, прозаика, публициста. Не меньшего внимания заслуживает, с нашей точки зрения, и мемуарное наследие Элиаде, представляя собой благодатное поле для исследователя и в силу своей неизученности, и (в первую очередь!) из-за своей художественной ценности и новаторства.

Перечитывая «Дневник» Элиаде, выделяем для себя тот пласт текста, который ещё раньше привлёк внимание оригинальностью мыслей и необычностью изложения. Традиционно для дневника как жанра свойственно определение пространственно-временных рамок той реальности, в которой живёт и действует автор-повествователь. Обычно следующий перечень занимает большую часть повествовательного массива: дела, ситуации, события, происходившие с автором или свидетелем которых он был, люди и страны, удавшиеся и неудавшиеся начинания, разговоры и сплетни, интриги и раскаяния, в общем, всё то, что, по мнению пишущего, и составляет его реальную, т.е. замыкающуюся на пластическую событийность, жизнь. Особенностью данного «Дневника» выступает апелляция к несовременникам (в данном случае – к писателям),

описание «заочных» (через века и пространства) диалогов с авторами и их героями, благодаря чему реальная событийная канва расширяется, включая в себя большее количество действующих лиц. Вести подобный диалог «сквозь время и пространство» автору позволяет особое мировосприятие, в котором книги и их герои «более живые, чем люди» [Memorii I, 91], где книга «существует» сама по себе, «вне зависимости от того, что хотел сделать автор и что думает читатель о ней». Литературный мир для Элиаде конструирует свою собственную вселенную, а не «трансформирует реальность с помощью определённого шифра» [Jurnal 1993, 585].

Анализируемые фрагменты позволяют выявить некоторые закономерности построения и выражения хронотопов в текстах, посвящённых воспоминаниям, отправной точкой которых становится чтение (а шире – и просто контакт с книгой).

Обращают на себя внимание способы включения подобных текстов-воспомининий в общую ткань повествования. Определяются два основных: с помощью слов «вспоминаю, воспоминания, начинаю вспоминать, погружаюсь в воспоминания, приходят на память» или просто соположение частей текста, объединённых авторскими ассоциациями. Отметим, что первый способ более распространён, скрепы почти всегда лексически выражены.

Тематически читательские впечатления чаще всего монтируются с воспоминаниями о первом прочтении этого произведения. Отметим, что воспоминания очень детальны. Так, почти всегда указывается дата первого знакомства с текстом. Наблюдаем два основных способа обозначения даты: ретроспективно (столько-то лет назад) и прямое указание даты: «Под конец начали распаковывать ящики с книгами Бертольда Лауфера <…> Воспоминания: первые книги Бертольда Лауфера, прочитанные в *1929-1930* (курсив при обозначении дат наш – *А.Р.*), в Королевской библиотеке в Калькутте; обсуждения их в библиотеке Азиатского Общества; энтузиазм, с которым я ночами читал их в пансионе госпожи Перрис» [Jurnal II, 198]; «Взял у неё <…> “Идиота”. Уже несколько дней мечтаю его перечитать. Перечитывал его последний раз в *мае 1938 года*»; «Захожу в библиотеку и осматриваю полки с *livres de poche*. Что меня заставило купить *Salammbo*? Не перечитывал

её с лицейских времён, то есть около 55 лет. Возможно, вот что: взяв её в руки, я очутился *летом 1921 или 1922* года на Северном вокзале, где вошёл в вагон третьего класса поезда, отправляющегося в Констанцу» [Jurnal II, 259]; «Мне не хватает смелости её *The Quest for Corvo* [книга американского автора A.J.A. Symons] <…> открыть, так как боюсь, что меня охватит желание перечитать её – сейчас, когда у меня столько всего в голове. <...> Вновь вспоминаю ту *ночь в январе 1941 года*, в Оксфорде, когда открыл её»; «Перечитываю – в который раз? может быть, в двадцатый – Bhagavad Gita <…> И, как обычно, воспоминания: моя пещера в Ришикеше, *зима 1931 года*, перевожу Bhagavad Gita на румынский»; «Эти дни читал Кьеркегора. <…> Первый раз прочитал Кьеркегора на первом курсе университета. Тогда, *в 1925 году*, Кьеркегор не был ещё переведен на французский, и я был вынужден читать на немецком» [Jurnalul Portughez I, 2006, 290]; «Вспомнил, когда и как я читал её: на улице Кромвеля, *между двумя-четырьмя утра в августе 1940 года*, во время воздушной тревоги. Зенитные установки не давали спать <…> Мы не уходили в бомбоубежище; наш отель был невысоким и с основательным подвалом. Наутро мы обнаружили здание музея и несколько старых домов разрушенными» [Jurnal I, 70].

Отметим, что в приведённых примерах точно обозначается не только дата, но и место («улица Кромвеля», «пещера в Ришикеше», «Королевская библиотеке в Калькутте»). Далее, детали обстановки, в которой книга читалась, могут быть изложены весьма подробно. Взяв в руки «*The Quest for Corvo*», автор вспоминает «ночь в январе 1941 года, в Оксфорде, когда открыл её» и подробности, сопровождавшие это чтение: «до сих пор перед глазами стоит вилла, парк, китайский слуга – и этажерки с редкими произведениями искусства. В тот вечер был приглашён и известный автор. Очень близорукий, он носил только монокль – и уронил его случайно в тарелку с супом, и потом не мог найти (искал его ложкой), и ему помогли. Слышу беспрерывный гул немецких самолетов, летящих над Оксфордом» [Jurnal I, 584]. Могут быть указаны и погодные обстоятельства, сопровождавшие чтение: «взяв её [«Саламбо»] в руки, я очутился летом 1921 или 1922 года на Северном вокзале <....> *Невероятная жара...*»

Композиционно близки к первому случаю (воспоминания о прежних прочтениях) и воспоминания о встречах с автором. Они окружены такими же подробными деталями (дата, место): «Заканчиваю читать <...> Алана Уотса. Вспоминаю наши первые конференции <…>, которые проходили здесь, в *Чикаго <...> в 1959 году*». [Jurnal II, 82]; «Ужинаем и потом читаем: Кристинель “Господина Пруста”, я – стихи Василия Войкулеску. И, как обычно, воспоминания *1934-1935 года*, когда встречал его на *радио и в Союзе писателей*. Мы обедали с ним в *ресторане*…»; «В витрине книжного магазина, в двух шагах от нашего отеля, пожелтевший от солнца, экземпляр *La gondole aux chimeres* Мориса Декобра. <…> Вспоминаю: в *1927 году, в зале Атенеума*, заполненном до отказа, говорил Морис Декобра <…> Позднее, *зимой 1929 года*, я познакомился с ним в *доме Дасгупты*. Он подписал мне экземпляр *La gondole aux chimeres* со следующим посвящением<…>» [Jurnal I, 516]. Иногда возможно объединение двух вариантов (воспоминания и о первом прочтении, и о встрече с автором).

Подобная пространственно-временная детальность воспоминаний порождена тем, что книги представляют для Элиаде, по его собственному выражению, «*концентрированное время*, историю» [Jurnal I, 70]. Этот «энергетический сгусток» способен при определённом толчке (чаще всего им становится перечитывание или просто контакт с книгой) развернуться, выдавая виток за витком раскрывающуюся панораму. Так, чтение книги «Господин Пруст» вызывает многослойную пространственно разворачивающуюся картину: «Об этой книге говорил мне Эмиль Чоран <…> Мы с Чораном вошли в кафе, чтобы согреться. Он, как обычно, заказал чай, я кофе. Сейчас, когда пишу эти строчки, время от времени поднимаю глаза к окну и спрашиваю себя, как вызвать оттуда, из зала в глубине кафе, куда мы спрятались, чтобы остаться наедине – тот волшебный Париж первых послевоенных лет, когда мы все были бедны, неизвестны, но решительно настроены остаться теми, кем мы были на родине: писателями»[Jurnal II, 302].

Отдельный случай представляют моменты перечитывания собственных книг. Контакт с письменным текстом (даже и со

своим собственным) даёт тот же результат: воспоминания о процессе работы или обстоятельствах публикации: «Сегодня в книжном магазине увидел новое издание своей “Сравнительной истории религий”. Восьмое издание <...> Когда в 1951-1952 году мне сказали, что некий американский издатель хочет перевести “Сравнительную историю”, предлагая <…> огромную тогда сумму в 600 долларов, я был вынужден принять это предложение. Мне очень были нужны деньги. Эта сумма позволила мне прожить целый месяц (жили тогда на улице Тур и не платили за съём квартиры)» [Jurnal II, 307].

Возвращение к другим своим текстам вызывает в памяти такие же темпорально и локально точно обозначенные события: «Делаю корректуру для издательства <…> Приходят на память *1934-1936 года*, когда мы работали, я и Нина, в *Академии*» [Jurnalul Portughez I, 2006, 224], «Перечитываю “Хулиганов” – и странная грусть. Переживаю вновь *лето 1935* года, на *бульваре Динику Голеску*» [Jurnalul Portughez I, 2006, 118].

Отдельную группу формируют фрагменты, посвящённые чтению *дневников и автобиографий* других авторов. Текст разворачивается по другой схеме: место воспоминаний занимают размышления о собственном «Дневнике», сравнение читаемого со своим автобиографическим текстом (о референтности как способе оценки «Дневника» говорилось отдельно).[2] Таким образом, жанровая принадлежность читаемого текста влияет на характер отношений хронотопов в тексте: вместо переплетения разновременных и разнопространственных пластов мы наблюдаем линейное развитие.

Итак, в пределах одного произведения и в пределах творчества одного автора мы наблюдаем множество хронотопов и сложные, специфические для данного произведения и автора взаимоотношения между ними. Бахтин утверждал, что «хронотопы могут включаться друг в друга, сосуществовать, переплетаться, сменяться, противопоставляться или находиться в более сложных взаимоотношениях… Общий характер этих взаимоотношений является диалогичным». Автор – творец, управляющий этим диалогом.

Кишинёв-Москва

Александр Варона

РУССКИЕ-ЛИПОВАНЕ ДОБРУДЖИ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСКЕ КОНСТАНТИНА ЛЕОНТЬЕВА

Важное место в дипломатической деятельности русского писателя и мыслителя **К.Н. Леонтьева** занимает его пребывание в Османской империи, где он выполнял несколько дипломатических должностей в 60-70-ые годы XIX века, в том числе и должность вице-консула в Тульче. Как писал проф. **Иван Евсеев** в публикации «Зори» (№ 1/1995 г.), «*время пребывания в Тульче Леонтьев считал самым приятным и самым важным в своей биографии*». Русскому писателю и философу понравилось в Тульче, о чём он писал другу: «*Я желаю одно, свить на век моё гнездо в Тульче... Здесь есть и движение и покой, и восток и запад, и север и юг*».

Положение старообрядцев Добруджи занимает особое место не только в дипломатической переписке Леонтьева. В сборнике рассказов ***Из жизни христиан в Турции*** (1876) он уделяет много внимания русским старообрядцам липованам, а его наблюдения и впечатления о их жизни, вере и традициях являются и по сей день ценнейшим источником по истории этого своеобразного осколка *Древней Святой Руси*.

Такую же ценнейшую информацию о липованах Добруджи второй половины XIX-го века содержат и многие документы, составляющие дипломатический архив писателя, которые, к нашему огромному счастью, не только сохранились до сих пор, но и были опубликованы в сборнике ***Константин Николаевич Леонтьев. Дипломатические донесения, письма, записки, отчёты (1865-1862)***, вышедшем в свет в 2003 г. в Москве, заботами МИД-а Р.Ф. и МГИМО.

О том, что старообрядцы вызывали у Леонтьева особый интерес, гласит тот факт, что сразу по прибытию его в Тульчу «*он счёл долгом ознакомиттся с некоторыми из проживающих в Тульче раскольников*», в том числе, и с **Осипом Гончаром**, бывшим некрасовским атаманом, с которым «*имел совещание о переселении старообрядцев*» в Россию [1]. Кстати, нужно сказать, что вопрос о переселении

был поднят в 1867 г., почти сразу после расформирования некрасовских частей и упразднения турецким правительством их казачьей организации в 1864 г. Интересно, что в переписке с Российском посольством в Стамбуле Леонтьев отмечает, «*что нам нет особенной выгоды переселять в наши пределы раскольников из Турции, что достаточно было бы поддерживать с ними хорошие сношения, что наплыв населения в 6 или 7 тысяч человек не был бы для нас особенно ощутителен, присутствие же в пределах Турции старообрядцев представляет важную опору для нашего влияния в этом крае*» [2].

Выходит, что российская дипломатия рассчитывала на старообрядцев в проведении своих целей по отношению к Османской империи в районе устья Дуная. А также, что по крайней мере 6-7 тысяч наших предков проживали в те времена в Северной Добрудже. 28 августа 1867 г. Леонтьев отмечает, «*что старообрядческий Епископ Аркадий посетил меня вчера вместе с Гончаровым. Они тоже беспокоятся о вооружениях, но более о том, чтобы не пришлось служить опять против христиан. Впрочем, Гончаров надеется, что дело ограничится увеличением "беделя"*[1] *и что турки только показывают вид, будто доверяют немусульманским своим подданным*». Следует подчеркнуть, что описанное выше Леонтьевым происходит во времена особого напряжения в Турции, когда растёт сила национально-освободительных движений христианских народов: болгар, греков, сербов, армян и т.д. А также, когда Россия начинает улучшение своего международного положения, заметно снизившегося после поражения в Крымской войне.

Вопрос о переселении старообрядцев Добруджи в Россию неоднократно поднимается их представителями во время пребывания Константина Леонтьева на посту вице-консула в Тульче, как следует из его тайной переписки с посольством Российской империи в Стамбуле за 1867 г. Значит, липоване почувствовали резкое изменение общественно-политического климата по отношению к христианским обществам в Турции, и, в частности, в Добрудже. Это совсем не должно нас удивлять, так как именно в эти годы активизируется деятельность национальной элиты славянских народов Балканского полуострова, а также и деятельность агентов польской эмиграции в Турции. Так что опасения Гончарова и желание переселить в Россию своих единоверцев вполне оправданы. Тем не менее, политика

России в этих краях тоже заслуживает внимания, так как она была направлена именно на защиту прав и интересов христианского населения Добруджи, которое российское правительство считало своей опорой в этом районе и, конечно, в Османской империи в целом.

О конкретной защите турецких христиан Россией, в том числе и старообрядцев, говорит ряд документов, опубликованных в вышеупомянутом сборнике, из которых видно, что многие христиане обращались в те времена за помощью к Российским дипломатам, а в Тульче именно к Леонтьеву [3].

И российские дипломаты не оставляли людей в нужде, а всячески старались разными средствами помогать, например, тем, кто пострадал от грабежей черкесов, переселённых в Добруджу в 50-60-ые годы XIX века.

Интересны рассуждения Леонтьева о различиях между украинским и русским старообрядческим населением Добруджи. Так, русский дипломат отмечает, что «*действительно, между здешними православными малороссами и великорусскими раскольниками большая разница. Последние имеют даровитых, опытных и грамотных вождей, которые могли бы, если бы захотели, сноситься с единоверцами своими в России. Малороссы здешние – совершенно "отрезанный ломоть" и с малороссами в пределах наших едва ли могут входить в политические сношения*» [4].

Конечно, дипломатическая переписка Константина Леонтьева времени его пребывания в Тульче содержит очень богатую и интереснейшую информацию о Добрудже, о её положении экономическом и социальном, о характере и действиях турецких властей в этой области, и не ограничивается только сведениями о старообрядческом и остальном славянском населении края. Практически она показывает великого русского философа и писателя как незаурядного дипломата и государственного деятеля, что до сих пор было для нас менее известно. А также его дипломатическая деятельность в Тульче тем более ценна для старообрядцев, что выявляет его заботу о своих соотечественниках, предки которых когда-то покинули Родину не ради добычи куска хлеба или в поисках лучшего экономического положения, а ради сохранения исконно русской и православной веры.

Румыния

Сибирь - Казахстан